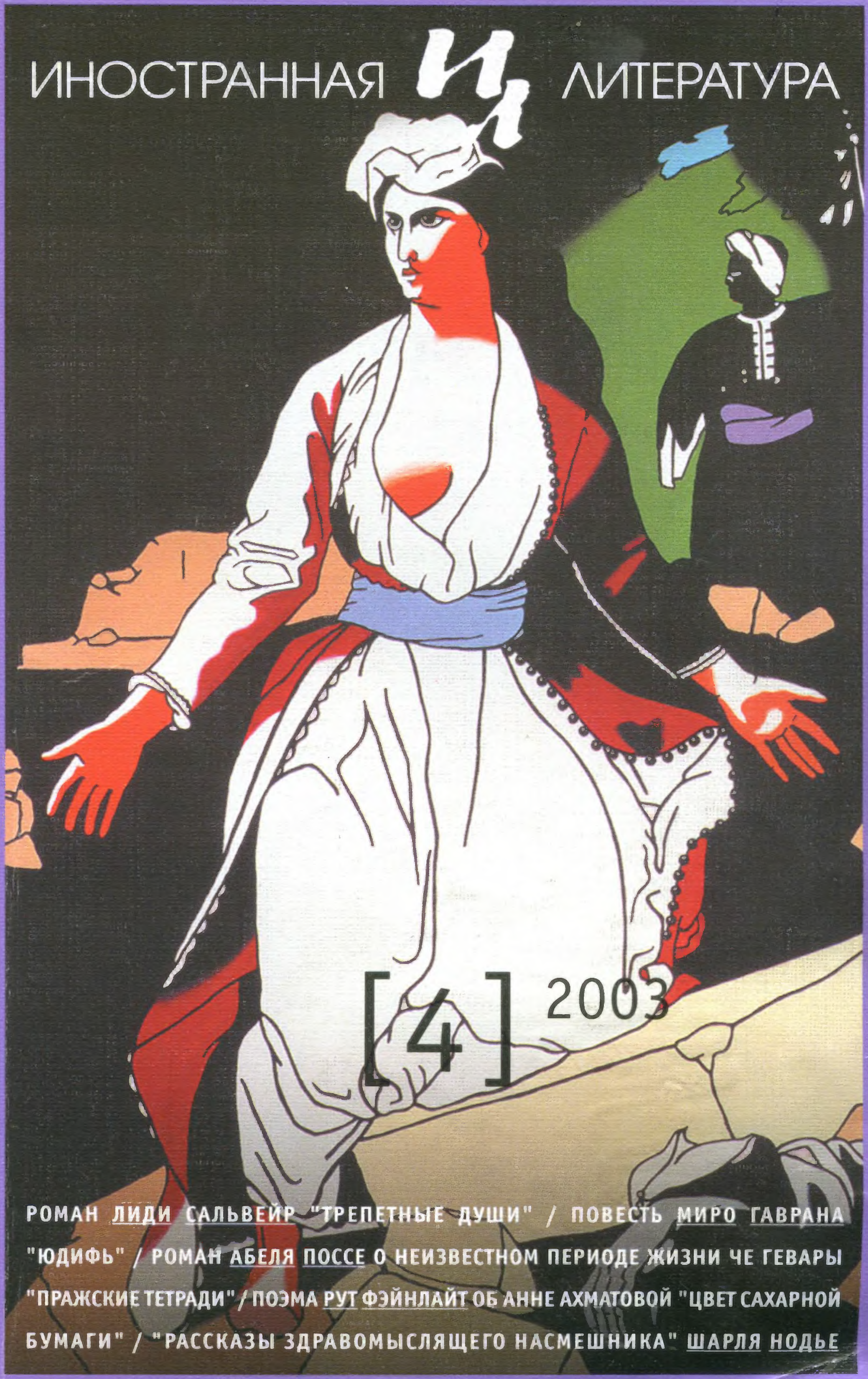
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[4] 2003

РОМАН ЛИДИ САЛЬВЕЙР "ТРЕПЕТНЫЕ ДУШИ" / ПОВЕСТЬ МИРО ГАВРАНА "ЮДИФЬ" / РОМАН АБЕЛЯ ПОССЕ О НЕИЗВЕСТНОМ ПЕРИОДЕ ЖИЗНИ ЧЕ ГЕВАРЫ "ПРАЖСКИЕ ТЕТРАДИ" / ПОЭМА РУТ ФЭЙНЛАЙТ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ "ЦВЕТ САХАРНОЙ БУМАГИ" / "РАССКАЗЫ ЗДРАВОМЫСЛЯЩЕГО НАСМЕШНИКА" ШАРЛЯ НОДЬЕ

Основан в 1891 году

[4]

2003

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Лиди Сальвейр. *Трепетные души.* Роман. Перевод с французского Ирины Волевич

70 Рут Фэйнлайт. *Цвет сахарной бумаги.* Поэма. Перевод с английского М. Бородицкой. Нина Королева. *Анна Ахматова — современный миф*

80 Миро Гавран. *Юдифь.* Роман. Перевод с хорватского Н. Вагаповой

Литературное наследие

131 Шарль Нодье. *"Рассказы здравомыслящего насмешника".* Перевод с французского и вступление Веры Мильчиной

Документальная проза

155 Абель Поссе. *Пражские тетради.* Роман. Перевод с испанского Е. Лысенко

Статьи, эссе

276 Николай Мельников. *"Чудовищная проза" Джона Барта*

Среди книг

283 Татьяна Баскакова. *Ажиотаж вокруг фройляйн Штарк*

Авторы номера

286

© "Иностранная литература", 2003

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
А. Н. Власова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует МДМ Банк (Московский деловой мир).

Лиди Сальвейр

Трепетные души

Роман

Перевод с французского Ирины Волевич

Франсуазе Пейро

День первый
Париж – Брюссель

"ЗДЕСЬ день не похож на день. Он больше напоминает застиранный лоскут ночи". Этими словами сопровождающий, а лучше даже сказать руководитель группы, хочет разбередить сердца людей. В нем горит дух проповедника, повелевающий наставлять, стращать. Короче, давить на психику, как сказал бы тот, кого я не могу назвать.

Туристы с протокольным выражением печального достоинства на лицах безмолвно выходят из автобуса и собираются в кучку перед корпусами блока D в ожидании Ясона, местного гида-аниматора, который должен сопровождать их по всему маршруту как помощник руководителя. На всякий случай.

А вот и он – бредет развинченной походкой, свесив руки, точь-в-точь обезьяна. Туристы знакомятся с Ясоном. Восхищаются им. Только это и остается – за невозможностью восхититься окружающей обстановкой. Которая, если честно, отнюдь не вызывает восхищения – на-

© Éditions du Seuil, 2000
© И. Волевич. Перевод, 2003

оборот, действует весьма угнетающе. Ясон ("Прошу называть меня Джейсоном!") излагает руководителю группы программу экскурсии по предместью. Туристы жаждут сильных ощущений? Они их нахлебаются досыта. Так он говорит.

Здесь следует уточнить вот что: "Real Voyages", агентство, которое организует тур "Европа обездоленных", разработало программу, структурированную одновременно по вертикали и горизонтали. Горизонтальный срез: туристам демонстрируют самый разнообразный и полный спектр обездоленных. Что же до вертикального, то тут предусматривается освоение программы по принципу, так сказать, убывания: сперва презентабельные бедняки, затем менее презентабельные, потом еще менее презентабельные и уж только в конце — худшие из худших, вплоть до настоящих отбросов общества, один вид коих внушает вам отвращение к жизни.

Итак, их первый визит будет проходить в квартале под названием Пески (северная окраина Парижа). Экскурсия начинается вполне благополучно. Вопреки предсказанию Ясона-Джейсона. Который чернит, как только может, окружающую действительность. Причем нарочно. С целью завлечь доверчивых туристов. А те охотно клюют на эту приманку. Моментально. Ведомые, как уже было сказано, руководителем, который шествует впереди с похоронным видом. И сопровождаемые в этих трудных обстоятельствах Ясоном ("Настоятельно прошу называть меня Джейсоном!"), вполне современным молодым человеком, с виду вроде бы лениво-расслабленным и одновременно хищно-изворотливым, попавшим, один Бог знает как, в аниматоры-со-знанием-местного-колорита, а уж что касается этого самого колорита, можете на меня положиться, утверждает вышеозначенный субъект.

— Взгляните туда, смелее! — командует руководитель, воодушевленный своей благородной миссией, цель которой — открыть глаза богатым благополучным туристам на положение обездоленных. — Смотрите, что творится на земле, буквально рядом с вами. Слышите ли вы стон, звучащий в стенах этих домов?

Мадемуазель Фолькирше́ думает: "Этот тип совсем спятил".

Одиль Буаффар говорит: "Нет, лично я ничего не слышу". Кроме того, она констатирует, что сильно разочарована увиденным. Ни тебе сожженных автомобилей. Ни вырванных с мясом телефонных аппаратов. Ни граффити на стенах. Ровно ничего интересного. Всего лишь три десятка мрачных корпусов справа и слева от шоссе. Вполне банальная картина.

К счастью, из-за угла блока E выходит ватага подростков. Мальчишки двигаются с ленивой медлительностью, гибко и бесшумно, так скользят "кадиллаки" с их мягкими рессорами. Ничего общего с суетливой рысцой горожан, торопящихся по утрам в свой паршивый офис.

Один из парней отфутболивает банку из-под пива в сторону группы туристов. Точность потрясающая: метательный снаряд угодил прямо в ноги мадам Пит. Увы, эта дама не владеет даже элементарными вратарскими навыками. Вместо того чтобы отбить, как это сделал бы любой другой, мадам Пит в панике кидается прочь, мелко подпрыгивая на ходу. Умора, да и только!

Оробевшие туристы спешат миновать шестерку парней, которые нагло хохочут им в лицо. Один из них орет Джейсону: "Эй ты, шут гороховый, с лохами связался, без яиц остался!" Тот мгновенно парирует:

"Свои побереги!" Обмен любезностями выдержан в безупречном местном стиле.

Подростки пялятся на туристов, как на экзотических зверей с диковинными повадками. Месье Лафейяд, желая выглядеть своим в доску, осмеливается бросить им: "Привет, ребятки!" неуверенным, почти жалобным голоском, а главное, едва слышно; впрочем, "ребятки" даже не удостаивают его ответом. Другое дело месье Дефос – этот шагает спокойно и размеренно. Он решил доказать, что, во-первых, его так просто на испуг не возьмешь и что, во-вторых, он идет в ногу с современной молодежью. Его супруга семенит позади и шепчет мужу: "Вероятно, эти мальчики приняли нас за обычных туристов, то есть за банальных зевак, этим и объясняется их враждебная реакция". Но тот сердито обрывает ее: "Вот ты пошла бы да объяснила им, кто мы такие!" Все члены группы вдруг уразумели, что в глазах этих парней они выглядят чужаками, если не врагами. И это для них настоящий шок. Неужто старый, забытый пожар, так долго тлевший под пеплом, способен вспыхнуть новым, еще более неистовым пламенем?! Эта мысль послужит темой дебатов за ужином.

Группа состоит из тринадцати туристов. Еще одна пара в последний момент отказалась от путешествия. И эта зловредная цифра 13 сильно смущает остальных.

Месье Буаффар хочет подружиться с Джейсоном. Он человек левых убеждений. Ратует за конструктивный диалог. А потому спрашивает у Джейсона, занимается ли тот еще какой-нибудь деятельностью кроме нынешней.

Для начала Джейсон желает уточнить, что этот господин разумеет под словом "деятельность". Если "деятельность" означает случайные заработки, то он, Джейсон, ответит "да". Но если он имеет в виду работенку вроде той, на которой горбатится его подружка Олимпия, что с утра до вечера утюжит чужие тряпки... А вот как раз и она сама нарисовалась. Ну, чего тебе? Не видишь, я занят "деятельностью". Долго ты еще будешь ко мне липнуть?!

Джейсон постоянно хамит Олимпии. Это уже вошло в привычку. С которой он и не думает расставаться. Поскольку Олимпия принимает такое обращение как должное. Вот только сегодня Олимпии стыдно, ибо свидетели этой сцены – чужие люди, и она вдруг видит себя их глазами.

Джейсон всегда разговаривает с Олимпией так, словно ее присутствие жутко его нервирует. Но мы склонны считать, что грубость, которую он проявляет в отношениях с Олимпией, преследует лишь одну цель: доказать собственную мужественность, ибо, по мнению Джейсона, мужественность – это жестокость, это злоба, это оскорбления. Хотя вполне вероятно, что он просто-напросто изображает эдакого мачо, которому плевать на все добро, что делает ему Олимпия, так как он не умеет воздать ей тем же.

Но Джейсон никогда не спрашивает себя, откуда в нем эта неудержимая страсть мучить Олимпию. Он только констатирует, что, когда оскорбляет ее, унижая на публике и доводя до слез, это помогает ему снять напряжение, утешает, словно он взял реванш над злейшим врагом. Кроме того, все эти хулиганские выходки и брутальные манеры восхищают галерку. Джейсон хорохорится перед дружками: черт подери, и на фига мне сдалась эта курчавая идиотка! Приклеилась – не отдерешь! Тем более что в вопросах секса у нее граница на замке, ниже пупка ходу нет. И, значит,

вся любовь сводится к минетам. А в любви, согласитесь, есть кое-что получше! И Джейсона, заслуженного трахаля, обладателя колючей щетины и сверхмощного тарана, подобная ситуация совсем не устраивает. Но он компенсирует ее тем, что заставляет сосать себя в два раза чаще, чем его приятели. И в результате почти не нуждается в дрочке. Удобно, верно?

Олимпия похожа на боязливую зверюшку. Она вызывает скорее жалость, чем желание. Руководитель с первого же взгляда проникся безграничной нежностью к Олимпии. Да и я сама испытываю к ней то же чувство. Руководитель держит совет с Джейсоном и объявляет от имени всей группы, что присутствие этой юной особы ничуть не помешает экскурсии. Совсем напротив. Ему хочется шепнуть Олимпии безрассудные слова: "Прижмитесь к моей груди!" Но вместо этого он смотрит себе под ноги. А еще ему хочется сказать: "Давайте я увезу вас на край света!" — но никакие слова в мире не смогли бы выразить бурное волнение, вмиг овладевшее его сердцем. Руководитель был когда-то семинаристом. Он отличается чопорным, сдержанным нравом. Крайне закомплексован в плане чувств, не говоря уж о сексе. Поскольку ему неведомы слова любви, он стремится сказать девушке хотя бы что-то приятное, любезное. Однако искусство быть любезным ему также неведомо. Особенно когда имеешь дело с молоденькими девушками. А Олимпии восемнадцать лет.

И тут в роли ангела-хранителя выступает добрейшая мадам Пит. Ибо в этой горестной истории участвуют и ангелы. "Если бы эта девочка согласилась поехать с нами, — предлагает мадам Пит, — нас стало бы четырнадцать и мы бы покончили с этой ужасной чертовой дюжиной". Отличная мысль! Все аплодируют.

Олимпия колеблется: в понедельник с утра ей на работу. Если она не придет, прощай, зарплата. Она и так уж...

Об этом пусть не беспокоится: мадемуазель Фолькирше позвонит своему другу-врачу Жан-Пьеру Турту, и тот выпишет Олимпии бюллетень. Олимпия робко осведомляется о стоимости поездки. "Мы вас приглашаем!" — объявляет Лафейяд, макаронно-мучной король, человек действия. Итак, вопрос решен. Олимпия едет с ними. С Олимпией всегда так: она уступает тому, чья воля сильнее. Уступает легко и безропотно. Стоит лишь чуть нажать, и она уже на все согласна. Ибо Олимпия подобна той кроткой скотинке, что бредет куда глаза глядят и готова последовать за любым вожаком. Любым. Особенно, злобным. Каким угодно, но непременно злобным. Ибо злобные вожаки обладают непревзойденным талантом увлекать за собою кроткие создания. Бедная моя Олимпия! Ее история безнадежно банальна, но я должна сотворить ее, чего бы мне это ни стоило.

Олимпии очень хотелось бы выразить признательность своим великодушным благодетелям, но она не способна облечь ее в надлежащую форму. Что в работе у месье Фосто, что в любви к Джейсону, Олимпии не дано выражать чувства связной речью. И когда дело доходит до самых интимных переживаний, у нее слова не идут с языка. Затерянные где-то в потаенном уголке ее души, они словно уснули там навеки.

И вот Олимпия молча следует за группой туристов. Среди этих людей с безупречными манерами Олимпия чувствует себя жутко неловко и стыдится своей неловкости. От смущения не знает куда глаза девать. Во взгляде Олимпии нет решимости городских девушек. В нем постоянно чувствуется какое-то колебание. Олимпия сама — воплощенное колебание. Пожалуйста, не дуйте на нее слишком сильно!

Чем же Олимпия занята в этой жизни?

Она работает гладильщицей в чистке при торговых галереях. Самое трудное в ее ремесле — утюжить мужские сорочки. Особенно воротнички. Олимпия в шутку называет свое заведение хаммамом[1].

Управляющий гладильней месье Фосто любит повторять: "Болтовне и глажке не ходить в одной упряжке". И Олимпия вполне с ним согласна. Месье Фосто вообще обожает поговорки. Вот его главное изречение: "Каждый имеет то, что ему причитается".

Интересно, возникает ли когда-нибудь у Олимпии желание посетовать на то, что она имеет так мало?

Вовсе нет. Ее жизнь такая, какая есть. Олимпия уже смирилась с мыслью, что жизнь изменить невозможно. Вот Олимпия и говорит, что жизнь ее устраивает. И еще говорит: я не привередлива. Ей даже удается кое-что откладывать из заработка на подарки к празднику святого Валентина.

Эти речи жутко злят Джейсона, который утверждает, что температура в гладильне, несмотря на "кондишн", гораздо выше двадцати восьми градусов и что только такая овца, такая кромешная идиотка, как Олимпия, может покорно гнуть спину в этом адском пекле.

На это Олимпия кротко возражает: она держится за эту работу, потому что ее начальник месье Фосто очень добрый.

Что вызывает у Джейсона новый взрыв гнева. "Вот так-то вас, дурех, и имеют! — орет он ей. И добавляет: — Какого хрена я связался с этой размазней!"

Олимпия не знает, чем ответить на бешеную ругань Джейсона. Она пристыженно опускает голову: чужая ругань всегда звучит для нее упреком, такой уж у нее характер. Скажу вам по секрету: она еще не разучилась краснеть.

Наши туристы считают ее дурочкой. За исключением руководителя — этот восхищается всем, что она говорит, всем, что она делает, в общем, розовый роман, да и только. Он единственный на этой земле (не считая, конечно, меня, которая ее выдумала) разглядел в Олимпии нечто, достойное интереса. Но он еще и боится за нее, ибо смутно подозревает, что Олимпия — легкая добыча для первого встречного. Хотя бы и для него. Хотя бы и для меня.

Счастлива ли Олимпия, что уезжает? Вид у нее довольно-таки грустный. Олимпия вообще не знает, счастлива она или несчастна. Она готова извиниться даже за это свое незнание. Дело в том, что ей ужасно трудно соотнести образы из ее любимого сериала "Факультет" с ее собственной story.

Вкратце это выглядит так:

"Факультет" снят на пленке "Technicolor", тогда как ее story с самого рождения отличалась унылым серым цветом. Действие "Факультета" разворачивается в прелестных "студиях-с-кухонькой", где обитают американские студенты. Обстановка, в которой живет Олимпия, вполне в духе постмодерна: это уродливая квартира ее матери и местные подвалы с ледяным цементным полом.

Американские студенты, герои "Факультета", красивы, модно одеты, жизнерадостны, чертовски остроумны и рискуют запустить свою драгоценную учебу ради белокурой американской студенточки, красивой,

1. Хаммам — турецкая баня. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

модно одетой, жизнерадостной и чертовски остроумной. Смотришь на их счастье, и душа радуется.

Олимпия — метиска с черными курчавыми волосами и полнейшим отсутствием чувства юмора. Нельзя сказать, что в ней есть какой-то особый шарм. Особый шарм присущ только тем людям, которые знают себе цену и владеют искусством внушать окружающим высокое мнение о себе. В этом смысле Олимпия — просто ноль без палочки. Ровно ничего не значит. Как, впрочем, и в нашем романе. Где она всего лишь бесплатное приложение.

Да, Олимпия ровно ничего не значит. Не выдумай я ее, она так и прожила бы свою никчемную жизнь никем не замеченной и не оцененной. Следовательно, я могу гордиться тем, что подарила ей достойное существование. Боюсь только обидеть ее или (что еще хуже) и вовсе уничтожить. Уж мне-то известно, что одно неловкое движение, одно жестокое слово могут тут же убить Олимпию — ведь она до того эфемерна. А ее жизнь до того хрупка, что почти не принадлежит ей. Ибо Олимпия подобна тем цветам, которые вянут, едва их сорвешь, и для которых жизнь идет об руку со смертью (я всегда смело прибегаю к поэтическим сравнениям, нам так не хватает поэзии!). Говоря языком мясной лавки, Олимпия — субпродукт. Причем гораздо более жалкий, чем субпродукт по имени Джейсон. Однако кто сказал, что субпродукты несъедобны?! Ничуть не бывало; просто такая уж у них незавидная репутация.

У Олимпии вид побитой собачонки. А в ее черных как уголь глазах застыла мировая скорбь. Это особенно ясно видно, когда Олимпия выходит из гладильни, измотанная до предела, с душой, высушенной не хуже белья под ее утюгом. В "студиях-с-кухонькой", где обитают американские студенты, ее печальная улыбка вкупе со взглядом, постоянно источающим метафизическую грусть, смотрелась бы в высшей степени неуместно. Олимпия не читает газет и потому знать не знает, что в интеллигентских кругах циркулируют петиции, ратующие за введение в телесериалы студентов-метисов — курчавых, жизнерадостных, чертовски остроумных и пылко влюбленных в своих невест. Расизм не пройдет!

А вот и второе существенное отличие: судя по всему, американские студенты с их здоровыми нравами не практикуют минетов. Их приоритетный способ любви — поцелуи рот в рот. Мастурбация отсутствует напрочь. Половые контакты даются лишь скрытым намеком. И уж, разумеется, никогда не фигурируют на экране.

Что касается Олимпии, то она, что называется, не прошла обкатку. Не то что Сабрина и Люсиль — еще какие давалки! А Олимпия пока никому не дала. И, таким образом, не рискует, что ее обзовут шлюхой, как Сабрину и Люсиль, поскольку те дают кому попало. Впрочем, так обзывают Сабрину и Люсиль именно те, кто и трахнул их впервые на цементном полу в местном подвале, да и после оттягивался с ними когда угодно. Ох, и куда только подевалась благодарность в этом мире?!

В настоящее время Олимпия выражает свою любовь к Джейсону посредством минетов. Конечно, нельзя сказать, что она предпочитает член Джейсона всем остальным частям его тела, но поскольку этот путь ведет к счастью, Олимпия мужественно смиряется со своей горькой долей. И как храбрый солдатик любви, пускается в сражение с мерно ходящим туда-сюда поршнем Джейсона. Она искренне хотела бы усовершенствовать свою методику, изобрести новые жесты, которые оказались бы на высоте ее обожания. Но Олимпия не смеет изобретать что бы то ни

было. Даже в любви. Олимпия вообще ничего не смеет. Ибо она сама — ничто, проще не скажешь. Олимпия — ничто, ибо она всего лишь гладильщица, а гладильщицы — это и дураку ясно! — ничто, пустое место. Джейсон тоже ничто. И все его приятели — ничтожества. Но Олимпия еще большее ничтожество, чем они. Всегда можно найти еще большее ничтожество, чем ты сам. Вот максима, которая пришлась бы по вкусу Лафейяду. Который просто обожает максимы, поговорки, каламбуры и хохмы и этим слегка похож на месье Фосто. А еще он обожает возгласы типа "Праведное небо!", "Дьявольщина!", "Черт меня раздери!", "Ей-богу, чтоб мне лопнуть!", "С ума сойти!", "Проклятье!", находя особую элегантность в подобных анахронизмах и убеждая себя, что использованием данных оборотов можно вскружить голову любой женщине. Кстати, он до сих пор принципиально целует ручки дамам. Знает наизусть слова песенки "Как весело"[1] — произведения, в общем-то, деморализующего. Из кожи вон лезет, стараясь прослыть остряком. Увы, нынешние обстоятельства, нужно признать, к веселью не располагают. И Лафейяд, которому больше не удается играть роль балагура, выглядит довольно-таки растерянным. Хорошо бы это длилось подольше!

А Олимпия, как я уже сказала, приспособилась к обычной практике, распространенной в их предместье, — к минету, успешно заменяющему поцелуи.

Ждет ли она еще чего-нибудь от любви?

Ну конечно, она надеется, как и все мы, что любовь вознесет ее на небеса. Так сказать, в сектор "люкс". На все сто процентов предназначенный для счастья. Но ее самолет почему-то никак не оторвется от земли, а любовь не держит обещания умчать Олимпию в заоблачные дали блаженства. Откуда же она, эта неполадка?

Тщетно Олимпия трудится до седьмого пота над минетами Джейсону, ничего у нее не выходит, самолет все равно не взлетает. Где же она, вожделенная дрожь экстаза? Увы, тут не до экстаза: когда Олимпия стоит на коленях, на цементном полу в подвале, перед мычащим от удовольствия Джейсоном, ее колотит дрожь от холода. И заполучит она вместо экстаза банальную простуду. Но любовь смеется над простудами, как и над всем остальным, не правда ли?

Тогда где же то головокружительное блаженство, что сулит любовь? Может, Олимпия чего-то недопонимает в искусстве минета? Ибо вместо блаженства она чаще всего чувствует тошноту. Ведь Олимпия глотает сперму Джейсона. Чтобы показать, как она его любит. Когда любят, глотают всё. Это неоспоримый закон любви. Во всяком случае, здесь, в их предместье. Но поскольку сперма не замешена на противорвотном средстве премперан, Олимпия частенько содрогается от тошноты в конце процедуры. По правде говоря, Олимпии больше нравится лизать мороженое "Жоликон". Кроме того, она задается вопросом, не вредны ли большие дозы спермы для ее здоровья. Но разве можно задать такой вопрос доктору или матери — это же со стыда сгоришь!

Конечно, Олимпия мечтает обмениваться с Джейсоном нежными любовными словами. Ну хотя бы перед минетом. Учитывая тот факт, что во время минета это невозможно. Потому что рот занят. Но Джейсон терпеть не может нежных слов. Для него вся любовь сводится к ми-

1. Песня французского шансонье Шарля Трене, популярная в 50-е годы.

нетам в подвале. И Олимпия принимает это как должное. В любви не бывает ничего безобразного. Или можно выразиться иначе: любовь преображает все, чего касается. Но может ли она преобразить сырой холодный подвал в пятизвездочный отель? Этот вопрос остается без ответа.

Джейсон — полная противоположность белокурым студентикам из "Факультета", которые рассуждают о любви и до, и после, и во время. Но Джейсон любит боевики и ужастики. И боже упаси заикнуться ему про всякую сентиментальную мутотень типа "Магнолии" или "Жизнь прекрасна!", годных, по его мнению, разве что для педиков. Отсюда вывод: где же ему было научиться языку любви? Ясное дело, негде.

Иногда Олимпию тянет поплакать.

Она и сама не знает почему.

Говорит о себе: такая уж я плакса.

Над Олимпией тяготеет проклятие. Она инстинктивно чувствует это, хотя объяснить не может. Знает, и всё тут.

Бывают вечера, когда ее грудь вдруг вздымается от странного горького рыдания. Она никак не может понять, с чего бы это. Да и есть ли причины у рыданий?!

Джейсона просто бесит, когда грудь Олимпии вздымает этот немой плач. В такие минуты он глумится над ней еще грубее, чем обычно. Или просто бросает и уходит. А то и прибьет. Ибо ему случается и поколачивать Олимпию. При этом он любит смотреть, как дрожат ее пухлые губы, как она испуганно глотает слезы. Он и сам не знает, почему ему так нравится это зрелище — дрожащие пухлые губы Олимпии, когда она испуганно глотает слезы.

Однако что ж это я? Олимпия, которой в нашем повествовании отведена роль второстепенного персонажа, начинает занимать чуть ли не все пространство.

А ну-ка, вернемся поскорее к нашим туристам. А то они уже нервничают.

Пора уточнить одну деталь: речь идет о туристах как нельзя более изысканных, утонченных, в высшей степени образованных, открытых всему новому, несомненно достойных фигурировать в справочнике "Who's Who", презирающих массовый туризм, да и все, что зовется массовым. Эти туристы не признают болтающихся на шее фотоаппаратов, пошлых застольных песен и пикников с едой в засаленных обертках. Эти туристы обладают сильной индивидуальностью. И сильным характером. И даром выразительной речи. Обо всем имеют собственное мнение. В отличие от Олимпии. Она ни о чем не имеет никакого мнения. (Держись, Олимпия, я на твоей стороне!)

Джейсон с широкой улыбкой объявляет туристам, что сейчас они вместе с ним совершат обход "личных резиденций".

Ну до чего же он забавный!

— Вы рискуете, — продолжает их гид, — встретить там некоторых индивидов с чертами австралопитеков (и где только он набрался таких слов!). Но вам нечего бояться, эти личности совершенно безвредны.

Нет, он и вправду уморительный!

Месье Лафейяд, макаронно-мучной магнат, спрашивает Джейсона, в полной ли мере обитатели предместья используют те возможности, что предоставляет им данное предместье.

Джейсон отвечает, что обитатели предместья используют все предлагаемые им возможности и вдобавок демонстрируют при этом необык-

новенную изобретательность. Так, например, они превращают крыши домов в площадки для метания вниз различных предметов, стоянки автомобилей — в прогулочные зоны, а подвалы — в траходромы.

Хи-хи-хи!

Если бы они все были такие забавные, как этот!

Одиль Буаффар спрашивает Джейсона, как местная молодежь проводит свободное время.

Джейсон отвечает: во-первых, балуется наркотой, во-вторых, тырит мобилы. В ожидании двадцатипятилетия, иначе говоря, пособия по безработице. Сам он намерен со временем открыть бар. Где все официантки будут заниматься сексом. Правда, при его доходах открытие бара состоится не раньше, чем ему стукнет годков девяносто. И есть опасение, что трахаться будет уже поздновато.

Нет, он просто неподражаем!

Можно поверить, что и у бедности есть свои хорошие стороны, если она наделяет таким пикантным остроумием здешних обитателей.

Мадам Пит настаивает: разве вы не собираетесь включиться когда-нибудь в активную трудовую жизнь?

Джейсон: включиться? Интересно, каким концом?

Ей-богу, у этого парня на все есть ответ. Какая уверенность в себе! Какая находчивость! И до чего же он мил! Дамы тотчас начинают ворковать и кокетничать с Джейсоном, который, не будь дурак, просек ситуацию и пыжится, словно петух, перед этими надушенными и ужасно демократичными курицами. Его едкие словечки, веселое нахальство и даже манера грубовато толкать в бок этих дамочек приводит их в возбуждение. Этот бер is beautiful![1] "Ах, оставьте, никакой он не бер, что за чушь! Не все молодые парни предместья — беры!" — возражает Одиль Б.

В оправдание нашим дамам хочу уточнить, что Джейсон, которого Лафейяд несправедливо сравнил с обезьяной, на самом деле отличается неподражаемой элегантностью апашей, их ленивыми и в то же время надменными повадками, а его движения, то сонные, то резкие, придают этой элегантности особое обаяние. Разве сравнишь его с писателем Жюльеном Флоше — тот не ходит, а семенит, торопливо и осторожно, ну вылитый бухгалтер!

Эту звериную грацию Джейсон дополняет вихлянием бедер в духе Майкла Джексона, чтобы туристки смогли оценить его выдающиеся (во всех смыслах) мужские достоинства. Он очень надеется пускать их в ход как можно чаще в нынешней поездке. Если у его богатеньких клиенток свербит в одном месте, так он их отдерет как надо, это раз плюнуть. Насчет дамочек он узнал от своего дружка Юни. А Юни — большой эксперт по этой части и за свою жизнь оприходовал целую кучу баб — ясное дело, не даром, а за скромные чаевые.

Словом, наши дамы, как мы уже сказали, пустились во все тяжкие и с игривым хихиканьем смакуют дерзости Джейсона, его беззаботную наглость и томные (чтобы не сказать, попросту скотские) позы. Все дамы — но не Одиль Буаффар; некогда приверженная коммунистическим идеалам, она решительно осуждает этот коллективный психоз. Поведение Джейсона кажется ей в высшей степени непролетарским, ибо ему самым постыдным образом не хватает смирения. И действительно, при ближайшем знакомстве выясняется, что Джейсон напрочь лишен всех плебей-

1. Красавчик (*англ.*). Берами во Франции называют иммигрантов из Северной Африки.

ских качеств, описанных в политических трудах, коими она зачитывалась в своей бунтарской юности, а именно сексуальной сдержанности, неуклюжих манер, а главное, приниженности, заставляющей извиняться за каждый свой шаг. В общем, Одиль Буаффар чувствует, что ее надули.

В центре пустыря валяется сломанный телевизор.

Ни одного деревца.

Ни одного рекламного щита.

Повсюду мерзость запустения.

— Здесь царит вечная зима! — возглашает руководитель; с той самой минуты, как он увидел Олимпию, в глубине его сердца зародилась безбрежная радость, смешанная с безбрежной же печалью.

Что касается Флоше, то его и вовсе не смешат шуточки Джейсона. Вульгарная веселость не подобает писателю, достойному этого звания. "Как обрести утешение в таком месте?!" — трагически вопрошает он. У Флоше литературный склад ума, заставляющий его драматизировать все, что он видит вокруг себя. "Может ли в этом аду расцвести любовь?!" — восклицает он.

— Конечно не может! — поддакивает мадам Пит, пылко одобряющая каждое слово Флоше; она из кожи вон лезет, чтобы добиться его благосклонности (когда еще повезет встретить настоящего писателя!).

И однако именно здесь, в предместье под названием Пески, руководитель воспылал любовью (да-да, назовем вещи своими именами!) впервые в жизни. При виде Олимпии его сердце раскрылось, точно плотина, прорванная бурной рекой, а душу затопила неведомая доселе нежность, нежность ко всему, что касалось Олимпии. Руководитель вдруг почувствовал себя другим человеком; куда только девался тот прежний сухарь с черствым сердцем?! У этого состояния души есть имя, известное некоторым из нас: любовь, которая облагораживает и сердца, и все остальное. Руководитель потрясен до глубины души. Он возрождается к новой жизни. К новому, полноценному существованию. Настолько полноценному и всеобъемлющему, что его вдруг душат слезы.

— Покиньте ваши теплые дома, узнайте вкус слез и нищеты! Ибо невозможно понять нужду, не познавши ее! — в экстазе провозглашает он. — Это предместье, — продолжает он все в том же экстазе, — это предместье похоже на тюрьму. Его холодная бездушная архитектура, его мертвенное уныние, его окна, наглухо закрытые для тусклого дневного света, — все вокруг уподобляет это место тюрьме. Да оно и есть самая настоящая тюрьма. Тюрьма без тюремщиков. Где заключено стадо униженных людей. И эти люди, навеки заключенные в кошмарных многоэтажках, так и умрут, ничего не узнав о красоте мира и не восславив ее. И дети их, заживо погребенные в окружающем уродстве, так и умрут в этом уродстве. А ведь в уродстве таится нечто страшное, несущее зло, отравляющее душу и безнадежно отупляющее людей. И это нечто их убивает.

— Куда он клонит, этот хмырь? — восклицает Джейсон. — Ишь, раскудахтался! Предместье как предместье, нечего делать из него Освенцим!

Но руководитель уже вошел в раж. Он взял на себя миссию открыть богатым туристам глаза на бедствия окружающего мира, дабы их осенил новый Разум, однако сердце незаметно влечет его к иной цели, и эта иная цель — Олимпия, Олимпия и ничего кроме Олимпии. Потому-то все слова, обращенные к богатым клиентам, на самом деле втайне предназначены Олимпии (у руководителя такая же чувствительная душа, как у меня самой). Теперь, когда его сердце пылает любовью к Олимпии, он

ясно видит жестокую, холодную действительность, страдает от нее, плачет над нею, и все зло, которое творится в этом предместье, ощущается им как зло, грозящее Олимпии. А он должен спасти ее от этого зла. Ибо зло можно победить только с помощью любящего сердца. Можно также выразить эту мысль известной поговоркой: любовь способна сдвинуть горы. Впрочем, последнее еще не доказано.

— Здешние жители, обитающие среди уродства, — вещает, уже осипнув, руководитель, — медленно погружаются в бездонное болото апатии.

— Лучше трудились бы поусерднее! — бурчит Лафейяд (и тут же зарабатывает осуждающий взгляд безупречнейшей Одиль Б.).

— С течением времени, — продолжает руководитель, — апатия поглощает людей окончательно и бесповоротно. Их взгляд исполнен апатии и только ею защищается от окружающего уродства. Их сердце исполнено апатии, ибо только ею оно защищается от страданий их близких. И даже их ум, бессильный объять все это позорное уродство, капитулирует и одевается бронею апатии. Все их существо проникнуто апатией и безразличием. Желания мало-помалу остывают. Люди впадают в летаргию. Они опускаются. Им надоедает собственная жизнь с ее вялым течением. Им надоедает все. И если они продолжают влачить это жалкое существование, то лишь по привычке. Опасные классы больше не опасны, — вскрикивает вдруг руководитель, — ибо они отупели и лишились воли. Они мертвы.

Этот тип рехнулся.

Да он сам опасен!

— И только мысль о худшем исходе способна пробудить этих людей, — добавляет руководитель, мрачно сверкая глазами. — Однако в той бездне, куда они низвергнуты, куда низвергла их судьба, спасение от худшего уже невозможно.

— Ничего себе весельчак! — бормочет мадам Дефос.

И ведь придется терпеть его целую неделю, вот ужас-то!

Слава богу, у них есть Джейсон, такой симпатяга! Благодаря его оптимизму богатые туристы смогут храбро перенести все эти мрачные зрелища, предусмотренные программой. Вопрос: каким образом здешний народ, в том числе и наш юный Джейсон, ухитряется сохранить веселость, обитая в столь жутких условиях? И не означает ли данный факт, что подобные условия не так уж и жутки, как кажется на первый взгляд? Это несколько утешает.

Мадам Пит дивится другому: она не видит здесь детей. Мадам Пит любит детей. Она учительница.

— Где же они прячутся? — спрашивает она Джейсона.

— В клетках, — отвечает тот.

— В клетках? — вскрикивает пораженная мадемуазель Фолькирше.

— Я имел в виду лестничные клетки, — уточняет Джейсон с хитрой усмешкой.

— С ума сойти можно от его шуточек! — стонет мадемуазель Фолькирше.

Мадам Пит смеется. Мадам Пит смеется так, словно извиняется. Прикрыв ладошкой рот и мелко тряся плечами. Это слегка напоминает манеру тайваньских актеров, исполняющих роли предателей-тихонь в боевиках с карате (оборот "смеяться исподтишка" вернее всего определяет эту манеру).

А теперь вернемся ненадолго к серьезным вещам: Джейсон излагает туристам утреннюю программу — визит во французскую семью "новых

бедных", посещение подземной автостоянки предместья и, наконец, знакомство с консьержкой классического типа. "На каждое мероприятие отведено полчаса, – сообщает он. – В 11.30 мы должны сесть в автобус. Следующий объект – Моленбек, пригород Брюсселя".

Не теряя времени, Джейсон ведет группу к мадам Гиту́, блок G, 8-й этаж, квартира 813. Жоэль Гиту известна в предместье как женщина, познавшая в жизни всего четыре оргазма с четырьмя работниками коммунальных служб (в предместье всем все известно). Каждое из четырех сношений продолжалось не более десяти минут – ровно столько же длится осмотр у гинеколога. Но, при всей краткости данных соитий, они принесли свои плоды. Ибо от них родилось четверо детей. Да-да, четверо детишек, в сопровождении которых мадам Гиту неуклонно является каждый месяц в Службу социальной помощи с целью разжиться продуктами от Красного Креста.

Жоэль Гиту, долгое время имевшая репутацию шлюхи из шлюх, у которой "вечно кое-где свербит", нынче пользуется величайшим уважением соседей, и все благодаря почти стопроцентно затворническому образу жизни: она и в самом деле практически не выходит из квартиры, по примеру обитающих рядом соседок-мусульманок, – все-таки в межкультурных контактах есть и хорошие стороны.

Джейсон стучится в квартиру 813 и толкает дверь. Мамаша Гиту смотрит телевизор, развалившись на диванчике. Утренние часы для нее хуже смерти. В это время на нее накатывает тоска. Лютая тоска. Которая словно сочится по капле из невидимой капельницы и которую ничем не отгонишь, до того крепко она держит за горло. Слава богу, у мадам Гиту есть отрада – сериал "Пламя любви". Его она не пропустит ни за какие блага на свете. Разве только случится что-то из ряда вон выходящее. Как, например, сегодняшний, нетерпеливо ожидаемый ею визит богатых туристов, которые хотят ознакомиться с положением бедноты в Европе; она совсем не прочь поболтать с ними. Какая-никакая, а развлекуха!

– Все сидим, ни хрена не делаем? – так приветствует ее Джейсон. Мадам Гиту хмурится: "На себя бы поглядел! Да на свою семейку!" Визит начался явно неудачно.

К счастью, в беседу вступает учтивый руководитель; он церемонно здоровается с мадам Гиту и благодарит за честь и удовольствие, которые она доставила им, приняв у себя в доме. Мамаша Гиту слегка оттаивает. "Присаживайтесь, сделайте милость!" И пусть дамы и господа извинят ее за то, что их принимают в этом дерьмовом бараке. Что поделаешь, она вынуждена жить здесь, рядом со всякой швалью, так как ей отказали в новой квартире. А ведь она чистокровная француженка. Ну и что толку, я вас спрашиваю?! Да никакого толку!

Далее мамаша Гиту разъясняет, что самое заветное ее желание – свалить отсюда, пока ее сын Кевин не стал заядлым наркоманом, как другие здешние парни; она мечтает обосноваться в маленьком домике в Ренси, дабы коренным образом изменить свою жизнь. Она уже рассчитала, что могла бы купить такой домишко, взяв кредит на восемнадцать лет под 5,8 процентов годовых. Но у нее нет денег на вступительный взнос, вот в чем загвоздка. На книжке лежит всего лишь 1640 франков. Как умеешь, так и вертись. А что вы хотите!

Сможет ли ее сын Кевин со временем вытащить ее из этой помойки? Она очень сомневается. Пока что он сильно огорчает свою мать. Ужас-

но огорчает. Он плохо учится. И хоть она ему талдычит каждый божий день, что, мол, без ученья одно мученье, он плевать хотел на занятия, только и знает, что играть в Game Boy[1], а его средний балл ниже шести (это из двадцати-то!). Он остался на второй год в пятом классе и наверняка повторит четвертый[2], но жизнь-то — ее ведь не повторишь, верно? Скорее всего, он пойдет по стопам своего папаши, будет таким же мерзавцем и бабником. Так говорят все матери в предместьях, отчаявшиеся наладить свою жизнь.

— Какую же профессию ваш сын хотел бы получить в дальнейшем? — спрашивает мадемуазель Фолькирше голосом телеведущей, таким сладким, словно угощает пирожными.

Мамаша Гиту мечтает, чтобы ее сын стал кладовщиком, но к этому нужно иметь призвание. Мадемуазель Фолькирше спрашивает себя, не издевается ли над ней мадам Гиту, но не подает вида, что озадачена.

— В общем, кем захочет, тем и будет, — заключает мамаша Гиту. "Кем захочет" означает "никем".

В этот самый момент добрейшая мадам Пит обращается к девчушке, уцепившейся за юбку мамаши Гиту.

— Ну, а ты кем будешь, малышка? — Оробевшая девочка сует пальчик в рот.

— Вынь палец! — орет мамаша Гиту.

— Вынь, кому говорят! — И она грубо вырывает пальчик изо рта дочери, которая тут же начинает плакать навзрыд. — Прекрати сейчас же, а то возьму да суну твой палец в зад Юки, пускай вымажется в дерьме! Господи, ну как ее отучить от этой поганой привычки! — вздыхает мамаша Гиту, безнадежно разводя руками.

Миротворица мадам Пит просит девочку нарисовать ей что-нибудь. Та вытирает слезы и принимается усердно малевать на листке бумаги. "А что это у тебя на крыше, деточка?" — умильно спрашивает мадам Пит. Это параболическая антенна. Которая заменила каминную трубу и дымок спиралью. Технический прогресс не остановишь.

Месье Буаффар, одержимый жаждой научных изысканий, спрашивает у мадам Гиту, каковы ее жизненные ориентиры.

— Каковы... чего?

С простыми людьми и говорить нужно просто. Итак, чего ей не хватает для достойной жизни?

— Да мне только одно и надо, — объявляет мамаша Гиту, — пускай эти "социалы" оставят меня в покое. Один раз они уже подложили мне свинью, хватит, больше не желаю. Представляете, сказали, будто я, мол, плохо обращаюсь с детьми, и отправили их в приемную семью, а там держали взаперти. Но мои дети не звери, чтоб их держать в клетке! — вопит она.

Туристы бросаются успокаивать мадам Гиту. Одиль Б. с состраданием во взоре гладит ее руку, надеясь таким образом вытянуть из этой женщины несколько пикантных откровений. Нужно же компенсировать затраты на путешествие, хотя бы в плане чувственных эмоций!

Мадам Гиту долго уговаривать не приходится, она шумно вздыхает (вы даже не представляете, сколько я вынесла!), и признания сыплются из нее, как из дырявого мешка (мусорного). Туристы довольны: вот она,

1. Электронная игра.
2. Во французских школах классы нумеруются в обратном порядке, первый является выпускным.

истинная, неподдельная грязь! Особенно ликует Флоше, писатель: он лихорадочно строчит в своем блокноте. Нет, он вовсе не собирается кропать социальный роман — фу, какая гадость эти романы! Просто он хочет "попасть в струю", иными словами, научиться спокойно воспринимать всякие мерзости. А мерзости в этом сезоне, кажется, вошли в моду.

Мадам Гиту, в экстазе от того, что очутилась в центре внимания сострадающих слушателей, пускается в бесконечно долгий рассказ о своей поганой "жисти", тем более долгий, что эта "жисть уж такая поганая, такая поганая! Сколько раз ей приходилось описывать ее и судье по детской опеке, и воспитателю, и соцработнику, и психиатру — не сосчитать. (Кстати, среди туристов нет ни одного психиатра, а жаль: путешествие вышло бы куда более интересным!) Мамаша Гиту здорово насобачилась рассказывать свою "жисть" и умеет затронуть самые чувствительные струны души. Те, что напрямую связаны с кошельками слушателей.

Первые трое мужчин в жизни мадам Гиту буквально загипнотизировали ее (другого слова не подберешь), но, едва встав с постели, дали дёру. Что касается последнего, отца Лалы (той, что сосет палец), это был негритос из Ганы — настоящий колдун, ей-богу! — так он, представьте себе, вздумал заявить свои родительские права на малышку и увезти ее в свои поганые джунгли, к обезьянам. Но она быстренько обезвредила этого мерзавца, прибегнув к аргументу, который, будучи совершенно недоказуемым, тем не менее действует безотказно: опасность сексуальных домогательств. И судья моментально решил дело в пользу мадам. Попробовал бы он решить иначе!

И мамаша Гиту роняет слезу, вспоминая эти грустные события.

Мадам Жубер, не сдержавшись, судорожно всхлипывает. "Бедная женщина!" — причитает она тем же скорбным голосом, каким прощается со своим любимым йоркширом Бастером, расставаясь с ним на пару дней.

Взрыв чувств. Незабываемый миг!

Мадемуазель Фолькирше упивается экстазом социального равенства (который протянет столько же, сколько живут срезанные розы, — минимум два дня). Услады альтруизма — какое восхитительное занятие!

Даже месье Жубер, известный в своем кругу непробиваемой бесчувственностью, не может сдержать волнения. Он шумно сопит. Это прекрасно!

— Возьми себя в руки! — сердито шепчет Дениза, его супруга, которая не терпит конкуренции в области милосердия.

Слезы умиления блестят и в глазах мадам Дефос. Она потрясена. Хотя жалобы мамаши Гиту, в общем-то, очень похожи на душераздирающие признания ее уборщицы Сибиду, которые так волнуют саму рассказчицу, что существенно замедляют темпы уборки, а в самых патетических местах — коварные измены, драматические разрывы и пламенные примирения (ну и темперамент же у этих людей!) — и вовсе вынуждают ее прекратить работу!

Между тем в беседу вмешивается руководитель. Он намерен дедраматизировать ситуацию. Теперь он похож на Ги Маршана[1] в роли ворчливого, но доброго сыщика. С отеческим участием он наклоняется к девчушке:

1. Ги Маршан (р. 1937) — французский актер и эстрадный певец, исполнитель роли частного сыщика Нестора Бурма, в детективном телесериале по романам французского писателя Луи Малле.

— Как тебя зовут, дитя мое? — Та сейчас же испуганно съеживается и прячет лицо в юбках матери.

— Ну, говори, как тебя зовут! — орет мамаша Гиту дочери. Малышка снова начинает реветь. — Может, хватит скулить, а? — Ребенок плачет навзрыд. — А ну, кончай сейчас же, кому я сказала! — Бац! — и раздается смачная оплеуха.

Рыдания звучат тоном выше. Флоше, переполненный эмоциями, строчит в блокноте как одержимый. Он ясно чувствует: в нем зарождается роман. Он уже видит его. Он уже его видит!

— Ты заткнешься или нет, дрянь поганая! — вопит мамаша Гиту. — Прекрати, а то еще залеплю!

Девчонка заходится криком, давясь соплями. Бац! — вот и вторая затрещина. Таков воспитательный метод мамаши Гиту. Метод, апробированный неоднократно и хорошо известный всем нам, ибо он стар как мир и весьма эффективен: хорошая оплеуха встряхивает мозги и враз ставит их на место. Да, этот метод может дать прекрасные результаты при одном условии — если им не злоупотребляют. Хотя, надо признать, он грешит некоторой отсталостью. Если бы мамаша Гиту читала "Глорию", она бы знала, как следует воспитывать детей по современной методике. Но, увы, "Глория" стоит целых пятнадцать франков. А выбросить пятнадцать франков на какой-то журнальчик — еще чего не хватало! Это же цена бифштекса!

Итак, мамаша Гиту держит своих отпрысков в ежовых рукавицах, но притом она их пылко любит и не в силах расстаться с ними даже на полдня. А уж отправить в летний лагерь — об этом и речи нет! Или, к примеру, на море. Да успеют они еще повидать это самое море! И вообще, на черта оно им сдалось, обойдемся и без него. Вот она и сформулировала, сама того не заметив, основополагающий принцип нужды: обходиться БЕЗ. Можно обойтись БЕЗ моря и БЕЗ мечты о море; можно обойтись БЕЗ пылкой любви с ее восторгами, бурями и объятиями; можно обойтись БЕЗ слов, превозносящих красоту; можно обойтись БЕЗ всего на свете и тем не менее прожить жизнь. Вот он — девиз, внушающий оптимизм и надежду, не так ли?

Мамаша Гиту твердо уверена, что она и ее дети должны жить вместе, в тесноте, да не в обиде, настолько они привязаны друг к другу, настолько им хорошо, даже когда они ругаются, ссорятся, обижаются, а иногда и дерутся между собой. Не это ли и есть дефиниция семейного счастья?!

Ибо мамаша Гиту охотно признает, что даже в такой "поганой" жизни ей выпало счастье наслаждаться теплом домашнего очага и радостями материнской любви. Коим нет числа, это-то все знают. Тем более что есть бабы и хуже. Эта мысль ее утешает — что есть бабы хуже, чем она, много хуже, гораздо хуже, настолько хуже, что хуже некуда. Худшему нет предела — такова и будет мораль нашей книги.

Однако пора уходить. В 10.30 по программе туристов ждет следующий визит. Прощание. Взаимные уверения в горячей симпатии. Извините за беспокойство.

Мамаша Гиту просит: "Не забывайте меня!" И все как один пристыженно отвечают: "Ну конечно!" Пристыженно, ибо прекрасно знают, что их обещание — ложь. Вот отчего они усердно повторяют его. Множество раз.

Группа покидает гостеприимный кров мамаши Гиту. Толпится в коридоре. Все достопримечательности, с которыми их ознакомили, мож-

но назвать поразительно психотонизирующими. Поразительно! Можно даже сказать, что они в высшей степени полезны как сердцу, так и уму. Сердце получает щедрый заряд эмоций. А ум пускается в странствие по новым, неизведанным тропам. Каковое странствие уводит его за пределы обычного мира. Раскрывает перед ним широчайшие горизонты. Боже, как это чудесно! Как вдохновляет! Как обогащает!

Особенно фирму "Real Voyages", ухмыляется Джейсон; вот глупый парень, чуть не испортил им впечатление! Но Джейсон тут же исправляет свой промах. Извините, он просто сожалеет, что этот маршрут не дает местному населению никаких преимуществ мерчандайзинга, свойственного традиционному туризму. Почему бы, например, какой-нибудь фирме не начать выпускать майки со слоганом "Твою мать!", сборники подрывного рэпа, граффити в алюминиевых рамочках и прочие пикантные сувенирчики?

Неужто он говорит серьезно? Или это одна из его шуточек, над которыми нужно смеяться? А может, провокация, требующая немедленного отпора? Чета Буаффаров пребывает в растерянности. Но тут Лафейяд испускает неуверенный смешок, и Буаффары тотчас подхватывают его. Ох уж эта молодежь!

— Как представлю, что могла бы родиться здесь, прямо мороз по коже! — объявляет мадемуазель Фолькирше.

Жюльен Флоше уже планирует ввести в свой следующий роман такую вот мамашу Гиту; он назовет ее мамашей Гитар. Он старательно записал все ее россказни, не преминув добавить несколько ядреных словечек местного розлива. Ибо Флоше твердо намерен использовать это путешествие для обогащения своего лексического запаса. Он не позволит обойти себя новому поколению романистов, всем этим зубастым акулам вроде Рюдье, Десмона, Габера, Ларсона и компании. Прослыть отставшим от жизни — да от одной этой мысли уже тошно. Хотя ему, честно говоря, далеко за сорок. Отметим в скобках, что три месяца назад он подписался на "Technikart"[1]. Чтобы идти в ногу с прогрессом.

Олимпии, бредущей в хвосте группы, хочется плакать. Она и сама не знает почему. У нее, как всегда, вид жертвы. Моя любовь ей, увы, не помогает. Олимпия испытывает странное чувство: ей кажется, будто она идет в похоронной процессии.

Стоп!

Руководитель, которому вовсе не улыбается уступить ведущую роль Джейсону, останавливает группу между блоками H и I, дабы произнести очередную речь. Руководитель не может похвастаться ни красотой, ни обаянием и решил компенсировать это избытком серьезности. Большинство гидов абсолютно невежественны и прикрывают дефицит культуры дурацкими историческими анекдотами, как правило вымышленными in toto[2]. Но наш руководитель отнюдь не таков. Семинария привила ему вкус к извечным вопросам бытия и страсть то низвергать людей в бездны сомнений, то возносить их к вершинам духа.

Это какому-нибудь Джейсону подобают едкие шуточки, провокации и хиханьки-хаханьки. Руководителю же приличествуют серьезность, глубина, исторический или, я бы даже сказала, философский склад ума. Каждому свои цацки.

1. Модный интеллектуальный журнал.
2. Полностью (*лат.*).

— Вам, кому неведомы людские горести, — провозглашает руководитель (и никто не смеет ему перечить), — вам, кому неведомы людские горести, ибо вы живете в холе и неге, а значит, толком ничего не знаете (туристы недоуменно переглядываются), вам предстоит совершить путешествие по Европе, исключенной из туристских путеводителей, по Европе, исключенной из сферы мысли, по этой вот Европе! — и руководитель величественным жестом пророка указывает на кварталы предместья. — Не будучи вашим духовным наставником, — продолжает он, — я все же хочу, чтобы путешествие это стало для каждого из вас внутренним испытанием, из коего вы выйдете очищенными и преображенными.

— Ну, совсем спятил, — бормочет Лафейяд.

— Вы станете ангелами — провозвестниками сострадания, — объявляет руководитель.

Господи, что он несет!

— ...и героями, — добавляет он, — ибо человеку потребен героизм, дабы неустанно бороться с собственной тягой к удобной слепоте. Ему нужен героизм, дабы усвоить то знание, коего вы отныне будете единственными носителями, чего вам не простят оскорбленные невежды. И перед теми ужасающими картинами, что откроются вашему взору, — вещает руководитель, — вы сможете проявить качество, которое царь Соломон почитал наидрагоценнейшим даром, обретенным людьми, а именно мудрость сердца. Только мудрое сердце даст вам силы жить дальше с этим тяжким знанием.

Ничего себе перспективка!

— Эта столь живописная Европа, которая всегда похвалялась тем, что открыла миру образец совершенства, ныне кажет вам, осмелюсь произнести, свой неприкрытый зад. И пока всякие трусливые критики-теоретики высокопарно разглагольствуют, боясь, простите мне эту дерзость, сунуть туда нос, пока политики дерут глотки, озвучивая свои сколь головоломные, столь же и пустые декларации, пока большинство обывателей тупо смотрит на телеэкран, усыпляющий их совесть или, наоборот, бьющий по нервам серией катастроф, и смакует вкусное жаркое, восклицая между двумя кусками: “Какой ужас!”, вы, туристы нового типа, вы, туристы двадцать первого столетия, избрали для себя иной путь — путь познания Европы, могу даже сказать, путь испытания Европы в подлинно европейском духе (духе, который не умрет даже с гибелью Европы, я в этом убежден!); короче, вы решили сами все увидеть и все осмыслить, в противоположность огромному числу людей, живущих с закрытыми глазами и закрытым сердцем, что неизбежно приводит их в конечном итоге к самому злостному негативизму, — можете мне поверить, я знаю, что говорю.

Он знает, что говорит? Да он просто мелет чушь!

Бред собачий!

— Совершая это паломничество по свалкам и пустырям Европы, — продолжает руководитель, — вы отваживаетесь сойти в ад реальности. Ибо ваше путешествие, дамы и господа, есть не что иное, как спуск в реальность. Это предместье — реальность. Реальность, воплощенная в этих кварталах и ставшая кошмаром. Все, что вы видите здесь, — реальность, понятно ли вам это? Все, что здесь имеется, — реальность с ее ужасным, безжалостным лицом. С ее полнейшим убожеством. И никакое, даже самое яркое освещение не способно ее приукрасить. И никакая теогония не преобразит ее природу. Эта реальность лишена прошлого, лишена ис-

тории, ничто не возвеличит, не облагородит ее и не прояснит ее загадки. Берегитесь! Эта ужасающая тривиальность, которая гнетет обитателей предместья, раздавит и вас, едва наступит ваш черед. И тогда душу вашу поразит страх. И вы почувствуете себя осквернеными. А затем наступит для вас время горьких раздумий. И время слез.

Туристы, испуганные этой проповедью, с одурелым видом топчутся между блоками H и I.

Издали группа выглядит здесь чужеродным телом. Хотя руководитель рекомендовал своим клиентам одеться поскромнее, они все равно смотрятся вызывающе яркими. Незваные гости. Пришельцы. Живые мишени. Им вдруг хочется съежиться, стать незаметными. В течение нескольких минут — правда, всего нескольких, — они чувствуют себя, в сравнении с Олимпией, абсолютно лишними. Знаменательный, незабываемый момент.

И когда Джейсон предлагает им направить стопы к подземной стоянке, они облегченно вздыхают.

На стоянке темно, и только свет, проникающий в ворота, позволяет туристам разглядеть бетонный пол, заваленный мусором, и размашистую надпись на стене: ЧТОБ ВЫ СДОХЛИ!

Туристы осторожно продвигаются вперед. И по мере того как они продвигаются, их беспокойство растет и растет.

Мадам Жубер испускает пронзительный вопль, когда супруг кладет ей руку на плечо. Все в ужасе вздрагивают.

Мадемуазель Фолькирше бросает: "Ну, трэш!"; это слово гулко звучит в безмолвии подземелья. Мадемуазель Фолькирше произнесла слово "трэш" с целью обратить на себя внимание Флоше, писателя и творца (решительно пользующегося успехом), которого она клеит с самого начала поездки. Остается узнать, принял ли он это тонко зашифрованное послание.

Мадам Дефос вопрошает: "Может, я сплю? Ущипните меня! Эдуар, ущипни меня!" Но эта наигранная чувствительность мадам Дефос сильно раздражает ее мужа, который сухо приказывает: "Пройди-ка вперед!" Сам он демонстрирует в этой ситуации замечательный стоицизм. Даром что филантроп, желающий добра всему человечеству, он вовсе не намерен устраивать драму из посещения самой обычной автостоянки. "Ну же, приди в себя, хватит кудахтать!"

"Бесплодна и горька наука дальних странствий!" — декламирует вдруг Флоше sotto voce[1]. Это строка из Бодлера[2]. Которая, при всей ее поэтичности, не способна украсить лицо Флоше. Ибо это лицо очень уж невзрачно — вялый рот, срезанный подбородок, хитрые, бегающие глазки. (Ой, господи, кажется, я сказала слишком много — боюсь, теперь его нетрудно будет узнать!) И уж конечно, этой высокопарной строке не под силу облагородить столько неприглядных черт, собранных вместе.

Поэтическая цитата Флоше воспринимается окружающими неоднозначно.

Мадам Пит изумленно хлопает глазами.

Джейсон про себя обзывает нашего эрудита шутом гороховым, что ясно видно по иронической ухмылке, перекосившей его нижнюю челюсть.

1. Тихо (*итал.*).
2. Ш. Бодлер. Плаванье. Перев. М. Цветаевой.

Одиль Б. находит в этом цитировании признак мерзкого снобизма, имеющего целью запудрить мозги невинным простодушным созданиям. Интересно, кого она имеет в виду?

Что же до мадемуазель Фолькирше, то она расценивает декламацию стиха как декларацию любви, предназначенную лично ей. И она не так уж неправа.

Шофер Вюльпиус, подошедший к группе, вообще ничего не думает об этом любителе стишков. Его уже ничем не удивишь. Он повидал всяких туристов, вплоть до самых эксцентричных. И в ожидании конца рабочего дня все воспринимает как истинный философ. Иными словами, ничего не берет в голову. Иными словами, ни во что не ввязывается. А это требует специального настроя. Который состоит не в равнодушии, как можно было бы предположить, но в способности воспринимать действительность, не осмысливая (впрочем, я уже повторяюсь). И если шофер, как уже говорилось, затесался в группу к концу экскурсии, то лишь с целью рассеять скуку. Ибо когда сидишь в автобусе, поджидая туристов, время тянется жутко долго. А это предместье он знает вдоль и поперек. Поскольку сам здесь живет. Вот уже тридцать лет. Более того, именно через шофера агентство и установило все нужные контакты.

Тем не менее шофер Вюльпиус никак не может уразуметь, какое противоестественное желание, какое нездоровое любопытство одолевает этих богатых, благополучных туристов, которые могли бы, если бы захотели, посещать красивейшие прославленные объекты показа типа Тадж-Махала, Крак-де-Шевалье[1] или пирамиды Хеопса; так вот, шофер Вюльпиус никак не может взять в толк, какие извращенные наклонности, какие порочные страсти влекут этих ненормальных туристов к столь мрачным пейзажам. Оч-чень подозрительно!

И если эти запавшие на нищету психи, как окрестил их Джейсон, сорвались с места в поисках уныния и уродства, то на фига им колесить по всей Европе, когда достаточно просто сесть в метро каким-нибудь особенно мерзким утром и разглядывать лица своих попутчиков или свою собственную физиономию в стекле вагона. Тоска и уродство найдутся повсюду, где их готовы терпеть.

Но шофер Вюльпиус не выражает своего недоумения вслух. Во-первых, он молчун от природы, во-вторых, турагентство строго запретило ему давать неодобрительные или, упаси боже, критические оценки предложенному маршруту. Этот обет молчания, которым связан шофер, агентство компенсирует ему возможностью участвовать в экскурсиях и питаться вместе с клиентами. "Real Voyages" проявляет неустанную заботу о благополучии своего персонала.

Джейсон спрашивает у мадам Пит, нравятся ли ей граффити и рисунки, украшающие бетонные стены, — мужские члены всевозможных калибров. Та краснеет до ушей, но ее умильный влажный взгляд сохраняет выражение непоколебимой доброты.

Мадемуазель Фолькирше мало-помалу вдохновляется. Она находит, что это место обладает идеальными параметрами для рейва — темнотой, благоприятствующей трансу, и достаточной удаленностью от города. А чтобы дожать "деструктив", можно подсказать модным дизайнерам идею *художественного* разорения телефонных будок и *художественного* сожже-

1. Крепость крестоносцев в Сирии.

ния автомобилей, это внесет несколько цветовых пятен в ансамбль, где ныне царит однообразный серый цвет. Вернувшись из путешествия, она непременно обсудит эту тему со своим другом-рекламистом Люком Отраном. Мадемуазель Фолькирше никогда не забывает уточнить профессию своих друзей. Она говорит: Жак Рибо, журналист; Фернан Понсе, хранитель музея; Шарль Вандек, кинорежиссер. Таков ее стиль. Мадемуазель Фолькирше уже мысленно планирует организацию концертов "техно" и выставок авангардного искусства в этих местах. Она думает о своем друге Растоке, всемирно известном скульпторе, который мог бы устроить здесь (а почему бы и нет?) гигантскую инсталляцию. Мадемуазель Фолькирше обожает новейшие формы искусства, весь новейший абсурд и прочую постоянно обновляемую бредятину, да простит мне читатель столь бесцеремонные выражения. Остается решить проблему шума, говорит мадемуазель Фолькирше, он может потревожить местных жителей. Впрочем, децибелы звуковой аппаратуры все равно будут заглушены ревом автострады, который буквально бьет по мозгам. Архитекторы забыли установить здесь противошумный барьер. Ну не болваны ли!

Жюльен Флоше находит мадемуазель Фолькирше весьма уверенной в себе особой, наделенной пылкой фантазией и неоспоримой красотой. Нужно заметить, что блеску этой красоты немало способствует окружающая серость. Вот он, принцип светотени в живописи, когда свет подчеркивается тенью, а не наоборот; любопытно, не правда ли?

Флоше, который жаждет славы, хочет примазаться к проекту мадемуазель Фолькирше и горячо одобряет его. "И в самом деле, — шепчет он, устремив блуждающий взор в пространство, — от этого места веет чем-то в высшей степени романтическим. Все эти серые краски, серые оттенки..." И, в подтверждение сказанному сославшись на Гёте, объявляет, что серый — это цвет умозрительного. Похоже, цитирование великих — его профессиональный бзик. Он так жаждет произвести впечатление на публику и подчеркнуть разницу между собой и низкой чернью, что, по-моему, временами перегибает палку.

Мадам Пит заприметила на полу сломанный амбарный замок. "О! Замок!" — восклицает она, поднимая ржавую железяку, точно редкий цветок. Мадам Пит всегда привозит из турпоездок сувениры, которые хранит в застекленном шкафу своей медиатеки. Но, боюсь, среди ее дисков, альбомов по искусству и прочих безделушек сломанный замок едва ли будет смотреться уместно. Впрочем, это мое сугубо личное мнение.

Группа покидает автостоянку.

Мадемуазель Фолькирше невмоготу: она стыдливо шепчет Джейсону, что ей нужно в туалет. Однако в этих местах общественных уборных не имеется, их с успехом заменяют лифты и лестничные клетки. Джейсон советует мадемуазель присесть и пописать за одной из машин. Пускай другие дамы заслонят ее. А если кто вздумает наблюдать из окон, зрелище все равно будет куда менее шокирующее, чем схватка питбулей. Хи-хи-хи!

С невыразимым шиком мадемуазель Фолькирше приседает и делает по-маленькому. "Ну до чего же забавно! Представляю, как расскажу об этом своим друзьям!" Поступок мадемуазель Фолькирше приносит ей огромный успех. Олимпия просто потрясена ее бесстрашием. Флоше все сильнее проникается ее очарованием. Если эта женщина так стильно писает, то как же стильно она делает все остальное! "А впрочем, не стоит увлекаться, — одергивает себя Флоше. — Это грозит нарушить мой

творческий процесс!" Увы, либо творчество, либо секс — такова жестокая дилемма, разрывающая его писательское сердце.

Мадам Одиль Буаффар, стоя поодаль, в ярости объясняет мужу, что это типичное явление: в любом сообществе всегда бывает подобная истеричка, которая жаждет выпендриться всеми дозволенными и недозволенными средствами. "Только пусть эта нахалка не рассчитывает устраивать свои шоу за мой счет!"

Да, между Одиль Б. и мадемуазель Фолькирше явно пробежала черная кошка. И продолжение следует.

Последний номер программы — экскурсия в жилище консьержки. Наши туристы, раз уж они сюда попали, не хотят упустить ни одной сцены из захватывающего зрелища нужды. Нужда служит просвещенным умам наилучшим допингом. Который подстегивает их. Разогревает. Возбуждает. Я твержу это с риском надоесть вам. Но некоторые истины, знаете ли, только выигрывают от частого повторения.

Джейсон интересуется, не желает ли какая-нибудь из туристок побеседовать с консьержкой. Хотя он считает своим долгом предупредить, что та — настоящая холера. Но ни мадемуазель Фолькирше, ни Одиль Б., ни мадам Пит, ни мадам Дефос — в общем, ни одна из этих дам никогда не бывали в гостях у консьержек из предместья и не находят в себе сил успешно провести подобную беседу. Да и с какого боку взяться за это? Им совершенно неизвестно, с чего начать разговор и чем кончить. Нет уж, увольте! Их презрительный отказ напоминает возмущение добропорядочного коммерсанта, к которому пристает шлюха.

Ну да бог с ними, Джейсон отличнейшим образом справится сам. Он звонит в каморку консьержки, та приоткрывает дверь; в щель видна ее недоверчивая кривая ухмылка. Джейсон объясняет, что привел группу туристов, вчера он ей говорил о них, эти дамы и господа желают ознакомиться с положением беднейших слоев Европы.

— Скажи, что мы им тут не макаки в зоопарке, — отрезает консьержка к великому изумлению Джейсона.

— Именно что макаки, — со смехом отвечает он. — И ты, и я, и Олимпия, почти все мы здесь макаки.

Олимпия громко смеется. Эта синкретическая гипотеза ужасно развеселила ее.

Консьержка, чуточку оттаяв, интересуется, чего эти люди хотят на самом деле. Где тут собака зарыта? Может, они и не туристы вовсе, а переодетые инспекторы жилищной управы, решившие застать ее врасплох? Потому что явиться к человеку в дом просто так, с бухты-барахты — да она ни в жисть им не поверит! Ври кому другому, меня не обманешь! Ежели эти господа пришли глазеть на нее, то либо у них есть свой интерес, либо они извращенцы, объявляет консьержка, которая совсем недавно выучила это слово и пользуется им "для шику". "Или, может, они вовсе дураки безмозглые", — добавляет она и хохочет, держась за живот.

Одиль Б. шепотом сообщает мужу, что по консьержке просто дурдом плачет. Подумать только — и эта женщина несет ответственность за безопасность жильцов! Вот и удивляйтесь после этого, что предместья деградируют в таком бешеном темпе!

Лафейяд, также шепотом, сетует на враждебность бедняков к незнакомым людям. "Вот, не правда ли, еще одна — скрытая — форма расизма?!"

Джейсон, расслышавший эти слова, не сразу реагирует на них. Но самому себе он твердо обещает заткнуть глотку этому кретину. И чем скорей, тем лучше.

Руководитель, желая охладить страсти, объявляет консьержке:

— Извините, сударыня, не смеем вас больше задерживать. — После чего любезно откланивается.

— Ишь ты, какой вежливый! — бурчит консьержка, которая не склонна слишком тщательно блюсти правила городского политеса (явно расходящиеся с теми, отмечает Флоше, коими руководствуются жители предместий).

Вся группа с радостным облегчением спешит к автобусу. По дороге Джейсон на минуту останавливает своих клиентов перед блоком А.

— Вот здесь проводятся бои питбулей, — сообщает он.

— Притом средь бела дня, — добавляет руководитель.

— Потрясающе! — восклицает мадемуазель Фолькирше.

— И дети, — продолжает руководитель с патетическим надрывом, достойным главы Ватикана, — дети смотрят из окон на эти смертельные собачьи схватки. Кровожадное рычание псов смешивается с криками делающих ставки зрителей, которые воображают себя брокерами с Уолл-стрит, и весь этот дикий гомон достигает слуха невинных отроков. Ставки поднимаются до двадцати тысяч франков, и тусклые глаза игроков горят алчным нетерпением. Визг издыхающих собак и свирепые вопли их людских собратьев проникают в нежные детские души и навсегда отравляют их. В школе детям твердят о гуманности, о моральных устоях. Но для них эти слова — пустой звук. Они признают лишь простой закон: когда два питбуля сцепились меж собой, один из них должен погибнуть. И этот закон разбивает их сердца. Или, напротив, делает их тверже камня.

— Иногда кто-нибудь из этих детей, — продолжает руководитель, который надеется, что его слова затронут Олимпию, — например какая-нибудь девочка, в силу божественного предопределения сохраняет нежное, мягкое, как хлеб, сердце. Но долго ли бедняжка сможет пронести это сердце по жизни, не разбив его на цементном полу бытия?! — вопрошает он таким скорбным тоном, что всем кажется, будто у него сейчас брызнут слезы.

Ай да руководитель! То ли он расстрига, то ли поэт. В любом случае, за ним глаз да глаз!

Конец экскурсии.

Давно пора!

Все садятся в автобус. Следующий пункт назначения — Бельгия.

Мадам Жубер протягивает Джейсону стофранковую бумажку. Мадам Жубер — открытая душа, она переполнена добрыми чувствами, которые так и рвутся наружу. Следуя этому замечательному примеру, Одиль Б. тоже сует две монеты в карман брюк Джейсона. "Эй, секс на работе запрещен!" — восклицает тот, прикрывая с наигранным испугом свои выпирающие из джинсов причиндалы. Одиль заливается краской. Все-таки этот молодой человек переходит все границы приличий.

Дальнейшая программа предусматривает короткий осмотр Моленбека, самого бедного квартала в Брюсселе, а затем ужин в таверне "De Zilveren Lepel", в лесу Ла Камбр.

Вот мы и на месте.

На закуску устраивается небольшой сеанс самобичевания: ужин в ресторане (вздохи), после всего, что мы видели и слышали (тяжкие вздохи), не правда ли, это высшая форма цинизма (за ваше здоровье!), не правда ли, это просто позор — в наше-то время терпеть рядом с собой такие несчастья!

Самоуничижительный этап вскоре сменяется этапом обличения. Здесь тон задает Флоше, впавший в лихорадочное красноречие типично левацкого толка. Из его уст потоком льются священные слова: истина, справедливость, народ, — чистые, как слеза младенца. И пускай те, кому на это наплевать, поднимут руку! Естественно, никто не поднимает — дураков нет! Даже Джейсон, которому не терпится встрять в беседу, сидит смирно. Однако пламенное красноречие Флоше быстро гаснет. Ибо Лафейяд, фигура номер один в области макаронно-мучных изделий, имеет наглость возразить, что доходы бедняков не так уж и жалки, как это думают некоторые: они живут на пособие (изучайте национальную статистику, там полно данных на этот счет!) и освобождены от налогов. В общем, о них вполне хорошо заботятся. Так же хорошо, как об инвалидах.

Одиль Буаффар устремляет на Лафейяда немигающий взгляд горгоны Медузы.

Что не мешает месье Дефосу вставить, причем вполне убежденно, что нет такого несчастья на свете, из которого невозможно извлечь выгоду.

Одиль Буаффар возмущена до предела, о чем ясно свидетельствует написанное на ее лице крайнее презрение. Флоше разъярен не меньше, но врожденное великодушие не позволяет ему открыто проявлять свои чувства. Что ж, отныне он будет вынужден опускаться до уровня своих спутников.

Далее следует аналитический этап. Кто виноват? На ком лежит ответственность за все неправедные деяния? Где они, эти адские псы, — зарубить бы их топором на месте! По последним сведениям, главный злодей — Рынок. Который правит миром, как ему вздумается. Что жутко усложняет ситуацию. Ибо народы еще не научились противостоять этому злу. Разве только с помощью громких слов. Но Рынку плевать на громкие слова. Он не обладает поэтическим складом.

И наконец, последняя фаза — самооправдание. Боже мой, как вспомнишь всех этих людишек — так называемую элиту страны! — что красуются в белых одеждах и с крылышками за спиной на коктейлях и банкетах! Мы-то, по крайней мере, вплотную подошли к реальности, да-да, к реальности, которая не лжет, которую невозможно отрицать. Всеобщее удовлетворение.

Олимпия, никогда не бывавшая в дорогих ресторанах, изумленно озирается. Люстры с хрустальными подвесками, наверное, стоят кучу денег. Картины в золоченых рамах, наверное, стоят кучу денег. Камин из тесаного камня тоже, наверное, стоит кучу денег. Здесь все-все, наверное, стоит кучу денег. Олимпия просто потрясена. И оттого ее лицо приняло глуповатое выражение.

А уж заглянув в меню, которое вручил ей метрдотель, Олимпия и вовсе растерялась. Что ей выбрать, если там нет чизбургеров? Руководитель приходит ей на помощь, заказав филе-миньон с грибным соусом. Об этом блюде Олимпия будет вспоминать всю оставшуюся жизнь.

Олимпия слушает разговор туристов, ничего или почти ничего в нем не понимая. Она так и говорит: совсем не въезжаю.

Но хоть Олимпия и не может "въехать" в рассуждения своих спутников, она находит их замечательными и страдает оттого, что никак не попадет в струю. Можно ли участвовать в умной беседе, если не знаешь самых нужных слов?!

Приятного аппетита, говорит она, расхрабрившись; так бросаются в холодную воду. И смотрит на мадемуазель Фолькирше, стараясь прочесть в ее глазах, какое впечатление произвело ее "приятного аппетита". И не считает ли она Олимпию дурочкой. Но мадемуазель Фолькирше вообще игнорирует эту девчонку, как там ее зовут. Минерва, что ли? Честно говоря, мысли мадемуазель Фолькирше заняты совсем другим. Впрочем, и все остальные туристы не обращают на Олимпию никакого внимания. Олимпия для всех — пустое место. Может и вовсе исчезнуть, никто не заметит. Вы уж ее простите великодушно.

Олимпия мечтает научиться вести себя непринужденно, как дамы типа мадемуазель Фолькирше. Олимпия находит ее просто потрясающей. И по характеру, и по внешности. Вот это класс! Полный отпад! Настоящая женщина! Никакого сравнения с подружками Олимпии. Где уж им! И при этом как просто держится, умереть можно!

Ах, до чего хочется выглядеть так же шикарно!

Но нет, она лишняя на этом празднике жизни.

Для кого лишняя?

Для всех и для всего.

Одно только присутствие мадемуазель Фолькирше доказывает Олимпии, что на свете бывают иные способы существования, не похожие на ее собственную жизнь, куда более утонченные, более взыскательные, более возвышенные, в общем, совсем другого замеса и безнадежно далекие, отрезанные от нее непреодолимой пропастью. Но и это открытие Олимпия ощущает как-то смутно, не в силах внятно сформулировать его для себя. И Олимпия замолкает. Сидит и теребит волосы. Так бывает всякий раз, когда у нее слова не идут с языка. Прямо беда с этими словами: ну не получается у Олимпии складывать их в четкие фразы. И это жутко осложняет дело. Чтобы не сказать — губит. Ибо никто не может говорить вместо другого человека. Вот разве что я осмеливаюсь. Выступать от имени Олимпии. Без всякого стеснения. В полной уверенности, что тем самым помогу и Олимпии, и себе самой.

Джейсон, сидящий слева от Олимпии, прекрасно обошелся бы без нее: для него Олимпия — просто камень на шее. Ну и позорная девка! Говорить толком не умеет, да и что она вообще умеет? Только сосать. На люди с ней не выйдешь. Одно ее присутствие здесь, думает Джейсон, умаляет его достоинство. Вы посмотрите, как она ест, — можно подумать, вилку с ножом никогда в руках не держала! Стыдоба, да и только! Нет, пора мне от нее избавиться, от этой убогой. Или сплавить кому другому. Потому что сам он уже сыт по горло, больше терпеть невмочь. Какая-то полунегритянка. И еще имеет наглость считать себя равной ему, Джейсону. И при всяком удобном случае дает понять, что они одинаково серые и одинаково убогие.

Но Джейсона так просто с толку не собьешь. Характер у него железный, под стать его знаменитому тарану. Говорит он. Шоферу, погруженному в свои мысли. А что, если ему заняться этой отвязной бабенкой, мадемуазель Фолькирше? Похоже, она очень даже не против, чтоб ее отодрали. И кроме того, наверняка хороша в постели. Дорогие женщины всегда трахаются лучше прочих. Это общеизвестный факт.

Джейсон за столом чавкает и разглагольствует с полным ртом. Два очка не в его пользу. Они еще здорово напортят Джейсону. Как мы увидим в дальнейшем. Но сейчас это ему даже в голову не приходит.

Дамы и господа, кто будет пить кофе?

В настоящий момент дискуссия вырулила к главной теме. А именно к искусству. И давно пора. Ибо искусство и пылкая любовь к искусству обладают одним неоспоримым достоинством: они примиряют людей. Это давно доказано. Когда я говорю о людях, я, конечно, имею в виду просвещенных, мыслящих интеллектуалов, то есть именно тех, кто сейчас соревнуется в интеллекте за этим столом.

Месье Лафейяд первым бросается в бой. Он жаждет блеснуть знанием современной культуры и, мечтательно возведя очи горе, бросает имя Альмодовара[1]. Эрудит хренов!

Флоше тут же парирует удар, вспомянув Брессона[2]; он недавно узнал о его смерти.

Однако мадемуазель Фолькирше тут же сбивает с них спесь. Едва услышав имя Альмодовара, она надевает маску элегической грусти, которая ей чудо как к лицу, и делает небольшой культурный обзор, где слово "магия" звучит трижды. Обзор восторженно принят большинством слушателей. Кроме, разумеется, Одиль Б., которая кипит от ярости. Как всегда.

Во время этой дискуссии Олимпия чувствует себя еще большей дурочкой, чем обычно. Никчемной и бесполезной. Позорно несведущей во всем. Ну зачем она родилась на свет, если тут не нашлось для нее места?! И сколько еще раз ей придется краснеть за то, что она ничего не смыслит в захватывающем обмене мыслями, способными увлечь настоящих людей?!

Добрейшая мадам Пит, тронутая убитым видом Олимпии, спешит выказать ей свою зарождающуюся симпатию. Приходилось ли уже Олимпии путешествовать? — Нет, ни разу. — Есть ли у нее хобби наподобие скрипки Энгра?[3] — Да нет, откуда у нее скрипка! — А любимый вид спорта? — И любимого вида спорта нет. Неловкое молчание обеих женщин. Олимпия до глубины души взволнована неожиданным вниманием со стороны мадам Пит и в отчаянии корит себя за глупые ответы. Ее скорбный взор обращается с мольбой о помощи к руководителю. Джейсон ловит этот взгляд. И в нем мгновенно вскипает гнев. А также возбуждение. А также ревность. Он наклоняется к руководителю. У него прямо руки чешутся набить морду этому типу. Он шепчет ему: "Если хотите, можете развлечься с Олимпией, лично я ничего не имею против, ей-богу. Тем более Олимпия еще не была в деле. Ну, или почти не была. Насколько мне известно, она пока девственница — бережет себя для настоящей Великой Любви. Ха-ха-ха!"

Кто желает еще кофе?

Флоше первым встает из-за стола. Уже половина одиннадцатого. Ровно в это время ему нужно принять таблетку имована[4]. Мадемуазель Фолькирше, сделавшая на него ставку, чувствует себя уязвленной. Естественно! Она собиралась обольстить его сегодня же вечером, ибо время обольщения строго ограничено: путешествие длится всего неделю, и обидно было бы упустить такой шанс.

1. Педро Альмодовар (р. 1950) — испанский кинорежиссер, снявший фильмы "Женщины на грани нервного срыва", "Все о моей матери", "Поговори с ней" и др.
2. Робер Брессон (1907—1999) — французский кинорежиссер, снявший фильмы "Процесс Жанны д'Арк", "Мушетта", "Кроткая" и др.
3. Французский живописец Жан Огюст Доминик Энгр (1780—1867) в свободное время играл на скрипке. "Скрипка Энгра" для французов синоним хобби.
4. Снотворное.

Флоше, конечно, не каменный. Он явственно ощутил эротический призыв, исходящий от мадемуазель Фолькирше, но в то же время опасается, не потерпит ли его... ну, в общем, не потерпит ли он, после долгих месяцев абсолютного сексуального бездействия, прискорбное фиаско. Однако он тут же решительно отметает эту неуместную мысль: его ждет творчество, он обязан выполнить свой писательский долг. Да-да, литература требует полной самоотдачи. И одиночества, и тишины, и воздержания. Кроме того, Флоше боится, что, если эта связь затянется, он будет вынужден пожертвовать своими мелкими, но прочными привычками, например спать при свете и затыкать уши шариками "quiès".

Лафейяд желает Флоше доброй ночи весьма оригинальным манером: "Ройдоб чино, Шефло!" У нынешней молодежи вошло в моду переставлять слоги, они это называют перевертышами, черт их раздери! Все сидящие за столом моментально начинают упражняться в переверты-шах. Ах, как это забавно!

После ухода Флоше атмосфера слегка разряжается.

По правде сказать, присутствие мастера пера определенно сковывает туристов, не дает им расслабиться. Их преследует тягостное ощущение, что Флоше глядит на них с вершины своего литературного Олимпа, что он слышит голоса, недоступные простым смертным (а это, согласитесь, обидно!), – например, голос некоего Стерна или некоего Гадды[1], с которыми, по его словам, он связан тесными духовными узами и которых то и дело цитирует с важным видом. А ведь если бы эти двое родили шедевры, мы бы уж давно об этом знали, разве не так? И потом, что это за штучки: вы вполне любезно обращаетесь к Флоше, а он не удостаивает вас ответом. Он, видите ли, унесся мыслями вдаль. Он, видите ли, слушает музыку сфер. Или беседует с ангелами. А через минуту вздрагивает и поднимает на вас глаза: "Как вы сказали?" Это он якобы прервал свой внутренний творческий процесс ради того, чтобы выслушать вашу убогую белиберду. Да он просто жалкий комедиант! Но с нами этот номер не пройдет!

Лафейяд может наконец блеснуть анекдотом, который заготовил еще с утра: мужчина и женщина заходят в комнату; что они там делают?

– Целуются?

– Нет!

– Раздеваются?

– Нет!

– Ну тогда сдаемся.

– Они включают телевизор!

Туристы кисло смеются.

Одна только Олимпия хохочет от всего сердца. Но, заметив, что ей никто не вторит, испуганно замолкает. Кажется, эта юная девица и в самом деле придурковата.

Зато Джейсон сидит с каменным лицом. По его мнению, этот Лафейяд – круглый идиот и вдобавок сволочь капиталистическая. И он ему все припомнит до конца поездки. Н-да, Джейсон нам еще покажет, что почем.

А теперь поговорим о самом Лафейяде. Который вовсе не мелкий коммерсантишка, как можно было бы предположить. Нет, он настоящий, крутой бизнесмен. Чье неправедно нажитое богатство дает огромнейшую прибыль. Такое бывает довольно часто. И в самом деле, Лафейяду

1. Карло Эмилио Гадда (1893–1973) – итальянский романист.

принадлежит несколько долей рынка за рубежом, его дела уверенно идут в гору, и он намеревается реинвестировать свой капитал в торговлю on-line или в биотехнологические исследования, эти новейшие отрасли на сегодняшний день являются самыми перспективными. Он рассчитывает обеспечить свой руководящий персонал акциями, что резко усиливает мотивацию и, опять же, дает прибыль. Члены тургруппы плохо понимают, какие загадочные мотивы побудили такого вот Лафейяда отправиться в путешествие, не очень-то располагающее к веселью. Его присутствие здесь и впрямь выглядит неуместным. Может, причиной послужили сексуальные проблемы? Или макиавеллиевская тяга к обездоленным мира сего? Или злорадное ликование при виде их нужды? Иди знай!

Всякий раз, как Джейсон встречается глазами с Лафейядом, он думает: "Ну, уж я тебя урою!" Однако он ждет подходящего момента. Терпение! Терпение!

Но вот и пришло время обсудить вопрос о телевидении, поднятый месье Жубером. Группа разделяется на два лагеря — сторонников телевидения, куда вошли руководитель, шофер и Джейсон, и противников, то есть всех остальных.

Джейсон со своего края стола дерзко окликает этих последних, интересуясь, смотрят они, черт побери, ящик или нет. Если да, пускай заткнутся и кончают взбивать пену, выдает он им без всяких церемоний.

Изумленное молчание интеллектуалов, прерванных в самом разгаре захватывающего диспута.

Против всякого ожидания, в тот самый миг, когда между туристами только-только наметился слабенький консенсус, тишину нарушает мадемуазель Фолькирше с ее трепещущими веками и ангельским голоском. Она изрекает: "Джейсон просто гений, он абсолютно прав, призывая нас сопрягать наши убеждения с нашей жизнью. Есть ли в мире что-либо более важное, чем гармония убеждений и поступков?! Ведь именно к этому мы стремились, затевая наше путешествие: дать ход нашим человеческим убеждениям и нашей жажде познания, "как если колесу дан главный ход"[1]. Всё по Данте.

На этой высокой ноте они и отправились спать.

День второй
Брюссель – Кёльн – Берлин

Олимпия на седьмом небе от счастья. Первый раз в жизни она провела ночь в отеле и приняла ванну. Мало того, ей подали завтрак в постель, точно королеве!

Но у нее есть и другие причины для радости: руководитель обращается к ней на "вы", словно к какой-нибудь важной персоне, и говорит мягким, чуть ли не родительским тоном. В ответ Олимпия называет его "месье" или "месье Антуан". Но про себя уже величает его "папочкой" и готовится усладить суперминетом. Неужели нам придется быть свидетелями инцеста на следующих страницах? Не знаю; пока что наши герои ограничиваются словесными ласками.

1. Данте. Божественная комедия. Рай. Песнь XXXIII. Перев. М. Лозинского.

Олимпия доверительно сообщает руководителю, что у нее есть три тайные мечты.

Первая — познакомиться с Тизо, главным телеведущим на канале MDS. Он настоящая звезда экрана.

Читателю могло показаться, будто Олимпия вполне смирилась с жалким существованием, на которое ее обрекла судьба. Но это не так: наша Олимпия стремится к жизни более возвышенной, более разнообразной, более яркой и радостной, той, что неизменно воплощается в облике Тизо, ибо Тизо обладает одним важным преимуществом — его можно увидеть своими глазами, он символ счастья и успеха, но символ такой близкий, прямо перед тобой, на экране.

Однако эта вторая, воображаемая жизнь Олимпии, обращенная к вечности и блаженству, эта вторая жизнь, куда более прекрасная и светлая, эта фантастическая жизнь, которую тем не менее олицетворяет Тизо, ибо нужно же придать ей какую-нибудь осязаемую форму, эта вторая жизнь, к которой она тянется всеми силами души, эта безмолвная жизнь — ибо где найти слова, чтобы выразить свое чувство, разве что повторять, как молитву, имя Тизо, — эта вторая жизнь Олимпии не известна никому. В глазах окружающих Олимпия — всего лишь гладильщица, и кому какое дело, что она боготворит телеведущего, который окрашивает в радужные тона ее бредни! У этой девчонки просто мозги набекрень. Она все еще верит в Санта-Клауса и его рождественские подарки. Придумывает себе мечты и упивается ими. Грезит о том, что выйдет замуж за Тизо — да-да, ни больше ни меньше, хотя почему бы тогда не за Мела Гибсона — чем он хуже! — или за президента Франции?! Ну конечно, выйдет — когда рак на горе свистнет. Не будем забывать, что Лакан[1] определил фантазмы уравнением:

$$\frac{i(a)}{\cancel{S}} \diamond \frac{a}{I},$$

в высшей степени обескураживающим, если учесть холодную непререкаемость формулировки.

Вторая мечта Олимпии состоит в том, чтобы гулять в Интернете, на сайтах с программами о животных; иногда у нее возникает смутное подозрение (которое я полностью разделяю), что людские судьбы, в частности ее собственная, весьма близки к звериным. Однако путь от гладильни до входа в Интернет пока что представляется весьма тернистым.

И наконец, последняя мечта (в порядке убывания значимости) — работать стилисткой. Но опять же, как выбиться из гладильщиц в стилистки? Это все равно что слетать на Марс.

Олимпия тоскует по другой, неведомой жизни, и от этой тоски ее мятущееся сердечко сжимается в груди. А грудь у нее совсем маленькая. Хотя и переполнена огромной жаждой любви. Именно так Олимпия именует страх быть брошенной, как ненужная тряпка.

Руководитель борется со страстным желанием заключить Олимпию в объятия и умчать вдаль.

Он спрашивает, откуда у нее такое имя.

Свое необычное имя Олимпия получила от матери, родившейся в Гваделупе. Мать приехала во Францию в возрасте семнадцати лет и нанялась вести хозяйство к месье Трису, парижскому бухгалтеру. Ну а потом встретила своего будущего мужа, отъявленного мерзавца, судя по

1. Жак Лакан (1901–1981) — французский психиатр и психоаналитик.

тем скудным сведениям, что Олимпия у нее выведала, впрочем, он, к счастью, сбежал от жены сразу после рождения дочери. "И скатертью дорожка!" – грустно заключает Олимпия.

Ее мать – ясновидящая и гадалка, она занимается своим ремеслом нелегально, в их маленькой квартирке. Ведовской дар она унаследовала от деда, которого звали Сократом. Учитель в школе рассказывал, что Сократ – знаменитый греческий философ, и Олимпия по глупости страшно гордилась мнимым родством с таким великим человеком. Много ли надо этой дурочке?! У нее было лишь одно оправдание: впервые в жизни ей удалось хоть как-то осмыслить свое место в истории. Еще учитель сказал, что древний Сократ занимался акушерством; правда, Сократ-дедушка промышлял подпольными абортами, но и тот и другой, видимо, неплохо разбирались в человеческих страданиях, открывающих путь одним существам к жизни, другим – к смерти.

Итак, мать унаследовала от деда некоторые провидческие способности. Например, она может по картам или по лицу человека предсказать ему грядущие несчастья или, наоборот, удачу, заодно умеет снимать порчу и возвращать сбежавшего любовника, мирит рассорившихся новобрачных, помогает достичь богатства и процветания (напрасно я не поставила этот пункт первым!) и придает бодрости горемыкам, как взбодряет танцоров зажигательная мелодия "ча-ча-ча". Но большинство клиентов, посещающих мать Олимпии, обыкновенные голодранцы (собственно, потому-то они к ней и ходят), и платы от них не дождешься. Зато повестки судебных исполнителей прямо текут рекой. И это невзирая на настойчивые молитвы, которыми мать донимает святого Бернара, своего самого любимого святого, и на волшбу с помощью швейной иглы, столовой соли и всяких чудодейственных бальзамов, которыми она усердно, но тщетно натирается каждую ночь.

Из-за всех этих трудоемких, хотя, честно говоря, малоэффективных, занятий мать не смогла обеспечить Олимпии регулярное посещение школы, как ей полагалось бы. В результате Олимпию перевели вместе с другими двоечниками в класс "спецподготовки" – он назывался именно так. Но спецподготовка к чему? Это никому не известно. Скорее всего, к положению отверженной. Или к скрытому презрению окружающих.

Имейте в виду: на первого же, кто объявит эту историю надуманной и чересчур жалостной, я натравлю Джейсона!

Есть ли у Олимпии братья или сестры?

Нет, они с матерью живут вдвоем, сообщает Олимпия.

Любит ли она свою мать?

Ясное дело, как же не любить родную мать.

А кого еще она любит?

Ответ следует мгновенно: она любит Тизо и Джорджа Майкла. У нее есть все диски этого певца, все его фото – целый альбом! – и постер, который она повесила у себя в комнате.

Ну а кого она любит в реальной жизни?

В реальной? Олимпии непонятен смысл вопроса. Разговаривая, она легонько массирует правое плечо, оно у нее постоянно болит от глажки. Это уже вошло в привычку.

– Ой, я ведь забыла про Джейсона! – сконфуженно восклицает она. – Мы с ним такие одинаковые. Ну, то есть почти одинаковые. Правда, он будет покруче меня, я хочу сказать, в жизни.

И Олимпия улыбается. (Олимпия, не улыбайся больше! Хватит улыбаться! Стань твердокаменной, черт подери!)

Олимпия влюблена в Джейсона. Да и на что другое, как не на любовь, прикажете ей тратить свободное время, когда кончается глажка?! После бешеной запарки в гладильне следует бешеная запарка с Джейсоном, а в промежутке — только душ, чтобы смыть пот. Конечно, между трудовой вахтой с утюгом и трудовой вахтой с Джейсоном даже сравнения быть не может. Работа с Джейсоном в тысячу раз приятнее работы с утюгом. В гладильне Олимпия ощущает себя всего лишь придатком к утюгу, ее рука прикована к этому железному орудию пытки, ее душа зажата в его железных тисках, и жар, исходящий от раскаленного железа, невыносимо тяжек и удушлив. А вот с Джейсоном — дело другое: тут Олимпия, может, и ощущает себя утюгом, но из совсем другого материала — трепетного, страдающего, податливого, живого; любовь зажигает все ее тело и, в частности, рот.

Нынче утром мадемуазель Фолькирше превзошла самое себя. Какой шик! "L'Oréal" (естественный блеск ваших волос!), плюс крем-пудра от "Lancôme" (свежий цвет лица поможет вам одерживать победы во всех случаях жизни!), плюс серые брюки (последний крик моды) и белая майка от "Max Mara" (журнал "Мари-Клер" объявил белый цвет королем следующего сезона). На ногах у нее мокасины Tod's.

При виде всего этого у Флоше перехватывает дыхание. Но задохнуться от восхищения еще не значит влюбиться. Между тем и этим лежит огромная дистанция. Задохнуться от восхищения — значит обалдеть от высокой себестоимости данной женщины. Для большей точности укажем, что стоимость мадемуазель Фолькирше (включая цену нижнего белья) в двадцать с половиной раз превышает стоимость Олимпии.

Сама мадемуазель Фолькирше серьезно раздумывает: а не является ли Флоше мужчиной ее жизни? Если хорошенько прикинуть, он и в самом деле обладает главными чертами мужчины ее жизни, а именно: знаменит, но не слишком; завоевал себе приличную репутацию в литературной среде V, VI и VII округов города Парижа, образован (мадемуазель Фолькирше нравятся только такие люди) и холост.

Главный недостаток: он непрерывно говорит о литературе. Это же сдохнуть можно со скуки! И второе: он не водит машину (эти два изъяна нередко сочетаются, хотя установить между ними логическую связь невозможно). Но самое ужасное, что он курит сигареты с ментолом, словно какой-нибудь парикмахер! Есть и еще одна мелкая неприятная деталь: у него торчат волоски из ноздрей.

Мадемуазель Фолькирше — журналистка, она работает в "Глории". Ее отец буквально горы свернул, чтобы устроить ее туда. Мадемуазель Фолькирше, снедаемая адским честолюбием, метит на пост главного редактора, ныне находящийся в хищных руках Селины Калю, протеже некоего министра. Так что отношения двух этих дам накалены до предела. Однако хватит с нас мадемуазель Фолькирше. Мы не питаем к ней ровно никакой симпатии (боюсь произнести слово "отвращение") и потому не хотим, чтобы нас сочли заинтересованной стороной.

Месье Дефос на заднем сиденье автобуса, багровея от натуги, излагает мадам свои экономические аргументы в пользу обездоленных. Знайте, дамы и господа, что лично я против данного термина, отказывающе-

го этим людям в праве иметь ту долю, на которую они обречены с рождения до смерти и которую никак не назовешь легкой; имя ей — нищета, нужда, переходящая по наследству от отца к сыну без всякого вмешательства нотариуса.

Для демонстрации своих идей месье Дефос пользуется излюбленной схемой — теза, антитеза, синтез. Мадам находит, что ее супруг потрясающе умен. Жалея читателя, ограничусь кратким изложением "потрясающего" синтеза: благодаря механизму trickle down[1] самые обездоленные в конечном счете начинают пользоваться плодами всеобщего благоденствия (как же я счастлива слышать это!). Отсюда месье Дефос делает вывод: будем крепить наше благоденствие, беднякам это только на пользу. И защитим свободный мир! С барабанным боем или без оного.

В данный момент свободный мир представляет собой зону складов, мрачных пустырей и гигантских рекламных щитов, которую пересекает их автобус.

Неожиданно руководитель вскакивает с места и завладевает микрофоном. В нем и правда есть что-то от Ги Маршана. Нос с горбинкой. Острый, пронзительный взгляд. Хотя в глубине его таится доброта. Которая привлекает вас. Которая волнует и трогает.

Желание быть рядом с Олимпией все-таки не позволяет руководителю забыть о возложенной на него высокой миссии.

— А теперь небольшой экскурс в мифологию! — объявляет он, серьезный до безобразия. Туристы умолкают. — Обольстительная Европа гуляет на морском берегу, — начинает он. — Она встречает Зевса, который ради такого случая превратился в быка. Европа покорена мощью и силой быка. Тот предлагает ей сесть к нему на спину, дабы совершить небольшую прогулку. Непорочная и наивная девственница Европа без колебаний садится на быка. Ей неведомо, кто он, каковы его замыслы. Но вот коварный бык покидает сушу и уносит свою добычу в бескрайнее море. Там, на морском просторе, он силой овладевает ею. Европа попалась, как последняя дурочка. Она плачет от унижения и стыда. Но поздно — зло уже свершилось! Она утратила девичью честь. Жизнь ее непоправимо загублена. Прошу вас, поразмыслите над этим, дамы и господа!

Интересно, куда он метит?

Что там кроется под его загадочными байками, которых никто не понимает?

Пускай выражается ясно, черт возьми, ясно и просто, без всяких там иносказаний!

Может, упомянутый бык — метафора, намек на транснациональные корпорации, грозящие Европе?

— Это выше моего понимания, — объявляет мадемуазель Фолькирше. — Политика для меня — темный лес.

Руководитель вновь подсаживается к Олимпии. И они продолжают шептаться. Как и велит традиция.

Одновременно мадам Дефос и мадам Жубер делятся впечатлениями по поводу обоих гидов. Они сплетничают, словно кумушки в лавке моего бакалейщика Ревердье. Дамы сходятся в одном пункте: этот молодой

1. Букв.: капать (*англ.*). Здесь имеется в виду обеспечение социальной помощи неимущим с помощью, в частности, налогов на крупный бизнес.

человек, их аниматор, которому взбрело в голову для форса величать себя Джейсоном (ну не смешно ли!), скверно воспитан, слишком нагло держится для порядочного человека и чуть ли не агрессивен — как бы он не стал попросту опасен! Еще бы — с ним все так носятся!..

Зато Олимпия — вполне скромная и вежливая девушка, хотя и простовата. Очень милая — ограниченная, конечно, но милая. Возможно, слишком поддается чужому влиянию. Но, с другой стороны, простая, сговорчивая и никому не мешает. Вот уж кто не будет дерзить и скандалить. Это и по ее лицу видно. Мордашка у нее, правда, грубоватая. Но главное достоинство Олимпии не в мордашке, утверждает мадам Дефос, а уж кому и знать такие вещи, как не ей. С этими словами мадам бережно приглаживает свою укладку, чуточку растрепавшуюся от общественного энтузиазма, и продолжает беседу.

В общем-то, Олимпия соединяет в себе все добродетели, коих так не хватает Сибиду́, ее уборщице из Заира, причиняющей столько огорчений хозяйке, кстати (это она уже своему супругу), что, если предложить этой девочке работать у нас? Чудесная мысль! — одобряет муж. — Для нее это будет куда лучше, чем париться в своей гладильне. (Месье и мадам Дефос — люди современные, они полностью в курсе рыночных колебаний в сфере ручного труда.) Сибиду уступит свое место Олимпии, которую затем сменит Фатия, которую сменит... ну и так далее. (Месье и мадам Дефос молоды душой: они полностью в курсе всех законов ротации рабочей силы.) И как удачно и своевременно они сообразили купить каморку над своей квартирой класса "люкс"! Она станет царством Олимпии. Правда, слово "царство" здесь не вполне уместно, ибо площадь каморки составляет всего двенадцать квадратных метров. Ну что ж, зато ее можно превратить в маленькое, но очень уютное гнездышко. Разумеется, бесплатное гнездышко (следует подчеркнуть, что в наши дни бесплатные вещи о-о-очень редки!), Олимпия всегда будет под рукой, чтобы услужить мадам и усладить месье. Сделай добра на грош, сторицею вернешь — так это называется, если я не ошибаюсь.

Лафейяд углубился в газету, и это истинное облегчение для группы, которую он в остальное время терзает своими натужными хохмами. Парижская биржа при открытии 9 июня 2000 года выдала показатель +0,18. Индекс CAC-40[1] вырос с утра на 1,7. Это способно смягчить самые черствые сердца.

Одиль Б. страдает. Болезненно морщась, она машет рукой перед лицом, дабы показать — не высказывая вслух, — что дым сигареты мадемуазель Фолькирше ей в высшей степени неприятен. Курение в автобусе — будущее яблоко раздора, и мы еще будем наблюдать за развитием этого конфликта. Все же хоть какое-то развлечение.

Прибытие в Кёльн. "Уже?" — хором восклицают Олимпия и руководитель. Они и не заметили, как пролетело время за увлекательной беседой с обменом нежными словами, легкими вздохами и якобы случайными касаниями рук.

Автобус мчит по городу, и Олимпия восхищается всем, что видит за окном. До чего же красиво! Олимпия любит все красивое. Террасы кафе, роскошные витрины, цветущие скверы — все это красиво, и огромный собор красив, и влюбленные парочки, целующиеся под аркадами,

1. Индекс Парижской биржи, устанавливаемый на основании курса сорока ценных бумаг.

красивы, и даже чересчур высокая башня одеколонного завода — все это красиво, ах, как красиво! Зато ее предместье Пески уродливо, и все в нем уродливо: и автостоянка, и подвалы, и лифты.

— С ума сойти, до чего здорово! — восклицает Олимпия, зачарованно любуясь проплывающим мимо городом. Сегодня вечером, и завтра, и еще долго-долго она будет лелеять в сердце чудесное воспоминание о нем. Олимпия твердо знает, что это путешествие круто изменит ее жизнь. Может, она и вправду слегка не в себе, как вы считаете? Скажите откровенно!

— А ну, заглохни! — командует ей Джейсон, разъяренный тем, что Олимпия несколько часов кряду ворковала с этим психованным расстригой, тогда как обычно не способна связать и двух слов.

Олимпия тотчас перестает твердить, что все красиво. Но глаза ее по-прежнему лучатся восторгом; этот чистый, невинный восторг озаряет ее личико, делает взгляд бездонным, сияющим и томным. Вот из таких восторгов, думается мне, и должен быть создан мир.

Но Джейсон решительно не желает, чтобы эта дурная полукровка прямо у него под носом миловалась с недоумком кюре, променявшим религию на туризм для богачей. Какая муха ее укусила, эту сучку, вы только подумайте — втюриться в отставного семинариста! Джейсон кипит от ярости. И ярость его распространяется на все разом, на все, что его задевает. По правде говоря, Джейсон в равной степени и зол и опечален. Или, вернее сказать, его печаль способна излиться не иначе, как в ярости и злобе. В том-то, без сомнения, и заключается его сила. В противоположность Олимпии. Кроткой Олимпии, которой неведом гнев.

И когда Олимпия выходит из автобуса во время "технической" остановки, Джейсон толкает ее так свирепо, что она, потеряв равновесие, чуть не падает и цепляется за мадам Пит: "Ох, извините!"

Влепить ей пару оплеух, живо очухалась бы, думает Джейсон. Потому что она их заслужила на все сто, потаскушка безмозглая. Но разве можно бить девушку на глазах у этих педрил, они же в обморок падают при виде синяка. (Кстати, отметим, что Джейсон не произносил слово "педрила" уже целых два дня. Тогда как в обычное время оно у него не сходит с языка. Сообщая его высказываниям бодрую ритмичность.)

Вообще-то, после каждой жестокой выходки Джейсон успокаивается. Но здесь не тот случай.

Он вскрывает банку "Кромбахера", "eine Perle der Natur"[1]. Выпив, утирает губы рукавом. И звучно рыгает. Ужасные манеры!

Поскольку пиво не успокоило ему нервы, он скручивает себе косячок. Который тоже не оказывает должного эффекта. Ибо Джейсон пылает неукротимым гневом. Он должен перейти к решительным действиям: поставить Олимпию перед выбором, пока дело не кончилось катастрофой. При этом он ни минуты не сомневается в исходе сражения: одна хорошая затрещина, и девчонка тут же бросит своего полудурка проповедника, прибежит к нему и будет лизать ноги, как лижет и то, что между ними.

Джейсону страстно хочется причинить боль Олимпии. И причинить боль руководителю. Хотя, странное дело, этот последний ему даже импонирует. Джейсон входит в автобус. Желая выглядеть крутым парнем, нахлобучивает бейсболку на глаза. И движется своей развинченной

1. Перл творения (*нем.*).

походочкой — еще более развинченной, чем всегда, — к руководителю. Сейчас он ему скажет пару ласковых. "Ну как, сделал ее?" Тот непонимающе глядит на Джейсона. "Что вы имеете в виду?"

Джейсон, забывший снять наушники плейера, не слышит ответа, но изумленное лицо руководителя сразу успокаивает его.

И Джейсон решает наплевать на все. В конце концов, Олимпия для него — пустое место. Соска, и ничего больше. Пускай этот недоумок кюре трахается с ней сколько влезет, all right! Лично я отваливаю.

Лучше наехать на кого-нибудь другого. Желательно, на одного из этих ходячих бумажников, что достали его по самое не могу, хотя он, будучи гидом-со-знанием-местного-колорита, из кожи вон лезет — конечно, не для того, чтобы завоевать их уважение (в гробу он видал их уважение!), а чтобы не уронить свой авторитет, это вопрос чести. А что, если взяться за писателишку, который возомнил себя этим, как его... Виктором Гюго?

Кёльн исчезает вдали.

Бесстрашно отрешившись от классовых предрассудков, Флоше пускается в дискуссию с Джейсоном, кумиром присутствующих дам, который теперь подсел к нему. Тема дискуссии — работа. (Писатель надеется вытянуть из Джейсона все, что можно из него вытянуть, ибо по глупости считает, что с помощью вытянутых из людей слов и жизненных историй он сможет вытянуть из литературы ее тайну.)

Джейсон долго раскуривает косячок и наконец объявляет, что он не такой дурак, чтобы вкалывать. Его дед убивался на работе, его отец убивается на работе, короче, работа — это ад, собачья жизнь без сна и отдыха. И он, Джейсон, не даст себя поиметь, как отец и дед. Он объявляет это с гневным вызовом. Рабочая честь, рабочее достоинство — да его уже воротит от этих слюней. Горбатиться за шесть кусков в месяц — нет уж, извините! Лучше гнить на пособие, как все. Джейсон хочет сказать: как все его дружки. Либо в тюряге. Как Брюно, его братец. Загремевший туда из-за одной-единственной палочки гашиша. Которым торговал на свой страх и риск. Что не понравилось другим дилерам — которые в законе. Вот они и сдали его легавым. Но Брюно не жалуется. В смысле, на тюрягу. Потому как житье на нарах и житье в предместье — один черт. Те же дружбаны. Тот же пустой базар. Те же передачи по ящику. И те же пьянки. Все то же самое, говорит Джейсон. И пока он это говорит, в нем снова вскипает гнев против всего на свете.

Отец ему талдычит: трудись, Ясон, трудись! Но он может чирикать до посинения, нахваливая рабский труд, Джейсон пропускает мимо ушей его нытье. Он был, есть и будет убежденным бездельником, чем и гордится. Вот так и запомните! И он хлопает дверью кухни, не дав отцу закончить свою любимую песню: ты будешь прекрасным работником, сынок. И уходит на автостоянку, где ждут его кореша. И где можно спокойно смолить "травку". Без которой, мать твою, разве продержишься?!

В общем, работа дерьмо, завязал я с работой, выпьем за упокой работы, в ожидании лучших дней. Вот что говорит Джейсон. Хотя он и не читал немецкого философа Петера Слотердайка[1]. И вообще, в наши дни работать не означает работать самому. Теперь это означает заставить работать деньги. И точка.

1. Петер Слотердайк (р. 1947) — современный немецкий философ.

Месье Буаффар прислушивается к диалогу Флоше – Джейсона со снисходительной усмешкой. Когда он сойдется поближе с этим заблуждающимся юнцом, он уж сумеет ему разъяснить причину его заблуждений. И месье Буаффар сообщает своей соседке справа, мадам Пит: когда я сойдусь поближе с этим заблуждающимся юнцом, я уж сумею ему разъяснить причину его заблуждений. Ибо месье Буаффар твердо верит, что двадцать первый век будет овеян духом предпринимательства и что расцвет не за горами, но лишь для тех, кто этого хочет, ибо хотеть значит мочь, не правда ли, дорогая мадам? Мадам Пит, как истая домохозяйка, понимает слово "расцвет" в садоводческом смысле и энергично кивает.

Джейсон грубо, без обиняков разъясняет Флоше: все, что ему нужно, это легкий заработок. Вот как у тебя, говорит он. Как у всех. Собственно, потому-то он и находится здесь, с ними. Чтобы зашибать деньгу спустя рукава. Болтай себе языком, и вся любовь.

– Ну а как же ваше будущее? – спрашивает Флоше.

– Да плевать мне на него, – отрезает Джейсон.

С этими словами он встает и плюхается на переднее сиденье, так и не избыв свой гнев. У него все еще чешутся руки расквасить Олимпии физиономию, но при этом душат и другие чувства, глухие, путаные и неотвязные.

Мадемуазель Фолькирше, нетерпеливо ожидавшая конца этой беседы, подсаживается к Флоше с твердым намерением охмурить его.

– Ну, сейчас наша соблазнительница захомутает писателя, это же ее профессия, – шипит Одиль Б., чья собственная профессия – источать яд всех видов и по любому поводу.

Ее ненависть к мадемуазель Фолькирше даже перевешивает желание терзать супруга. Который этим страшно доволен. Пускай его благоверная еще хоть несколько дней направляет свои бурные эмоции в это новое русло, и месье Буаффар будет считать себя баловнем судьбы.

А теперь расскажем, не откладывая, про Одиль Б.

Одиль Б. – нервная темпераментная блондинка, желчная, раздражительная, вспыльчивая, пессимистичная, воинственная, агрессивная, бестактная, тощая, бескомпромиссная, возбудимая, самоотверженная, обидчивая, категоричная, высоконравственная, истеричная, властная, страдающая легкой формой базедовой болезни (откуда ее нервозность и ее идеализм) и не терпящая решительно никаких возражений. Она кипит с утра до вечера. Грудь ее иссушена неистовыми чувствами. Маникюр вне всякой критики. Ум – тоже.

Страстная любительница слежки за окружающими, враг всякой радости, сердобольная защитница сирых и убогих, особенно из отдаленных стран (и чем дальше, тем лучше), Одиль Б. неустанно ратует за открытость и аутентичность – эти два слова она произносит семь раз в неделю, а на отдыхе и того чаще, дополняя их еще несколькими (в порядке убывания важности): истина, честность, квартплата и очки – предмет, который она постоянно теряет. Мы могли бы написать, вместе с поэтом Данте Алигьери, что Одиль Б. превратила свою душу в трубу[1], откуда вылетают наряду с прочими малоприятными звуками, негодующие и всегда в высшей степени демократичные замечания. Одиль навер-

1. Вероятно, автор имеет в виду строку "А тот трубу изобразил из зада..." (Божественная комедия. Ад. Песнь XXI. Перев. М. Лозинского.)

няка давно бы уже впала в черную меланхолию, не будь в ее распоряжении акул мирового бизнеса, алчных дельцов и расхитителей общественного достояния, которые служат ежедневной пищей для ее громогласных обличений. А если не хватает официальных виновных, она всегда может обратить праведный гнев на собственного супруга. Хотя следует признать, что сражаться с полноправным пользователем вашего лона куда менее возвышенное занятие, нежели борьба с беспредельной и неизбывной низостью рода человеческого.

Похоже, в данный момент ее возмущение готово обрушиться всей тяжестью на мадемуазель Фолькирше. Которая любезничает с тружеником пера. Нет, вы только посмотрите на эту сладкую парочку!

А Джейсону не сидится на месте. Он нервно бродит взад-вперед по салону, матерясь всякий раз, как натыкается на кресло. Внезапно он останавливается возле Олимпии. Смотрит на нее с ненавистью. Говорит: нужно побазарить сегодня вечером с глазу на глаз. Говорит: учти, тебе не поздоровится. Говорит: мне на тебя даже глядеть тошно. Олимпия восклицает: я ничего такого не сделала! — умоляюще и вместе с тем возмущенно. Джейсон удивлен непривычными нотками в голосе Олимпии. "Меня тошнит от тебя, тошнит от тебя!" — только это ему и остается твердить.

— Иногда он меня прямо пугает, — признается Олимпия руководителю, едва Джейсон отходит от них. — Да он и мою мать пугает, — добавляет она. — Мама говорит: подозрительный тип, боюсь я его. Но мама думает, что надо бояться вообще всех мужчин. Всех. Без исключения. И особенно арабов, — знаете, они ведь избивают своих женщин ремнями. А еще андалусийцев и гваделупцев.

"Не хочу, чтобы ты пошла по моей дорожке, — говорит мать Олимпии. — Повесишь себе на шею незаконнорожденную дочь, а потом работай до седьмого пота, чтобы ее вырастить".

И тогда Олимпия, не желая перечить матери, клянется ей, что больше не встречается с Джейсоном. А когда уходит к нему, врет, будто хочет пройтись с Линдой. И, вернувшись домой, подробно рассказывает матери, как они с Линдой покупали что-нибудь в торговых галереях, этом рае для бедных девушек, как сказал нынче утром месье Флоше мадемуазель Фолькирше, чтобы ее рассмешить, и мадемуазель Фолькирше долго смеялась. Мать Олимпии доверчиво глотает все ее выдумки. Даром что ясновидящая, а того, что творится у нее под носом, в упор не видит.

Руководитель, сгорая от своей неумелой любви, мягко дает понять Олимпии, что иногда Джейсон унижает ее.

— Да это он по привычке, а не по злобé, — уверяет Олимпия, потупившись от стыда за свою мягкотелость. — Но вообще-то он ко мне с уважением, — добавляет она (перевод: он не лишил меня невинности).

А книги она читает?

Нет, никогда.

Уж извините.

Была у нее подружка, которая прочла целый роман Стивена Кинга. И знаете, это ее убило.

Она предпочитает кино.

И фигурное катание.

Оно лучше всяких книжек.

И гораздо красивее.

Слышали бы это Флоше и мадемуазель Фолькирше!

А мадемуазель Фолькирше решила вплотную заняться писателем. Она уверена, что настал час "дернуть за веревочку, чтобы дверь открылась", ну и далее по тексту.

Первая фаза: воспламенение. Материал для растопки: беседа. Из беседы можно высечь искры, от которых возгорится пламя, и, что самое удивительное, пламя любви. Избранная тема, само собой разумеется, бедняки. Вот уж и вправду пути любви неисповедимы. Почему бедняки обречены на это убийственное прозябание? Во имя чего? По чьей непростительной ошибке? Таков основополагающий и животрепещущий вопрос, который им предстоит разрешить перед тем, как подобраться к главному — их взаимному сексуальному влечению. Итак, они принимаются за дело. Несут ли сами бедняки ответственность за свое положение в этом царстве нужды? Или же следует обвинить в этой тяжелой ситуации общество, то есть, простите, социальный фактор? По мнению Флоше, социальный фактор играет здесь определяющую роль, хотя... ну и так далее. Мадемуазель Фолькирше полностью разделяет его точку зрения: дорогой папочка научил ее тщательно взвешивать все "за" и "против" перед тем, как свалить их в одну корзину.

"Ну, теперь, кажется, расчищен путь к обсуждению моего творчества", — думает Флоше. Ибо Флоше хлебом не корми, а дай только поговорить о своем творчестве. Ибо Флоше живет (и это следует подчеркнуть особо) исключительно ради этого сладкого бремени — своего творчества. И ему невыносима мысль о том, что можно посвятить себя чему-то иному, кроме этого самого творчества. Он предпочитает жить в нужде (что означает пресловутая нужда? Мадемуазель Фолькирше тут же насторожилась), нежели отдаваться любому иному занятию. Конечно, он всегда может выбить монету из отца, который владеет в Париже тремя десятками доходных домов. Пускай старик раскошелится для родного сына. Но Флоше ненавидит своего папашу, типичного буржуа, оппортуниста и наглого хапугу, и вышибает из него деньгу, только если уж совсем невмоготу, например для покупки загородного дома или новой машины, в общем, для крупных трат, а по мелочам — никогда!

Эту нежную беседу Жюльена Флоше и мадемуазель Фолькирше внезапно прерывает звонок мобильника. Алло? Звонит мама мадемуазель Фолькирше. Которая выбрала для звонка именно тот миг, когда их идиллический диалог, даже, можно сказать, дуэт только-только начал оформляться в нечто более существенное. Вот уж не везет так не везет. Мамаша всегда возникает некстати. Жуткая баба! Уже десять лет она надоедает всему свету своей хронической депрессией! Какой крест для бедняжки мадемуазель Фолькирше! "Либо пусть немедленно выздоравливает, либо пусть ее запрут в дурдом, раз и навсегда!" — думает мадемуазель Фолькирше, которая терпеть не может свою родительницу. Из-за мамаши с ее дурацкими проблемами мадемуазель Фолькирше едва не испортила свою журналистскую карьеру. А она рьяно заботится о своей карьере. Ее снедает адское честолюбие. К счастью, ей помогают папины связи. И их семейный психиатр — Эдуар Сэн, последователь Лакана, знаменитый врач, благодаря которому мадемуазель Фолькирше научилась держаться подальше от матери: она видит ее раза три в год, а в остальное время общается по телефону, этого вполне достаточно. В общем, вы уже поняли: мадемуазель Фолькирше — свободная женщина.

А Джейсон все мечется взад-вперед по автобусу, исходя злобой и вынашивая планы мести. Он бесится от ярости при виде Олимпии и недо-

учки-кюре, которые непрерывно шепчутся между собой. Вдруг он падает как подкошенный в кресло возле Лафейяда. Ох, быть беде! А впрочем, кажется, пронесло.

Лафейяд вовлекает Джейсона в разговор на финансовые темы — в этой области ему нет равных. Очень скоро собеседники констатируют, что оба они активно занимаются демпингом: Джейсон — сбывая телевизоры и мобильники (ворованные), Лафейяд — муку и макароны. Их бизнес зиждется на одном и том же принципе... Здорово! Лафейяд дружески хлопает Джейсона по спине. Наш правонарушитель дергается, как будто этот жест его шокировал. Мадам Пит, у которой, как всегда, ушки на макушке, спрашивает у Лафейяда, что такое демпинг. "Демпинг, дорогая мадам, — объясняет тот с самодовольным видом, невыносимо раздражающим Джейсона, — это продажа товаров по ценам гораздо ниже рыночных". — "Ах вот оно что!"

Итак, мы установили, что оба наши бизнесмена сделаны из одного теста, с той лишь разницей (на мой взгляд, существенной), что Джейсону не хватает базовых юридических знаний для разработки планов финансовых афер, безупречных с точки зрения закона. В результате его рынок сбыта остается прискорбно ограниченным. И это не сулит больших доходов. Узнав об этом, Лафейяд тут же начинает излагать Джейсону основные принципы финансовой деятельности. "Ах ты, жирный боров, сам лопается от башлей, а туда же — учит! Да засунь ты свои советы себе в задницу!" — вот что думает Джейсон, не смея, однако, высказать свои мысли и ограничившись небрежным "thank you". В настоящий момент он не намерен расширять свое дело, предпочитая соотносить объем производства с объемом сбыта. А стать акулой бизнеса ему не улыбается. От акул всегда воняет.

С этим прозрачным намеком Джейсон встает и оставляет Лафейяда в одиночестве.

Лафейяд глубоко уязвлен. Но отнюдь не считает себя побежденным. Он еще прижмет этого недоноска, как только представится удобный случай. А пока лучше убить время за беседой с мадам Пит. "Ну как, дорогая мадам, все в порядке?"

У мадам Пит далеко не все в порядке. Но теперь, когда она очутилась в такой приятной компании...

И мадам Пит тотчас поверяет новому соседу свою страсть к коллекционированию кофейных чашечек. Лафейяд делает вид, будто его это жутко интересует. Черт подери, надо же — кофейные чашечки!

Два года назад Лафейяд развелся с женой и теперь активно ищет ей заместительницу. Это и есть одна из причин его поездки; правда, "Palm Club" предлагал куда более заманчивый в этом отношении тур, но он узнал о нем слишком поздно. Ему совершенно ясно, что мадам Пит никоим образом не годится на эту роль. В ней нет ровно ничего соблазнительного: во-первых, она училка — самая что ни на есть убогая профессия и вдобавок за убогую плату, так что не позавидуешь; во-вторых, старушенции уже пятьдесят с хвостиком! Вывод: мадам Пит не котируется на сексуальном рынке, самом безжалостном из всех рынков на свете. К примеру, она в подметки не годится мадемуазель Фолькирше, вот та — шикарная штучка, один прикид чего стоит. Высший сорт! Но, похоже, там ему не светит: слишком велика конкуренция. В настоящий момент вперед вырвался Флоше.

В силу означенных причин Лафейяд уделяет мадам Пит лишь поверхностное внимание. Которое он превосходно умеет изображать. Благода-

ря курсам менеджмента, где изучают, наряду с прочим, и проблемы общения, он здорово насобачился имитировать эдакий доброжелательный интерес к людям. Бедняжка мадам Пит даже не подозревает, что не нравится ему. Она воодушевляется. Она воспламеняется. Она разглагольствует не умолкая, чрезвычайно восторженно и излишне подробно. Она упорно возвращается к своей мании (явно застрявшей на садистско-анальной стадии): "Представьте себе, в моей коллекции набралось уже 386 кофейных чашечек..." — "Надо же, черт подери!" — "... и всякий раз, как я нахожу новую, это для меня просто потрясение, я буквально с ума схожу!" — "Обалдеть можно!" — "Последний раз это была..." (Так и быть, избавлю вас от описания последней находки мадам Пит.) Месье Лафейяд рассеянно интересуется, где она хранит все эти сокровища (заметим, что даже в момент рассеянности месье Лафейяд не утрачивает свойственного ему прагматизма). Мадам Пит с жаром отвечает: она уже и сама не знает, куда их девать, они буквально заполонили всю ее квартиру, яблоку негде упасть!.. Испугавшись этой лавины, ее собеседник пробует направить мадам Пит в более свободное русло. Быстро. Выбрать другую тему для болтовни. Любую. "Вам уже случалось бывать у тевтонов?" — "Нет, я здесь впервые", — отвечает мадам Пит. И тут же опять выруливает к своим кофейным чашечкам: "Здесь, наверное, можно будет отыскать очень красивые, изящные, сплошь раззолоченные и безумно романтичные". Ну просто маньячка, сами видите.

Теперь о Лафейяде: он отличается необыкновенной подвижностью что лица, что тела, у него желтые зубы, хищный деятельный нрав, он довольно глуп и не способен часа прожить, чтобы не отпустить какую-нибудь шутку! С шутками у Лафейяда полный ажур! Он, можно сказать, весельчак, душа общества. Неизменно готов развлекать окружающих. Вот уж кто сохранил в себе школьный дух во всей его прелести. А что есть школьный дух? Это острая форма детского идиотизма, который незаметно переходит в прогрессирующее старческое слабоумие. Для полноты картины добавим, что Лафейяд всегда идеально выбрит и благоухает туалетной водой; некоторые считают, что под этим скрывается паническая боязнь собственной вони. Ну и конечно, ботинки у него надраены до зеркального блеска.

Руководитель спрашивает Олимпию, откуда у нее шрамы на левом запястье. При этом он смотрит прямо ей в глаза. И Олимпия вынуждена ответить на вопрос, хотя перед этим несколько секунд колеблется.

Олимпия совершила эту глупость год назад, когда Джейсон изменил ей с Жюльеттой. Жюльетта, конечно, во всех отношениях лучше ее: она живет в отдельном домике и одевается в магазинах "Морган". Шрамы на запястье здорово напортили Олимпии, когда она вздумала пойти в продавщицы. Конечно, шрамы — вещь подозрительная, это Олимпия хорошо себе уяснила. Они препятствуют нормальному процессу торговли (по словам экспертов в данной области), которому зато необыкновенно способствуют красивая одежда и умелый макияж. Ну и, разумеется, аппетитная попка в качестве добавочного аргумента. Часто самого убедительного, с этим не поспоришь.

К счастью, Олимпия нашла себе работу в гладильне при торговых галереях. Тамошний шеф, месье Фосто, плевать хотел на ее шрамы и на ее... сами знаете что. Для него главное — скорость глажки, ну а по скорости Олимпия чемпионка, тут к ней не придерешься.

Руководителя переполняет безграничная жалость. Он слушает Олимпию так, как никого еще в жизни не слушал.

Зимой, продолжает Олимпия, она прячет шрамы под длинными рукавами. Но в такую жару...

Внезапно у руководителя вырывается: "Как я хочу, чтобы вы жили!" Он никогда не думал, что способен произнести такое вслух. Но слово прозвучало. И он счастлив. (Руководитель влюблен так, как описывалось во всех романах двадцатого века. Он желает Олимпии добра. Его волнует ее жизнь. До чего же он старомоден! Он мечтает вызволить ее из гладильни, ибо так велит ему сердце героя былых времен, защитника угнетенных. Он еще не разучился ощущать чужое страдание как свое собственное.)

Автобус приближается к Берлину.

Он минует грязные предместья, пересекает Эрнст-Ройтерплац, спускается по Харденбергштрассе, выезжает на Будапештерштрассе.

Группу разместили в "Berlin Mark Hotel". Который мадемуазель Фолькирше определяет как весьма посредственный.

Ужин в городе, в ресторане "Alt Berlin" на Кляйстштрассе. Туристы заказывают блюда, вокруг то и дело слышится: bitte... bitte... при каждом новом "bitte" Джейсон и Олимпия помирают со смеху.

Одиль Б., отведав Krautwickel[1], сердито отталкивает тарелку и зовет официантку. "Это блюдо абсолютно несъедобно! Просто свиной корм какой-то!"

Олимпии стыдно за своих попутчиков, она мысленно извиняется перед официанткой, на которую градом сыплются упреки на непонятном языке.

Официантке известно всего одно французское выражение, в данном случае совершенно неуместное, — силь ву пле[2]. Которое она и твердит как заведенная. До тех пор, пока хозяин ресторана не сменяет ее, заговорив по-человечески, то есть на настоящем французском.

Джейсон просит дать ему попробовать отвергнутое блюдо. Он хочет добавки. Ух ты! Мировая жратва! С жадным блеском в глазах, чавкая и причмокивая, Джейсон в два счета уминает все. Это ужасно смешит Олимпию. А уж стоит Олимпии рассмеяться, ее слышно на другом конце света. Вообще, вы заметили, что бедняки большей частью смеются громко? Если вдуматься, это весьма парадоксально, не правда ли?

Покончив с едой, Джейсон блаженно хлопает себя по животу.

Не хватало еще, чтобы он начал рыгать!

Или пукать!

Ну можно ли назвать поведение этого молодого человека иначе как вульгарным?!

Во всяком случае, он, конечно, нахал.

Мы можем быть доброжелательны, терпимы, прогрессивны и все такое, но, честно говоря, подобные замашки, в конечном счете, начинают утомлять.

Словно в подтверждение вышесказанного, Джейсон оглушительно сморкается в грязный носовой платок. Затем поднимает бокал: "За ваше

1. Блюдо, напоминающее голубцы.
2. От *франц.* S'il vous plaît — пожалуйста.

драгоценное, приятель!" Это он Лафейяду. Который отвечает кривой усмешкой.

Можно ли доверять людям, чьи манеры вызывают одно лишь презрение?

Бедность объясняет многое — но не всё.

Бедность извиняет многое — но не всё.

Бедность позволяет многое — но не всё.

А в общем, на бедность можно свалить что угодно.

Столь низкопробное зрелище способно веселить разве лишь шофера, руководителя и эту девчонку, как там ее, все время забываю имя. И это доказывает, что в глубине души они так же вульгарны.

Шофер вообще дубина неотесанная. И от ног у него воняет.

Девчонка (господи, ну как же ее зовут?) просто идиотка. Двух слов не способна связать. Полнейшее ничтожество!

Ну а уж руководитель наш по меньшей мере странная личность, весьма подозрительный субъект. Есть в нем что-то эдакое, для нас непостижимое. Говорят, он был семинаристом. Никогда не поверю! (Флоше.) Вранье! Для меня он скорее соглядатай во вражеском стане, только вот на кого он работает? Тайна, покрытая мраком. Кстати (это снова Флоше), по поводу соглядатаев: о них идет речь в моем предпоследнем романе, действие разворачивается на грузовом судне; там двое любят друг друга... Однако туристы уже по горло сыты писательским хвастовством Флоше. Похоже, оно служит нашему мастеру пера чем-то вроде допинга. Ей-богу, он ненормальный, черт бы его подрал! Мы, конечно, уважаем чужие пороки, но с одним условием: чтобы нам их не навязывали! Пусть этот акромегал от литературы оставит нас в покое, мы хотим мирно переваривать свой ужин! Как вы сказали? Акромегал. Это такой тип с огромной башкой. Хи-хи-хи! Тем более завтра нам, кажется, грозит трудный денек.

Шофер Вюльпиус, сидящий в конце стола, между руководителем и Джейсоном, все никак не может разрешить мучающий его вопрос. Отчего, с какой стати, по какой причине этих туристов взволновало посещение предместья Пески? Что такого они в нем нашли? Чем оно их так разжалобило? Да еще руководитель подсыпал им соли на раны... ну, ему-то простительно, у каждого своя работа. Хотя временами он несет полную хренотень. Но с чего клиенты так убиваются, этого он, хоть тресни, не поймет. Отказывается понимать.

В детстве он пережил аналогичный опыт, очень напоминающий сегодняшние переживания богатых туристов, только с обратным знаком. По воскресеньям мать водила его на прогулку в XVI округ. И они целыми часами бродили там по улицам, зачарованно любуясь роскошными домами, воображая, какая счастливая, сказочная жизнь скрыта за их стенами, жизнь среди шелков и драгоценностей, ароматов и болонок. Они восторгались. Они восхищались. Они поэтизировали эту жизнь. Так часто бывает, когда люди ничего не ведают о предмете своего поклонения. Но вернемся к предместью Пески: уж его-то шофер знает как облупленное. И там он все и всех видит насквозь. Так, по крайней мере, ему кажется. И увиденное отнюдь не побуждает его приукрашивать действительность. Или, наоборот, чернить ее.

Решено: отныне он будет сидеть в автобусе и ждать, когда эти дамы и господа вдоволь наглядятся и наслушаются всяких страстей. Тем более он почувствовал, что его равнодушие им не нравится. Особенно недо-

вольна Одиль Б., эта чистая душа. Которая даже шепнула на ухо супругу: "Просто ужасно, до чего ему наплевать на несчастья ближних!"

В этот момент чета Жуберов заводит беседу с мадам Пит; тема разговора – животные токсины, так как им подали говядину, которая, вполне вероятно, буквально напичкана этими токсинами; словом, вопрос вполне актуальный. И связанный с извечной проблемой: что лучше – безмятежное неведение или трезвое, но болезненное осознание истины? Тут двух мнений и быть не может. Всё лучше, чем неведение. Даже если (провозглашает Флоше, прибегнув к Екклесиасту) умножающий познания умножает скорбь. Цитата встречает бурное одобрение. Флоше пользуется этим, чтобы еще раз взять слово и перевести стрелки беседы на свой последний роман: знаменитый писатель возвращается в деревню, где провел детство (о-о-очень тяжелое!) и где теперь предается мучительному самоанализу. Флоше ловит каждый повод направить дискуссию в сторону литературы: литература – его религия. Увы, эта сентиментальная сельская история терпит позорное фиаско. Флоше удивлен: туристы почему-то не спешат выразить восхищение.

Что касается Джейсона, то он все еще пребывает в состоянии крайнего раздражения. К усталости от постоянного двухсуточного старания вести себя пристойно добавляется глухая ярость, внушенная непонятным радостным оживлением Олимпии. И когда Одиль Б., на которую он давно уже точит зуб, просит его: "Передай мне, пожалуйста, графин с водой", его буйная натура берет верх. Призвав весь стол в свидетели, он разъяренно кричит: "Да как она смеет мне "тыкать", эта дамочка?"

Одиль Б. возмущена до глубины души. Она заявляет мужу, что завтра же вернется в Париж. Это уж слишком! Вскочив, она с грохотом отталкивает стул и удаляется, высокомерная и нелепая, среди всеобщего изумленного молчания.

Руководитель, стремясь выправить ситуацию, спешно заводит новую рацею. Приняв величественную позу пророка, он пламенно разъясняет слушателям (можно подумать, что недавно зародившаяся любовь питает его бурное красноречие) благородный смысл их reality tour[1]. Каковой состоит, ни больше ни меньше, в том, чтобы развить чувство социального равенства и социальной справедливости у тех, чьи вредоносные жизненные условия (а именно: светлое детство, жилищный комфорт, семейная гармония, постоянная высокооплачиваемая работа и акции, растущие в цене) задушили в людях естественные сердечные порывы. И ведь действительно невозможно отрицать тот факт, продолжает он, что недопонимание феномена социального равенства и справедливости в огромной мере способствует разделению Европы на два враждебных лагеря, чье противостояние грозит перейти однажды в кровавую схватку, да-да, я не шучу! Как нам известно, между Европой и Азией, между греками и варварами еще со времен Геродота существовала смертельная вражда. Ныне же мы наблюдаем, как эта непреходящая вражда разделяет две Европы, богатую и бедную. Далее руководитель, без всякой связи с предыдущим, цитирует Фридриха Ницше (знай наших, мы же среди культурных людей!).

Приносят десерт. "Господи боже, опять эта жирная выпечка!" – стонет Лафейяд. "Н-да, в гастрономическом плане немцы в подметки не годятся нам, французам", – заключает месье Жубер.

1. Зд.: путешествие в реальность (*англ.*).

Капелька патриотизма, время от времени, ничуть не вредит — при условии, что вы не выходите за рамки гастрономии.

День третий
Берлин – Дрезден – Регенсбург

Отъезд из гостиницы: в восемь утра.

Направление: Фридрихсхайн, проблемный район Берлина.

Автобус катит по улице 17 Июня, минует Бранденбургские ворота, выезжает на Александерплац. Олимпия никогда еще не видела таких широких улиц. Как же это старики ухитряются их переходить, не попав под колеса?

Мадемуазель Фолькирше просит шофера Вюльпиуса выключить радио. (Кстати, это единственный разговор, который происходит между ними за все время поездки.) Для шофера Вюльпиуса вести машину, не слушая музыки, равнозначно концу света. Но он вынужден подчиниться. Ей-богу, у этих туристов все не как у людей!

Яростное возбуждение Джейсона сменилось полной апатией. Теперь ему все по барабану. Он сворачивает себе косячок. Он мрачен. Ему тошно. У него нынче черный день. Под стать берлинскому небу. Шоферу Вюльпиусу, которого беспокоит его убитый вид, Джейсон объявляет: "Сегодня я взял тайм-аут".

— Ну, а вы? — спрашивает Олимпия руководителя, который опять сел рядом с ней. Ибо настал его черед рассказывать свою жизнь.

И он начинает.

Ребенком он жил между католичкой-матерью и фанатичным коммунистом-отцом. И взяв сторону матери, стал фанатичным католиком. В возрасте восемнадцати лет поступил в семинарию. Где его сексуальная озабоченность достигла апогея. Ибо в семинариях все способствует превращению людей в сексуальных маньяков. Тишина и одиночество вызывают навязчивые непристойные видения; в отсутствие женских лиц любой предмет обретает форму женского тела; садистские епитимьи, налагаемые отцами-настоятелями, и бесконечные мессы повергают измученный рассудок в сладострастный экстаз, в эротический бред. Всё, буквально всё вводит в соблазн.

Его духовный наставник, человек добрый и рыхлый, тщетно убеждал юношу держать в постели руки поверх одеяла, носить плотно облегающие трусы, дабы не выпускать на волю демона, и обратить свой сгорающий от похоти разум на чистую любовь к Иисусу и учению Святой Церкви; увы, ничто, ну просто ничто не могло охладить (не говоря уж о том, чтобы изничтожить вконец) этот жар плотского вожделения. И когда он в отчаянии бросался читать Библию, уповая на спасительное действие благочестивых текстов, то видел в них лишь одно подстрекательство к мазохизму, к садистским забавам, разнузданным оргиям, позорным совокуплениям и самым что ни на есть извращенным страстям. Олимпия громко хохочет.

В 1986 году он решительно покидает семинарию. Начинает жизнь с нуля. Становится гидом в турагентстве. О, счастье!

Но двенадцать лет этих непрерывных каникул вконец измотали его. Он говорит: "Я устал скитаться по свету, устал от жары, часто тридцатиградусной и выше, от красот озера Балатон, от красот озера Гарда, от

'жемчужин Тихого океана' и от 'жемчужин Востока', от 'пляжей вашей мечты' и 'коралловых островов вашей мечты'".

Устал от восхищенного кудахтанья туристов и необходимости восхищаться их восхищением, от собственных постоянных стараний угодить им, воспевая экзотические одиссеи в самом сердце Казахстана или Маньчжурии и постепенно обнаруживая, какое высокомерие, какое идиотское тщеславие его клиенты демонстрируют в этих экспедициях.

Устал от бесконечного топтания перед галло-романскими руинами, что кишат скорпионами и другими ядовитыми тварями. Устал наматывать себе на шею кобр, изображая беззаботную отвагу, или, еще того хуже, напяливать таитянские венки, которые вообще позорят настоящего мужчину, делая из него бабу.

Безумно устал от танцев с метлой.

Ибо танец с метлой (не смейтесь!), танец с метлой — это истинная пытка.

Тем более что турагентство велит аниматорам вручать метлу самой уродливой туристке, чтобы она не чувствовала себя обойденной.

Олимпия хохочет во все горло. Она хохочет, как иные кричат. С той же силой. Олимпия такая слабенькая, но смех у нее по-испански громогласный. Смех фламенко, сказал бы тот, кого я не могу назвать. Ибо, по моему мнению, Испания единственная страна в мире, страдающая двумя совершенно противоположными изъянами — наклонностью к мистицизму и вульгарным бесстыдством в выражении радости. Олимпия смеется слишком громко — во всяком случае, по мнению богатых туристов. Которые обладают сверхчувствительным слухом. Ибо наслушались Штокхаузена[1]. И слишком громко по мнению Джейсона, который вынужден включить плейер на полную катушку, чтобы заглушить этот ликующий смех.

"Танец с метлой, вручаемой уродливым туристкам, — вот мой крест, моя мука, — признается Олимпии руководитель. — И однако наше начальство считает его важным элементом профессии гида, залогом реального участия в жизни группы, а равно и признаком стоицизма — в общем, двух добродетелей, без коих это занятие — всего лишь бледная имитация деятельности". И он может без всякого преувеличения заявить, что именно танец с метлой явился тем решающим доводом, который подвигнул его на переход в иное качество.

А именно: когда его шеф, месье Борн, предложил ему заменить месье Липари, уволенного за дурной запах изо рта, и перейти от массового туризма, сколь вульгарного, столь же и бесцельного, к туризму душеочистительному, прогрессивному и, не побоюсь этого слова, просветительскому, он согласился без колебаний. Вот она, желанная возможность навсегда покончить с этим ужасом — танцами с метлой и безобразными бабами. Руководитель и Олимпия смеются в унисон. Всякая любовь начинается с такого единения.

Итак, продолжает руководитель, он с радостью и гордостью сменил ремесло "массового" гида на профессию куда более привлекательную, но и более ответственную — руководителя групп reality tour. Этот необычайный проект позволил ему вдобавок сочетать свою жажду путешествий с тем проповедничеством энтузиазмом, который некогда привел

1. Карлхайнц Штокхаузен (р. 1928) — немецкий композитор, классик музыкального авангарда.

его в семинарию. Иными словами, он хотел бы, чтобы этот reality tour встряхнул богатых людей, открыл им глаза на окружающую действительность, пробудил в них совесть и сделал человечнее. Что совсем даже нелегко. Так он говорит.

Но главная сложность заключается в том, что данный вид туризма был доселе абсолютно неизвестен, и он не располагает никакими инструкциями, никакой методикой, а стало быть, вынужден постоянно импровизировать. "Хотя с тех пор как появились вы, — шепчет руководитель, я чувствую прилив вдохновения. Ваша кротость помогает мне изъясняться гладко, без колебаний и запинок, четко и ясно как никогда; речь моя пронзает сердца, как острый клинок. Вы вооружаете меня, и вы же разоружаете, говорит он (ну прямо Маргерит Дюрас!)". Эти слова вызывают у Олимпии улыбку. Обратите внимание: вот уже два дня Олимпия непрерывно улыбается. И это жутко бесит Джейсона. Который находит, что у Олимпии идиотский вид служанки, услышавшей похвалу от хозяев. Он бросает на нее нарочито презрительные взгляды в надежде, что она их заметит. Но Олимпия ничего не замечает. Она переполнена счастьем. А счастье, как известно, великолепное лекарство от презрения. Честно говоря, Олимпия далеко не все понимает в рассуждениях руководителя, часто весьма темных из-за их пафоса, но она все равно улыбается, зачарованная музыкой этой речи, музыкой, которая понятна без слов и которая так согревает душу.

Но оставим руководителя и Олимпию, пускай себе шепчутся сколько хотят, и пускай ангел литературы запишет их влюбленное воркование на облаках, если у него найдется время.

Поговорим-ка лучше о Жюльене Флоше и мадемуазель Фолькирше.

На самом деле Флоше вовсе не зовется Флоше. Мы присвоили ему этот псевдоним, дабы избежать обвинения в диффамации. Флоше плохо выбрит — как настоящий художник, мрачен — как настоящий поэт, некрасив до безобразия и до безобразия завистлив. Его литературные мнения (а он оценивает своих собратьев по двадцатибалльной системе в газете для широкого круга читателей) диктуются именно этой болезненной черной завистью и весьма точно отражают уровень последней, который обратно пропорционален даваемой оценке. Но мы ограничимся лишь этим штрихом к портрету, опасаясь репрессий.

Сегодня утром мадемуазель Фолькирше решила произвести лобовую атаку на писателя. (Хватит ему рассуждать о Стерне и Гадде!)

Итак, первый этап, как обычно, — "воспламенение".

Мадемуазель Фолькирше сразу же пристраивается к Флоше — ласковая, приветливая, умильная (прямо клади ее в чай вместо сахара!) — и сладеньким голоском поверяет ему свой ночной сон — историю о ноже для колки льда, который каким-то таинственным образом связан с ним, Флоше, что в свете современных так называемых психоаналитических теорий звучит весьма многозначительно. Флоше, ободренный аллюзивным бесстрашием этого признания, тотчас излагает мадемуазель свой проект радикального обновления романа. И без промедления пускается в подробности.

Нынче ночью на него снизошло, как он сообщает, важнейшее озарение: он должен покончить со своим красивым слогом, ибо такой слог насквозь лжив. Мадемуазель Фолькирше трепещет, услышав эти слова, как трепещет при каждой литературной новости (ха-ха, тоже мне новость!). Она находит идею Флоше просто революционной. Ни больше ни меньше.

Отныне Флоше исполнен глубокой решимости вывалять свою прозу в грязи. И написать сагу реальной жизни. Современную эпопею, и никак иначе. По примеру англичанина Макса Рейвенхилла[1], если угодно. Но только гораздо лучше. То есть, наоборот, гораздо хуже. Он, Флоше, напичкает свои тексты самыми что ни на есть отборными нечистотами. До которых так охоча наша публика. Ибо реальность — это грязь, это мусор, это отбросы, не правда ли? Мадемуазель Фолькирше понимающей улыбкой приветствует сию программу. "Не хвататься за истрепанные сюжеты, — продолжает Флоше, — только оттого, что они популярны, но описывать жизнь, незнакомую с красотой, вы понимаете?" В этот момент шофер яростно жмет на тормоза, до смерти напугав пассажиров, которых бросило вперед, но отнюдь не заставив Флоше прекратить свои идиотские бредни. "Нельзя изображать предместье, — продолжает он в полном упоении от своей идеи "грязной прозы", — нельзя изображать предместье мрачной дырой, помойкой, обреченной на гибель; нужно открыть, озарить его, избавив от царящего в обществе предубеждения". Мадемуазель Фолькирше одолевает смертельная скука, но она крепится и не выказывает этого. "Пора сломать застывшие стереотипы, — провозглашает Флоше, — пора заставить людей отринуть устаревшие понятия, вы согласны?" Мадемуазель Фолькирше постепенно теряет терпение и нервно барабанит пальцами по оконному стеклу автобуса. "Пора кончать с искусством, созерцающим собственный пуп и превозносящим лишь собственный дух, но..." "Но до чего ж ты нудный со своими манифестами!" — мысленно негодует мадемуазель Фолькирше. Однако, сжав зубы, продолжает слушать эту литературную ахинею в ожидании удобного момента для атаки на потенциального супруга и отца своего ребенка. Мадемуазель Фолькирше приближается к роковой дате — сорокалетию, но все еще не утратила надежды на потомство. Какое удовольствие это доставило бы дорогому папочке!

В это же самое время Лафейяд признается месье Буаффару, что Флоше его совсем достал. (Можно подумать, мысли и эмоции передаются путем телепатии.)

"Флоше, — говорит он, — жуткая зануда. Дальше некуда. Век бы его не видать, этого типа! Как общнешься с таким мастером пера, сразу видишь все его недостатки, о которых мы сроду не узнали бы, читая его книги. Собственно говоря, если забыть о его внешнем облике (следует обмен сочувственными взглядами), Флоше ничем не отличается от других людей. Обычная посредственность. И кроме того, самовлюбленный дурак. Способный разглагольствовать исключительно о своих драгоценных творениях, как написанных, так и грядущих. Господи спаси! Умный человек всегда знает, когда следует остановиться, чтобы не вогнать слушателей в тоску. Но Флоше — это не тот случай. Его страсть к хвастовству перевешивает здравый смысл. И объяснение этому очень простое: Флоше из породы писателей. А все писатели, черт бы их подрал, одним миром мазаны!"

Теперь автобус проезжает по кварталу Пренцлауэрберг. Старые, еще довоенные здания. Грязные облупленные фасады. Стены сплошь покрыты граффити. Серое убожество. Руководитель нехотя покидает место ря-

1. Вероятно, имеется в виду Марк Рейвенхилл (р. 1966), английский писатель, драматург, представляющий вместе с другими молодыми литераторами "Новый фронт реализма".

дом с Олимпией, чтобы разразиться очередным пророчеством. "Я предчувствую гибель Европы и надвигающийся на нее ледниковый период! — возглашает он, объятый новым приступом ораторского зуда. — И хотя с исторической точки зрения Европа находится лишь в самом начале своего пути, — продолжает он, — вдали уже грядет развязка; я вижу, явственно вижу ее предвестия. Ибо Европа темная и невежественная, Европа отверженная и распятая, Европа постыдная и заблудшая, Европа, гниющая в зловонных клоаках и всеми покинутая, Европа, свободно умирающая с голоду среди свободной Европы, эта Европа, дамы и господа, есть истинная суть другой Европы — богатой, черствой и глухой к чужим стенаниям. И эта Европа, чью немую боль мы с вами ощущаем вот уже три дня, открывает нашему взору подлинную жестокость той, второй, великой, прекрасной и миролюбивой Европы. Если мы не положим этому конец, то несчастья этой Европы подпишут неумолимый приговор всей Европе и всему миру в целом. Мне больно вам это говорить, но, увы!.."

Опять эти апокалипсические бредни!

Тьфу на него!

Да уж не член ли он какой-нибудь секты?

Эта мания непрерывно пророчить беду выведет из терпения самые невозмутимые души!

В то время как руководитель пугает туристов грядущими ужасами, мадам Пит подсаживается к нашей Олимпии. Беседует с ней о ее жизни — жизни современной девушки. Наверное, она страшно интересна. Полна радужных перспектив. И свободного времени, и развлечений, не правда ли?

Ну, это как сказать... По субботам Олимпия тратит малую толику свободного времени, оставшегося от работы, на походы в торговые галереи. А именно в "Supermod". Где брюки военного образца (введенные в моду Деми Мур) пользуются бешеным спросом. Ибо Олимпия живет по законам "Supermod". Олимпия воплотилась в "Supermod". "Supermod" — смысл всей ее жизни. Или, если угодно, ее герб, ее девиз. "Supermod" удовлетворяет все ее потребности, благодаря ему она может выглядеть пристойно в глазах Джейсона и всех других. Быть Supermod или не быть — that is the question[1]. Вы только посмотрите, что случается с девушками, не признающими "Supermod"! Вот, например, Кристель Риб щеголяет в тряпках, которые мать заказывает ей в "La Redoute". Так над ней смеются все наши девчонки. И парни потешаются. Кричат ей: "Пойди смени прикид!" В общем, полное сексуальное фиаско. В довершение несчастья кто-то намалевал на ее школьном шкафчике расфуфыренную девицу с толстой отвислой попой, ну прямо ужас что такое! Она чуть не умерла с горя.

Итак, Олимпия посещает магазин "Supermod" при торговых галереях, и это происходит следующим образом. Предложение — брюки военного образца — и спрос, то есть желание потратиться на брюки военного образца, полностью забивают Олимпии голову, изгоняя все остальные мысли. На следующей неделе Олимпия собирается купить там что-нибудь еще из одежды. Риск отстать от моды очень велик, и Олимпия из кожи вон лезет, чтобы не "сойти с дистанции". Ибо отстать

1. Вот в чем вопрос (*англ.*).

от моды означает погубить себя навеки. Сжалься, Господи, над несчастными девушками, рабынями идола потребления! В то же время Олимпии приходится строго следить за тем, чтобы не превысить свой бюджет в части расходов на "Supermod". Ведь из шести тысяч франков зарплаты нужно вычесть три тысячи на квартиру, восемьсот на прочие коммунальные дела, тысячу двести на питание, пятьсот на телефон... в результате у нее остается всего пятьсот франков в месяц. В общем, хило — что называется, ни жить, ни сдохнуть (грубая шутка).

Однако с той минуты, как Олимпия увидела мадемуазель Фолькирше, в ее невинную душу закралось страшное сомнение: а вправду ли "Supermod" — наилучший магазин в мире? И не вульгарно ли выглядят ее ботинки на восьмисантиметровой платформе? И не слишком ли убого смотрится ее демисезонная курточка из моющейся синтетики? Иногда ей кажется, что эти изысканно одетые туристы поглядывают на нее с пренебрежительной усмешкой. Особенно мадемуазель Фолькирше. Как будто прикид из "Supermod" с ходу зачисляет ее в разряд безнадежных. А может, ей это только чудится?

Добросердечная мадам Пит тут же начинает утешать Олимпию, осыпая ее комплиментами. "Ну что вы, дорогая, ваша курточка из моющейся синтетики просто чудо, точная копия модели от Жан-Поля Готье!" И Олимпия, изумленно воззрившись на мадам Пит, едва сдерживает внезапно подступившие слезы. О моя Олимпия!

Автобус прибывает в квартал Фридрихсхайн на востоке Берлина и тормозит перед панельной многоэтажкой, на фасаде которой красуется надпись BSV HUR TÜRKEL[1]. Квартал, и в самом деле, заселен в основном турками. Он угрюм и неприглядан.

— Этот микрорайон, — объявляет руководитель, — один из самых убогих в Берлине. И вы, — говорит он своим богатым клиентам, — вот уже три дня уподобляетесь несчастным иммигрантам, роковым образом привязанным к наиболее мрачным местам любого города. Иммигранты выходят из самолетов исполненные радости и боязни; они берут такси и едут "в Берлин, к дяде". После длительного переезда таксист останавливает машину на границе какой-то жуткой зоны и объявляет: "Все, дальше не поеду, этот квартал опасен, с вас столько-то (следует огромная цифра)". И тут иммигранты, так долго мечтавшие об этой земле обетованной, так уповавшие на радушный прием, чувствуют, как их сердца сжимает неведомая доселе тоска. Они долго тащатся по серым улицам с тяжелой поклажей в руках. Но вот наконец и дом дяди. Здание выглядит кошмарно. Сердца приезжих сжимаются еще больнее. Они стучат в дверь. Они все еще питают надежду, что их путешествие оправданно, что оно — не безумная ошибка. Они слышат шаги за дверью. Дверь отворяется. И в тот миг, когда их взору предстает грязный, бесконечно унылый коридор, перед ними разверзается пропасть.

Туристы решили больше не слушать измышлений руководителя. Он их деморализует. Часть группы вообще отказалась выходить из автобуса. Их ресурс милосердия уже исчерпан. Добрые чувства улетучились. Альтруизм иссяк. Пускай шофер Вюльпиус провезет их по кварталу, и с них хватит! Короче, назовем вещи своими именами: туристы устали. В конце концов люди устают от всего. А главное — от других людей, какими бы милыми те ни были. И уж конечно, от этих обездоленных.

1. Футбольная команда турецкой общины Берлина.

Однако среди малодушных вы не найдете Одиль Б. Чья пылкая приверженность общественным идеалам и истерзанное жалостью сердце (она подзарядила его этой ночью) не позволяют ей согласиться с окружающими. Она категорически против. Она вся трепещет от негодования. Она оскорблена до глубины души. Нет, господа, желание прикоснуться к правде — это вам не увеселительная прогулка, и нужно уметь идти до конца в своих самых сокровенных убеждениях, даже если придется дорого заплатить за науку. Она разгневана. Ее душит возмущение. Неужели это так трудно — претерпеть за всю свою длинную благополучную жизнь хотя бы коротенькую "пору в аду"[1]?! Одиль Б. надрывается, доказывая, что капитуляция перед трудностями, которые еще и не начались, — типичная черта французов, широко известных своим моральным пораженчеством и насмешливым скептицизмом. Она осуждает их по всем статьям. Решительно и неумолимо.

Слушая бурные инвективы своей супруги, месье Буаффар благоразумно помалкивает. Как вы уже поняли, этот бедолага запуган до предела. Он давно уразумел: чем больше его половина кипит по причинам внесемейного характера, тем меньше достанется ему самому. Главное для месье Буаффара — укрыться в тени. Он прилагает к этому все усилия. Жалкое зрелище!

Что же до других туристов, то в конечном счете они принимают сторону этой бесноватой. Ибо она завоевала себе в их группе неоспоримый моральный авторитет. Они постоянно советуются с пифией. Не спускают с нее глаз. Угождают. Ублажают. Пугаются, стоит ей нахмурить брови. Хотя между собой исподтишка и критикуют за непреклонность. Но вслух восхищаются ее честностью. Аплодируют ее откровенности. Хвалят за прямолинейные аргументы. Хотя шепотом и осуждают за отсутствие гибкости.

В общем, одобряют в лицо и хулят за спиной.

Иными словами, боятся так же сильно, как ненавидят.

Но все же ей уступают. Как всегда уступают людям такого сорта. Как я сама тысячу раз уступала тому, кого не могу назвать. И лишь Флоше да мадемуазель Фолькирше осмеливаются хоть изредка противоречить Одиль Б. Поскольку оба сразу невзлюбили ее. И между собой высмеивают эту пылкую поборницу справедливости, эту мещанку, эту выскочку, которая устроила из защиты простонародья такой тарарам с единственной целью — скрыть собственное плебейство.

Итак, все туристы, за исключением Флоше и мадемуазель Фолькирше (неужто эти рафинированные создания решили отмежеваться от группы?), выходят из автобуса, смирившись со своей участью.

Джейсон бредет следом за ними.

Его сердце переполнено противоречивыми чувствами, в основном гневными. Но он молчит. Затаился в ожидании. В ожидании чего? Я не знаю. Да и сам он не знает тоже. Проходя мимо Олимпии, он жестоко поддает ей локтем под ребра: эй, ты, уйди с дороги! У Олимпии аж дыхание перехватывает. "Ты что, рехнулся?"

Визит к некоему турку по имени Экун, уроженцу Эрзурума. Туристы входят в квартиру гуськом — впереди руководитель, за ним Одиль Б., потом Лафейяд и все остальные.

1. Намек на произведение А. Рембо.

В столовой (она же кухня) полный кавардак. Линолеум весь растрескался. Обои полиняли и засалились. Из мебели здесь имеются только убогий диванчик, разнокалиберные стулья да хромоногий стол, за который хозяин-турок и усаживает своих французских гостей.

Затем он жестами предлагает им кофе. Одиль Буаффар, боясь обвинения в брезгливости, считает своим долгом согласиться. Ей подают чашку сомнительной чистоты. Как бы ее не стошнило от такого угощения! Отсюда мораль: косить под демократку не всегда легко.

Турок Экун с места в карьер начинает рассказывать свою жизнь на ломаном немецком. Руководитель переводит. Все та же песня: каторжная работа и скверное знание языка (с климатическими, культурологическими и прочими вариантами).

Прибыв в Гамбург, Экун некоторое время пытался зарабатывать доставкой товаров на дом, но когда клиент давал пару монет на чай, шофер, стопроцентный немец, все отбирал у него. Экун был ужасно разочарован. Промаявшись эдак месяца три, он уехал в Берлин и занялся подпольным шитьем шмоток. Тогда-то он и встретил одну немецкую женщину. Уж такую белокурую, ну просто мечта всей его жизни!

Специфика случая Экуна (как выразился бы один профессор из числа моих друзей) состояла в том, что он встретил эту женщину, когда еще ни слова не знал по-немецки. Но вот она, волшебная сила любви, — они прекрасно поняли друг друга! Так хорошо поняли, что женщина тут же забеременела. И что ему, турку, было делать одному в этой Германии? Конечно, он женился на беременной женщине. Но теперь, по мере того как он прогрессирует в лингвистическом плане, он теряет все свои иллюзии в плане эмоциональном. Его жена часто произносит такие загадочные речи, что прямо диву даешься. Например, будто бы милость Господня явлена ей в двух ипостасях — Аллаха и Иисуса Христа. (Вот ужас-то!) Которые ублажают ее душу с такой любовью, с таким состраданием, что она раскрывается только перед ними и ни перед кем другим. Она настолько околдована, что по временам не узнает своего земного мужа. Зовет его "господин". Говорит: здравствуйте, господин Экун, спасибо, господин Экун, чего желаете, господин Экун? Зато в другие дни она раскаивается и вымаливает у него прощение, чуть ли не ноги ему целует — так благоговеют разве что перед пророками и директорами заводов, но он-то не пророк и не директор, а совсем наоборот, и ему смешно глядеть на ее кривлянья. В общем, Экун вынужден признать ужасную правду: его жена сумасшедшая. Он женился на сумасшедшей. Но назад пути уже нет. Ибо скоро родится ребенок. И он рождается. А за ним еще двое.

Иногда жена берет младенца на руки, но вместо того чтобы перепеленать, нахлобучивает ему закаканный подгузник на головку. И при этом хохочет во весь голос. Детские какашки — Божья благодать. Так она говорит.

Слышится возмущенный ропот публики. Разве в Германии нет общественных организаций, помогающих людям в такой ситуации?

Экун осмеливается высказать свое скромное мнение: чтобы упорядочить его жизнь, нужно только одно — пусть ему скажут, какие шаги следует предпринять для получения гражданства. Он извлекает из ящика стола папку и кладет перед туристами три письма от чиновников из бундестага. Не могли бы дамы и господа объяснить, что в них написано? И, если можно, помочь с ответом. Сам он ничего не разумеет в таких делах. Экун бережно хранит бумаги, в которых ничего не разумеет. Он так и го-

ворит: "Вся моя жизнь в этих бумагах, но я в них ничего не разумею". Вся жизнь — в нескольких строчках официального письма. Ибо всю жизнь Экуна можно уместить в нескольких словах. Как и в этом романе. Экун говорит: "Я собирался прожить здесь лет пять, заработать кучу денег и уехать домой, но вот идет год за годом, и так пролетело восемь лет, и десять лет, и пятнадцать лет жизни, которую и жизнью-то не назовешь, потому что настоящую жизнь каждый день откладываешь и откладываешь — на завтра".

Туристы утешают Экуна, правда не очень убедительно, как торговец — клиента в часы наплыва покупателей. Их энтузиазм начинает давать сбои. И милосердие тоже.

Они быстренько сворачивают визит.

Им нужно поспеть в Регенсбург еще засветло.

Auf Wiedersehen![1]

Они уходят не оборачиваясь.

Торопливо.

Испытывая смутный стыд.

Садятся в автобус. Уф, наконец-то они в своей компании! Или почти в своей.

"Бедность подобна алкоголю: и тем и другим вредно злоупотреблять", — говорит Лафейяд Дефосу, который прыскает со смеху. (Вторая черта их бесспорного сходства: чрезмерная доза бедности убивает.)

К счастью, Одиль Б., как всегда, начеку; она заставляет своих слабовольных и таких легкомысленных спутников помнить об их высоком долге и идти вперед, все дальше и дальше, в поисках истины, которую обещает раскрыть перед ними сие благородное начинание. Вперед, друзья мои, вперед к истине!

Автобус мчит на полной скорости вперед, к истине, иными словами, в направлении Регенсбурга.

Джейсон сидит не двигаясь на своем месте справа от шофера и смолит косяк за косяком, даже и не думая таиться от клиентов. Его невидящий взгляд устремлен на окружающий пейзаж. Застывшая поза внушает не меньшие опасения, чем вчерашние лихорадочные метания. Какие мрачные планы мести вынашивает его ожесточенное сердце?

Шофер Вюльпиус заговаривает с Джейсоном, желая отвлечь его от черных мыслей. Что он думает о своих новых знакомцах (то есть о туристах)? Джейсон отвечает кратко и категорично: эти психи его заколебали. Он хочет сказать, что посвящает им бóльшую часть своих воинственных мыслей. Которых хоть отбавляй в темных недрах его неспокойного сознания.

Сам шофер Вюльпиус тоже переживает душевный кризис, но по поводу своих старых знакомцев. Объясняем.

Шофер Вюльпиус имел возможность наблюдать волнение экскурсантов, вызванное жизненными условиями обитателей его предместья. Однако в таких условиях он и сам живет вот уже тридцать лет. И ему невдомек, чем же они неприемлемы. Что в них такого ужасного? Все эти вопли и сопли посетителей, все эти крокодиловы слезы и прочая жалостная мутотень крайне озадачили его, побудив к серьезным размышле-

1. До свидания (*нем.*).

ниям. Ибо приезжие богатеи хором стенали и плакали над ЕГО жизнью. Ибо эту жизнь они своим хныканьем поставили под вопрос. Неужто же она, его жизнь, настолько убога, как показалось этим чужакам? Шофера Вюльпиуса одолевают мрачные раздумья, отсюда его нервное поведение и неконтролируемые рывки автобуса. В общем, он приходит к весьма плачевным выводам. А именно:

Предместье ихнее — дерьмо. И жилье у него — дерьмо. И жена у него — дерьмо, как он теперь понимает; вернее, она стала дерьмом оттого, что ихнее предместье всех баб превращает в дерьмо, это уж яснее ясного.

Значит, ему следует плюнуть на свою дерьмовую житуху и свалить куда подальше? Эта мысль зреет у него в голове, пока он ведет свой в высшей степени комфортабельный автобус. Мы проследим за развитием его моральных терзаний в строгом соответствии с законами повествования, вот эти законы: плавное развитие действия, прерываемое время от времени бурными всплесками, способными держать читателя в напряжении, затем, в финале, happy end и — дальше тишина.

Однако по прибытии в Дрезден, на полдороге к конечному пункту, шофер Вюльпиус, с его чересчур интенсивными переживаниями, ломает все законы классического романа: двух часов напряженной умственной деятельности хватило на то, чтобы родное предместье, вкупе с квартирой и женой, опротивело ему вконец. Если он останется с ними, значит, прощай, настоящая жизнь, говорит он себе. Нет, надо похерить все это. Окончательно и бесповоротно. Забыть напрочь, как не было. Вот только куда податься? Этого он не знает. Скажите, есть ли такая страна, где не бывает бедных, please?

Вопреки всем законам реальности, шофер Вюльпиус принял свое непоколебимое решение в рекордно короткий срок. А я-то мечтала напичкать свой роман дискуссиями, тяжкими сомнениями, исступленными метаниями, наводящим ужас саспенсом и всякими эффектными трюками, дабы захватить читателей, — не тут-то было, шофер Вюльпиус оставил меня на бобах.

Но вдруг я понимаю одну вещь: кажется, я неточно сформулировала или плохо разъяснила аргументы, которые убедили шофера Вюльпиуса в том, что его жена — дерьмо. Вероятно, нужен более веский довод, вот он: жена шофера, неврастеничка каких мало (она специалистка по осенним депрессиям), и домохозяйка каких мало, за последние три года убедила себя, что их соседка по площадке, мадам Жонас, вдова, шумит у себя в квартире нарочно, со злодейской целью навредить лично ей. С тех пор вся ее депрессивная скорбь сконцентрировалась на этой идее, став подлинным наваждением.

В результате она посвятила свои дни неусыпной слежке за звуками, исходящими от соседки, которая, якобы возбуждаясь от непристойных фантазий — сексуальных, конечно! — день и ночь изводит ее мерным стуком не то мотыги, не то еще чего-то, так что у злополучной жертвы мозги плавятся от этой непрерывной пытки.

Жена шофера отринула все, что не имело отношения к ее мучительной одержимости. Наглухо закрыла все двери. Чтобы полностью отдаться своему безумию. Упиваться своей безудержной яростью.

И теперь для нее не существует другой жизни, кроме этой. Совсем никакой.

Когда муж приходит вечером с работы, ему тут же говорят: “Тихо! Слушай! Ты слышишь?” Но шофер Вюльпиус ничего не слышит. “Да нет,

ты только послушай этот грохот!" Жена злится: "Да ты прислушайся хорошенько!" Но шофер все равно ничего не слышит. Тогда она крадется на цыпочках, точно наемный убийца, к стене, приникает к ней ухом и замирает, знаком веля мужу молчать и слушать. "Тихо ты!"

И — о, радость! — наконец она различает дробный перестук не то мотыги, не то еще чего-то, и он точит ей мозг, как древесный жучок, буквально сводя ее с ума. "Ты слышишь эти мерзкие звуки?" Нет, шофер ничего не слышит. Он только видит, как жестоко терзает его половину эта неотвязная слуховая галлюцинация. И каждое утро встает с надеждой, что его мучительные переживания, вызванные безумием жены, улягутся, пока он будет в очередном рейсе (тот факт, что путешествия способствуют забвению печальных мыслей, находит множество подтверждений). Увы, тоскливые раздумья не оставляют шофера Вюльпиуса даже в автобусе, медленно отравляя душу. А вслед за тем и все его существо. И тогда может произойти взрыв. Который грозит уничтожить все вокруг.

День четвертый
Регенсбург – Милан – Виджевано

Река, которую вы видите, называется Дунай, — сообщает руководитель Олимпии.

— Тот самый "Прекрасный голубой Дунай"?

— Да, тот самый.

— С ума сойти!

Автобус пересекает Австрию. Здесь он уж точно не задержится.

— До чего же красивые горы! — восхищается Олимпия.

— Это Альпы, — говорит руководитель.

— Ну прямо чудо какое-то!

Олимпия грезит.

Мадемуазель Фолькирше курит.

Одиль Б. пребывает в обычном состоянии, то есть в состоянии сильнейшего раздражения.

Мадам Жубер нервно теребит свое жемчужное ожерелье (натуральное).

Шофер Вюльпиус, насвистывая, уносится мыслями вдаль.

И вот уже автобус едет по Италии. Он держит путь к сквоту[1]; рекламные проспекты "Real Voyages" представляют его как "гвоздь программы" (обратите внимание: здесь слово "жемчужина" вполне логично заменено словом "гвоздь" — гвоздь, которому предстоит пробить сознание богатых туристов, и без того воспаленное, в медицинском смысле этого слова, предшествующими картинами нужды). Такой сквот вполне можно было бы найти и в Париже, и в Мадриде, и в Брюсселе, и в любом другом месте. Но туроператор предусмотрел посещение сквота именно на южной окраине Милана, и в настоящее время этот пункт программы выполняется с неукоснительной точностью.

1. Сквот — пустующее здание, самовольно занятое бедняками.

Предместье, по которому едет автобус, похоже на все предместья крупных европейских городов. Индустриальные комплексы. Гигантские рекламные щиты. Уродливые многоэтажки. Печаль и запустение.

И наконец, сквот.

Что о нем скажешь? Только одно: это кошмарное видение — следующий шаг на пути в ад.

Пустой, разоренный завод. Черный от копоти. Открытый всем ветрам. Ледяной. Зловонный. Неописуемо грязный. Его близость к Милану (богатому и процветающему) только еще сильнее подчеркивает весь ужас нищеты.

Внутри молодые парни и девушки, босоногие, оборванные, бродят с видом сомнамбул, слепо натыкаясь на кучи мусора, где поблескивают использованные шприцы.

Они живут здесь в ожидании смерти.

Олимпия и руководитель замолчали.

Они не могут смотреть на это и не могут не смотреть.

Жуткое зрелище, которое они видят, не желая видеть, вдруг разъединяет их.

И тогда руководитель устремляет пристальный взгляд на Олимпию. Таким образом он надеется спастись от грозного призрака, что маячит перед ними. Но все тщетно: кошмарные образы уже запечатлелись в нем. Их теперь невозможно изгнать. И то же самое происходит с Олимпией. "Настал час адского торжества, — шепчет руководитель, — час беззакония, час бесприютного братства".

А у Джейсона просто кровь кипит от бешеного желания разнести вдребезги весь мир. И это желание растет вместе с необъяснимым страхом, захлестнувшим его душу. "Скорей, скорей зарядить очередной косячок, пока у меня сердце не лопнуло, мать твою!.."

Туристы вконец раздавлены увиденным. Буквально онемели. Как будто стали свидетелями преступления. А может быть, и стали — метафизически.

Даже мадемуазель Фолькирше, и та присмирела. Обычно созерцание таких вещей вызывает у нее аналогии с другими вещами, которые вызывают аналогии с какой-нибудь картиной Бэкона[1], которая вызывает аналогии... ну и т. д. Но этот миланский сквот не вызывает у нее никаких дурацких аналогий.

Ужас. Но одновременно ирреальность этого ужаса. И полная невозможность выразить его словами.

"Слава богу, этот сквот находится не во Франции", — думают туристы, пытаясь хоть как-то утешить себя. Но и эта мысль их отнюдь не утешает.

Кошмарные видения бесцеремонно врываются в их души, вступая в жестокий конфликт с возвышенными идеалами. И эта внутренняя борьба производит целую бурю в их сознании. Они, конечно, пустятся на всякие ухищрения и компромиссы, способные примирить возвышенные идеалы с душераздирающими образами, но это будет позже, много позже, когда, вернувшись из путешествия, они усядутся в своих гостиных в стиле high tech с глянцевым журналом на коленях, сытые, ублаженные, одолеваемые приятной дремотой, что так легко обволакивает и тело, и совесть.

1. Фрэнсис Бэкон (1909–1992) — английский художник.

В настоящий же миг их душевная драма выражается в общем оцепенении, за коим тотчас последуют враждебные стычки, взаимная неприязнь, жестокие упреки, злобные выходки, и все это выльется в настоящую войну, ведущую к непоправимой катастрофе, если что-нибудь не остановит этот гибельный поток.

Руководитель во что бы то ни стало хочет утешить Олимпию и подыскивает для нее ободряющие слова. Но слова, что приходят ему на ум, лишь усугубляют отчаяние. "Молодых людей — этих мертвецов, этих полупризраков, обитающих в миланском сквоте, — убивает отчуждение, — говорит он. — Отчуждение, а не одиночество, — говорит он. — Которое тоже страшно, но совсем по-иному. Ибо в одиночестве, — говорит он, — человек остается один среди других людей. А здесь он отторгнут и от других, и, самое страшное, от самого себя".

— Да стухни ты, сука поганая! — вопит вдруг Джейсон. — Ты нас достал своими вонючими проповедями! Мы уж как-нибудь сами до всего допрем, мать твою!

Руководитель умолкает. На сей раз туристы про себя одобрили Джейсона. "Действительно, пусть этот псих заткнется и даст нам роздых".

"К чему это путешествие? — горько раздумывают они. — Разве можно взять и отменить декретом все зло, что губит этих несчастных?" Ощущение краха, против которого они бессильны, внезапно пронизывает их, лишая всякой надежды на лучшее. "Чем мы можем помочь!? — спрашивают они себя. — Увидеть зло своими глазами не значит его победить. И сочувствие, и слезы тут будут напрасны. С очевидностью не поспоришь".

Растерянные, убитые, туристы сейчас хотят лишь одного — любым способом избежать других подобных кошмаров. В глубине души они мечтают о внезапном землетрясении — пускай уж лучше эта напасть на их головы (вообще-то, горный обвал предпочтительней, но его последствия трудно рассчитать) — или о буре, о наводнении, о жестоком урагане, в общем, годится любой катаклизм, способный положить конец этому странствию по Европе и дать им улизнуть домой.

Увы, факт налицо: наши благополучные туристы больше не желают видеть нищету. Категорически не желают. Ибо нищета агрессивна. Она обладает пренеприятным свойством мучать тех, кто ее видит. Нищета зла. Очень зла.

Руководителя отнюдь не удивляет подобная реакция группы. Он уже трижды участвовал в таких паломничествах и знает, что они имеют четыре фазы, каждая со своей кульминацией: этап активного сострадания, затем сокрушительная депрессия с тяжкими угрызениями совести, непосредственно переходящая в стадию панического ужаса, которую, в свою очередь, сменяет, по возвращении домой, период трусливой самоуспокоенности. Математически выверенная последовательность.

Этот четвертый день поездки приходится как раз на пик депрессивной фазы. И руководитель обещает себе удвоить бдительность.

— Хотел бы я знать, какого черта нас сюда понесло! — внезапно восклицает месье Дефос.

Этот крик души весьма точно отражает невысказанную усталость всех членов группы.

Один только Лафейяд, человек энергичный и предприимчивый, все еще полагает, что нет, нет и нет, нельзя опускать руки, их нужно простереть к светлому будущему, полному радужных надежд и райских песен.

Ибо игра пока не окончена, черт подери, и должны же где-то существовать средства облегчить судьбу неимущих, дабы помешать им когда-нибудь взбунтоваться. И повесить нас на фонарях!

Посещение сквота усугубило тоскливую злобу Джейсона. До сих пор ему удавалось кое-как обуздать ее, но теперь она рвется наружу. И он знает, что если не изольет ее в словах или действиях, то просто съедет с катушек. Рассуждения Лафейяда пришлись очень кстати, они дают ему удобный повод облегчить душу.

В ответ Джейсон с ядовитой иронией предлагает подвергнуть жителей предместий сверхэффективной профилактике. Ввиду невозможности повысить их IQ или уровень нравственности, можно вырывать им ногти, дабы помешать царапаться, или яйца, как блудливым котам. Или, еще того лучше, извести их под корень. Это совсем нетрудно, таких методов хоть отбавляй. Они прекрасно зарекомендовали себя на протяжении многих веков.

Одиль шокирована: "Какая грубость! Какой непристойный язык! Этот мальчишка просто издевается над нами, а мы тут молчим и терпим! Он же нас оскорбляет, плюет нам в лицо, а мы не реагируем!"

Месье Дефос (на ухо мадам): "Мы были слишком уступчивы, мы впустили волка в овчарню, и результат налицо. Вот и доверяйте после этого молодым!"

Месье Жубер (своей половине): "Я тебя предупреждал!"

Лафейяд (склонившись к мадам Пит и дыша ей в шею, вполголоса): "Этот психопат портит нам все удовольствие, вышвырнуть бы его к чертям собачьим, избавиться раз и навсегда, ей-богу!"

Лучше бы он смолчал.

Ибо Джейсон уловил враждебный тон его слов. У Джейсона звериный нюх на враждебность, в чем бы она ни выражалась. Идет ли речь о легавых, о стукачах или о клиентах, Джейсон всегда на стрёме и мгновенно чует опасность. И всегда готов либо сделать ноги, либо атаковать. По ситуации.

Джейсон реагирует в два счета, никто и моргнуть не успел. Резко развернувшись, он налетает на Лафейяда. Ну, чего? Чего ему надо, этому субъекту? Чего он добивается, индюк надутый? Какое он имеет право тут возникать? Может, он недоволен? Может, ему чем-то не угодили? Выплевывая эти вопросы, Джейсон сопровождает их легкими тычками в грудь клиента. Его тошнит от этого типа. От его желтых зубов. От его сытой, довольной хари. От зеркальных шузов, какие носят в кино опасные маньяки. И от этого непробиваемого оптимизма, присущего всякой крупной сволочи.

Все, что есть в Лафейяде, все, что в нем воплощено, вызывает у Джейсона сильнейшее омерзение. В общем, Лафейяд — именно тот враг, о котором он мечтал. Иначе говоря, абстракция, карикатура. Ибо нет такого врага, который не являлся бы карикатурой на самого себя. Лафейяд — карикатура, таким я и хочу его видеть.

Как уже было сказано, Джейсона обуревает желание расквитаться с Лафейядом. Но за что? И за кого? Он и сам не знает. Может, за Олимпию, эту идиотку, изменившую ему с недоделанным кюре? За отца, слишком измученного тяжкой работой, чтобы самому постоять за себя? За всех этих богатеньких туристов? Возможно. За все, чем обидела его жизнь? За все, чем она его обделила? За то, что должна ему, но не торопится отдать? Вероятно, и за все это тоже. Да и за многое другое.

Туристы застыли в шоке. Руководитель подбегает и становится между Джейсоном и Лафейядом. Хватает Джейсона за плечи: "Послушайте, Джейсон, будьте же благоразумны!" Но Джейсон не желает быть благоразумным. Ему хочется крушить и жечь. Ему хочется карать. Ему хочется бить и причинять боль. Только тогда ему станет легче. "Убери лапы, ты, пастырь вонючий!"

Подбегает и Олимпия. Но Джейсон отталкивает ее так свирепо, что она со всего маху ударяется спиной о кресло Жубера и падает. С трудом встает на ноги. Ее лицо выражает безропотное смирение. То самое, которое нам так не нравится.

Лафейяд, чья врожденная самоуверенность несколько поколеблена, с минуту молчит, не зная, как реагировать, и наконец выбирает путь осторожного, снисходительного примиренчества. "Ничего-ничего, мы все немножко перенервничали, это пройдет", — говорит он тоном опытного психоаналитика.

Увы, подобные речи не могут смягчить Джейсона, совсем наоборот. "Это ты, ты нас нервируешь, жирный болван!"

Мадам Пит, добрая душа, делает слабую попытку вступиться за Джейсона перед своими соседями, расписывая трудности его жизни: отсутствие родительской ласки, бесконечный поиск собственного "я", ужасающая теснота в квартире — шесть человек на шестьдесят квадратных метров, это сколько же будет на человека...

— Не трудитесь, мы умеем считать! — прерывает ее Одиль Б.

Ибо Одиль Б. — и она тоже! — дошла до ручки. Дым сигарет мадемуазель Фолькирше буквально довел ее до удушья. (Эта женщина делает все, чтобы изгадить ей поездку!) А тут еще Джейсон со своими хулиганскими выходками. Чего ради мы все это терпим, давно пора гнать его в шею! Но главное в другом: Одиль Б. совершенно невыносима мысль, что ей не удается руководить группой так же свободно, как она командует собственным мужем. А это видно невооруженным глазом: она теряет власть, ее распоряжения почти не выполняются — словом, корабль, которым она надеялась управлять, как бесстрашный капитан, дал течь со всех сторон и грозит затонуть.

Увы, Одиль Б. не удалось выполнить свою высокую миссию.

И это приводит ее в исступление.

Группа разочаровала Одиль Б. Ужасно разочаровала.

Впрочем, едва ли можно теперь назвать это единой группой. Ее раздирают жестокие противоречия. И вот именно в тот момент, когда неприятельские стороны были готовы сплотиться против общего врага, эта мадам Пит, добрая фея, золотое сердце, снова внесла путаницу, взяв под защиту проклятого Джейсона. Ох, до чего же она невыносима! Эти добренькие, с их широкими взглядами, вечно устраивают неразбериху в обществе. Вместо того чтобы сгладить конфликт, она его усугубила. В результате группа совершенно сбита с толку. С кем теперь воевать? Против кого сплотиться?

Внезапно в дело вмешивается месье Бертий, который с самого начала поездки молчал, словно воды в рот набравши, так что я даже забыла о его существовании. И этот месье Бертий, превозносимый собственной женой за незыблемое душевное равновесие, взрывается как бомба. "Плевать я хотел на этих бедняков, пускай идут сами знаете куда!" — вопит он. Всеобщее изумление.

Месье Бертий первым устроил скандал по этому поводу. И все ужаснулись, ибо кто-кто, а уж он-то должен был восстать последним. Такой корректный господин, солидный, лощеный, выдержанный, вдруг разбуянился перед всеми и визжит, как свинья недорезанная. Мадам Жубер просто затрясло от страха.

– Хватит с меня ваших соплей! – орет он, наливаясь багровой краской. – Я сыт по горло вашей чертовой нищетой. Я и сам нуждаюсь, что ж вы меня-то не жалеете? Может, мне надо кричать на всех углах, чтобы вы надо мной поплакали? Может, мне набраться вшей, чтобы выглядеть совсем убогим?

– Арман, дорогой мой, успокойся, прошу тебя! – молит его супруга. – Это просто нервный срыв, – сконфуженно бормочет она, ни к кому персонально не обращаясь.

Стоит хоть раз выпустить правду из бутылки, и ее больше не остановишь, это уж такой закон. Наши туристы пошли вразнос. Хватит с них чужих бед, чужих жалоб – вот она, правда, на полпути их странствия! Разве сами они скулят и молят о милосердии? Разве они оплакивают собственные несчастья? Разве выставляют их напоказ, точно калека свою культю, и клянчат денег? Нет и нет! А значит, баста! Пришло время кончать с благими замыслами, которые они любовно лелеяли до сей минуты. Великодушные порывы приказали долго жить. Капут всем этим состраданиям, причитаниям, сюсюканью и возвышенным эмоциям. Пора вернуться к разумной деятельности, будь проклята эта нищета! Пора опомниться. Официальная благотворительность – и ничего более. Вот так-то!

Наступает молчание, природу которого мне трудно определить точно.

Лафейяд использует эту паузу для релаксации по методу, освоенному на антистрессовых курсах. Причем использует весьма оригинально: едва оправившись от потрясения, он нарушает тишину очередной хохмой. Лафейяд – неисправимый оптимист: он воображает, будто самую критическую ситуацию можно разрядить с помощью прибауток. Как в водевилях Лабиша. Вот уж, действительно, Бог ума не дал! Его остро́та, естественно, терпит фиаско.

А Джейсон, уже на грани истерики, во весь голос объявляет, что этот Лафейяд, возомнивший себя шутником, самый тупой из всех тупиц, каких он встречал в жизни.

Неужто Лафейяд позволит этому ничтожному наглецу оскорбить себя вторично? Увы, да. Ибо он труслив, мягкотел и не умеет с ходу отбрить оппонента.

И неужто мадам Пит не попытается еще раз примирить враждующие стороны? Увы, нет. Мадам Пит отчаялась справиться с агрессивностью, царящей в их группе. Она была готова ко всему, но не к такому поведению культурных, образованных людей. Еще немного, и она примкнет к затесавшимся сюда пролетариям. Кроме того, если жертва оскорбления омерзительна, как этот Лафейяд, то поневоле оправдаешь тех, кто на него нападает. Даже если сами они бандиты.

Джейсон нервно ерзает в своем кресле. Его гнев еще не улегся. Вдобавок шофер, как нарочно, оборачивается к парочке Олимпия – руководитель со словами: "Ну, как дела, голубки?" – и это окончательно выводит его из себя. Стараясь успокоиться, он потягивает очередной косячок.

Месье и мадам Дефос обеспокоенно перешептываются: уж не курит ли их гид гашиш? Не стал ли он рабом наркотиков, как оно часто бывает с молодежью из предместий? Может быть, именно этим и объясняют-

ся его экстравагантные выходки? И его провокации? И его злобные наскоки? Месье и мадам непременно поделятся своими сомнениями с директором "Real Voyages", как только приедут в Париж. Все должно иметь свои границы! Безобразие какое!

А мадам Жубер совсем приуныла. Вот уже десять минут она сидит и крутит обручальное кольцо на безымянном пальце. Это, конечно, чисто нервное. Месье Жубер шипит ей: "Прекрати сейчас же!" Мадам извиняется: "Это я машинально".

Одиль Б. перерыла всю сумку из кожи ящерицы в поисках очков. "Господи, ну куда же подевались мои очки?" Одиль решила с головой уйти в чтение романа, забыть все — и кошмарные утренние видения, и раздоры в группе, и супружеские перепалки, — уйти, углубиться в себя. А что же лучше романа поможет забыть и кошмарные утренние видения, и раздоры в группе, и супружеские перепалки! Одиль Б. все яростнее роется в сумке из кожи ящерицы. "Проклятье, да где же эти чертовы очки?" И она теребит супруга, который уснул с раскрытым ртом. "А ну, говори, куда ты засунул мои очки?" И Одиль Б. устраивает несчастному жуткую сцену, обвиняя его во всех смертных грехах — патологической тупости, врожденной агрессивности, чисто буржуазном наплевательском отношении к людям. В течение всей этой сцены Одиль Б. злобно щурится и гримасничает, подчеркивая тяжесть содеянного ее преступным супругом. Туристы, люди воспитанные, делают вид, будто ничего не слышат. Внезапно Одиль Б. разражается хохотом: очки преспокойно лежат на дне сумки! "Ах, как это на меня похоже!"

Ее злобное настроение мгновенно сменяется самым что ни на есть благодушным. Она даже заводит беседу с Флоше, сидящим через проход от нее, хотя до сих пор обдавала его холодом. "Вы наверняка знакомы с этим писателем!" — говорит она, показывая Флоше обложку книги, которую уже начала листать.

Мадам Пит тут же рассыпается в похвалах автору, хотя ее мнения никто не спрашивал.

— Весьма слабо пишет! — отрезает Флоше.

Этот приговор, как острый нож, поражает горделивое, но благородное сердце Одиль Буаффар.

— Господин, которого вы величаете писателем, — безжалостно продолжает Флоше, — на самом деле жалкий бумагомаратель, графоман без собственного стиля, мафиози от литературы; пишет он омерзительно и стремится лишь к одному — впарить свои художественные испражнения безмозглой публике, охочей до мерзостей подобного рода и обожающей эти интеллектуальные экскременты.

Одиль, не ожидавшая столь яростных, брошенных ей в лицо поношений (она считала, что право изничтожать оппонентов принадлежит ей одной), несколько секунд молча пялится на Флоше как на ненормального. Затем, оскорбленная до глубины души, с треском захлопывает книгу и начинает опровергать аргументы писателя, которые, по ее словам, грешат либо злостным снобизмом, либо, что еще хуже, злостным презрением к собрату по перу. Уж не объясняется ли оно фактом, что в жилах данного автора течет иноземная кровь? Флоше пожимает плечами. Он даже не дает себе труда скрывать раздражение. Мадемуазель Фолькирше, следившая за дискуссией со своего места, наклоняется к Флоше и, деликатно тронув его за рукав, бросает с пренебрежительной усмешкой: "Мне кажется, этот писака — абсолютная бездарь!" "Бездарь?" — пе-

респрашивает Одиль Б; когда ей перечат, она, подобно мне, проявляет легкую склонность к эхолалии[1]. Затем, взвившись, точно атакующая кобра, шипящим голосом объявляет этой мерзкой парочке: "Вы просто жалкие снобы!" Это уже официальный разрыв. Месье Буаффар втягивает голову в плечи. Он не настолько безрассуден, чтобы вмешиваться в пустопорожние словесные баталии.

Одиль Б., смертельно уязвленная стычкой, встает и демонстративно пересаживается на несколько кресел дальше. После безжалостно едкой преамбулы она шепчет мадам Дефос: "Хоть убейте, не пойму, как можно быть писателем и при этом распускать хвост, словно павлин в зоопарке!" Мадам Дефос нервно хихикает и повторяет эти слова Лафейяду, который повторяет их, словно речь идет о доброй шутке, мадемуазель Фолькирше, которая повторяет их, задыхаясь от возмущения, самому Флоше, который повторяет их про себя, скрипя зубами от унижения, но думая: "Я не стану отвечать пошлостью на пошлость!" И все же пресловутый "павлиний хвост" не дает ему покоя. А что, если это правда?

Автобус сворачивает с шоссе. Остановка в Виджевано.

Туристы рассыпаются по площади, которую замыкает собор XV века.

Теперь все избегают Флоше как зачумленного: еще бы, жалкий сноб и вдобавок спесивый зануда, который "распускает хвост". Не прошло и часа, а ядовитое словцо уже оказало свое действие: стоит Флоше направить стопы к востоку, как группа отходит к западу. И наоборот. Как в современной хореографии. Однако туристы стараются маневрировать хитро и незаметно. Ибо Флоше — человек влиятельный, размолвка или ссора с ним чревата неприятностями, ведь он водит знакомство с видными деятелями искусства и, что еще хуже, с продажными журналистами! А потому члены группы уклоняются от него очень осторожно, измышляя самые разные предлоги.

И только две дамы не боятся общения с Флоше — мадемуазель Фолькирше, которая сделала ставку на писателя и, рассчитывая на весомые дивиденды, вынуждена создавать эффект присутствия (втуне же не оставлять закинутую удочку с наживкой!). И наша Олимпия, которая может без нетерпения и гадливости слушать кого угодно и что угодно, лишь бы при этом с нею обращались мало-мальски вежливо. Так вот, нынче утром Флоше бросил ей через губу: "Здравствуйте, мадемуазель!" и тем самым завоевал ее сердце.

Как ни грустно констатировать, Олимпия ведет себя точно собачонка, которую приманили кусочком сахара. Вероятно, именно поэтому у некоторых людей (в их числе и Джейсон) иногда возникает жгучее желание пнуть ее в живот, да побольнее. Впрочем, главное различие между Олимпией и собачонкой состоит во взгляде. Собаки лишены того, что мы называем взглядом в полном смысле этого слова. Когда собаку пинают в живот, ее глаза ровно ничего не выражают, остаются такими же непроницаемо-темными, как всегда. А глаза Олимпии глубоки, как ночной мрак.

Руководитель ведет группу в отель-ресторан "Il cucchiaio d'argento". Ужин съедается торопливо, буквально за полчаса. Лишь бы скорее покончить с этим кошмаром. Лишь бы скорее вернуться к прежнему мирному житью. А все остальное — пускай без них!

1. Эхолалия — используемый в психиатрии термин, означающий автоматическое повторение последних слов собеседника.

Зато шофер, руководитель, Джейсон и Олимпия решают продолжить вечер в баре отеля. Им необходимо расслабиться. Особенно Джейсону.

И хотя эти четверо очень разные, они друг другу симпатизируют.

Их объединяет бессознательная солидарность.

Они философствуют. Они братаются. Как это обычно и происходит в путешествиях.

Они веселятся. Они зубоскалят. Подшучивают над руководителем. Дразнят его. В основном Джейсон. Прикрываясь хохмами, он коварно берет реванш над руководителем, завершая каждую его фразу насмешливым amen, которое хором подхватывают двое остальных.

Потом они грустнеют. Признаются друг другу, что им все обрыдло, а главное, обрыдли богатенькие туристы. Ну просто воротит от этих сытых физиономий. От их кривляний (Джейсон). От их напыщенности (руководитель). От их вонючей жалости (шофер). Впрочем, и мы с них кое-что слупили, верно? (шофер). Нехорошо так говорить! (Олимпия).

Потом они начинают мечтать. Вслух. О самых невероятных наслаждениях. О дальних городах и морях. Об уютных кафе, где люди собираются по ночам, спасаясь от тоски. О приятном досуге.

Что же они называют приятным досугом?

Джейсон: время, посвященное исключительно венериным забавам. Условие: только с бабами.

Шофер: время, проведенное за испанской жратвой и бутылкой "Монтильи" в севильских bodegas[1]. В мае месяце. Условие: только без баб.

Руководитель: время, проведенное в созерцании красоты мира, имя которой — Олимпия, и в возвышенных размышлениях, несущих добро.

Олимпия: все три вышеописанных занятия, милых сердцу троих мужчин, плюс время для отдыха и еще для... но это тайна. Олимпия любит тайны. Вы уже, верно, поняли, что она носит в себе и мою.

Ну а предместье, о нем-то они думают? С ним-то они хотели бы расплеваться?

Для всех четверых мысль об одиночном бунте против несправедливости, царящей в предместьях, — чистое безумие. Первое и главное — это не дать себя уничтожить. Они мечтают о другом: пусть дружный хор их криков, воззваний и смеха обрушит позорные устои предместий. (Глупые мечтатели!) И ни один из них не признает горькой правды, а суть ее в том, что все их яростные вопли и все слабые попытки мятежа обречены на провал. (Но тогда на что же они уповают?)

Вторая их сходная черта: нашим героям отвратительно, как мы уже говорили, пустопорожнее возмущение туристов, все их благие намерения, жалостливые стенания и чуть ли не обмороки, приступы милосердия, бесстыдно выставляемого напоказ. Эта карикатура на нормальные человеческие чувства оскорбляет их. Будит в них злобу. Делает еще несчастнее. Или же вызывает саркастические насмешки. Слава богу, эта ярмарка милосердия длится недолго. На четвертый день путешествия великодушные замыслы туристов лопаются, как мыльный пузырь, и из-под белых одежд вылезает грязное исподнее.

1. Погребок, таверна (*исп.*).

Ну а в чем же их разногласия?

Шофер и Джейсон нетерпеливо ждут конца этой безнадежно испорченной поездки.

Олимпия и руководитель желали бы ее продолжить, но только в иной обстановке и в иной компании.

А что они думают о расширении пространства борьбы?[1]

Джейсон не отказался бы время от времени затевать небольшую драчку на чисто индивидуальных началах.

Шоферу больше по душе стукнуть кулаком по столу или, в случае явной несправедливости, по чьей-нибудь морде.

Руководитель, исполненный христианского смирения, убежден, что просвещать умы можно лишь с помощью знаний и культуры, и даже если окажется, что знания и культура не смягчили людские сердца и люди остались такими же злыми и жестокими, какими их создал Господь, он не устанет повторять, что знания и культура не бесполезны; все это руководитель весьма красноречиво излагает своим скептически настроенным собеседникам.

И так оно тянется до трех часов ночи. В четвертом часу Джейсон шумно выражает желание наведаться к шлюхам. "Мой таран соскучился!" – объявляет он на весь бар. Дело в том, что Джейсон усердно налегал на "Nastro Azzuro", а это вино, как известно, усиливает сексуальное возбуждение. "Мой таран остался без мамочки!" – вопит он. Олимпия багровеет от стыда. "Мой таран осиротел, ему нужна шлюха!" – твердит Джейсон упрямо, как заядлый пьяница. Его таран никогда не ласкала и не ублажала настоящая шлюха. И это ужасный пробел в его, Джейсона, духовном воспитании. Так вот, если верно, что путешествия просвещают молодежь, значит... И так далее, и тому подобное.

День пятый
Виджевано – Турин

Со вчерашнего дня атмосфера в автобусе накалилась до предела. Злобные реплики летают по всему салону, точно свободные электроны, туристы беззастенчиво облегчают душу, маски наконец сброшены, и группа напоминает двор Людовика XIV после костюмированного бала. Н-да, кажется, уродство бытует не только в предместьях.

Джейсон чувствует, что еще немного, и он взорвется. Перспектива сидеть долгие часы взаперти в автобусе с этими свиньями приводит его в бешенство.

Мадемуазель Фолькирше жалуется на усталость. "Я буквально выдохлась", – сообщает она Флоше. Ей только и хватает сил, что полировать себе ногти да смолить одну "Мальборо" за другой. Просто свихнуться можно от этих трагических переживаний!

Мадам Жубер – та страдает от жесточайшего люмбаго из-за долгого сидения в кресле, и это отнюдь не вдохновляет ее на двигательные упражнения, а тем более на упражнения в милосердии.

Олимпия, сидящая справа от руководителя, включила плейер и слушает "Careless Whisper" Джорджа Майкла. Руководитель с неумелой лас-

1. "Расширение пространства борьбы" – роман французского писателя Мишеля Уэльбека.

кой сжимает ее запястье. Олимпия говорит: "Ой, у меня руки потные". Она и за это готова извиняться.

Лафейяд, макаронно-мучной король, больше не в силах балагурить. Куда только подевались все его шутки-прибаутки, хохмы и крепкие словечки? Где теперь его идиотская улыбка на тридцать два зуба? И глупое самодовольство? Испарились, исчезли, сгинули! Еще немного, и Лафейяд будет выглядеть почти умником. Отныне вся его энергия направлена на поиски виновника тех прискорбных инцидентов, что испортили ему путешествие, призванное усладить если не тело, то хотя бы дух. Этот их руководитель — уж не последователь ли он Бакунина? — прикидывает Лафейяд. И тотчас делится своими соображениями с месье Дефосом. Который, питая те же подозрения, зловещим шепотом высказывает в ответ страшную мысль: "А что, если руководитель принадлежит к одной из ультраправых группировок, активно действующих в горячих точках?" Что он разумеет под горячими точками? Этого мы не узнаем никогда.

Месье и мадам Жубер считают, что данная групповая (нет, гробовая! — это словцо главы семьи) поездка оказалась куда более стрессовой, чем фотосафари. И это еще мягко сказано! Перед тем как решиться на нее, они долго колебались в выборе между "reality tour" по Западной Европе и фотосафари в Кении, куда поехали их друзья Тюро и Бэгль. Ах, если бы они знали, что их ждет! И супруги Жубер начинают играть в шахматы, стремясь заглушить рождающиеся сожаления. Но мадам никак не может сосредоточиться на игре. Ее мысли витают где-то далеко. И это сильно нервирует месье, который ворчит: "Господи боже, да думай, куда ходишь!"

А Флоше весь во власти ужасных сомнений. Что, если он попросту дал себя обмануть видимостью нужды? Что, если все эти пролетарские трагедии, с их жестокостями и несчастьями, крокодиловыми слезами и лицемерными ламентациями, лишь ловкая инсценировка? Что, если мадам Гиту, Экун и прочие персонажи, с надрывом исполнившие свои собственные роли, в реальности являются участниками грандиозного спектакля, поставленного турагентством "Real Voyages" с целью одурачить наивных клиентов? И наконец последнее: что, если даже мадемуазель Фолькирше?.. Лицо Флоше, осунувшееся от тяжких подозрений, выглядит еще отвратительнее, чем прежде. Сейчас на него и смотреть-то неприятно. Вот и давайте отвернемся и поглядим лучше, как там дела у Олимпии.

Олимпия, фея моего романа, сидит на своем месте у окна. И грезит, привычно теребя волосы.

Одиль Б., увы, тоже здесь. И, по своему обыкновению, кипит от злости. На кого же она ополчилась нынче утром? На мадемуазель Фолькирше, которая дымит как паровоз, превратив автобус в душегубку? Нет, сегодня Одиль Б. ядовито размышляет вслух о Лафейяде и его праве на членство в их группе: стоит такому типу затесаться в общество приличных людей, и жди беды! "Разве эти господа способны питать те же возвышенные, благородные чувства, что и мы?! Сильно сомневаюсь!" Месье Буаффар умоляет жену говорить потише. Но ее свирепый взгляд затыкает ему рот. Нечего скрывать правду, какой бы ужасной она ни была! Чем больше ее (правду) попирают, замазывают, умасливают, тем выше она поднимает голову. Вот так-то! "И никто в мире, — возвещает она супругу сверхпронзительным голосом, — никто в мире не помешает мне сказать, что этот тип — эксплуататор трудового народа и дерьмо соба-

чье". Месье Буаффар готов провалиться сквозь землю. Но поскольку это невозможно, он съеживается в своем кресле и затихает.

К концу шахматной партии мадам Жубер вдруг разражается бурными рыданиями, уронив голову на мужнино плечо. Тот не скрывает раздражения: "Да уймись же ты, черт подери, возьми себя в руки, высморкайся!" Но мадам неутешна, она всхлипывает и хватается за сердце. Мадам терзают неясные предчувствия. Неясные, но о-о-очень мрачные предчувствия.

Вдруг мадемуазель Фолькирше вскакивает как ошпаренная со своего места, вид у нее перепуганный. Она снова садится, но тут же встает, шатаясь, идет по проходу и падает в кресло тремя метрами дальше, рядом с Лафейядом, асом биржевых спекуляций. "Флоше, – лепечет она срывающимся голосом, – Флоше считает себя жертвой... предметом грандиозного заговора, у него разнузданное воображение... он просто съехал с катушек, несет какой-то бред... обвиняет меня в том, что я послужила аппетитной приманкой – да-да, это его собственные слова! – и орудием гнусной интриги. Боже мой, что делать?!" "Воспользоваться этим", – быстренько смекает Лафейяд.

– Ничего себе, хороша же она, ваша Европа! – неожиданно взвизгивает Флоше, словно подтверждая страхи Фолькиршихи. – Чудесная выдумка для идиотов, хвалю! – вопит он с перекошенной физиономией, одиноко сидя в конце автобуса. И со злорадным торжеством начинает разоблачать фальшивых бедняков, фальшивых туристов, фальшивого руководителя и фальшивого мерзавца-гида, этих агентов Зла: – Все вы одна шайка, все вы задумали обвести меня вокруг пальца этой идиотской, вульгарной пародией на ад! – Затем, потрясенный сознанием, что сам же и клюнул на эту приманку, смолкает так же внезапно, как раскричался.

Автобус объят изумлением и ужасом. Что это – острый приступ паранойи? Или закономерный вывод из прозорливого, чтобы не сказать провидческого, взгляда на реальность после четырех дней сексуальной фрустрации, сопутствующих философских размышлений и накопившихся в результате всего этого ночных страхов?

Руководитель делает попытку развлечь группу и хватается за микрофон.

– Дамы и господа, я приготовил вам маленький сюрприз, – объявляет он. – Нас ждет посещение психиатрической лечебницы в Турине, где Ницше обнимал лошадь. Желая утешить ее. Или, наоборот, получить утешение, это пока точно не установлено. Вероятно, он хотел, чтобы животное заставило его позабыть о Европе, погрязшей в собственных злодеяниях и бесстыдно оправдывающей их. В общем, неизвестно, как это было в действительности, но тем не менее мы обязательно посетим психиатрическую больницу, – продолжает руководитель, – где сумасшедшие с буйными гривами и буйными душами, как легко себе представить, все еще задают миру давно позабытые вопросы, а следовательно, психиатрическая больница – важнейший этап нашего путешествия, которое я смело могу назвать...

– Ну нет! – вопит мадемуазель Фолькирше. – С меня хватит!

У мадемуазель Фолькирше кончились запасы лексомила[1]. Она бьется в истерике. И это несмотря на множество любезностей, которые Ла-

1. Транквилизатор.

фейяд расточал ей последние десять минут (твердо надеясь, что ему обломится, да простится мне этот вульгаризм).

Мадемуазель Фолькирше дошла до предела. Флоше, плюс усталость, плюс зрелище нужды — это чересчур. Для спокойного созерцания чужих несчастий требуется определенная подготовка, а у мадемуазель Фолькирше, бедняжки, она отсутствует напрочь. Кроме того, необходим правильный подход к нужде, ее нужно воспринимать адекватно, уметь обуздывать (как сварливую жену), приукрашивать, ароматизировать, делать более сносной с помощью горячих супов, заглушать смачным причмокиванием и теликом, включенным на всю катушку (известно, какой талант проявляли в подобных делах мои родители), и горе вам, если суп остынет, а телик заглохнет! Но все эти уловки требуют серьезности, выдержки, настойчивости, более того, неодолимого упрямства, близкого к тупости, которая свойственна самим обездоленным.

— Еще день в этом аду, и я застрелюсь! — рыдая, кричит мадемуазель Фолькирше. Четыре дня отрицательных эмоций плюс ненормальный Флоше, объявивший ее коварной заговорщицей, довели бедняжку до нервного срыва. Она буквально в шоке.

— Ну-ну, успокойтесь, дорогая! — приговаривает Лафейяд и, пользуясь случаем, гладит ее по головке с лицемерным сочувствием в надежде добиться успеха.

Нет, не утешайте мадемуазель Фолькирше, она действительно дошла до предела. Вся эта нужда... она больше не в силах, не в состоянии ее видеть. Она слишком чувствительна. Она боится впасть в депрессию. Она рыдает. Слезы чудо как красят ее.

И потом, стонет мадемуазель Фолькирше с очаровательной гримаской, вот уже четыре дня, как она уехала из Парижа, и ее костюмчик от Сони Рикель вконец измялся, волосы сальные, лицо не ухожено — ну чистое пугало! Ей жизненно необходимо сходить в парикмахерскую. “Но разве найдешь парикмахерскую в этой пустыне?!” — горестно вопрошает она, не забывая при этом ловить уголком глаза свое отражение в стекле автобуса. “Ну-ну, не переживайте! — утешает ее Лафейяд. — Вы у нас и так красавица!” С этими словами он весьма недвусмысленно прижимается к ней. На данном этапе моей истории путешествие для этих двоих принимает в высшей степени эротическую окраску. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уж не придется ли нам после столь резкой перемены ситуации быть свидетелями сексуального сближения этих героев?

Одиль Б., которая, разумеется, ничего не упустила из наметившегося флирта этой “мерзкой парочки” (“Рыбак рыбака видит издалека!”), бросает, вся дрожа от ярости, что нужно быть начисто лишенным здравого смысла и нравственных устоев, дабы использовать *такую* поездку для демонстрации своих туалетов. Меткий удар!

Ох-хо-хо! Кажется, в автобусе запахло скандалом!

Добродетели, необходимые для мирного сосуществования, явно понесли серьезный урон. Впрочем, хорошо известно, что они оказываются более стойкими в атмосфере приятных событий, нежели печальных. А то, что довелось пережить нашим туристам, и впрямь печально, с этим не поспоришь. И никому из них не повредил бы короткий отдых в “Ритце”. Ибо в “Ритце” с его комфортом выдержка, учтивость и прочие замечательные свойства характера могли бы вновь расцвести пышным цветом. Но, увы, ближайшая цель путешествия — отнюдь не “Ритц”. Ту-

ристы, еще одно, последнее усилие! Читатель, еще капельку терпения! Развязка приближается.

Джейсон расхаживает взад-вперед по автобусу с включенным плейером, изрыгая угрозы в ритме рэпа.

Он бледен. У него свирепый взгляд. Зубы стиснуты. Он внушает страх.

Проходя мимо Лафейяда, он вдруг, ни с того ни с сего беспощадно бьет кулаком в спинку его кресла. Лафейяд не реагирует. Сжавшись на своем месте, втянув голову в плечи, он притворяется, будто всецело поглощен созерцанием пейзажа, в котором, однако, нет ровно ничего буколического. (Его заигрыванию с мадемуазель Фолькирше, кажется, пришел конец!)

По этому притворному бесстрастию Джейсон догадывается, что Лафейяд не смеет дать ему отпор, что он трусит. И это подстегивает его к дальнейшим провокациям. Наконец-то его гнев обрел идеальную мишень.

Теперь ему даже хочется, чтобы тот взорвался. Он готов к схватке. Пускай этот Лафейяд только пикнет, он из него отбивную сделает! Ему не терпится устроить бойню. "Ну, теперь держись! — думает он, — теперь ты у меня в руках!" Сердце Джейсона бурно колотится в груди. Он закуривает косячок, чтобы успокоиться. Потому что он должен быть спокоен. Должен сжать свою ярость, как пружину. Чтобы потом распорядиться ею как следует. Изощренно и артистично. Со смаком.

Еще час проходит без всяких инцидентов.

Внезапно Джейсон встает с места. Сейчас он все разнесет, Олимпия предчувствует это, она испуганно замирает, едва дыша от страха. Итак, Джейсон встает. У него подгибаются колени. Неверной поступью, точно во сне, он идет по проходу. Шатается, как пьяный. Едва волочит ноги. Его толкает вперед какая-то медлительная ярость. Ярость тем более пугающая, что она так медлительна. Джейсон надолго запомнит этот приступ острого бешенства, смешенного с острым наслаждением, — это чувство трудно даже внятно объяснить. В автобусе все замерло. Так бывает в фильмах ужасов. Медленно, очень медленно Джейсон подходит к Лафейяду, вся его ярость воплотилась в этих сомнамбулических движениях. Он словно идет впереди самого себя, не в силах повернуть назад, со странным ощущением утраты своего тела. Ибо ярость, достигшая пароксизма, обладает свойством превращать вас в бестелесное существо. Подобно музыке. Но это уже другая история.

Затем Джейсон свирепо хватает Лафейяда за шиворот, рывком поднимает с места и безжалостно трясет. Ох, до чего же ему хочется размозжить башку этому типу! Он трясет его как грушу и при этом вопит, что больше видеть не может этого ублюдка. Что он ему сейчас морду набьет. Что от одного только взгляда на этого говенного жулика, комбинатора долбаного, его, Джейсона, тянет блевать.

Как и от всех вас! Как и от всех вас!

Олимпия в ужасе.

Все туристы в ужасе.

Джейсон и сам в ужасе. Такой ужас человек испытывает во сне. Когда он не заботится о последствиях своих действий.

В уютном автобусе-ковчеге, где ни один пассажир даже вообразить себе не мог, что кто-то посмеет ему угрожать, воцарился ужас.

Шофер Вюльпиус тормозит и съезжает на обочину. Он спокоен и собран. Подходит к Джейсону вместе с руководителем, серьезным как никогда. Быстро перебросившись словами, двое мужчин хватают Джейсона и ловко выкручивают ему руки несмотря на сопротивление. Затем вытаскивают его из автобуса. Джейсон бешено сопротивляется, одновременно борясь с накатившим на него смехом. Шофер и руководитель волокут Джейсона к заправочной станции. Джейсон хохочет все громче и громче. "Эй, кончайте меня щекотать, мать вашу!", — кричит он, задыхаясь от смеха. Их догоняет Олимпия. "Олимпия!" — хрипло выговаривает руководитель, увидев ее; о, сколько нежности таится в этом имени! Олимпия догоняет мужчин, потому что ей кажется, что вдали от них она вроде бы и не существует. Шофер, руководитель и Олимпия усаживают Джейсона на обочине шоссе, позади станции.

И вот они сидят там, все четверо, прямо на бетонном бордюре; такими я их и вижу. Ненависть Джейсона слегка улеглась. В общем-то, ненависть — чувство непрочное, такое же непрочное, как и все другие чувства. Шофер Вюльпиус отходит, чтобы купить водки. Возвращается с бутылкой. Они пьют. Чокаются и пьют. "За все хорошее!" — говорит Олимпия, которая, как я сильно опасаюсь, через несколько часов или несколько дней вернется в свое предместье. Джейсон опять смеется, но теперь ему вторят и трое остальных. Они снова пьют. Они уже захмелели. Они смеются и смеются. А Олимпия прямо-таки плачет от смеха. Впервые в жизни она выпила водки. Это приятно. И согревает. И все вокруг сразу ожило. И стало таким смешным и нестрашным...

Конечно, не годится кончать роман эдаким манером; я уже заранее слышу упреки читателей. Автобус так и застрял посреди площадки для отдыха. Месье Буаффар скрывает зевок. Мадам злобно пилит его. Жюльен Флоше в полной прострации. Лафейяд ни жив ни мертв. И все остальные сидят оцепенев. Н-да, happy end нам явно не удался!

И последнее слово, Олимпия, перед тем как расстаться с тобой. Мне будет тебя не хватать. Мне уже тебя не хватает. МНЕ ТЕБЯ НЕ ХВАТАЕТ!

Рут Фэйнлайт

Цвет сахарной бумаги

Поэма

Перевод с английского М. Бородицкой

I

Пытаться объяснить словами цвет —
такое же бесплодное занятье,
как песенку, что в голове засела,
вслух напевать. И все же я пыталась:
“Такой шероховатый, блекло-синий,
цвет сахарной бумаги”.

Та бумага
была довольно плотной, чуть шершавой
на ощупь, в мелких крапинках, разводах:
вот из нее-то клеились пакеты
под сахар. Тут я вижу мать и тетку,
со слипшимися пальцами, вдвоем
в семейной лавке бакалейной:

придя из школы, руку с черпаком
в мешок лохматый джутовый по локоть
совали, в отсыревшую сыпучесть,
и лишь наполнив сахарным песком
пакеты, — принимались за уроки.
Возможно, я все это сочинила.

© Ruth Fainlight, 1997
© М. Бородицкая. Перевод, 2003
Редакция выражает признательность и благодарность Рут Фэйнлайт и издательству “Бладэкс Букс” за разрешение безвозмездно опубликовать поэму в русском переводе на страницах нашего журнала.

Я комнату пыталась описать
в квартире ленинградской, где была я
в году шестьдесят пятом и где стены
хранили с девятнадцатого века
такую точно краску, — описать
подруге из Нью-Йорка, в девяностых.

II

Это был кабинет в квартире
родителей моей переводчицы,
безупречно воспитанных петербуржцев,
переживших блокаду.
("О, тогда, — усмехнулась дочь, — мы все походили
на рублевских святых из музея:
изможденные, с ввалившимися глазами!")
А теперь мне демонстрировали альбомы и книги,
сбереженные ими в те страшные годы.
Я листала плотные и тоненькие страницы,
представляла себе художников и поэтов,
растворившихся в ГУЛАГе или в Париже, — и понимала,
что прикладываюсь к мощам.

— Это первое издание Мандельштама, —
переводила Галя, — с гравюрами Гончаровой.
Вот, взгляните: Блок, и Белый, и Гумилев.
— Муж Ахматовой, акмеист? (мне так хотелось блеснуть!)
— Да... а это вот книжка Марины
Цветаевой, с циклом стихов,
посвященных Ахматовой. Он называется "Муза".
"Я читала, — скажет Марина потом, —
для одной лишь Ахматовой, словно мы с ней вдвоем
были в комнате. Для отсутствующей — читала".
Не слыхавшая чтения Анна
Ахматова после носила рукопись в сумке,
много лет носила ее с собою, пока
она не распалась, протершись на сгибах.

III

Мне, наверное, было лет двенадцать, когда
в застекленном тетином книжном шкафу,
протирая от пыли его звериные лапы
и гирлянды листьев из красного дерева,
что обвивали бедра
двух женских фигур, выраставших из двух колонн —
обнаженных кариатид, а может, суровых мойр
с неподвижными взорами, двух скульптурных двойняшек

на носу корабля надежды, —
в этом шкафу
(он теперь стоит у меня в квартире, в Лондоне,
предмет обстановки,
чья форма и содержимое, подозреваю,
определили мой вкус навсегда и во всем)
я наткнулась на тонкую книжечку в мягкой обложке,
на чужом языке — даже буквы были чужие.
Я не помню, чтоб тетя Анни хотя бы строку
перевела мне оттуда или хоть объяснила,
как эта странная книжка попала к ней в руки.
Лишь немногое рассказала она о той
женщине, что ее написала, —
я тогда впервые услышала эти два слова:
Анна Ахматова.

Позже я спрашивала себя, какое значенье
имело для тети моей совпаденье имен,
для тети Анни, которая с тех бакалейных,
сахарных дней
считала себя неудавшейся артисткой.

IV

— Вы любите Ахматову? — вопрос,
в те годы полный скрытого значенья.
Их лица, обращенные ко мне,
светились, белые на синем фоне,
как мрамор в сумраке библиотек.
Все трое ждали моего ответа.

— Ну, я по-русски не читаю, но —
есть переводы... — Тут я замолчала.
Мне было стыдно. Галя поглядела
куда-то вверх. — Она сейчас больна,
но держится, и в курсе всех событий,
и вообще — прекрасная соседка.

Соседка? Что за будничное слово!
Как будто шелк тугого парашюта
вогнулся вдруг, оборотившись ямой,
и тут же вздулся вновь под мощным ветром:
так искривились, изменяя смысл,
границы времени и ткань пространства.

— Вот, слышите? — Я подняла глаза,
за Галей, к потолку. — Сегодня ей
получше: встала, ходит по квартире.
— Ахматова? Она живет над вами? —
мой голос, севший вмиг от потрясенья,
скрипел, как половицы наверху.

V

Я задавала вопросы,
не в силах поверить,
снова и снова требовала подтвержденья,
я умоляла помочь мне встретиться с ней:
со знаменитым поэтом,
с очевидицей,
со священным монстром,
с умирающей старой женщиной,
                или хотя бы
    разрешить мне взглянуть на нее
    из-за чужого плеча:
    ведь они могли
    постучаться в дверь
    и дать мне хоть краем глаза,
    хоть на миг увидеть
    Анну Ахматову...
                я перешла
все границы приличий. Но каждый раз
мне в ответ повторяли:
то, о чем я прошу —
невозможно, никак невозможно.

VI

Я копалась в энциклопедиях и словарях,
терпеливо читала
все, что было на слово *сахар*,
и *бумага*, и *синий цвет*.
Но никто и нигде не связал
эти близкие вещи, никто по моим описаньям
не признал этот цвет, который я вижу так ясно:
тусклый глянец хрустящих листов
дешевой толстой бумаги.
    Мандельштам — я прочла его позже —
    написал про мраморный сахар.
    А в Ташкенте, "средь неба
    жгуче-голубого", где ели
    сизый дымчатый виноград,
    не попался ль Ахматовой — остроконечный,
    я их видела в Северной Африке —
    сахарный синий кулек?
(А еще я нашла в "Белой стае":
"Вот эта синяя тетрадь —
С моими детскими стихами".)

Бывают оттенки синего куда поэтичней:
бирюзовый, небесный, ляпис-лазурь,
ультрамарин, васильковый, индиго,

цвет морской и речной волны,
голубая тень на снегу.
Но упрямое воображение
рисует мне мать и тетку —
Фейгеле и Ханну, Фанни и Анни —
печально пересыпающих сахар в пакеты,
машинально слизывающих с пальцев
приставшие к ним кристаллы.
Они и родом-то были
даже не из России —
откуда-то с Буковины.

Но неужели нельзя
глядя на них, стоящих бок о бок
в промозглой кладовке, как сестры в романе
у Достоевского, на худые руки и ноги,
замерзшие до синевы, —
вспомнить об Анне Ахматовой:
как она мерзла
телом, душою, нутром?

И как тут не вспомнить
синюю шапку в дверях
и бледного управдома,
и голубые губы
женщины, что спросила:
“А *это* вы можете описать?” —
в тесной цепочке жен, матерей, сестер,
в очереди у Крестов,
там, где она стояла трúста часов.
Нужно ли мне стыдиться, что я никак
не расплету две спутавшиеся нити?
Им, должно быть, страшно хотелось
чего-нибудь сладкого.
А может, они и вкус обычного сахара
успели забыть?

VII

Поэзия: родство и материнство.
Бумажный шорох, сахарный сироп.

Быть Музой: с дудочкой, под покрывалом,
Кассандрой: милым гибель накликáть,

бумажный шорох, сахарный сироп

“не то блудницей с бурными страстями
не то монахиней, что молит о прощенье”,

бумажный шорох, сахарный сироп

крестьянкой, что бредет на богомолье,
Рахилью из долины Бытия,

бумажный шорох, сахарный сироп

"Но где мой дом и где рассудок мой?"
ребенком, чьи родители в разводе,

бумажный шорох, сахарный сироп

и тою что от мужа скрывши сердце,
пила "за одиночество вдвоем".

бумажный шорох, сахарный сироп

"Все в чужое глядят окно,
кто в Ташкенте, а кто в Нью-Йорке".

Поэзия.
Родство и материнство.
Бумажный шорох.
Сахарный сироп.

VIII

Я хотела ее увидеть.
Пройти обряд посвящения.
Как голодный зверь,
ткнуться мордой в сыпучие, сладкие тайны
страдания и мастерства,
слизнуть у нее с ладони
шероховатые крупинки любви.
Охваченная нетерпеньем,
я ничего не желала знать.

Звук шагов наверху, тяжесть тела,
расталкивающего пространство, —
живая загадка,
дыша и ворочаясь над головой,
сводила меня с ума.

В мой самый первый приезд в Россию, послушав,
как я изливаю потоки возвышенной чуши
и бесславно иду ко дну,
запоздавший гость, которого мне не назвали,
пообещал: "Если вы приедете снова,
я расскажу вам, как все было на самом деле".

И благодарно примкнув к застолью —
а бутылки уже опустели наполовину, —
он добавил, что в последний раз своего отца
видел в зале суда, свидетелем на процессе врачей.

Его жена, сомневаясь, что я приеду снова,
пояснила мне на ухо: "Его убили".

Вспомнив тот случай, я ощутила детскую жажду
сгрести в кучу всю боль уходящего века,
сгустить ее в один черный камешек,
плотностью равный нейтронной звезде —
тысяча миллионов тонн на кубический дюйм, —
и, завернув его в синюю сахарную бумагу,
бросить в самую сердцевину черной дыры,
из которой нет возврата,
из которой будут еще долетать сигналы,
тусклые, красные, все слабей и слабее,
и пропадут навсегда...

IX

Мое желание
не могло сбыться. Недостижимость
обернулась неловкостью, и скоро мы с Галей,
распрощавшись с ее родителями и чудесным
кабинетом цвета синей бумаги,
уже спускались по лестнице.
По той самой,
по которой... и т. д. и т. п.

Обернувшись на серый фасад
довольно красивого здания,
я, гордая собственной хитростью, небрежно спросила:
— А где тут ваше окно?
Покачав головой
и усмехнувшись, она показала.

В сороковые годы,
после войны,
напротив ее подъезда
топтались особые люди,
и Анна Ахматова
должна была подходить к окну
утром и вечером, давая им знать,
что она не сбежала и не совершила
самоубийства.
Я заступила на пост
прямо с утра и долго стояла
напротив дома,
надеясь узреть в окне,
за сахарным кружевом занавески,
расплывчатое пятно,
которое могло оказаться
бледным женским лицом,
но там никого не было.

Нина Королева

Анна Ахматова – современный миф

Сейчас уже мало осталось людей, которые лично знали Анну Андреевну Горенко, в замужестве Гумилеву, затем Шилейко, литературный псевдоним которой – Ахматова – стал с середины 1920-х годов ее официальной фамилией... Самым молодым из них – за шестьдесят. Но читатели поэзии во всем мире знают поэта Анну Ахматову. Ее облик возникает в их сознании из ее стихов и из воспоминаний о ней, из ее бесед с друзьями, заботливо ими записанных, и из собственных ее автобиографических заметок и мемуаров о знаменитых современниках. Образ Ахматовой воплощен в живописи и скульптуре, в поэзии и музыке. Портретное сходство иногда поразительно, иногда едва уловимо, но – мы не музейщики, мы уважаем право художника на субъективное ви́дение своего объекта. В литературоведении есть такое понятие: историко-функциональное бытование образа. Вот с ним-то мы и сталкиваемся, когда читаем необыкновенно интересную поэму об Анне Ахматовой английской поэтессы Рут Фэйнлайт, о которой она думала двадцать семь лет и которую завершила в 1997 году.

Она не знала Анну Ахматову лично. О ее знакомстве с поэзией Ахматовой мы узнаем из текста поэмы, где рассказывается о том, как в двенадцать лет она увидела в книжном шкафу тетки тоненькую книжку стихов на незнакомом ей русском языке, и как потом читала ее стихи в переводах, и как в 1965 году, уже твердо зная, что Анна Ахматова – великий поэт, оказалась в гостях в ленинградском доме, где жила Ахматова. Эта реальность фабулы поэмы усложнена параллельным рассказом о своей семье, о нелегкой жизни матери и тетки, которые по происхождению – из славянского мира, но не из России, а "откуда-то с Буковины". Родство судеб и душ для поэта Рут Фэйнлайт очевидно: тут и совпадение имен, и цвет голубой или сине-белой шершавой бумаги, которой были обклеены стены ленинградской квартиры, цвет, так напоминающий пакеты под сахар Англии. И любовь к стихам, которые помнишь наизусть. Взгляд поэта столь конкретен и точен, что поневоле начинаешь искать в поэме документальной точности фактов, чего, однако, делать не следует. Это – поэма-миф, поэма-легенда. Это взгляд иностранки, которая запомнила свое пребывание в России 1965 года как сказку с героиней Анной Ахматовой.

Разумеется, при переводе на русский язык такая опытная переводчица, как Марина Бородицкая, могла бы устранить неточности и фактические ошибки автора, но я уверена, что этого делать не нужно. Что это за ошибки? Назову некоторые, чтобы объяснить свою мысль: исправлять в переводе их не нужно!

"Это первое издание Мандельштама... с гравюрами Гончаровой". По свидетельству переводчика, в английском оригинале не ясно, идет ли речь о книге Мандельштама, оформленной Н. Гончаровой, или о книге и о гравюрах, показанных одновременно. Первые издания Мандельштама – это два сборника "Камень" 1913 и 1916 годов и "Tristia", Гончарова их не оформляла. Заставка на титульном листе первого "Камня" – лев с сидящим на нем

© Н. Королева, 2003

амурчиком – фирменный знак издательства "АКМЭ", к которому Гончарова не имела отношения. Обложку для "Tristia" рисовал М. Добужинский.

"А это вот книжка Марины Цветаевой..." Цикл под заглавием "Стихи к Ахматовой" из одиннадцати произведений впервые был напечатан в книге стихов Цветаевой "Версты", выпуск 1 (М., Госиздат, 1921), затем перепечатан в ее книге "Психея: Романтика" (Берлин, 1923). Сами стихи были написаны в июне-июле 1916 года. Одно из стихотворений об Ахматовой, написанных тогда же, в цикл не вошло – "А что если кудри и плат..." Названия "Муза" у цикла не было, но его первое стихотворение начинается строкой: "О муза плача, прекраснейшая из муз!" Очевидно, по этой строке его и запомнила английская поэтесса.

Перечисление этих книг и имен, пусть даже неточное, должно было показать читателю, что старые петербуржцы отнеслись с доверием к своей гостье, показали ей сокровища – и книги, и портреты Гумилева и Блока, и, очевидно, работы Н. Гончаровой, которая до революции иллюстрировала "Пощечину общественному вкусу", Хлебникова, Маяковского, Боброва.

Следующий сюжет – *"Я читала, – скажет Марина потом, – для одной лишь Ахматовой..."* – связан с приездом Цветаевой в Петербург, когда она мечтала увидеть Ахматову, но той не было в городе. Цветаева действительно читала стихи петербургским литераторам и действительно – *"для отсутствующей читала"*. Об этом мы знаем из воспоминаний самой Цветаевой, так же, как и о том, что Ахматова носила в сумке стихи Цветаевой, ей посвященные. Впрочем, Ахматова этот факт с возмущением отрицала.

"Вы любите Ахматову? – вопрос, в те годы полный скрытого значенья". Строки очень важные для характеристики духовной жизни России шестидесятых годов XX столетия. Опала с Ахматовой уже снята, скоро выйдет ее самый полный сборник "Бег времени", но постановление о журналах "Звезда" и "Ленинград" не отменено и будет отменено только через двадцать с лишним лет, его ярлыки по-прежнему приклеены к имени Ахматовой. Еще не изданы в России ее крупнейшие произведения: "Реквием" и полный текст "Поэмы без героя", лучшие трагические стихи. Но многое издано на Западе, и вопрос предполагает знакомство гостьи с этими, запрещенными в России, изданиями.

"Соседка?.. Ахматова? Она живет над вами?" В 1965 году Ахматова жила на улице Ленина, дом 34, квартира 23. Она переехала туда в июне 1961 года с улицы Красной Конницы вместе с семьей Пуниных. Я бывала у нее, но, чтобы проверить себя, звоню Пуниным.

– Ирина Николаевна, кто жил под вами в 1965 году?

– Никто. Под нами ясли.

Квартира 23 находилась на втором этаже. Под нею и сейчас, как в 1965 году, находятся ясли. Какое-то время на первом этаже жила семья профессора Казанского (если я не ошибаюсь), но недолго и не непосредственно под квартирой Ахматовой. Поэтому рассказ англичанки о шагах Ахматовой над ее головой – поэтический образ, необыкновенно красивый и убеждающий, хотя фактически неточный. Но надо ли требовать этой точности? Надо ли доискиваться, с какими "сестрами" у Достоевского сравнивает своих мать и тетку английская поэтесса? Она пишет об Ахматовой, которой поклоняется, цитирует ее стихи, которые знает и любит. Она – и это звучит совершенно достоверно – на следующее утро вновь приходит к ахматовскому дому и целый день смотрит на его окна в надежде увидеть хотя бы силуэт в окне, хотя бы тень великой Ахматовой.

И дом — обычный жилой дом послевоенной постройки — кажется ей "довольно красивым". Окно комнаты Ахматовой действительно выходило на улицу Ленина, точнее — в небольшой скверик перед домом, именуемый писателями "круг почета"...

И наконец последний сюжет. "*В сороковые годы... топтались особые люди...*" Слежка за Ахматовой устанавливалась несколько раз, еще до Великой Отечественной войны. В сороковые годы, когда Ахматова жила в южном флигеле Фонтанного дома, слежка и пропускная система для жильцов и их гостей была установлена в начале 1946 года после того, как Ахматову посетил английский дипломат Исайя Берлин, проведший в ее квартире за чрезвычайно интересной для обоих беседой целую ночь. Это была так называемая "несанкционированная встреча" с иностранцем. К тому же именно в этот вечер Берлина начал разыскивать подвыпивший Рандольф Черчилль (сын Уинстона Черчилля) и, по студенческой привычке, громко выкрикивал его имя, стоя под окнами южного флигеля в саду Фонтанного дома. Бдительные чекисты, очевидно, следили за обоими англичанами (за Рандольфом — уж точно), о встрече было доложено лично Сталину, который произнес знаменательную фразу: "Монахиня принимает английских шпионов?" После этого в квартире Пуниных были установлены подслушивающие устройства, введена пропускная система на входе в дом, слежка велась почти в открытую, а несколько близких к Ахматовой людей были вынуждены писать о ее поведении и встречах обширные доносы в НКВД (КГБ). Дежурившие у подъезда соглядатаи сопровождали Ахматову и приехавшую к ней летом 1946 года Надежду Яковлевну Мандельштам в их прогулках по городу. И Анна Андреевна и Надежда Яковлевна были убеждены в том, что не надо давать сыщикам понять, что они их заметили, не надо раздражать власть. К тому же соглядатаи могут и защитить их, если вдруг на них нападут уличные бандиты...

Конечно, едва ли Ахматовой надо было показываться сыщикам в окно — это легенда, возможно, восходящая к самой Ахматовой. Но — любопытно, что английская поэтесса эту легенду знала и умело использовала ее, чтобы передать приметы российского быта второй половины 1940-х годов. То же можно сказать о ее строках по поводу "процесса врачей" — она, по-видимому, представляла себе процесс как английский суд со свидетелями и присяжными заседателями. Разумеется, такого не было, хотя репрессии против "врачей-вредителей" с погромными статьями, арестами и расстрелами были, и внутренний смысл происходящего передан ею абсолютно верно.

Сине-белых шершавых пакетов с сахаром никто из моих знакомых по Петербургу, Москве и Ташкенту не помнит. Может быть, в подобные пакеты был расфасован сахар, получаемый Советским Союзом в годы войны по ленд-лизу? Впрочем, и это не важно, а строки поэмы, посвященные Ташкенту и синему цвету в стихах Ахматовой, — прекрасны.

В заключение еще раз повторю свое мнение: фактические неточности в поэме-легенде об Анне Ахматовой есть, но их исправлять не надо. В подтверждение можно привести немало примеров: и хрестоматийно известную лермонтовскую львицу с косматой гривой на хребте, и знаменитую строку Андрея Вознесенского "Жил огненно-рыжий художник Гоген". Вознесенскому сказали, что огненно-рыжим был Ван-Гог, а Гоген был черноволосым. Поэт принял замечание к сведению, но исправлять строку не стал. И правильно сделал.

Миро Гавран

Ю*дифь*

Роман

Перевод с хорватского Н. Вагановой

Глава первая

ЛИШЬ после того, как я овдовела и облеклась во власяницу, снизошел ко мне долгожданный душевный покой.

Бог Иегова призвал к себе моего мужа Манассию два дня спустя после праздника опресноков.

Муж мой скончался скоропостижно. Он рухнул на зеленую траву луга, успев сделать всего полшага еще в этом мире, а потом шагнул в пустоту, в небытие. Произошло все это на глазах его перепуганных помощников, которые заметили, как он вдруг стал судорожно хватать воздух пересохшими губами. Когда же он упал наземь и испустил последний вздох, все поняли, что за Манассией пришла никого из нас не щадящая смерть.

Ни единой слезы не пролилось из моих глаз. Ни разу покои нашего дома не оглашались моими рыданиями.

Никто, однако, не усмотрел в моем равнодушии признаков недостатка любви, напротив, все истолковали мою сдержанность как поразительную силу духа и свидетельство веры в Господа.

К счастью, я с малых лет привыкла хранить тайны подобно захваченным в плен солдатам, для которых честь дороже жизни.

Отец говорил, что мой обет молчания надежнее обетов самых хладнокровных мужчин, и поэтому жаль, что я родилась женщиной, ибо прекрасная внешность не мешает мне духом принадлежать к полу достойнейших.

И вправду, я никогда не любила пустой болтовни.

© Н. Вагапова. Перевод, 2003

Мои уста произносили только самые необходимые фразы, подобно тому, как рачительный водонос наливает в кувшин точно отмеренное количество драгоценной влаги, с тем чтобы ни одна капля не пролилась при ходьбе.

Наверное, поэтому я, не желая испытывать ничьей верности, и доверяю свою исповедь бумаге охотнее, чем какому-нибудь слабому живому существу.

Не прибегни я к этому способу освобождения от невыносимой тяжести навалившихся на меня тайн, я просто сошла бы с ума.

Уже первые написанные мной фразы принесли облегчение моей исстрадавшейся душе, и я убедилась, что поступаю должным образом. Завершив это не свойственное женскому полу занятие, я стану жить в большем ладу со своими чувствами, ибо человек, ведущий записи о своей жизни, подобен торговцу, который успокаивается, наведя порядок в забитом товарами помещении, где теперь он без труда найдет любую нужную ему вещь.

Я пишу это не для себя и не обращаюсь ни к кому из ныне живущих людей.

Никто не прочтет моих записок, пока я жива. Но, может быть, после моей смерти эту исповедь найдет кто-нибудь, не важно, мужчина или женщина. И тогда строки, написанные мной, помогут людям осознать всю глубину искушений, каким Иегова порой подвергает особо избранных.

Родилась я в знатной семье в городе Ветилуе.

Семья была высокопоставленная, знатная и крепкая, как сам наш город, в стенах которого не найдется ни одного расшатанного камня.

Богатство, мудрость и взвешенность поступков моего отца делали его одним из самых уважаемых жителей Ветилуи.

Мать моя, точно угадавшая место, принадлежащее в семье матери и супруге, стала достойным украшением и опорой отца.

Мерария было имя моего отца, которое передал ему его отец вместе с заветом никогда и ничем это имя не запятнать.

Мать мою звали Леа. Имя краткое и звучное, помогавшее ей мгновенно откликаться на любой зов своего мужа.

Иегова, Господь наш, благословил этот брак на второй год их супружества, и тогда родился Вениамин, мой брат и наследник достояния нашей семьи.

Год спустя по воле Господа Бога, в милости его безграничной появилась на свет и я, Юдифь, второе и последнее дитя моих родителей.

После моего рождения утроба моей матери стала подобна бесплодной ниве, в чем мой отец усмотрел волю Создателя сохранить в неприкосновенности имущество нашей семьи.

С первыми проблесками разума, помогавшего мне осознать себя, я поняла, насколько я не похожа на других девочек и мальчиков.

Все утверждали, что я гораздо умнее, чем положено дитяти моего возраста. Родители и соседи усматривали в этом высший смысл, которому суждено сбыться и открыться простым смертным лишь в будущем.

Даже мой брат Вениамин с самого раннего возраста относился ко мне почтительно. Ни разу не проявил он по отношению ко мне ни резкости, ни грубостей, которыми щедро осыпали своих менее достойных сестер соседские мальчики.

Первые слова молитвы, в которых мужчины Израиля благодарят Бога за то, что он их не создал женщинами, относились ко мне гораздо меньше, чем к прочим дочерям древней Иудеи.

Ибо я отличалась от других женщин.

Сначала я предчувствовала это, но потом, через знамения Господа нашего и дела Его, я убедилась в том, что была избрана в самый день своего появления на свет.

В годину великих испытаний я исполнила то, чего потребовал от меня Иегова, Господь наш, и сделала это покорно и беспрекословно. Хотя...

О Боже, смири мои разбушевавшиеся чувства, обуздай хаос, в котором смешиваются прошедшее и настоящее — помоги мне соблюсти порядок в моем повествовании, ибо только порядок приносит покой и позволяет осуществить задуманное.

Помоги мне высказаться ясно и недвусмысленно и представить мою жизнь с той простотой, с которой Ты, Господь наш всемилостивый, объявил Моисею обряд посвящения Аарона в священники. Ты приказал Моисею позвать с собою Аарона и его сыновей, взять священные одежды, и елей помазания, и одного тельца из волов для искупительного жертвоприношения, и двух овнов без порока, и корзину опресноков. И повелел Ты привести Аарона и его сыновей ко входу в скинию собрания[1]. И Моисей омыл их водою, надел на Аарона нижнее платье льняное, опоясал его, накинул на него хитон и надел ефод[2], у которого были два связывающие нарамника, и опоясал поясом одинаковой с ним работы, чтобы ефод крепче на нем держался, надел на него наперсник и возложил на него урим и туммим[3]. На голову же его возложил кидар[4], а сверху — полированную дощечку из чистого золота, диадему святыни. И взял Моисей елей помазания и совершил помазание скинии собрания, и освятил ее и все, что в ней было, и семь раз окропил елеем и помазал жертвенник и все, что было на нем, и освятил его, и освятил умывальник и подножие его, и возлил елей на голову Аарона, и помазал его, дабы посвятить его в священники...

О Господи всемилостивый, Ты высказался в Торе устами Моисея ясно и определенно, так помоги же и мне упорядочить мои речи, чтобы мир снизошел на мою исстрадавшуюся душу.

Глава вторая

Как плод вырастает из семени, так наша жизнь происходит из детства. Потому я начну с самых первых дней моей жизни как с истоков, по которым можно судить о характере реки, о ее начале, течении и устье.

Родители мои всю свою жизнь придерживались Торы, уважая Закон и славя имя Божие.

Мать моя Леа родила меня в муках, длившихся с рассвета до сумерек. Согласно Закону, она считалась нечистой в течение двух недель, как считаются нечистыми женщины во время месячных. После этого она оставалась нечистой еще шестьдесят шесть дней, пока носила крови.

1. Скиния собрания — переносное, в виде шатра, святилище, которое Моисей велел сделать во время странствования через пустыню для богослужения израильтян. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Ефод — многокрасочный, чаще всего сотканный из шерсти, украшенный драгоценными камнями прямоугольный кусок ткани, который носил на груди первосвященник.
3. Урим и туммим — значение этих слов точно не известно. Из совокупности библейских текстов ясно, что это были камни или маленькие жезлы, которые накладывались на нагрудник (наперсник) первосвященника для предсказания будущего. Посредством таинственного "урим и туммим", находящегося на наперснике первосвященника, преемник Моисея вопрошал Господа.
4. Кидар — головное украшение.

Все это время, согласно Закону, она не смела ни прикасаться к священным предметам, ни входить в Храм, пока не придет время ее очищения.

Когда же это время наступило, она передала священнику у входа в Храм годовалого ягненка для жертвы всесожжения и голубя для искупительной жертвы.

Священник принес эти жертвы Иегове и совершил над матерью обряд примирения.

Так она очистилась от своих кровей.

Затем мать моя Леа вернулась в дом мужа со мной на руках.

По рассказам изумленных служанок, маленькая Юдифь никогда не плакала. Ничто не тревожило ее снов, не было у нее и ночных колик.

Словно бы с обрядом примирения, совершенным над моей матерью, на меня снизошло благословение Божие и избавило от болезней, которыми обычно страдают младенцы.

Священники посещали наш дом, желая посмотреть на дитя, которое по воле Всевышнего не знает ни боли, ни страданий в первые месяцы и в первые годы своей жизни.

Только в зрелом возрасте я поняла, что Господь избавляет нас от малых бед с тем, чтобы за годы спокойной жизни приуготовить к великим испытаниям, ибо каждый из нас, узревших свет солнца, должен до конца своих дней испить положенную ему чашу страданий, будь он царь или нищий, избранный или отверженный.

Теперь я знаю, что избавление может быть только временным, оно лишь дает нам возможность укрепить свой дух, чтобы в час испытания проявить силу, превосходящую и наше воображение, и нашу готовность к подвигу.

Мои родители были справедливы в обращении со слугами и рабами. Они не говорили лишних слов, старались соблюдать меру и в накоплении добра, и в милостыне. Во всем они стремились придерживаться Закона, ни на мгновение не забывая, что все живое и неживое создано во славу Господа нашего.

В те мои ранние годы даже соседские дети воспринимали меня как избранницу судьбы, чувствуя невидимую, но непреодолимую преграду, отделявшую меня от них.

Поэтому с первых дней моей жизни меня сопровождало одиночество. Меня редко приглашали принять участие в играх и еще реже присоединялись ко мне в единственном занятии, имевшем для меня смысл. Я любила складывать ряды камешков.

Быть может, это и не так, но мне кажется, что другие дети меня побаивались, потому что глаза мои выдавали зрелость души, не свойственную ребенку.

В них отражалась тайна, не доступная пониманию простого смертного.

Единственным существом, спасавшим меня в те дни от одиночества, был мой брат Вениамин, который был на год старше меня.

Благодаря его беззаботности и смешливости я прикоснулась к чуду, именуемому детством.

Только с братом я ненадолго становилась обычным ребенком.

Без малейших усилий, играючи научилась я от брата чтению и письму.

Так я овладела этим искусством, не подобающим женщине.

К сожалению, у брата бывали из-за меня неприятности, которых я вовсе не желала, но невольно становилась их причиной.

Будучи пяти лет от роду, я узнала, что наша Община в течение года производит многочисленные жертвоприношения.

Я узнала, что такое жертва всесожжения, что такое дар, и что такое причастие, и что такое искупительная жертва.

Я узнала, что если какой-либо израильтянин желает совершить в честь Иеговы заклание скотины, то это может быть скотина как крупная, так и мелкая.

Если он решит совершить жертву всесожжения, или огненную жертву, то должен быть приведен самец крупного рогатого скота самых лучших статей.

Для того чтобы Иегова принял жертву, животное приводят к жертвеннику и отсекают ему голову перед входом в Храм.

Затем священнослужители обрызгивают жертвенник со всех сторон кровью животного.

После этого тушу обдирают и режут на части.

Священнослужители разводят в жертвеннике огонь, сложив предварительно поленницу, а на нее кладут куски мяса, включая голову и нутряное сало.

Потроха и конечности промывают водой, а потом священнослужитель сжигает их с ладаном.

Это и есть огненная жертва, или жертва всесожжения, приносимая в честь Иеговы и сопровождаемая приятными ароматами.

Узнав многое об этих и иных приношениях и жертвенных обрядах, я как-то сказала своему брату Вениамину:

— Как много жертв приносим мы, израильтяне, Господу нашему Иегове! Как жаль мне мелкой скотинки, да и волов, что погибают на наших жертвенниках. А может, Господь и не требует столь многочисленных жертв?

На следующий день мой шестилетний брат Вениамин задал нашему отцу Мерарии вопрос, как бы от себя:

— Скажи, отец, зачем столько скотины погибает на наших жертвенниках? Быть может, Иегова и не требует их жизней?

Обычно невозмутимое лицо моего отца налилось кровью, и впервые в жизни я услышала, как он повысил голос:

— Кто тебя толкнул на такое святотатство? Признавайся, кто?!

Вениамин побледнел, но, не желая меня выдавать, пробормотал:

— Никто, никто... Я только хотел узнать... Хотел спросить...

Отец наш Мерария, не желая больше слушать лепет впавшего в ересь ребенка, отвел его в Храм к священникам, чтобы те изгнали из тела мальчика нечистую силу, которая заставляет его порочить Закон и обычаи, завещанные Моисею Иеговой и призванные привести израильтян к праведной жизни.

В тот же день отец зарезал самого крупного своего вола и принес искупительную жертву.

Брат мой Вениамин пробыл у священников два дня и две ночи. Когда я его снова увидела, он казался вдвое старше, чем был на самом деле, а на лицо его легла темная тень.

Никогда он не рассказывал о том, как священники изгоняли злого духа из его тела, и ни разу не упрекнул меня за то, что мои сомнения в необходимости многочисленных жертв навлекли на него подозрения и наказание.

И по сей день удивляюсь, как могла я в свои пять лет усомниться в справедливости Закона, как могло случиться, что Господь отвратил от меня свой взор и допустил нечестивой мысли овладеть мною.

Ибо сомневаться в Законе — значит сомневаться в существовании Бога нашего Единого, а это так же отвратительно, как позорная смерть.

В раннем детстве меня часто посещали мысли о Моисее, величайшем пророке Израиля.

В молитвах я без конца благодарила его за все, что он сделал для сынов и дочерей Израиля, за то, что он заключил Союз с Богом и сделал нас избранным народом, которому даровано высшее счастье — радость служения Иегове.

Я пыталась осмыслить обстоятельства смерти Моисея, те мгновения, когда на сто двадцатом году жизни пророка, после блужданий по пустыне, Иегова привел его на гору Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона, и показал ему всю землю Галаад до самого Дана. И всю землю Неффалимову, и всю землю Ефремову и Манассиину, и всю землю Иудину, даже до самого западного моря, и полуденную страну и равнину долины Иерихона, город Пальм, до Сигора.

"И сказал ему Господь: вот земля, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: "семени твоему дам ее"; Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь"[1].

Я не в силах была уразуметь, почему Иегова не разрешил Моисею ступить ногой на Землю обетованную и прожить хоть один год, хоть месяц или день на земле, к которой он стремился всю свою жизнь.

Почему же избранник Божий не удостоился милости, которая была дарована всем многочисленным сынам Израиля? Ведь не кто иной, как Моисей, избавил их от рабства и привел в Землю обетованную, а сам так ни разу на нее и не ступил.

Я не решилась никого спросить, отчего так несчастливо сложилась судьба Моисея, которого Господь удостоил великих милостей, кроме одной, последней.

Эти размышления не оставляли меня и в зрелые годы. Теперь, мне кажется, я знаю, почему Иегова лишает своих избранников того, что милостиво предоставляет самым обычным смертным. Вероятно, знаю, но не решусь ни сказать, ни даже написать об этом.

Глава третья

Самой красивой частью Ветилуи была большая площадь в центре города.

В южной части площади возвышался величественный Храм, построенный во славу Господа нашего.

С северной стороны простиралась рыночная площадь, куда стекались и крестьяне из окрестных сел, и прибывшие из дальних стран торговцы.

Еще ребенком я видела немало совершавшихся перед Храмом обрядов, которыми отмечались деяния достойнейших мужей нашего города.

Можно было наблюдать и то, как сыны Израиля, исполняя Святой Закон, побивали камнями безумцев, пытавшихся противиться воле Иеговы и слушавших голоса нечистой силы и разных смутьянов, толкавших их к осквернению Закона и святынь избранного народа нашего.

1. Пятая книга Моисея. Второзаконие. 34:4.

Никогда я не могла понять, каким образом человек, рожденный в нашей среде, усвоивший Закон и добрые обычаи и к тому же наделенный разумом, может словом или делом склониться к святотатству.

Я не в силах была уяснить, что же может происходить в таком случае в головах зрелых людей, какие мысли заставляют их уклоняться от единственно праведного пути.

И когда я, исполняя Закон, и сама бросала камни в одного из осужденных и недостойных жить, я не ощущала ни ненависти, ни гнева, но лишь сожаление о несчастном, который по глупости или по неосторожности утратил милость Иеговы и предал тело свое и дух на всеобщее поругание.

Девочкой я любила приходить на рыночную площадь и наблюдать за любимцем детворы — уличным торговцем Вилиамом. У него не было своих детей, и он щедро одаривал нас сушеными фруктами и медовым напитком.

Первым своим двум женам он выдал, убедившись в их бесплодии, отпускные письма и расторг с ними брак в полном соответствии с Законом.

Убедившись, что и третья жена не сможет одарить его наследником, Вилиам примирился со своей судьбой и продолжал жить, ничуть не обижаясь на Господа, которому лучше знать, кто к чему приставлен и какой именно груз должен влачить каждый из живущих, прежде чем попасть на Небеса.

Однажды — этот день с необычайной ясностью сохранился в моей памяти — мы увидели Вилиама на Храмовой площади рядом со священником перед лицом собравшейся толпы. Священник публично провозгласил его нечистым — прокаженным.

Закон предписывал тому, кто заразился проказой, носить разодранные одежды и растрепанные волосы и прикрывать верхнюю губу, а также кричать во всеуслышание: "Нечистый! Прокаженный!"

До тех пор пока прокаженный не исцелится, ему предписывалось жить в одиночестве за пределами городских стен.

Я помню, как Вилиам на глазах у собравшегося люда раздирал свои одежды и со слезами на глазах напрягал ослабшее горло, чтобы выкрикнуть: "Прокаженный! Нечистый!"

Но до нас доходил не крик, а всего лишь приглушенный стон.

Голос не слушался несчастного.

Подобно кающимся грешникам, он оставил пределы нашего города и ушел очищаться в одиночестве, вдали от здоровых людей.

К сожалению, очиститься ему не удалось, он так и умер нечистым, исключенным из общества своих собратьев.

Это была первая на моей памяти смерть, не только опечалившая меня, но и оставившая пустоту в моем сердце.

Мне недоставало улыбки Вилиама, его щедрости, его голоса, исполненного такой радости от сознания, что Иегова подарил ему жизнь мелкого уличного торговца.

Когда спустя несколько месяцев скончалась мать моей матери, я снова ощутила боль утраты и стала привыкать к мысли, что в течение моей жизни Господь будет отнимать у меня любимые мною существа, причем сроки их исчезновения ведомы только Ему.

Ведь смерть и рождение столь гармонично дополняют друг друга! Кажется, будто священнослужители в Храме ведут учет посмертного

пепла, и, подобно тому, как мы переворачиваем песочные часы, последняя песчинка вдруг становится первой, а каждый конец переходит в начало.

Движение толпы на городской площади доставляло мне истинное удовольствие.

Я любила наблюдать, как события у Храма и происходящее на рыночной площади дополняют друг друга, подобно лицу и изнанке. Приятно было сознавать, что все земное, человеческое, повседневное, возникающее в водовороте рынка, получает свое отражение и справедливую оценку в Храме или в пространстве перед Храмом, где высокопоставленные служители Божьи выносят праведный суд каждому человеку и поступку, вознося добрые дела к престолу Всевышнего, а дела недостойные исправляя, согласно Закону, наказанием или искупительными жертвами.

Мой город ставили в пример другим городам, и в детстве мне казалось, что порядок и справедливость в нем находятся в полном соответствии со Священным Писанием.

Я полагала, что должна благодарить Бога за то, что он сотворил меня в таком месте, где богобоязненные люди почитают Закон и порядок, понимая, что нет большего счастья, чем жизнь, устроенная честь по чести и с уважением к опыту прошлого.

Глава четвертая

Мне было тринадцать лет, когда мой брат Вениамин подружился с юношей по имени Элиав.

Вениамин часто бывал в доме Элиава, богатом и знатном, но чаще Элиав заходил к нам, чтобы договориться с братом об охоте или других забавах, приличествующих молодым людям их возраста.

Никто не догадывался, что не только дружба с моим братом была поводом для частых визитов Элиава в наш дом. Никто, кроме меня.

Когда наши глаза впервые встретились, случилось нечто вроде звонкого удара двух мечей друг о друга.

Незнакомый мне дотоле огонь опалил мое тело, и я поняла, что этот юноша способен разжечь пламя в моем сердце одним только взглядом или самой простой, вполголоса сказанной фразой.

Это была любовь.

Никому я не обмолвилась ни словом о том, что происходило в моем сердце.

Я поймала себя на том, что, подобно терпящему кораблекрушение, который ищет спасения в бурных морских волнах, с нетерпением ожидаю прихода Элиава, зная, что только его присутствие может принести мне блаженство.

Наша юношеская влюбленность росла день ото дня, а, между тем, ни он, ни я не обмолвились о ней ни единым словом.

Однако наши взгляды становились все красноречивее и нежнее, и мы глазами благословляли друг друга. Наши души словно переселились в зрачки.

Однажды Элиав пришел к моему брату в парадном платье. На лице его застыло выражение напряженного ожидания.

Он попросил моего отца Мерарию уделить ему время для беседы. Отец тут же принял его в самом просторном покое нашего дома, где принимали самых достойных мужей нашего города.

Вскоре после этого Элиав покинул наш дом торопливым шагом, опустив голову и не поднимая взгляда.

От брата я узнала, что Элиав просил у отца моей руки, описав ему всю силу любви и уважения, которые он испытывал ко мне.

На что отец ему ответил:

— О юноша, если бы ты пришел с той же просьбой три дня тому назад, ты получил бы благоприятный ответ, ибо я не нахожу изъяна ни в тебе, ни в твоем семействе. Ваша безукоризненная репутация, да и достаток вполне соответствуют положению нашей семьи. Но в святую субботу, выходя из Храма, я встретил достойного нашего горожанина Охолиава, который спросил меня, нахожу ли я изъяны в сыне его Манассии или в репутации их семейства. Когда же я ответил ему, что всю жизнь почитаю их достойнейшими людьми, он предложил, чтобы дочь моя и его сын сочетались браком. Я принял его предложение и дал ему слово, что с этого момента моя дочь уже просватана. Я уверен, что на моем месте так поступил бы любой отец, желающий счастья своей дочери, ибо Манассия слывет самым богатым юношей Ветилуи и при этом я никогда не слышал ни одного дурного слова о его отношении к городской Общине, к родителям или к Богу.

На эти слова моего отца Элиаву ответить было нечего. Их беседа была закончена, и он лишь пообещал передать от него привет своему отцу, как водится между уважающими друг друга людьми.

Брат передал мне роковые слова моего отца, которые отозвались в моей душе горьким эхом двойной беды.

Первая беда заключалась в том, что достойнейший и любимый мною юноша Элиав никогда не станет моим, и я тоже не смогу ему принадлежать.

Вторая беда заключалась в том, что я стану женой Манассии, которого я несколько раз встречала на площади перед Храмом. Мне в нем было отвратительно: нескладная фигура, одутловатое лицо и холодный надменный взгляд.

Я вспомнила его хриплый голос, в нем всегда звучало высокомерие: он и его семья располагали большим состоянием, которое ему удалось за последние десять лет удвоить успешными торговыми сделками, что вызывало в городе зависть одних и восхищение других.

Манассия был единственным сыном своего отца, и все считали его лучшим женихом Ветилуи.

Все, кроме меня.

О Иегова, прости, что я говорю без прикрас о своем покойном муже и об отчаянии, охватившем меня при мысли, что мне придется стать его супругой.

Прости мне, ибо заповедь Твоя — хранить верность истине — ведет мою руку и не дает мне приукрашивать то, что было.

Хотя я знаю, что все произошло так, как должно было случиться, я не могу в своих воспоминаниях не запнуться при мысли "что было бы, если бы...", как повернулась бы моя судьба, если бы Элиав пришел к моему отцу всего лишь тремя днями раньше, и...

Но вернемся к моему рассказу о том, что было на самом деле, а не о том, что могло быть. Вернемся к тому роковому дню, когда я узнала из

уст моего брата, что меня ожидает. Ничего подобного даже в страшном сне не пожелала бы я и злейшему врагу своему.

Заметив выражение печали, тревоги и разочарования на моем лице, Вениамин тихо спросил меня:

— Что ты ответишь нашему отцу, когда он сообщит тебе, что твоим мужем станет Манассия, а не Элиав?

— Что я могу ответить ему, брат мой? Сколько я себя помню, он учит меня уважать Закон и родителей, а Закон говорит недвусмысленно: "Чти отца своего и матерь свою, чтобы Иегова, Бог твой, даровал тебе долгую жизнь на земле".

На следующий день, после утренней молитвы, отец объявил свое решение о том, кто будет моим мужем, и благословил меня, не сомневаясь в моем согласии.

Я узнала, что бракосочетание ожидается через год, когда Манассия окончит строительство нового дома, отдельного от дома его отца, и подготовит в нем все к появлению молодой хозяйки.

Я утешала себя тем, что до свадьбы много времени, что судьба непредсказуема и что все еще может перемениться.

Но все мои надежды оказались тщетными.

Элиав ни разу больше не переступил порога нашего дома. Неудавшееся сватовство не позволяло ему продолжать дружбу с моим братом, словно бы ничего не случилось.

Мне так недоставало его взгляда, его присутствия. Ведь он был единственным существом, которое способно было бы меня утешить, утолить мою печаль.

К несчастью, через месяц произошло ужасное событие, после которого светлый облик Элиава померк в моих глазах, а к моей всегдашней печали, подобно верной подруге, присоединилось и чувство горечи.

Случилось это в пятницу, накануне субботы. По узким улицам города пробежал глашатай с криком:

— На площадь! Все на площадь! Будет суд! Все на площадь!

Это могло означать только одно: кто-то из сынов или дочерей Израиля совершил великий грех и должен быть немедленно судим.

Через некоторое время на городской площади собралось множество людей.

В толпе шептались о том, что будут судить юношу и молодую женщину, уличенных в блудном грехе.

Их ожидал самый строгий приговор.

Наконец появились стражники. С трудом пробиваясь сквозь толпу, они волокли за собой на веревке связанных обвиняемых.

Наконец они добрались до Храма. Начальник стражи, по обычаю, воззвал к главному священнослужителю Рубену:

— О ты, справедливейший среди нас, хранитель порядка и Закона, услышь зов сынов и дочерей Израиля! Мы просим тебя о справедливом суде над юношей и женщиной, совершившими гнусное грехопадение!

Из Храма вышел главный священнослужитель города Рубен в сопровождении десяти священников. Он обратился к начальнику стражи:

— Рассказывай перед всеми, что и как случилось.

Начальник стражи поднялся по лестнице еще на две ступени и, обернувшись к народу, закричал громко, так, чтобы все могли его слышать:

— Этот юноша был уличен в прелюбодеянии с женой своего соседа. Скажи нам, какое наказание им полагается по Закону!

— Пусть покаются, пусть покажут Общине свои лица! Пусть их увидят все! — произнес Рубен.

Стражники, орудуя копьями, заставили подняться на верхние ступени лестницы обоих обвиняемых. У меня чуть не разорвалось сердце, когда я узнала в обвиняемом Элиава, о котором все еще томилась моя душа.

Лицо его выражало панический ужас.

Туго связанный веревками, съежившийся, он был похож на пойманное в силки животное.

Стоявшая рядом с ним молодая женщина производила еще более жалкое впечатление. Одежда ее была порвана, волосы растрепаны, а лицо в синяках, которыми наградили ее стражники в стремлении показать, сколь мерзок им ее грех.

Над толпой раздался крик перепуганной птицы. Зловеще хлопая крыльями, она поспешила улететь прочь, словно поняв, что здесь происходит.

Рубен поднял руку и спокойным голосом человека, не ведающего сомнений, ибо за ним стоит столетний опыт, изрек свой приговор:

— Закон ясен и един для всех. Устами Моисея Иегова нам говорит: "Человек, совершивший прелюбодеяние с женой своего соседа, должен быть наказан смертью. Прелюбодеев следует побить камнями. И пусть вина за кровь их падет на них самих".

Вслед за этими словами стражники спихнули осужденных с лестницы, и люди, одобряя криками слова Рубена, стали хватать камни и с выражением праведного гнева на лицах швырять их в несчастных, дерзнувших воспротивиться Закону и порядку, забывших о том, что милости Иеговы заслуживают только те, чьи дела, мысли и слова чисты и незапятнанны.

Вопли толпы заглушили крики Элиава и стоявшей рядом с ним женщины. Казнь продолжалась до тех пор, пока изуродованные, безжизненные тела их окончательно не утратили человеческий облик.

Затем площадь погрузилась в молчание. Люди переживали справедливость содеянного. В моих ушах еще долго раздавался гул толпы, сопровождавший казнь.

Тяжко пережила я последствия непродуманного поступка Элиава. Сердце у меня болело еще сильнее, чем в тот день, когда я узнала, что мне предстоит стать женой Манассии.

Меня терзала горечь при мысли о том, что Элиав своим прелюбодеянием осквернил чистоту нашей любви и блаженство, которое мы ощущали, обмениваясь взглядами в редкие минуты наших встреч.

Я чувствовала себя обманутой и униженной.

Ведь я любила того, кто не заслуживал моей любви, кто своим богомерзким поступком унизил не только себя, но и всех, кто испытывал к нему добрые чувства.

В тот день я видела отца Элиава, целившегося камнем в своего сына, и мать его, подавленную стыдом, бросавшую камень в того, кого она вскормила своей грудью. Она знала, что наказание не смоет позора с их семьи, но может восстановить пошатнувшийся порядок вещей, ибо иначе небо обрушится и погребет под собою всех нас.

Со стороны я видела себя, поднявшую было камень, но так и не бросившую его, ибо в голове моей пронеслась мысль о том, что Элиав согре-

шил из-за меня, с отчаяния, когда мой отец не принял его сватовства. Моя нерешительность и слабость остались незамеченными среди кошмара разъяренной толпы. Люди, полные злобы, не видели ничего, кроме себя и тех, кто вызвал их ненависть и теперь был не в силах заслониться своими слабыми руками от града крупных камней, несущих верную смерть.

Стоны умирающих не были слышны за выкриками тех, кто казнил их при ярком свете солнца, которое не прощает мерзких грехов.

Весь этот ужас вторгся в мои мысли и чувства и принес такое потрясение, что я потом два дня и две ночи не знала покоя освежающего сна.

Лишь изнурительные молитвенные бдения помогли мне обуздать уныние и вернуться в спасительные объятия повседневной жизни.

Глава пятая

Последующие месяцы мать моя Леа посвятила приготовлениям к браку. Дев Иудеи долго обучали Закону и обычаям с тем, чтобы они могли потом стать достойными женами.

Я затвердила все, что надо было знать о правах и обязанностях девушек, невест и жен, и усвоила правила, служащие украшением зрелого возраста.

Моя мать Леа внушила мне следующую заповедь Закона: "Если мужчина возьмет женщину и взойдет на ее ложе, а потом, когда она ему надоест, назовет ее уродом или оговорит, утверждая, что после свадьбы не нашел у нее признаков девственности, то отец и мать девушки должны представить доказательства ее девственности и предъявить их старейшинам города. При этом отец говорит старейшинам следующее: "Я дал свою дочь в жены этому мужчине, но она ему опротивела. Поэтому он приписывает ей всевозможные пороки и утверждает, что не нашел у нее признаков девственности. Но вот перед вами признаки девственности моей дочери". Следует при этом расстелить перед старейшинами города простыни. Тогда старейшинам надлежит наказать мужчину за то, что он опозорил честную дочь Иудеи, взыскав с него сто серебряных монет и передав их отцу молодой женщины.

При этом она остается женой своего мужа, которую он не сможет прогнать до конца своей жизни. Но если обвинение подтвердится и будет доказано, что молодая женщина не была девственницей, то ее надлежит поставить перед дверями отцовского дома, и горожане будут осыпать ее камнями, пока она не умрет, ибо она осрамила Иудею, предаваясь блуду под отчим кровом".

И еще одну заповедь Закона втолковала мне моя мать: "Если у мужчины две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и каждая родит ему сына, но первый сын будет от нелюбимой, то, когда настанет день делить имущество между сыновьями, мужчина не должен ущемлять права сына от нелюбимой жены, давая вдвое больше тому, который рожден любимой женой. Ибо первому сыну принадлежит право первородства".

Поведала мне моя мать Леа и еще одну важную заповедь Иеговы: "Если жена свернет с пути добродетели, и изменит своему мужу, и ляжет с кем-нибудь другим, но это останется скрытым от ее мужа, и женщина, осквернившая себя, за отсутствием свидетелей не будет поймана на месте преступления, а муж станет ревновать жену, осквернившую себя, или же дух ревности вселится в мужа, чья жена ничем себя не запятнала, —

такой муж должен отвести свою жену к священнику. Пусть мужчина принесет взнос — десять еф[1] ячменной муки. Муку не следует умащать ни маслами, ни ладаном, ибо это — жертва на почве ревности, взнос для напоминания о грехе. Священник ведет женщину за собой и ставит ее перед лицом Иеговы. Потом священник должен зачерпнуть глиняной посудой освященной воды и бросить в воду щепотку пыли с пола Храма. Поставив женщину перед лицом Бога, священник должен открыть ее голову и дать ей в руки мешок с мукой, олицетворяющий жертву на почве ревности. Священник должен, держа в руках сосуд с водой горечи и проклятия, заклинать женщину. Он должен сказать следующее: "Если ты не сворачивала с пути добродетели, если никто, кроме мужа, пока ты была под его властью, ни разу не лег с тобой, и ты не осквернила себя, вода горечи и проклятия тебя пощадит. Если же ты, будучи под властью мужа, уклонилась от своего пути и легла с другим человеком, то Иегова поразит тебя, и народ твой проклянет тебя, и Бог сделает так, что лоно твое увянет, а утроба вспухнет". Женщина должна вторить словам священника: "Аминь! Аминь! Истинно так!" Затем священник опускает заклинания в воду горечи. Потом он должен напоить женщину водой горечи и проклятия, чтобы вода растеклась по ее жилам и наполнила их горечью. Водой он ее поит в завершение обряда. Если женщина осквернила себя, изменив своему мужу, вода проклятия войдет в нее и пропитает ее горечью, утроба ее вспухнет, а лоно увянет.

Такая женщина будет проклята своим народом. Если женщина себя не запятнала, если она ни в чем не повинна, то с ней ничего не случится, и у нее еще будут дети".

И наконец мать моя Леа научила меня, как должна вести себя женщина, когда имеет крови. Она считается нечистой в течение семи дней, и каждый, кто к ней прикоснется, будет нечистым до вечера. На что она ляжет или сядет во время своих кровей, все будет нечисто. Если мужчина в это время с ней ляжет, он тоже станет нечистым на семь дней.

Научила меня мать также вести хозяйство и быть помощницей своему мужу, ничем не погрешив против Закона и добрых обычаев народа Иудеи.

Глава шестая

Приближался день свадьбы, когда душа моя должна была слиться воедино с душою моего мужа, и я напрягала всю свою волю, стараясь убедить себя, что смогу его полюбить, стать ему доброй супругой и примерной матерью наших детей.

Я стремилась себя уверить, что его неприглядная наружность — всего лишь оболочка, скрывающая возвышенную душу, и что Господь, без сомнения, одарил его, как и других, при рождении на свет равной мерой хороших и дурных качеств.

При мысли о том, что его толстые пальцы прикоснутся к моему телу, что его плоть проникнет в мою, и его семя оплодотворит мое лоно, меня охватывал ужас. Я старалась не думать об этом.

Страшно было представить, что я буду рожать детей, похожих на этого мужчину со столь отталкивающей внешностью, и что его душа сольется с моей.

1. Ефа — мера объема жидких и сыпучих тел, около 40 литров.

Но хуже всего было то, что я не решалась ни с кем поделиться и малой толикой своих мыслей, своих страхов, переполнявшего меня отвращения, и в сердце моем постоянно тлела тоска.

Отец мой, мать и брат ожидали дня моей свадьбы с волнением и радостью, ведь в этот день должны были стать еще более очевидными знатность и связи нашей семьи, укрепиться ее репутация.

Вся Ветилуя только и говорила о том, как торопится, вникая тем не менее во все мелочи, Манассия с постройкой великолепных покоев, которые должны были стать нашим общим домом.

И те, кто их видел, и те, кто только слышал от строивших и украшавших наш дом, как он будет выглядеть изнутри, пересказывали друг другу подробности и добавляли при этом, что дом похож на царский дворец и что счастлива будет женщина, которая станет его хозяйкой.

О Господи, ты свидетель, что в те дни я была бы гораздо счастливее, если бы простой пастух, но кроткого нрава и с лицом добрым и спокойным, ввел меня в свою хижину, и я служила бы ему охотнее и чувствовала себя в роли пастушки лучше, чем в роли хозяйки дома Манассии.

Тогда я поняла, что люди, завидуя другим, сами того не зная, часто завидуют чужому горю.

Поняла я и то, что завидовать бессмысленно, потому что у каждой вещи, кроме привлекательной стороны, всегда есть изнанка, недоступная поверхностному взгляду и часто неприглядная, порождающая беду.

Не буду больше описывать дни жуткого страха и тягостных ощущений, которые предшествовали свадьбе. Не буду писать и о свадьбе, восхитившей весь город, о знатных гостях, которые своим присутствием оказали честь моей семье и семье Манассии, о подарках и яствах, приготовленных поварами из дальних стран. Я не притронулась к этим блюдам, как не в состоянии была и оценить затуманенным взглядом украшения с драгоценными камнями и прочие подарки. Все это промелькнуло как страшный сон, от которого в памяти осталась только первая ночь, когда я перестала быть девственницей.

Лоно мое начинает болеть при одном воспоминании о той ночи, когда огромный, толстый, захмелевший Манассия набросился на меня, как охотничий пес на загнанную дичь, раня мою душу и тело своей грубостью.

Он безжалостно унизил меня, раздев и заставив показать свое тело при свете ярко горевших свечей.

В упоении сладострастия, полупьяный, он не заметил ни слез, ни безгласной мольбы пятнадцатилетней девочки-женщины утихомирить свои порывы и хоть одним утешительным словом нарушить мрачную тишину, в которой все это происходило.

Как я была беспомощна, как несчастна, как подавлена насилием, которому я не могла противостоять, в ужасе от сознания, что мои болезненные стоны только разжигают его страсть.

И я подумала: неужели это и значит быть женщиной? Неужели без этих страданий и унижений не может быть ни материнства, ни уважения Общины? Неужели моя мать и мать моей матери так же зачинали своих детей?

Или же мой муж — самый бесчувственный из всех мужчин, и в отношении к женщине отражается его крутой нрав, воспитанный привычкой к безраздельной власти над людьми и жесткими правилами торговли?

В последующие дни Манассия оставался все таким же ненасытным и таким же грубым, независимо от того, был он трезв или разогрет вином.

Я все так же была для него не более чем огоньком, подогревавшим его собственный жар. Мне так и не удалось понять, что имела в виду одна из моих подруг, вышедшая замуж на месяц раньше меня: она потихоньку призналась мне, что ощущает в объятиях своего мужа восторг и наслаждение, не сравнимые ни с какими другими земными радостями.

Я же испытала радость лишь на девятый день после свадьбы, когда у меня начались крови и я, согласно Закону, стала нечистой на семь дней.

К счастью, Манассия оказался богобоязненным и никогда не добивался моей близости в эти дни.

Так и стали для меня самыми радостными дни, когда я получала возможность уединиться в своей комнате, чтобы предаться воспоминаниям о счастливых и беззаботных временах, когда я жила в родительском доме, окруженная всеобщей любовью.

В доме Манассии ко мне была приставлена личная служанка.

Звали ее Шуа.

Располагать личной служанкой было признаком знатности и богатства. Лишь десять богатейших женщин Ветилуи имели личных служанок, которые прислуживали только им и не выполняли другой работы по дому или по хозяйству.

Шуа была женщина молодая, но уже опытная. Муж ее погиб несколько лет назад, сопровождая купцов в Иерусалим.

На третий день пути они подверглись нападению разбойников, которые их ограбили и убили почти всех.

Только одному человеку из всего каравана удалось пережить это побоище. Он-то и сообщил осиротевшим женщинам печальную весть о том, что товары, принадлежавшие их мужьям, исчезли, а тела и души их остались лежать в пыли, так и не дождавшись священного обряда и благословения, необходимого для перехода в мир иной.

Шуа почти никогда не говорила о своем покойном муже, но из ее скупых ответов на прямые вопросы Манассии я заключила, что особенно приятных воспоминаний о супруге у нее не осталось.

Короче говоря, моя служанка не очень-то любила рассказывать о себе, но когда дело касалось других женщин нашего города, она становилась более чем словоохотливой.

С первого же дня я поняла, что Шуа — отнюдь не то существо, которому можно доверить свои сердечные тайны. Но все-таки я могла коротать время в разговорах с ней, пользоваться ее советами в ведении хозяйства, в покупках, в приготовлении блюд для гостей с Запада или для торговцев с Востока.

Она была знающей и умелой прислужницей и с удовольствием исполняла также обязанности компаньонки.

Еще раз повторю: на первый взгляд это была идеальная служанка. И все-таки с самого начала нашего знакомства я почувствовала, что между нами не может быть более близкой дружбы.

При всех достоинствах этой женщины в ней ощущалось присутствие какой-то неясной, темной силы.

Глава седьмая

Человек может привыкнуть ко всему, даже к страданиям.

Ведь и верблюды неделями бредут по пустыне, мечтая о тени оазиса.

Так приняла я свою горькую жизнь и поддалась течению повседневности, убеждая себя, что только такая жизнь и возможна.

Проходил месяц за месяцем, но лоно мое, орошаемое семенем Манассии, оставалось бесплодной нивой.

Было похоже на то, что дом останется без наследника, что было постыдно для моего мужа. Мне же оставалось только терзаться сознанием своей никчемности.

Чем больше был страх моего супруга остаться последним в своем роду, с тем большим рвением он посещал мою постель. Как будто усилиями мужчины можно заставить Небо излить свое благословение на утробу женщины.

Никому я не могла высказать мысли, к которой я пришла в эти месяцы: я не могу зачать ребенка потому, что я его не хочу.

Я содрогалась при мысли о том, что плод чрева моего будет похож на Манассию.

Мне казалось, что я смогу забеременеть только тогда, когда с любовью приму близость моего мужа.

Я уверила себя в том, что Иегова благословит прикосновения наших тел только тогда, когда их осенит любовь.

Манассия злился, понимая, что начинает терять уважение граждан Ветилуи, и это отнюдь не возвышало его в моих глазах.

Как-то на десятом месяце нашего брака около полудня я сообщила мужу, что у меня начались крови и что семь дней я буду нечистой. Он пронзил меня холодным взглядом и в бешенстве произнес:

— Ты не можешь выполнить свой долг. Не можешь или не хочешь дать мне наследника. Навлекаешь хулу на мой дом, имя мое позоришь.

Дня три спустя, как донесла мне Шуа, Манассия говорил мужчинам на площади, что ему придется взять вторую жену, ибо он уже не надеется получить от меня наследника.

— Если он приведет вторую жену, и она ему родит сына, ты, госпожа моя, потеряешь право первенства, — говорила служанка.

— Знаю. Но я ничего не могу поделать.

— Неподалеку, за городскими стенами, живет одна знахарка. Ее травы многим помогли испытать радость материнства.

— Нет, я не стану прибегать к таким средствам. Что они такое в сравнении с благословением Небесным.

Я прекрасно знала, что могло бы означать появление в доме еще одной женщины. Если бы у нее родился ребенок, моя роль была бы сведена к положению бессловесной рабыни, которая и дыханием своим не смеет обеспокоить господина.

Но даже эта мысль не смутила меня. Я словно предчувствовала...

Не прошло и месяца, как Иегова призвал к себе моего мужа Манассию. Это случилось два дня спустя после праздника опресноков.

Печальную весть мне принес наш старший слуга Балак:

— Госпожа моя, случилось ужасное несчастье! Мы с господином измеряли луг в нашем имении. И вдруг господин Манассия рухнул на землю и тут же скончался. Теперь мы лишились хозяина, а вы, госпожа моя, остались без мужа.

Я не уронила ни единой слезинки.

По воле Иеговы с плеч моих точно свалился огромный груз, неожиданно избавив меня от бесконечной муки последних десяти месяцев.

Я не испытала и тени печали при виде мертвого тела человека, который был моим мужем.

Холодность моя была ответом на все, что мне пришлось пережить по его вине.

Ничто во мне не дрогнуло, но я постаралась достойно провести печальный обряд похорон.

Потрясенные моим спокойствием друзья нашей семьи узрели в нем силу моего духа и веру в Господа.

Снова, как и раньше, никто не догадывался, какая пустота царит в моем сердце.

В канун сорокового дня траура, ночью, случилось нечто, нарушившее мою холодность и вызвавшее прямо противоположные чувства.

Во сне мне явился на мгновение образ не оплаканного мною Манассии. Он выглядел жалким и несчастным, точно младенец, которого забыли покормить.

Он словно хотел мне что-то сказать, но не мог, потому что уста у него были зашиты.

Образ явился и исчез.

Я же проснулась вся в холодном поту. С тех пор меня стало преследовать ощущение вины.

В самом деле, я не пролила ни единой слезинки по своему мужу, как того требует обычай, я не родила ему наследника, не продлила его род, да еще и нашла свое счастье в его смерти. Сколь бесчувственной и достойной презрения показалась я самой себе во мраке опустевшей опочивальни, в доме мужчины, которого я не удостоила ни единым знаком любви.

Как посмела я отвечать высокомерием и ненавистью на его желание наслаждаться моим телом и получить от меня наследника!

Разве не оказалась я стократ бесчувственнее, чем он? Ведь я ни разу не обняла его, не сказала ему ни единого ласкового слова.

Мое каменное сердце лишило меня простой человечности, место которой заняло себялюбие.

Мне открылось, что я впала в неслыханный грех и что искупить его перед Богом я смогу лишь ценой огромной жертвы.

На сороковой день своего вдовства я встала на заре и отправилась к Храму, где в присутствии двенадцати священников дала обет в течение двух лет встречать и провожать молитвой каждый день, соблюдать пост во все дни, кроме пятницы и субботы, не носить нарядной одежды и не ходить на пиры.

О незнакомец, которому, быть может, суждено прочесть то, что я пишу без малейшего желания приукрасить или опорочить свою жизнь! Дано ли тебе понять, до какой степени смягчали и наполняли покоем мою душу, истерзанную ощущением вины, дни поста и непрерывных молитв?

В Ветилуе мое поведение сочли сначала причудой, но потом, видя, как твердо я придерживаюсь данного обета, стали говорить, что я святая и что завидна участь мужчины, о котором так будет печалиться его вдова.

При всем богатстве Манассии и уважении к его семье он не пользовался особой любовью горожан. Тем паче мой траур люди восприняли как подтверждение моей святости.

Помню, как по прошествии первого года траура Шуа попыталась меня уговорить с разрешения священников хотя бы смягчить пост. Я с негодованием отвергла эту попытку бросить тень на данный мною обет. Служанка была поражена:

— Я и не знала, что ты его так любила.

Помню, в то время строгого поста каждую вторую субботу меня навещали отец, мать и брат.

Их расстраивало то, что я не щадила себя. Им хотелось, чтобы я вернулась к обычной жизни, снова вышла замуж, обзавелась семьей.

Но из уважения к памяти моего покойного мужа они не решались прямо заговорить об этом.

И я, и мои родные ощущали, что мы все больше и больше отдаляемся друг от друга, что их причастность к моей жизни становится достоянием прошлого.

Глава восьмая

На третьем году моего вдовства в разговорах солидных мужей все чаще стало упоминаться имя Навуходоносора, царя Ассирии, и полководца Олоферна, возглавлявшего его войско.

Навуходоносор владел самым большим царством известного нам мира, но ему этого было мало. Он послал Олоферна, чтобы завоевать государства своих соседей с юга, востока и запада.

Олоферн, полководец напористый и искусный, в первый год этих войн одержал победы над тремя царствами на юге, на второй же год присоединил к ним еще два южных и одно восточное царство.

Молва о его силе, отваге и жестокости была страшнее самой смерти. Еще до того, как он собирался напасть на какое-либо государство, воины его противника уже теряли веру в силу своего оружия, а градоначальники, не пытаясь сопротивляться, открывали перед ним ворота и встречали его не как завоевателя, а как освободителя.

Таким образом, войско Олоферна от похода к походу постепенно превращалось в непобедимую рать, перед которой не в силах было устоять ни одно царство.

Безжалостный завоеватель разрушал храмы и святилища покоренных им народов, требуя, чтобы они чтили Навуходоносора как единого Бога, признавая его, смертного человека, равным Творцу Вседержителю, и это было страшнее всего.

Женщины недаром говорят, что мужчины подобны детям. В их разговорах об Олоферне был заметен не ужас, но восхищение искусством полководца и силой, наводящей страх на все живое.

Толпа всегда славит победителей, даже если их дела покоятся на крови праведников, если путь к победам лежал через насилие и интриги.

Но в те дни Ассирия была так далеко от нас, что рассказы о походах Олоферна казались чем-то вроде древних легенд.

Надо признаться, что третий год моего вдовства стал для меня временем покоя и счастья, какое вряд ли довелось испытать кому-либо из дочерей Иудеи.

Без особого труда я управляла и домом, и имуществом мужа, оставшимися мне после его смерти.

Миро Гавран. Юдифь

Я не стремилась к умножению богатства, и Бог помог мне сохранить его.

Время изнуряющих постов и покаяния после смерти Манассии осталось позади. Я полагала, что искупила грех бесчувствия, с которым восприняла известие о смерти мужа.

У меня хватало времени и на приятные беседы, и на одинокие прогулки по своему саду, и на чтение записок знаменитых купцов, которые своими глазами видели страны чуть ли не на краю известного нам света и даже встречали людей с другим цветом кожи.

Жизнь моя была исполнена покоя и молитв. Я размышляла о гармонии и совершенстве всего доступного оку в вертограде Господнем.

Один-единственный случай ненадолго нарушил размеренный ход событий.

Поздно вечером в пятницу, накануне святой субботы, я, как было заведено, совершила омовение, вышла из купели и протянула руку за полотенцем, которое держала в руках Шуа.

— Давай я тебя оботру, — сказала она и, не дожидаясь моего согласия, стала мягкими осторожными движениями растирать мое обнаженное тело.

Мне было приятно такое выражение преданности служанки своей госпоже, и я позволила ей вытереть спину.

Когда же она начала вытирать мне живот и грудь, движения ее стали еще мягче и сосредоточились на сосках, хотя они давно уже высохли.

— Как ты прекрасна, госпожа моя, ты настоящая красавица, — говорила она.

Она уже не вытирала, а ласкала меня.

Я закрыла глаза, предаваясь приятным ощущениям, но внезапно почувствовала, что она прикасается ко мне не полотенцем, а пальцами, и заметила, что она не смотрит на меня спокойно, как положено служанке смотреть на госпожу, но похотливо впивается взглядом в мою наготу.

Я с ужасом отшатнулась и резким движением вырвала полотенце из ее рук:

— Ты мне больше не нужна! Я сама справлюсь!

Не поднимая глаз, Шуа попросила разрешения идти спать.

Вместо ответа я молча кивнула, и моя прислужница, как ребенок, застигнутый за чем-то недозволенным, убежала в свою комнату.

Оставшись одна, я заметила, что сердце мое бьется в два раза быстрее, чем обычно, а на лбу выступили капельки пота.

Мы обе оказались на шаг от богопротивного греха, ибо давно уже сказано устами Моисея, что мужчина, который разделит ложе с мужчиной, так же как и женщина, которая разделит ложе с женщиной, достойны презрения и казни.

Не останови я руку моей служанки, уделом нашим была бы смерть под градом камней или жизнь под гнетом тайны, отнимающей покой.

Впоследствии ни я, ни Шуа ни разу ни единым словом не обмолвились о том, что произошло.

Тогда только мне стало понятно, почему она столь ревностно предавалась своим обязанностям служанки, почему ей никогда не было в тягость проводить со мной целые дни с утра до вечера.

С того дня Шуа вела себя в моем присутствии с подчеркнутой сдержанностью, и между нами словно легла некая тень.

На третьем году моего вдовства объявились восемь женихов, и каждого из них я отвергла без малейшего размышления.

Ни за что не обрекла бы я себя опять на те муки, которые принес мне брак с Манассией.

К счастью, вдова в Иудее, в отличие от девиц, сама может принять решение о своем замужестве. Ведь если бы моим господином был по-прежнему мой отец, он, конечно, отдал бы мою руку кому-нибудь из солидных мужчин.

Мать моя Леа, узнав, что я отказала восьмому жениху, сказала мне:

— Мужчины нашего города потеряли рассудок. Как пчелы на мед, они слетаются к женщине, которая потеряла невинность в объятиях своего покойного мужа, вместо того чтобы выбирать невесту среди девиц. Очевидно, твоя красота настолько ослепляет их, что они впадают в детство. Иначе они бы понимали, где прибыль, а где убыток, ведь разумный человек строит свое будущее, укрощая порывы сердца и помышляя о том, в чем большинство усматривает пользу и выгоду.

Глава девятая

Прошло три года и два месяца после смерти мужа моего Манассии.

Градоначальник Озия созвал всех жителей Ветилуи на площадь, чтобы отпраздновать очередную годовщину того дня, когда по воле Иеговы было начато воздвижение стен нашего города.

Горожане любили этот день, потому что на площади собирались музыканты и актеры из всех близлежащих поселений, а народ угощался питьем и всевозможными яствами, в изобилии выставленными градоначальником.

Согласно обычаю, чем ревностнее городские власти в течение года собирали десятину, тем щедрее они были обязаны в этот памятный день кормить и поить подвластных им горожан.

В том году всем памятный день отмечался с особой торжественностью, ибо Ветилую посетил первосвященник Иоаким, чья постоянная резиденция была в Иерусалиме.

По обычаю предков, первосвященник покидал иерусалимский Храм Бога Вседержителя лишь однажды в пять лет, избирая для своего визита один из набожных городов страны Иудейской ради того, чтобы провести целый месяц в молитвах и беседах с тамошними священнослужителями.

Горожане Ветилуи чрезвычайно гордились тем, что знатный первосвященник Иоаким выбрал именно наш город, оказав нам великую честь и оценив нашу преданность Господу.

Лица наши светились радостью оттого, что праздник начинается в присутствии персоны, более прочих израильтян приближенной к Иегове, мужа, чье слово — закон для каждого и обязывает к послушанию всех израильтян — мужчин, женщин и детей.

И мы пришли, чтобы узреть достойнейшего из нас, о котором мы до тех пор только слышали, что он, будучи человеком строгим и рассудительным, служит Иегове по совести, не позволяя ни себе, ни другим, по слабости или небрежению, сворачивать с пути, указанного нам Господом нашим.

Для меня было неожиданностью увидеть, что Иоаким отнюдь не старец, но мужчина в расцвете сил, чей внешний облик не уступает его внутренним достоинствам.

Однако день, когда жители Ветилуи радовались подобно малым детям, полагая его счастливейшим днем своей жизни, завершился отнюдь не так, как начался. Ибо вскоре после того, как градоначальник Озия дал знак танцорам и музыкантам начать празднество, под стенами нашего города появился причудливо одетый чужестранец в сопровождении четырех солдат.

Их крепкие боевые кони очевидно устали от долгой дороги, и видно было, что всадники понуждали измученных животных скакать на пределе своих сил.

Чужестранец в пышном одеянии сообщил, что он послан с особой миссией, и потребовал, чтобы главные люди города выслушали его и дали возможность обратиться к старейшинам и к простому люду.

Озия дал знак музыкантам умолкнуть. Незнакомец выступил вперед и воззвал к городским старейшинам, священнослужителям и к народу столь громогласно, что его можно было расслышать даже в самом отдаленном уголке площади:

— О достойнейшие люди и священники города Ветилуи! Я приехал к вам с миром от имени Олоферна, знаменитейшего из полководцев подлунного мира, командующего всеми войсками великого ассирийского царя Навуходоносора.

По толпе прокатился ропот.

У всех сжались сердца при мысли о том, что этот человек приехал к нам от имени Олоферна, полководца, который до тех пор представлялся нам далеким и нереальным, как персонажи древних легенд.

Посланец между тем продолжал свою речь:

— Меня зовут Ахиор, и я здесь потому, что мой повелитель Олоферн проявляет милость ко всем, кто ему покоряется без сопротивления. Я принес вам известия о битвах и победах Олоферна, подобных которым доселе не видано под солнцем. Да будет вам известно, что Олоферн, сопровождаемый своими верными воинами, разорил своей десницей Фуд и Луд и обратил в рабство сыновей Рассиса и Исмаила, живших в пустыне к югу от земли Хеллеонской. Узнайте также, что Олоферн перешел Евфрат, прошел через Месопотамию, опустошил все города вдоль реки Аврон и вышел к морю. Он занял территорию Киликии, растерзав всех, кто пытался ему сопротивляться, покорил сынов Мадиама и спустился на равнину Дамаска, где сжег все нивы, опустошил поля, погубил стада и отдал на разграбление города. Страх и ужас объяли тогда всех жителей берегов Сидона и Тира, обитателей Сура, Окины и Иемнаана. Те, кто жил в Азоте и Аскалоне, охваченные страхом, направили Олоферну послание: "Мы падем ниц перед тобой, делай с нами что хочешь, мы предоставляем тебе наши города и дома, стада и поля, клянемся быть рабами твоими, пощади только наши жизни". И наш милостивый полководец Олоферн без сопротивления вошел в их города, в крепостях поставил своих военачальников, а юношей из этих городов призвал во вспомогательные отряды. Теперь войско Олоферна возросло до ста двадцати тысяч воинов. Через три недели он будет под стенами вашего города. Я призываю вас не оказывать ему сопротивления, но открыть ворота и встретить Олоферна цветами, плясками и музыкой.

Ответом на эти слова Ахиора был глухой ропот, женщины стали плакать, мужчины же обратили взоры на старейшин и священников, а те начали перешептываться, собираясь вокруг градоначальника и первосвященника.

Одни окружили Иоакима, другие Озию, прося их произнести слова, которые стали бы нам всем путеводной звездой.

Предводители наши тоже казались смущенными, они искали мысль, которая направила бы нас по правильному пути.

Озия поднял руку в знак того, что хочет говорить.

В одно мгновение гомон толпы стих и наступило молчание, исполненное ожиданий.

Голос градоначальника дрогнул, но прозвучал ясно:

— О Ахиор, посланный к нам великим полководцем Олоферном, скажи, что нас ждет, если мы откажемся открыть перед ним ворота нашего города?

— Вас ожидает смерть.

Ответ был столь же четким, сколь и кратким. Озия задал новый вопрос:

— На что мы можем рассчитывать, если отдадимся на милость твоего повелителя?

— Можете надеяться, что вам и вашим детям сохранят жизнь. Вы станете подданными великого царя Навуходоносора, а ваш город, как и вся ваша страна, станет частью нашего царства. Поскольку ваш город стоит при входе в Иудею, мы убеждены, что вся Иудея последует вашему примеру.

Этот ответ взволновал собравшуюся толпу.

Тогда поднял руку первосвященник Иоаким.

Все умолкли, зная, что его слово будет звучать как заповедь для каждого израильтянина.

Но Иоаким не высказал своего мнения, а задал Ахиору новый вопрос:

— О чужестранец, скажи, что будет с нашими храмами, с храмом в Иерусалиме, где хранится Святое святых? Ибо народ наш чтит единого Бога, имя которому Иегова.

Ответ Ахиора звучал непреклонно:

— Олоферн обратит в пепел все ваши храмы и жертвенники. В едином царстве есть место только одному Богу, и это — наш царь Навуходоносор.

— Неужели вы провозгласили божеством живого человека? — спросил его Иоаким.

— Все, кто нам покорился, сами свергли своих богов и теперь с радостью прославляют нашего царя как единого Бога. Ибо, повторяю вам, о жители Ветилуи, в создаваемом нами царстве может быть только один Бог — Бог победителей.

Эти богохульные речи потрясли всех собравшихся.

Снова раздались крики и стенания, вся площадь загудела, как пчелиный улей. Стало ясно, что привычный для нас мир может быть разрушен в самом скором времени.

Иоаким снова поднял руку и, завладев вниманием толпы, произнес весомо и четко:

— Бог наш милостив и не оставит нас, покуда мы его смиренно чтим. Он превыше всего, он выше нашей любви к собственной жизни. И потому, о Ахиор, прежде чем вернуться к Олоферну, проведи один день с на-

ми и посмотри, как богобоязненный народ славит своего Господа. И ты поймешь, почему нет на свете такой силы, которая могла бы покорить народ, верный своему Богу и защитнику.

В тот ужасный день все мы поступили так, как наказал нам Иоаким.

Каждый израильтянин воззвал к Богу, смиренно предав себя Его воле. Все — мужчины, женщины и дети, надев власяницы, пали ниц перед Храмом. Мы посыпáли головы пеплом и простерлись на земле, покрыв жертвенник вретищем и дружно взывая к Богу Израиля, чтобы он не допустил резни наших детей, продажи женщин в рабство и разрушения наших городов и прочего наследия предков и предотвратил осквернение наших святынь язычниками.

В тот злополучный день вместо ранее назначенного праздника начались молитвы, растянувшиеся на долгие недели. Иоаким приказал всему народу Иудеи ежедневно взывать к милости Божией и блюсти строгий пост, чтобы умилостивить Бога нашего Вседержителя.

Священники же наши, облачившись во власяницы, начали приносить ежедневно жертвы всесожжения, искупительные жертвы и принимать от народа добровольные дары Господу.

Когда на следующий день посланец Олоферна Ахиор покидал наш город в сопровождении своей свиты, лицо его выражало некоторую растерянность при виде толпы людей, готовившихся оборонять свой город не мечами и копьями, но усердными молениями.

Глава десятая

В последующие дни в городе только и было разговоров, что об ассирийцах. Возникал ли разговор среди женщин или среди мужчин, казалось, что вселенной больше не существует, остались только две противостоящие друг другу и вытеснившие все остальное стихии — мы и они.

Священники усматривали знак Божий в том, что приезд в наш город Иоакима совпал с появлением Ахиора и посланием Олоферна. Тем самым Господь давал нам понять, что народ должен почитать священнослужителей и искать прибежище в вере.

Тем временем градоначальник Озия и приближенный к нему казначей Хабрис начали готовить войско к войне.

Стены города укреплялись, готовились склады для хранения запасов, которые собирали от деревенских старейшин в селах, окружавших Ветилую, подготовлялись резервуары для воды на случай длительной осады. Опытные солдаты учили искусству боя наших мужчин и юношей.

Строились новые загоны для скота, который собирались спрятать в городе перед самым приходом неприятеля.

Главная площадь была изуродована сплетенными из прутьев хижинами для населения окрестных деревень.

В эти трудные дни никто не думал о красоте города, все мысли были сосредоточены на спасении жизни.

За ежедневными заботами и приготовлениями к войне мы незаметно втянулись в какую-то иную жизнь и начали ощущать уверенность в себе от звона мечей, доносившегося из кузниц на каждой улице. Прибавлялась вера в силу нашего войска, которое пополнялось жителями деревень, а глубокие рвы, выкопанные вокруг городских укреплений, стали казаться непреодолимыми.

Каждый день у входа в Храм Иоаким говорил нам, что наши молитвы достигают уха Господня, а градоначальник Озия рассказывал о мощи армии нашего города, численность которой достигла двух тысяч мужчин, юношей и мальчиков, если они по виду могли сойти за юношей.

Их ободряющие речи проливались на наши раны целительным бальзамом, мы упивались их доблестью и обретали столь необходимую нам надежду.

Единственными, кто не считал наши оборонительные укрепления неприступными, были торговцы: цены на дома в нашем городе упали вдесятеро.

Цены же на еду возросли в двадцать раз, а сосуды для воды стали дороже серебряных монет.

Так прошли двадцать два дня приготовлений к войне, двадцать два дня самоотверженных усилий, и мы стали думать, что враг встретит в нашем лице достойного противника.

На рассвете двадцать третьего дня дозорные, выставленные на городских стенах, заметили в том месте, где соприкасаются небо и земля, тонкую черную линию, тянувшуюся влево и вправо насколько хватал глаз.

Все, кто был в городе, поднялись на стены, чтобы увидеть надвигавшуюся на нас силу.

Шепча про себя молитвы, мы оставались там до полудня, когда неприятельские всадники появились у котловины, хорошо различимой с городских укреплений.

Зрелище было устрашающее: проходили часы, а котловина все продолжала заполняться войском, которому не было конца.

Подобно муравьиному полчищу, они покрывали весь горизонт, и до конца дня прибывали и прибывали все новые пехотинцы и всадники, а с ними ослы, верблюды и мулы, нагруженные кожами для шатров и палаток, съестными припасами для солдат, оружием, запасным снаряжением, кухонной утварью.

Они заняли все дороги, ведущие к горе, на которой стоит Ветилуя, окружили часовыми все источники и колодцы и начали ставить лагерь. Этот лагерь был больше любого города, построенного людьми на этой земле.

Все наши надежды были посрамлены, нашей гордости и уверенности в себе как не бывало.

Каким ничтожным показалось нам наше жалкое войско, состоящее из необученных юнцов и никуда не годных старцев!

Стены нашего города словно истончились, а все наши попытки поднять свой дух военными приготовлениями рухнули в одночасье.

Думаю, в ту ночь в Ветилуе никто не уснул. Озия и Иоаким отменили свои ежедневные обращения к народу перед Храмом.

Они прекратили их, потому что все мы понимали: слова излишни, когда перед нами выстроилась непобедимая сила — ассирийская армия, пополненная всеми многочисленными армиями, которые Олоферн одолел в предыдущих войнах.

Искушенные в военном деле люди говорили, что следует ожидать нападения дня через два-три, когда враги укрепят свой лагерь, а их полководец примет решение, каким образом лучше приступить к штурму.

Наши дозорные наблюдали за осаждавшим город войском с тем же напряжением, с каким раненая серна ожидает последнего прыжка льва: они стремились уловить момент, который мог означать начало штурма.

Но подстерегавшая нас огромная кошка не спешила схватить мышонка, копошившегося в двух шагах от ее лапы.

Проведя десять бесконечно долгих дней в постоянном трепете, мы наконец поняли, что Олоферн наслал на нас нечто худшее, чем авангард своей армии, — голод и жажду.

К несчастью, солнце именно в эти дни палило как никогда раньше.

За все это время не упало ни капли дождя, и от подготовленных нами резервуаров не было никакого проку, а запасы воды уменьшались с невероятной скоростью.

Утром одиннадцатого дня дозорные увидели неподалеку от городских стен Ахиора, того самого гонца от Олоферна, что принес нам дурные вести в день нашего праздника. Ассирийцы связали его и оставили стоять у ворот города.

Градоначальник Озия сначала подумал, что нас хотят выманить из города, но потом понял, что это не так, и велел нашим солдатам привести связанного.

Сыны Израиля приблизились к Ахиору, развязали его, привели в Ветилую, и он предстал перед нашими старейшинами.

— Поведай нам, за что твой повелитель так унизил тебя, почему решил тебя, связанного, выдать врагам? — спросил Озия. Ахиор простерся перед ним, поцеловал землю и ответил так:

— О вождь и повелитель, ибо с этой минуты ты — мой господин! Прежний мой господин Олоферн предал меня проклятию. Я утратил его доверие после того, как сказал ему, что вы не желаете сдаваться, ибо ваш Бог вас защищает, и что не пристало нам сражаться с теми, у кого есть защита в ином мире, там, где что-либо изменить выше человеческих сил. И еще я посоветовал предложить вашему народу сдаться, не заставляя вас отрекаться от вашего Бога. Олоферн пришел в бешенство и заявил: "Я не боюсь ничьих богов, а тем более бога столь малочисленного и неприметельного народа. Ибо нет на свете бога, кроме Навуходоносора. Ты же, Ахиор, усомнившийся в справедливости моего решения, не увидишь лица моего с этого дня и до тех пор, пока я не проучу дерзкое племя, отказавшееся покориться моей силе. В тот же день, когда я их завоюю, тело твое пронзят мечи моих солдат и пики моих слуг и ты разделишь участь народа, чью веру решился отстаивать передо мной".

— Неужели ты думаешь, что мы так легковерны и не понимаем, что ты — лазутчик? Мы не забыли, как ты приезжал к нам с угрозами! — в гневе вскричал Озия.

— Сжальтесь, — возопил Ахиор, — ведь я впал в немилость у своего господина, желая помочь вам!

— Не верим мы тебе, подосланному врагами, ты — слуга Олоферна и достоин только смерти!..

Но при этих словах Озии поднял руку Иоаким, и все взоры устремились на него.

— Мы не станем тебя убивать, но тебе придется открыть нам все, что ты знаешь о своем повелителе и о его войске. Пока ты нам нужен — будешь жить. Постарайся-ка служить нам своими советами лучше, чем ты служил своему недавнему повелителю.

И городские старейшины удалились во дворец, ведя за собой злополучного пленника с намерением допросить его и понять, какая от него может быть польза.

Глава одиннадцатая

На тридцать четвертый день ассирийской осады горожане Ветилуи пали духом.

Истощились запасы воды.

Дети изнемогали, женщины и подростки теряли сознание от жажды. Обессиленные люди лежали в домах или просто падали на площадях.

В душах когда-то почтенных и богобоязненных наших граждан угнездился порок: слуги перестали повиноваться господам, дети не покорялись родительской воле, а на улицах в ночные часы случался и блуд.

Двое купцов, Эбед и Ифтах, открыто порицали священников, которые своим упрямством вызвали гнев Олоферна.

Они ходили по городу в сопровождении вооруженных слуг, а Озия не решался их арестовать.

Дух бунта витал в воздухе, все опасались друг друга, и наша готовность сопротивляться Олоферну стала постепенно сменяться малодушием.

И вот, на тридцать четвертый день ассирийской осады, в мои покои вошла служанка Шуа. Она приблизилась ко мне и осторожно, чтобы ее слов не услышали другие слуги, произнесла:

— Госпожа моя, я была на главной площади. Ко мне подошел начальник городской стражи и послал за тобой. Тебе велено как можно незаметнее, закрыв лицо платком и взяв меня с собой, прийти в городскую ложу. С тобой желают говорить градоначальник Озия и первосвященник Иоаким.

Услышав эти слова, я подумала, что у моей служанки от жажды помутился рассудок.

Мне показалось в высшей степени неправдоподобным, чтобы в столь тяжелые времена наши старейшины собирались терять время на беседу с женщиной.

Но когда Шуа совершенно ясно передала мне приглашение в третий раз, я убедилась, что она в здравом рассудке, и, прикрывая лицо платком, отправилась на встречу, которую так неожиданно назначили мне городские сановники.

Трепет и любопытство настолько подгоняли меня, что служанка едва за мной поспевала.

И как ни пугала меня эта встреча, мне больше всего не терпелось узнать, что же такое хотят они услышать от вдовицы иудейской, почему они готовы тратить со мной свое драгоценное время.

Шуа молча следовала за мной. Казалось, что она не меньше меня была удивлена происходящим.

Иоаким и Озия встретили меня в обширной зале.

Оба они сильно изменились с тех пор, как всех нас постигла общая беда.

Я поняла, что люди, которые принимают решения относительно судеб других, всегда выглядят жестокими, а взгляд их неизбежно принимает холодное выражение.

В то же время они были какими-то еще более растерянными и жалкими, чем прочие горожане.

Иоаким заговорил, не желая терять ни минуты:

— Ты и в самом деле так хороша, как мне рассказывали. Ты красивее всех женщин, которых я когда-либо видел в своей жизни. Мне все о тебе известно. Ты вдова, и все говорят, женщина порядочная, умная и решительная. Я знаю, как ты два года соблюдала траур по своему покойному мужу. И потому полагаю, что только тебе, женщине избранной и возвышенной, по силам избавить от гибели наш народ.

При этих словах меня бросило в дрожь.

Мелькнула мысль, что и у него от жажды помутился разум, если он верит, что одна-единственная женщина может своими слабыми силами принести спасение всему народу.

Градоначальник Озия глубоко вздохнул и сказал ему:

— Скажи ей все. Изложи свой замысел, хотя мне и кажется, что он обречен на неудачу.

— А у тебя есть лучший? — спросил его Иоаким.

— Нет.

— Тогда попытайся и ты поверить в то, в чем я убежден. Даже чудо становится возможным, если опирается на веру.

И, повернувшись ко мне, первосвященник Иоаким продолжил, не спуская с меня ледяного взгляда:

— В городе вот-вот разразится бунт. Жителям Ветилуи нужна надежда, надежда и спасение. Допросив Ахиора, мы многое узнали об Олоферне. Он не только хитрый и коварный полководец. Он ценит прекрасное, любит искусство, подчиненные его боятся и почитают, потому что он не проиграл ни одной битвы. Он оказался предусмотрительнее и мудрее всех своих врагов.

Военным делом он занимается с юности, и нет мужчины, который мог бы его перехитрить. Но вот женщина... Прекрасная женщина, такая, как ты... Мужчина, который провел жизнь в седле, увидев в военном лагере женское лицо необыкновенной красоты, такое, как твое, может забыть обо всем — об осторожности, о том, что кругом враги... Он может влюбиться, предаться... наслаждениям... он может просто подставить свою голову под удар меча. Возможно, тебе удастся путем обмана обезглавить это огромное ассирийское войско и добыть свободу для своего народа.

Я замерла от ужаса. Не кто иной, как сам первосвященник Иоаким, уговаривал меня осквернить свое тело, предаться греху с худшим врагом моего народа.

— Но я не в силах совершить такой грех, — с трудом вымолвила я.

Первосвященник нахмурился.

Очевидно, ему не понравилось, что я противлюсь грехопадению. А ведь его ремесло и заключалось в том, чтобы отвращать людей от греха.

— Ты думаешь только о себе. Но речь идет о спасении всего нашего народа. Тысячи женщин, тысячи детей могут погибнуть. Подумай, что есть больший грех: допустить истребление всего иудейского народа или разрешить вдове, не девице, но вдове, сблизиться с мужчиной, околдовать его своей красотой и убить.

— Но где я возьму столько сил, столько отваги?

— Молись Богу, и он даст тебе и силы, и доблесть. Здесь, в городе, ты все равно погибнешь. А если пойдешь в лагерь к Олоферну, быть может,

спасешь и себя, и нас. В любом случае ты вернешь горожанам надежду. Сейчас они живут без надежды, в унынии, а это богопротивно. Отвечай же мне, что ты предпочитаешь — спасти свой народ или похоронить его. Я не могу тебя принудить ни к первому, ни ко второму.

Наступило тяжкое молчание.

Иоаким и Озия смотрели на меня так, словно от меня зависели их собственные жизни.

И я подумала: в какое же отчаяние погружены эти два высших сановника, если им пришлось обратиться за спасением к слабой женщине.

Поистине, они были достойны сожаления.

Я попыталась встретиться взглядом со своей служанкой, но она опустила глаза.

Решение было предоставлено мне.

Удары сердца отдавались у меня в ушах. Я поняла, что каждое мое слово будет невероятно весомым, а также и то, что не стоит давать скоропалительного ответа. Поэтому я сказала:

— Сказать "да" или сказать "нет", не побеседовав с Богом, было бы неразумно. Лишь после молитвы я приму решение, которое смогу осуществить с верой в его справедливость. Разрешите мне провести в молитвах этот день и предстоящую ночь. Завтра в полдень я сообщу вам свой ответ.

Иоаким долго молчал.

Казалось, он был разочарован тем, что я не ответила ни "да", ни "нет", но оставила его томиться неизвестностью.

Наконец, первосвященник кивнул головой в знак согласия, не преминув, однако, заметить:

— Надеюсь, что Олоферн окажется таким же терпеливым, как и я.

Глава двенадцатая

В течение следующего дня я мысленно прожила всю свою жизнь и припомнила предзнаменования, указывавшие на то, что я избрана для высшей цели.

Да, я была необычным ребенком, не знавшим общества своих сверстников. В девичестве моя красота и ум вызывали всеобщее восхищение. Потом я испытала горькую участь молодой вдовы.

Едва я стала себя осознавать, как почувствовала, что Иегова готовит меня к великому дню, который даст мне возможность с блеском проявить все мои достоинства, но никогда, даже в страшном сне, не приходило мне в голову, что для этого придется стать блудницей.

Ведь мне была неприятна сама мысль о прикосновении мужчины, и священные супружеские обязанности я терпела как неизбежное наказание. Ни разу не согрешила я ни в делах, ни в помыслах своих.

Более того, к вящему моему ужасу, меня толкал на путь греха первосвященник Иоаким, хранитель и истолкователь Закона, призванный быть защитником веры и справедливости.

Я пыталась найти своими силами выход из западни, в которую меня загнали, обдумывая все обстоятельства судьбы моего города, моей жизни и вражеской осады, определявшей теперь наше призрачное существование.

Но как я ни старалась, я так и не придумала лучшего выхода, чем принять предложение Иоакима.

Слабая надежда на спасение сулила мне неизбежный позор, иная же неизбежность виделась как безусловная гибель всего нашего народа.

Броситься в пасть зверя, именуемого Олоферном, завлечь его своей красотой, усыпить любовными играми, в которых я не столь уж и искусна, а затем умертвить его мечом — все это, как мне казалось, было выше моих сил.

С другой стороны, прийти назавтра к Иоакиму и сказать: "Нет, я не могу, мне это отвратительно, мне страшно, я слабая женщина, и пусть лучше мы все здесь погибнем" — представлялось еще более позорным и недостойным.

Я предалась молитве, и когда вдохи и выдохи мои уравновесились, а тело обрело естественную гармонию, я обратилась к Господу Богу с такими словами:

— Господи Боже мой, приклонись ко мне, вдове, обрати на меня взор Свой и выслушай мои стенания. Ты создал все, что было раньше и что будет потом. В Твоих руках и настоящее, и будущее, и все происходит так, как задумано Тобою. Все, что Ты захотел создать, явилось пред Тобою, говоря: "Я здесь, Господи!" Ибо Ты предвидишь все, что должно произойти, и готовишь все пути наши. И вот, ассирийцы гордятся своим войском, и превозносят своих всадников и их лошадей, и пехоту, и верят в свои щиты, копья, луки и пращи свои, и не желают в Тебе признавать Бога, зная, что нашему Богу войны ненавистны. Ибо имя Твое — Господь. Сокруши их силу Своей мощью, пригни их к земле гневом Своим. Ибо они задумали обесчестить алтарь Твой, осквернить Храм, где славится имя Твое, и сокрушить железом углы жертвенника Твоего. Если Тебе угодно сделать меня орудием Твоего промысла, существом, призванным изменить ход событий и придать им неожиданный поворот, ниспошли мне смелость и твердость духа, дай мне силы преодолеть отвращение и в смирении своем перехитрить беспощадного врага. Сделай так, чтобы через мои поступки, сколь бесстрашные, столь и расчетливые, Твой народ и другие племена убедились, что Ты — Бог, Господь, что превыше всякой силы и всякой мощи, и что нет иного защитника роду Израилеву, кроме Тебя.

По окончании молитвы на меня снизошел покой. К удивлению моей прислужницы, я направилась в опочивальню и уснула, едва прикоснувшись щекой к подушке.

Проснулась я лишь тогда, когда уже и заря взошла, и пропели последние петухи.

Я провела на удивление спокойную ночь. Начинался день, когда мне предстояло выбирать между жестоким испытанием моих сил и горечью признания в своей трусости.

Пока я одевалась, с улицы донеслись крики, созывавшие народ:

— На площадь! На площадь! Все на площадь! — гремело по всему городу.

В комнату вбежала перепуганная Шуа:

— Бунт! Начался бунт! Торговцы Эбед и Ифтах приказали своим слугам собрать людей на площади перед Храмом. Они хотят захватить власть в городе.

— А что смотрит городская стража?

— Они идут на площадь вместе с толпой. Никто больше не верит, что наши вожди в состоянии избавить нас от смерти.

И обе мы направились к площади, причем у меня мелькнула мысль, что, быть может, мои сомнения и размышления были совершенно излишни. Ведь если народ установит новую власть, то мудрые люди укажут нам выход из капкана, в котором нас держали ассирийцы.

На площадь пришли все, кто был в силах передвигаться.

Толпа уже поднималась по ступенькам к подножию Храма. Торговец Эбед выступил вперед и закричал:

— Священники и городская власть! Покажитесь своему народу! Прислушайтесь к голосу тех, о ком вам поручил заботиться Господь!

Вскоре из Храма вышли священники, а с ними Иоаким, Рубен, Озия и Хабрис.

Рубен вскричал:

— Почему солдаты оставили укрепления, почему жены израильские не сидят дома с детьми, не предаются молитвам, разве место им здесь, среди неразумных мужчин?

— Затем, что дети медленно умирают, и мужчины тоже умирают, и всем нам скоро придет конец! — Толпа встретила эти слова Эбеда одобрительным гулом.

Тогда поднял руку Иоаким:

— Зачем ты подстрекаешь народ, о Эбед? Разве тебе не известно, что в тяжкие времена лучше всего слушаться вождей?

На что Эбед отвечал:

— Пусть нас рассудит Бог, ибо вы нанесли урон своему народу, не желая мирно договориться с ассирийцами. Теперь нам неоткуда ждать помощи: Бог отдал нас в лапы врагов и предоставил нам умирать от жажды и истощения. Мы требуем, чтобы вы сдали город людям Олоферна. Лучше стать их рабами, но сохранить жизнь, чем видеть, как наши дети умирают у нас на глазах.

Толпа сопровождала одобрительными возгласами и эти слова Эбеда. На мгновение показалось, что народ вот-вот поднимется к Храму и набросится на перепуганных священнослужителей.

Снова поднял руку Озия:

— Братья, вы должны проявить мужество!

— Доколе мы должны его проявлять?! — перебил его Эбед.

Выдержав паузу, Озия ответил:

— Надо потерпеть еще пять дней. За это время Господь несомненно явит нам свою милость и уж наверное не оставит нас навсегда. Если же за эти пять дней не будет нам ниоткуда помощи, клянусь Богом, я выполню то, чего вы требуете.

После его слов в народе начался гомон, прерываемый выкриками. Одни соглашались с градоначальником, другие им возражали. Мне почудилось, что достаточно одной искры, чтобы люди бросились друг на друга.

И тут точно какая-то невидимая рука толкнула меня вперед. Я взбежала по ступеням, и, оказавшись на площадке между священниками и толпой, подняла руку, и вскричала голосом столь громким, что и сама удивилась:

— Люди Израиля, послушайте меня!

Беспорядочные вопли смолкли. Воцарилась тишина, и всеобщее внимание обратилось на меня.

Потрясенные тем, что женщина просит слова, все ждали, что же я скажу.

Я заметила среди тех, кто стоял на площади, своего отца. Он взирал на меня изумленно, словно не веря в происходящее.

— Братья и сестры и вы, правители Ветилуи, все вы знаете, кто я такая, и знаете, что я ни разу в жизни ничем себя не запятнала. Я обращаюсь к вам, потому что Бог внушил мне эти правдивые слова. Неправильно вы рассудили, что стоит сдаться врагам. Они не сделают вас рабами, но умертвят вас. Они слишком долго ждали и отомстят вам, предав вас всех мечу. — Затем я обратилась к правителям: — Не правы и вы, пообещав народу, что через пять дней вы сдадите город, ибо это прозвучало подобно какому-то уговору между Богом и вами. Вы говорите, что отдадите город врагам, если Господь не поможет вам в течение определенного срока. Кто вы такие, чтобы ставить себя выше Бога и назначать ему сроки! Вам не дано ни проникнуть в его намерения, ни уразуметь их. Бог — не человек, и вы не смеете ни угрожать ему, ни торопить его. Братья и сестры! Я не согласна ни с тем, чтобы мы трусливо отдали себя в руки врагов, ни с тем, чтобы ставить сроки Господу нашему. Дайте пять дней сроку, но не Богу, дайте их мне, и я принесу вам избавление от мук.

Ответом мне был оглушительный гомон.

Ведь я сказала нечто, чего никто не ожидал услышать от молодой женщины.

Иоаким поднял руку, и толпа умолкла.

— В нашем городе тебя уважают как женщину богобоязненную и возвышенную. Еще в детстве твоем замечали, что ты не похожа на других. Быть может, Иегова избрал тебя для того, чтобы в эти тяжкие дни передать нам Его послание.

Ответом ему был мой заговорщический взгляд, исполненный благодарности.

— Слушайте меня, люди Израиля! Я совершу поступок, память о котором будет в нашем народе передаваться из поколения в поколение. Я отправлюсь в лагерь Олоферна, и не пройдет и пяти дней, как я, с помощью Господа нашего, принесу спасение своему народу. Не просите меня сказать, что я собираюсь сделать. Я ничего не открою, пока не выполню задуманное.

— И ты не побоишься пойти в лагерь Олоферна?! — спросил меня оторопевший Эбед.

— Не побоюсь. Ибо я верю в Бога и в разум, которым Он меня одарил. Не удивляйтесь, если заметите, что я, находясь в лагере Олоферна, подойду к передней линии его войска, прямо напротив ворот нашего города, что буду вести себя вызывающим образом, точно испытываю ваше терпение. Это — одна из хитростей, которые мне помогут осуществить мое намерение.

Сегодня, припоминая сказанное мной и пытаясь вообразить себя — тогдашнюю девятнадцатилетнюю вдову, я не верю, что так было на самом деле. И слова мои, и мое поведение — все это словно перерастало пределы моего существа.

Жители Ветилуи, пристыженные и потрясенные моей решимостью, почувствовали в моих словах отблеск своих надежд и удостоили меня доверия.

Их восхищенные взгляды, исполненные веры в мои силы, еще больше укрепляли мой дух.

За минуту до моей речи горожане были готовы разорвать друг друга в клочья, но, выслушав меня, они молча разошлись по домам с моим именем на устах, унося в сердцах своих вновь пробудившуюся надежду на чудо.

Глава тринадцатая

Вернувшись домой, я сняла вдовий убор.

Приняла ароматическую ванну, умастила свое тело благовониями, причесалась, украсила волосы великолепной диадемой и облеклась в парадное платье, которое последний раз надевала еще при жизни моего мужа Манассии.

Обулась в сандалии, надела браслеты, кольца, ожерелья, вдела в уши драгоценные серьги.

Затем я обратилась к своей служанке:

— Тебе известно мое намерение пробраться в логово льва. Ты знаешь, чего ради я туда иду. Мне бы хотелось, чтобы ты была со мной, ибо знатную госпожу должна сопровождать служанка. Но если ты не захочешь идти со мной и предпочтешь остаться в нашем городе, я отнесусь к этому с пониманием. Я тебя не упрекну. Решай сама!

Шуа посмотрела мне прямо в глаза. Наши взгляды встретились впервые после долгого перерыва.

Видно было, что она делает выбор между жизнью и смертью и что выбор ее заранее предопределен ее отношением ко мне, ее сердечной склонностью.

— Я иду с тобой, госпожа моя.

В приливе благодарности я крепко обняла ее, словно прощаясь навсегда. Затем я отдала ей распоряжение, которое она беспрекословно выполнила:

— Наполни мех самым лучшим вином и прихвати корзину сушеных фруктов. Негоже идти в гости без подношений, даже если идешь к худшему врагу.

Встретив меня у городских ворот, Озия на мгновение утратил дар речи, а потом произнес:

— Никогда еще под солнцем не было женщины подобной красоты!

А Иоаким и Рубен прочли заранее продуманную молитву:

— Пусть Бог отцов наших дарует тебе Свою милость и поможет успешно выполнить твой замысел во славу сынов Израиля и во имя возвышения Иерусалима!

Моя мать Леа пришла проститься с дочерью. Она поцеловала меня в лоб, как целуют дитя, отправляемое в дальнюю дорогу.

Брат мой Вениамин не смог выговорить ни слова. Лишь скупая слеза скатилась по его щеке.

Все собравшиеся молчали, будто провожая меня на верную смерть.

Тяжелые городские ворота закрылись за нами, и горло мое сжала судорога страха. Каждый шаг приближал нас к вражеским солдатам, которые могли нас просто поднять на копья и лишить жизни. Вся моя готов-

Миро Гавран. Юдифь

ность к самопожертвованию не смогла бы нас спасти ни от смерти, ни от позора.

Шуа не отставала от меня ни на шаг, не сомневаясь в моей решимости и черпая уверенность в моей твердой походке, не догадываясь о том, что охотнее всего я бы повернулась и бросилась бежать под прикрытие прочных стен родного города.

Когда нас заметили передовые посты ассирийцев, их воины схватились за копья и, воззрившись на нас, как на привидения, испуганные не меньше, чем мы сами, задали нам вопрос:

— Кто вы такие и куда направляетесь?

— Я — дочь иудейского народа, изгнанная из моего города. Иду к славному Олоферну, предводителю войска ассирийцев.

Они послушно, словно копья были не у них в руках, а у нас, повели меня к самому большому шатру.

Проходя сквозь ряды ассирийцев, я ощущала на себе тысячи изумленных глаз, которые с восторгом ловили каждое мое движение.

Как огрубели лица этих людей, чьим ремеслом вот уже долгие годы были убийства и грабежи!

В их взорах отражались бесчисленные ужасы войны, падения когда-то гордых царств, гибель героев и жалкая смерть трусов, сопровождавшаяся беспомощностью и позором побежденных.

Весь лагерь пришел в движение. Я заметила, что многие бегут впереди нас, так что весть о моем приходе опередила мое появление.

В ту минуту, когда я оказалась в двадцати шагах от шатра ассирийского полководца, у входа показался сам Олоферн.

Как и подобает хозяину, он вышел мне навстречу в сопровождении наиболее приближенных военачальников.

Я остановилась в двух шагах от них.

Он был высокий, поджарый, с живыми выразительными глазами.

Взгляды наши встретились.

Я не отвела глаз.

— Говори, кто ты и что тебя привело ко мне!

Он произнес эти слова, не повышая голоса, и все же это прозвучало как приказ. Сам тембр его голоса был таков, что ответом ему могла быть только полная, сама собой разумеющаяся покорность.

— Я — дочь иудейского народа, имя мое Юдифь. Я была знатной госпожой. Вот уже три года, как я вдова. Но теперь я — всего лишь изгнанница. Мои обезумевшие соплеменники прогнали меня из города за то, что я с первого дня осады не уставала повторять, что самым разумным было бы сдаться, не пытаясь противостоять мощному войску под твоим началом.

— Ты рассуждаешь здраво. Если бы они сдались в первую неделю осады, я бы их, возможно, и пощадил. Однако, затянув сопротивление, они решили свою судьбу. Что же это за народ, который не слушает советов здравого разума из уст такой женщины, как ты?

— Народ глуп, а его правители высокомерны и лишены предусмотрительности. Вот они и прогнали меня, как последнюю рабыню, разрешив мне взять с собой только то, что сможет унести моя прислужница. Я взяла мех вина и корзину сушеных фруктов, которые преподношу тебе в знак уважения. Позволь мне подождать в твоем лагере гибели города, жители которого прокляли и изгнали меня.

Слушая мои речи, Олоферн смотрел на меня, как на призрак, неожиданно возникший в этой долине, где не было ничего и никого, кроме его потной солдатни.

Он словно не верил своим глазам и в то же время пытался оценить, насколько правдивы мои слова.

Я же боялась, что сердце выскочит у меня из груди и обнаружит мой обман.

Но вот он заговорил, и слова его постепенно развеивали мои страхи:

— С этого дня ты — моя гостья. В моем лагере ты встретишь день, когда неразумно отвергший тебя народ будет побежден или сдастся нам. Знай, что в этот день тебе будет возвращено все твое имущество, ибо из всех несправедливостей этого мира мне наиболее мерзка несправедливость, нанесенная отважной и умной женщине. Ты и твоя компаньонка, вы обе можете свободно передвигаться внутри нашего лагеря. Если же кто посмеет оскорбить тебя словом или взглядом, то этому глупцу и наглецу я снесу голову своим мечом.

Последнюю фразу он произнес особенно громко, так, что ее было слышно шагов на четыреста вокруг. Это звучало весьма впечатляюще, и я была уверена, что почтительное отношение солдат нам теперь обеспечено.

Я поняла, что наступило время высказать еще одну просьбу:

— Славный полководец, разреши мне еще одну маленькую вольность в знак мести тем, кто незаслуженно подверг меня изгнанию.

— Говори!

— Позволь мне, пока я здесь, а город еще не сдался, ежедневно на заре выходить за пределы твоего лагеря и прогуливаться перед линией охраны, испытывая терпение граждан Ветилуи.

Он ответил не сразу.

Молчание продолжалось целую вечность.

Я замерла.

Он меня раскусил.

Я это поняла по его глазам.

Но взрыва бешенства не последовало. По его лицу скользнула усмешка, какой взрослые отвечают на просьбы детей потакать их безобидным шалостям.

— Пусть и это будет тебе разрешено. Только смотри не подходи слишком близко к городу, чтобы тебя не достали их стрелы. Я не прощу себе, если по неосторожности твоя красота и твоя жизнь подвергнутся опасности.

Мне и моей служанке выделили особый шатер рядом с шатром Олоферна.

Итак, все шло согласно плану, который я продумала, вдохновленная милостью Божией.

Шуа дрожала, как осенний листок на ветке, не решаясь ни на минуту отойти от меня.

Я видела, что ей стоит нечеловеческих усилий преодолеть панический ужас, не расплакаться и не убежать прочь.

Вечером полководец пригласил нас обеих на пир, где должны были присутствовать и его военачальники.

Глава четырнадцатая

На ужин в шатре Олоферна собрались двенадцать высших военачальников.

Меня угощали яствами, каких я в жизни не пробовала, и разнообразными винами. Под конец же трапезы мы лакомились сладостями из меда и сушеного инжира.

Я узнала, как организовано огромное войско ассирийцев в сто двадцать тысяч человек, сколько в нем конных и пеших воинов и сколько человек их обслуживают; узнала, как тщательно регламентирована армейская жизнь и какие меры предпринимаются для сохранения боевого духа.

Олоферн рассказывал о городе Ниневии — столице Ассирии, о странах, которые он прошел за десять лет своих походов, о царстве Ассирийском, неустанно возраставшем и стремившемся охватить все известные людям земли.

Столь же подробно расспрашивал он меня об обычаях нашего народа, вообще об Иудее. Можно было подумать, что цель всех его кровавых походов заключается в том, чтобы как можно больше узнать о том, как живут разные племена, прикоснуться к чему-то доселе неизвестному.

Я чувствовала, что Олоферн вдохновлен присутствием женщины за своим столом и ему доставляет удовольствие роль гостеприимного хозяина.

Всеми силами он старался мне угодить, о каждом поданном блюде спрашивал, нравится ли оно мне, рассказывал, из чего и как оно готовится и из какой части света происходит.

Каждой частицей своего тела я ощущала на себе жадные взгляды молчаливых сотрапезников Олоферна. Чувствовалось, что они давно не видели женщин и теперь, пожирая меня глазами, словно пытаются наверстать те дни, когда не знали женского общества.

У меня мелькнула мысль, что именно Олоферн, такой грозный и неприступный, — моя единственная защита от их похоти. Как ни смешно, именно благодаря его присутствию я чувствовала себя в безопасности.

Несмотря на любезное обращение Олоферна, в течение всего ужина я испытывала внутренний трепет. Ведя непринужденную беседу, я не переставала думать о той минуте, когда завершится наша пирушка, и Олоферн прикажет мне проследовать в его опочивальню, где, истосковавшись по женскому телу, начнет грубо утолять свою страсть.

В моем воображении снова и снова вставала первая ночь с моим мужем Манассией, вспоминались унижение и боль, сопровождавшие нашу близость.

Я вновь подумала о своей вдовьей доле как о счастливой поре, которая вновь будет прервана мучительными ощущениями, мне глубоко отвратительными.

Олоферн словно угадал мои страхи. Отпустив военачальников, он заговорил со мной, глядя мне прямо в глаза:

— Ты украсила своим присутствием мой ужин и напомнила о тех днях, когда я еще не был солдатом. Я чувствую, что сегодняшний день принес тебе не только радости, но и горький опыт. Ведь собратья твои прогнали тебя, и, несмотря на то что я принял тебя со всем доступным мне радушием и ты поняла, как я счастлив тебя созерцать и наслаждать-

ся твоими разумными речами, ты, без сомнения, мечтаешь об освежающем сне, который опустит покров над прошедшими событиями.

— О да, я утомлена, — подтвердила я.

— В таком случае я желаю тебе спокойных снов и счастливого пробуждения. Ступай в свой шатер в сопровождении своей прислужницы. Помни, что сегодняшний день я считаю счастливейшим днем своей жизни, ибо сегодня я узрел твой лик.

Я совершенно растерялась.

Я не верила своим ушам.

Неловко, путаясь в словах, я выразила ему благодарность за комплименты.

Он говорил со мной так, как ни один из сынов Израиля не стал бы разговаривать со вдовой и вообще с женщиной.

Этот необыкновенный человек высказал мне свою сердечную склонность.

Я и Шуа поспешили к своему шатру, опасаясь, как бы он не переменил свое решение.

Так неожиданно завершился для меня этот день.

Я разделась и легла в постель. Удары сердца отдавались во всем моем теле.

Только теперь мое сердце могло биться ровно, освободившись от напряжения, с которым я все это время от зари и до ночи принуждала его казаться спокойным и равнодушным.

Собрав все свои силы, я кинулась в когти льва. Но лев неожиданно оказал мне милость и позволил провести первую ночь без греха.

Нелегко нам со служанкой было заснуть в этом лагере, окруженными ста двадцатью тысячами врагов, которые пришли к нашему народу с мечом, неся ему неминуемую гибель.

На заре меня и Шуа разбудил гомон десятков тысяч солдат, которые приветствовали новый день.

Мы умылись водой из специально для нас приготовленных сосудов, тщательно оделись и направились через лагерь к передовым постам, выставленным напротив стен Ветилуи.

Мое продвижение по ассирийскому лагерю сопровождалось словно бы волной холода, который замораживал губы солдат: при виде меня они замолкали, опасаясь задеть меня нечаянным словом и вызвать гнев Олоферна.

Мы добрались до края лагеря и прошли немного вперед. На полпути между последними постами ассирийцев и Ветилуей, к общему изумлению, мы разыграли безумную пантомиму, которая должна была выражать наше презрение к смотревшим на нас со стен города, после чего вернулись под прикрытие вражеской армии.

Солдаты Олоферна поглядывали на нас, не веря своим глазам и, очевидно, думая, что я не в своем уме.

Днем Олоферн пригласил меня на обед со своими приближенными. В отличие от ночного пира все было по-военному умеренно и продолжалось не так долго.

В течение всего дня он был сама любезность, а по завершении трапезы предложил вместе с ним обойти лагерь.

Шуа удалилась в наш шатер, а я стала вместе со знаменитым полководцем обходить один за другим ряды палаток, слушая его объяснения и вникая в то, сколь велик и продуман до мелочей механизм, превращающий войско в мощную победоносную армию.

Из рассуждений Олоферна становилось ясно, что армия — нечто гораздо большее, чем простое сборище вооруженных людей.

Я узнала, с какими словами он обращается к ним перед каждой битвой, о том, как он задолго до начала похода внушает своим воинам мысль о победе, как стремится соблюдать дух товарищества и справедливости, чтобы и простые солдаты, и начальники выполняли свои обязанности не по принуждению.

Говорил он также и о том, что главной причиной поражений даже самых способных полководцев являются недостаток терпения и стремление к славе.

— Но разве ты тоже не стремишься к славе, ты, славнейший из полководцев, известных в наше время?

— Нет. Я побеждаю лишь потому, что не боюсь поражений. И слава мне сопутствует потому, что я занялся военным ремеслом не ради славы.

— Я не совсем тебя понимаю.

И я попросила пояснить, что он хочет сказать.

— Полководец, который не находит удовольствия в самом военном деле, в искусстве подготовки и обучения воинов, в подготовке армии к походу, в умении сломить неприятеля, сохранив жизни своих солдат, а думает прежде всего о том, чтобы выделиться и увенчать себя славой, обычно тщеславен и нетерпелив. Такому не хватает ума, чтобы стать подлинным победителем. Надо тебе сказать, что я перед каждой битвой держу совет со своими подчиненными, а к покорению неприятеля приступаю без ненависти к нему.

Мы с ним говорили о военном искусстве так, как хозяйки беседуют о приготовлении блюд.

Я поражалась точности его выражений и ясности мысли, которые сделали его великим воином.

Я поймала себя на том, что восхищаюсь им и с удовольствием прислушиваюсь к его разумным речам.

Завершив обход лагеря, Олоферн проводил меня к моему шатру и, прежде чем расстаться, произнес, глядя мне прямо в глаза:

— Я хотел бы поужинать с тобой, но не в присутствии моих военачальников. Я хочу, чтобы ты пришла ко мне, когда стемнеет, одна, без служанки.

От этих слов я похолодела.

И послушно ответила:

— Все будет, как ты хочешь, господин.

По его лицу пролетела тень недовольства.

— Я не желаю, чтобы ты называла меня господином и пришла в мой шатер, подчиняясь приказу. Всем сердцем я жажду, чтобы ты пришла ко мне по своей воле, как приходит женщина к мужчине, чья близость ей приятна. Если же я тебя чем-то отталкиваю как человек или как мужчина, оставайся в своем шатре. Я не рассержусь. Но знай: не придя ко мне, ты заставишь опечалиться мое сердце, которое радостно бьется с той минуты, как я тебя увидел.

И я обмерла от этих слов, которыми он столь откровенно выразил свою влюбленность.

Глава пятнадцатая

Не прийти к нему в шатер означало бы упустить возможность нанести ему смертельный удар, когда мы останемся вдвоем.

Пойти к нему в шатер означало согласиться на греховную связь с мужчиной, которого я должна умертвить после любовного свидания.

Выбора не было.

Выбора не было точно так же, как в тот час, когда Иоаким изложил мне свой план спасения народа Иудеи.

— Госпожа моя, как хотелось бы мне быть с тобою рядом, — сказала Шуа.

— Да и мне хотелось бы, — с печалью в голосе отвечала я.

— Надеюсь... что силы не оставят тебя.

— Помолимся вместе Господу нашему. Ведь мне предстоит совершить то, что превосходит возможности земной женщины.

В те мгновения, когда весь мир против нас и кажется, что выхода нет, каким прибежищем, подобным равномерному журчанию ручья, становятся для нас слова молитвы!

Как ласкает наш слух шелест тысячу раз уже произнесенных гармоничных фраз, мелодия которых связывает нас с Богом.

Мы укутались в слова, которыми славим тебя, о Иегова, укрепили себя опьяняющим и бодрящим бальзамом звуков и голосов, которые слышатся в глубинах молитв, и они вдохновили нас прозрачной ясностью посланий в Песне песней Твоих молитв, доступных даже детям.

Всей душой мы вознесли хвалу Тебе, о Господи, и, забыв о своих страданиях, всеми своими помыслами устремились к Тебе.

Войдя в великолепный шатер Олоферна, я сразу заметила, что за трапезой прислуживают только два молчаливых раба.

Счастливая улыбка хозяина была лучшим свидетельством его радости.

На ужин были поданы изысканные блюда, но ни я, ни он не уделили им особого внимания, каждый по своим соображениям.

О чем только он мне не рассказывал.

О своей жизни.

О раннем детстве, проведенном в бедности.

У него было трое младших братьев и четыре сестры, также моложе его.

Мать каждую весну страдала от какой-то странной болезни, лишавшей ее сил вплоть до ранней осени.

Отец был не в силах прокормить семью и приходил во все большее отчаяние.

Однажды в их городке появились люди, посланные ассирийским правителем. Они обещали щедрую награду каждой семье, которая отдаст здорового мальчика в отряды воинов, отбираемых для особой цели.

Войти в такой отряд значило двадцать лет жизни отдать воинскому ремеслу. А еще это означало обеспеченное существование и для солдата, и для его семьи.

Олоферну в то время было всего тринадцать лет.

Мальчик боялся даже самой мысли о том, чтобы хотя бы на день расстаться с братьями и сестрами, которых любил, с отцом и матерью, в чьем присутствии чувствовал себя под надежной защитой.

Но отец несколько раз как бы невзначай заговаривал о том, что те, кого примут в регулярное войско, будут обеспечены на всю жизнь, потому что они овладеют военным ремеслом, и потом их назначат начальниками, присвоят высшие военные чины.

Сестры, которые не могли полагаться ни на престарелого отца, ни на вечно больную мать, смотрели на него своими голодными глазенками, ожидая спасения.

Он совсем не хотел быть солдатом.

Он не хотел ни расставаться с семьей, ни покидать родные края.

Но еще страшнее было бы оставить своих близких прозябать в нищете, без малейшей надежды на избавление.

Собрав все свое мужество, мальчик отправился на главную площадь своего городка. С тех пор его судьба была в руках людей, чье призвание состояло в том, чтобы намеренно грубым обращением превратить хрупких юношей в беспощадных вояк.

Затем последовал рассказ о том дне, когда старый царь, отец Навуходоносора, заметил его и назначил командовать гарнизоном в небольшом городке на юге Ассирии. Там ему удалось подавить восстание взбунтовавшегося племени. Царь призвал Олоферна в Ниневию и сделал командующим столичного гарнизона.

Он описал мне прекрасный город Ниневию и украшавшие его здания, в которых изысканность сочеталась с великолепием.

Он высоко ценил вкус строителей Ниневии, сумевших соединить гармонию и возвышенность.

Подробно описывал он древний ассирийский обычай раз в два года собирать в Ниневии умнейших людей царства, чтобы они в течение месяца, беседуя между собой, оттачивали свои мысли в поисках ответа на вопрос, как добиться улучшения жизни в стране и как достичь материального воплощения высших проявлений духа.

Олоферн тосковал по Ниневии, которую не видел уже более десяти лет и которую считал самым красивым городом мира.

Печалился он и о том, что не создал своей семьи, полагая, что военное ремесло помешает ему посвятить себя жене и детям:

— Ведь иметь жену и детей, но не жить с ними — такая судьба никому не принесла бы счастья. Только теперь, перед последним походом, я могу разрешить себе подумать о жизни обычного человека...

Наконец я осмелилась задать давно мучивший меня вопрос:

— Почему великие народы так стремятся к покорению малых народов? Почему эта история бесконечно повторяется под небесами?

— Потому, что это единственный способ распространить плоды великой цивилизации на весь остальной мир.

— Неужели это достаточная причина?

— Но разве солдат может себе позволить размышлять о целесообразности своего ремесла? Решение о начале войны принимает царь. Мы же, полководцы, можем лишь повлиять на ее исход. Моя миссия проста: как можно меньшей кровью добиться поставленной цели, как можно больше завоевать и способствовать тому, чтобы высшая цивилизация воссияла в полном блеске.

— Но твой царь провозгласил себя богом. Разве это не безумие? Неужели так необходимо отнимать у народов, которые вы завоевываете, их религию?

После некоторого молчания он ответил:

— Это неумно, и в этом нет необходимости. Я отправил царю Навуходоносору три послания с просьбой отказаться от разрушения храмов и статуй, почитаемых другими народами. К сожалению, я получил ответы, полные такой ярости, что я опасаюсь, как бы по завершении этого похода...

Я попросила его высказать свою мысль до конца:

— Так чего же ты опасаешься?

— Я боюсь, что по завершении этого, последнего похода я перестану быть нужным своему царю... Вернее, я начну представлять для него опасность. Легенды обо мне становятся громче славы самого Навуходоносора. Солдаты любят меня. Они знают, что я их щажу и дорожу жизнью каждого воина. Между тем, царь не принимал участия ни в одной битве. Его называют трусом. Главный его порок — тщеславие. Ему нравится разыгрывать роль бога, а ведь это вызывает гнев настоящих богов. И последний день его жизни принесет ему неминуемый позор. Он умрет, и все узнают, что он — не бог, а всего лишь обычный смертный.

Я вдруг осознала, что Олоферн, как и я, загнан в западню, из которой нет выхода.

Он — мой враг, но он тоже вынужден исполнять чужую волю, играть роль, предназначенную ему другими людьми.

И вот теперь нам с ним предстояло сыграть эпилог, завершение пройденного пути, предначертанного судьбой.

Но тут Олоферн хлопнул в ладоши, и рабы покинули шатер.

Мы с ним остались вдвоем.

Я задрожала.

Он протянул руку к моей щеке.

Дотронулся до нее.

Его рука была такой теплой.

Приближалось мгновение, которое внушало мне привычный ужас.

Я ожидала, что он швырнет меня на пол, сорвет с меня одежду и утолит свою похоть.

Вместо этого он стал гладить меня по лицу, а потом легко коснулся губами моих губ и лба.

Не проявляя нетерпения и опасаясь спугнуть меня резкими движениями, великий полководец начал нежную любовную игру, которая удивила и смутила меня.

Раздевая меня, он одновременно и сам освобождался от одежд, так что мы испытывали чувство стыда одновременно.

Я прикрыла глаза, чтобы не смущать его.

В ответ он начал целовать мои веки, потом шею.

Наконец горячие поцелуи достигли моих грудей, и соски ответили на прикосновения его губ.

Искусный любовник, он разжигал во мне огонь страсти.

Наконец он стал покрывать поцелуями мой живот и бедра.

Ранее незнакомое мне сладострастие разлилось по всему моему телу.

Я, прежде равнодушная к прикосновениям мужского тела, ощутила желание.

Я стала отвечать на каждое его движение, на каждый вздох, на каждое пожатие руки.

Когда же наши тела слились воедино, я ощутила не боль, но подлинное наслаждение, в которое я погружалась все глубже и глубже, опьяняя себя страстью, как вином.

Мои вздохи догоняли его дыхание, наши стоны сливались воедино.

Мы словно дополняли друг друга, подобно двум половинкам одного существа, всю жизнь страдавшим от ощущения неполноты и наконец избавленным от пустоты в сердцах в час нашего соединения.

Движения наших сплетенных тел становились все быстрее. Не переводя дыхания, опьяненные друг другом, мы приближались к высшей точке наслаждения.

Издав общий сладострастный вопль, мы словно потеряли сознание.

Несколько мгновений я просто не помнила, где я и с кем.

Я была точно во сне, я обмерла.

Мы оба молчали, слившись в объятиях, пытаясь унять биение сердец.

Я пребывала в полной растерянности.

Мне было стыдно оттого, что испытала такой восторг в объятиях Олоферна.

Но в то же время я была счастлива, что избежала грубости, которой ожидала от мужских прикосновений.

Мысль о том, что, оказывается, женщина тоже может испытывать радость от любовной игры и что не все мужчины одинаковы, приводила меня в полное замешательство.

Я оказалась той женщиной, перед которой Олоферн не смог устоять. Тем легче мне будет осуществить свой замысел. Так оправдывалась я перед собой за совершенное грехопадение.

Как прекрасно было после всего происшедшего молча лежать рядом с мужчиной, чья нежность заставляла забыть о его наготе и позволяла не стыдиться своего тела.

В голове у меня мелькнула богохульная мысль, что до этой ночи я не была полноценной женщиной. Ведь только теперь я открыла, что и мужчина, и женщина могут возбуждать страсть друг в друге, доставляя друг другу невиданное удовольствие.

Тем временем Олоферн вновь стал прикасаться губами к моему телу, и я отвечала ему со всей нежностью, на которую только была способна.

Я встречала его с радостью существа, выбравшегося из мрачной пещеры на яркий солнечный свет и отдающегося разрушительным, но таким желанным лучам.

Я открыла в себе нечто такое, чего раньше за собой не знала.

И я предалась греху, подыскивая тысячу убедительнейших объяснений своей слабости.

В ту ночь страсти мы научились бесконечно воспламенять друг друга.

Лишь на рассвете, утомленные соприкосновениями наших тел, мы погрузились в одуряющий сон.

Бог мне свидетель, в те мгновения у меня просто не хватило бы сил поднять меч Олоферна, лежавший на полу возле нашей постели. Я была обессилена до предела.

Глава шестнадцатая

Перед рассветом я вернулась в свой шатер. Меня встретила Шуа. Вид у нее был измученный: наверно она провела бессонную ночь.

— Ты убила его?

— Нет.

— Почему?

— Не смогла.

— Ваши любовные вздохи были слышны даже мне. Я думала, что он, опьяненный страстью, утратит всякую осторожность, и ты легко осуществишь свою месть.

— Я не решилась. Он все время держал меч при себе. Он вообще глаз не сомкнул.

Шуа смерила меня подозрительным взглядом:

— А ведь слышны были не только его стоны, но и твои. Так ты страдала или наслаждалась, госпожа моя?

В ее голосе послышалась плохо скрытая ревность.

Только тогда мне самой стало ясно, что произошло в шатре Олоферна.

Я опустила глаза.

Не было сил ни солгать, ни сказать правду.

Мое молчание было столь красноречивым, что служанка укорила меня, как родители укоряют маленьких детей:

— Не забывай, для чего мы сюда пришли.

— Не забуду.

— Сегодня ночью ты должна его убить.

— Сегодня ночью он будет мертв.

И снова мы отправились на утреннюю прогулку к передовым постам лагеря.

Снова исполнили свой обряд презрения к оставшимся в Ветилуе.

Солдаты смотрели на нас, уже не удивляясь нашему поведению.

С их точки зрения, мы представляли интерес только как две женщины, оказавшиеся в этом мире мужчин.

Но для меня все происходившее теперь приобрело новую окраску и вкус.

Даже воздух стал другим после ночи, в которой мое тело сливалось с его телом.

Кровь в моих жилах струилась совсем по-иному.

Да, я была уже не та, что прежде.

Приобретенный опыт превратил меня в другую, новую женщину.

Я была совершенно сбита с толку.

Невозможно высказать, насколько я была возбуждена и вместе с тем непривычно спокойна.

Я вдохнула глоток свободы, находясь в плену.

Я стала лучше понимать себя самое.

Правда, я не была уверена, нравится ли мне то, что скрывалось в глубинах моего существа.

Но как бы то ни было, в то утро, взволнованная тем, что произошло между мною и Олоферном, я осознавала, что так было нужно, что только теперь моя жизнь обрела необходимую полноту.

В час обеда Олоферн прислал к нам своих слуг с блюдами, полными еды.

Мне сказали, что он отправился осматривать восточную часть своего лагеря и не будет обедать в своем шатре.

Во время обеда со служанкой, проходившего в полном молчании, я ужаснулась мысли о том, что гораздо охотнее поела бы с Олоферном в его шатре.

После всего, что случилось, мне так хотелось взглянуть ему в глаза и увидеть в них свое отражение при свете дня.

Шуа весь день была в тревоге. Она вздрагивала при каждом шорохе, доносившемся до нашего шатра.

Я спросила:

— Что с тобой?

— Скорее бы уйти из этого проклятого места.

— Мне тоже этого хочется.

Разумеется, я солгала.

Стыдно сознаться, с каким нетерпением ожидала я сумерек. Наконец пришел солдат из охраны Олоферна и пригласил меня в его шатер.

Все мое тело трепетало: я знала, что все, бывшее прошлой ночью, повторится с еще большим жаром.

Едва увидев меня, Олоферн сделал знак слугам удалиться. Он поспешил навстречу и заключил меня в объятия.

Я отвечала ему с неменьшим пылом.

Наши руки состязались то в нежности, то в суровости, и каждый жаждал дотронуться до каждого уголка любимого тела.

Губы становились все горячее, проходя путь нежности вслед за руками.

Мы снова сливались воедино.

Я чувствовала, как он хочет потеряться во мне, раствориться душой и телом.

Нам обоим хотелось устранить все преграды, разделяющие нас.

После того как мы утолили первую страсть, мой возлюбленный предложил закусить.

Нагие, в трепещущем свете двух масляных светильников, мы приблизились к блюдам с угощением, которое успели приготовить слуги прежде, чем Олоферн приказал им уйти.

Я никак не ожидала, что любовные игры могут вызвать такой голод.

— Целый день я думал только о тебе. Что бы я ни делал, ты была со мной во всех моих делах и помыслах.

— Я тоже все время думала о тебе, о прошлой ночи.

Я не солгала.

Он не отрывал глаз от моего тела.

Но я не чувствовала ни малейшего стыда.

Он ласкал меня взглядом, как руками.

Благодаря этому взгляду я полюбила свое тело.

Прости меня, Господи, за то, что я в ту ночь ела с нескрываемым аппетитом, я, вдова, постившаяся два года после смерти мужа.

Я бесстыдно наслаждалась близостью человека, который пришел, чтобы разрушить мой город и надругаться над верой моего народа.

Только сейчас я могу признаться самой себе, что в эту, третью ночь нашего знакомства и вторую — нашей любовной страсти у меня ни разу не возникло и тени желания схватить меч и лишить его жизни. Хотя я сознавала, каким презрительным взглядом встретит меня на рассвете служанка Шуа.

Страшно сознаться, но единственным моим желанием было, чтобы эта ночь продолжалась вечно.

В промежутках между соитиями наших тел он рассказывал мне о своих походах, о тяготах солдатского ремесла. Расспрашивал и о моей жизни, об обычаях народа, к которому я принадлежала.

С интересом и без всякой ненависти он слушал мой рассказ о том, как сыны и дочери Израиля почитают своего Бога.

Рассказала я ему также и о Моисее, о Сотворении мира, о Законе, управляющем всей нашей жизнью.

Он слушал с любопытством ребенка, которому рассказанная перед сном сказка помогает унестись в неведомые миры, созданные воображением.

В ту ночь мы столько рассказали друг другу, что к рассвету мне уже казалось, что я знаю его всю жизнь.

Глава семнадцатая

Шуа была в бешенстве.

— Госпожа моя, если ты не в силах его убить, то я сама ночью прокрадусь в шатер и отрублю ему голову.

Нижняя губа у нее дрожала.

Видно было, что ее терзает страх, к которому добавлялась все возраставшая ревность.

— Не болтай глупостей. Перед шатром стоят часовые, которые позволят мне выйти, но никому, в том числе и тебе, не дадут войти. Олоферн каждую ночь приказывает им под страхом смерти никого не впускать. Никто не смеет беспокоить его в то время, когда он со мной.

— Но ты, госпожа, проявляешь нерешительность. Ты подвергаешь опасности и себя, и весь наш народ. Не забудь, сегодня уже четвертая ночь, а завтра пятый день. Если завтра мы не принесем голову Олоферна, Озия откроет ворота и сдаст город на милость победителя. Наступит конец Ветилуи и всей Иудеи.

— Ты думаешь, я не ведаю, что творю? Или ты во мне сомневаешься?

— Я опасаюсь ваших вздохов и стонов, в которых слышится взаимное наслаждение. Как бы твоя страсть к этому мужчине не перевесила любовь к тем, кто остался за стенами Ветилуи.

Это была уже чрезмерная дерзость, уколовшая меня в самое сердце.

Я осадила ее гневным взглядом.

— Твои речи лишены смысла! Там, в городе, мои родители, мой брат и все, без кого я не мыслю своей жизни. Пойми, Шуа, вопрос не в том, убью ли я Олоферна. Важно продумать, как это лучше сделать.

Мне удалось ее успокоить.

Она снова поверила мне.

Я же снова усомнилась в себе.

Около полудня Олоферн снова прислал за мной часовых.

В южной части лагеря было устроено состязание в воинском искусстве.

Два десятка солдат бились друг с другом зачехленными мечами, а многочисленные зрители их громогласно подбадривали.

Они сражались ожесточенно, как в настоящем бою.

Стремление победить, побороть соперника делало взрослых мужчин похожими на мальчишек, готовых на все, лишь бы выделиться в глазах окружающих.

Ясно было, что мое присутствие было для них лишним поводом, не слушая голоса рассудка, вступать отнюдь не в безопасные поединки.

Закаленные солдаты, полные сил, они сознавали, что за ними наблюдает женщина, удостоенная внимания их полководца.

Наиболее искусным бойцом показал себя высокий, сильный юноша, по плечу которого в конце состязания струилась кровь.

Победителю вручили от имени Олоферна великолепный меч и освободили его на две недели от несения сторожевой службы.

В то время как внимание собравшихся было приковано к поединкам, я поймала себя на том, что мой взгляд все чаще устремляется не на сражавшихся солдат, а на Олоферна.

Да и он тоже то и дело отвлекался от состязания, ища моего взгляда.

Он хотел понять, как я воспринимаю происходящее.

Несомненно, все эти упражнения в воинском искусстве были устроены в мою честь.

Вторую половину дня я провела вместе с Шуа, которая хранила зловещее молчание.

Она поняла, что все ее предостережения, равно как и мои ответы на них, излишни.

И в самом деле, мы обе сказали друг другу все, что было можно, о неотвратимости того, что должно было случиться.

Но я чувствовала, что между нами пролегла скользкая тень недоверия.

Она сомневалась в моей решимости и опасалась, что часы, проведенные в любовных играх с Олоферном, поколебали мою отвагу.

Между тем неумолимо приближалась ночь.

Как я хотела оттянуть ее наступление. Я мечтала о том, чтобы небеса разверзлись и ливень затопил бы пространство между Ветилуей и ассирийским лагерем. Я больше не хотела быть той несчастной, которую судьба избрала для поступка, превышающего возможности слабой женщины.

Когда на закате дня меня ввели в шатер Олоферна, я сразу заметила на лице его совсем иное выражение. Казалось, он был озабочен и встревожен ничуть не меньше меня.

Я поняла, что произошло нечто неприятное, что мешает ему смотреть на меня так, как это было при нашей последней встрече.

Он избегал моего взгляда.

Мы ужинали, погруженные в мрачные мысли.

Между нами повисло напряженное молчание.

Время от времени мы нарушали его необязательными фразами, сказанными ради приличия.

Отпустив слуг, Олоферн наконец взглянул мне прямо в лицо и открыл причину своего молчания за столом:

— Сегодня к моим солдатам пришел перебежчик из твоего города. Он потребовал, чтобы его привели ко мне, непременно ко мне. По его словам, жители Ветилуи готовы сдаться завтра, если ты не совершишь какой-то подвиг. Согласно его сообщению, этот подвиг заключается в том, что ты должна меня убить.

Я застыла от ужаса.

Все пропало.

Теперь все утратило смысл.

Меня охватило чувство жгучего стыда. Мой злосчастный замысел был раскрыт.

Меня терзало сознание того, что стоящий передо мной человек, оказавший мне гостеприимство, удостоивший своего покровительства и признавшийся мне в любви, теперь узнал, какой черной неблагодарностью я собиралась ему отплатить.

— Я усомнился в тебе еще в тот день, когда ты пришла в наш лагерь. Подумал, что истинную причину своего появления ты скрываешь. А твое упорное желание каждое утро дразнить своих сограждан было для них подтверждением того, что ты еще жива. Но я не прислушался к голосу своего разума...

Итак, мой замысел разоблачен.

Если бы я вчера убила его, я спасла бы и себя, и свой народ, а теперь...

Мой потерянный взгляд не укрылся от Олоферна.

Он продолжал говорить, не повышая голоса:

— Я приказал тут же убить перебежчика. Я сказал в присутствии своих воинов, что он просто глуп, если верит, что женщина способна умертвить великого ассирийского полководца. Что перед нами — обыкновенный лгун, не заслуживающий ничего, кроме смерти. И если даже в его словах есть доля правды, он все равно достоин смерти как изменник своего народа. К таким я никогда не проявлял милосердия, хотя бы их сообщения оказывались полезными.

Я просто не знала, что ему отвечать.

Взгляд Олоферна обезоруживал меня. Он точно видел, что творится в моей душе, и перечеркивал все мои намерения.

Мое молчание служило лучшим доказательством того, что его подозрения обоснованны. Он продолжал говорить, и каждое его слово было как удар ножа в мое сердце.

— Я хочу, чтобы ты это знала. Я люблю тебя так, как никогда никого не любил. Ты — самое большое счастье, которое мне довелось пережить. Ты не похожа ни на одну из встреченных мною женщин. Ни одна царица не сравнится с тобой. Я хочу, чтобы ты знала: моя жизнь мне не принадлежит. Я всегда был орудием в чужих руках. Одним я приносил удачу, другим — горе. За последние десять лет я осуществил великий замысел моего царя. Я совершал зло, но в пределах необходимости. Если бы и замысел, и его воплощение были в моей воле, поверь, наш мир был бы гораздо счастливее, а я никогда не стал бы провозглашать себя богом, как сделал этот безумец. Сегодня я осознал, сколь уязвима моя душа. Моя жизнь без тебя не имеет никакой ценности. Такая жизнь мне не нужна.

Он снял с пояса меч и опустил его рядом с нашим ложем. Потом он сказал:

— Станешь ли ты моей супругой или лишишь меня жизни, — так или иначе, моя судьба будет отмечена тобой.

И он протянул ко мне руки, словно умоляя о пощаде.

Я разразилась рыданиями, горькими, неудержимыми.

Я оплакивала его.

Я оплакивала себя.

Я оплакивала наши печальные судьбы, пересекшиеся, как две падучие звезды, и причинившие боль друг другу.

Мы упали в объятия друг друга.

Я прижалась к нему в поисках убежища и спасения.

Я припала к нему как к источнику своих слез.

Господь свидетель, что никогда еще два существа, столь противоположные во всем, не обнимали друг друга с такой любовью, сознавая, что одному из них суждено стать палачом другого.

Выплакавшись, я предалась его ласкам. Прикосновения его рук вызывали в моем теле отклик, то успокаивая, то возбуждая его, зовя к прощальной любовной игре.

Я любила его в ту ночь так, как никто никого никогда не любил. Я хотела одарить его на прощание невиданными наслаждениями, смягчить медом любви горечь предстоявшего нам.

О Господи, какая печаль прорывалась в наших прощальных поцелуях, умножая боль и тоску.

Наша повесть близилась к концу, и ясно было только то, что меня ожидает огромная потеря.

Прекрасный полет ввысь превратился в падение с головокружительной высоты.

Время в стремительном беге покидало меня.

И уже больше не оставалось ни минуты для новых отговорок и попыток продлить век нашей любви.

На рассвете он уснул.

Или притворился спящим, чтобы помочь мне совершить задуманное.

Я смотрела на его высокий лоб, на правильную, благородную линию носа, на легкую седину на висках — признак подступавших зрелых лет.

Он был красив так, как только мог быть красив мужчина в моем представлении.

Он был слишком добр и слишком благороден для ожидавшей его судьбы.

Чем дольше я на него смотрела, тем больше меня одолевала печаль.

Светильники догорали. Шатер казался мне все более мрачным и совершенно безысходным пространством.

Меня душила тоска.

Тело сотрясала дрожь.

Я взяла его меч.

Размахнулась и одним сильным ударом обезглавила его.

Меня ужаснула судорога тела, лишенного головы.

Оно дернулось, словно собираясь вскочить на ноги.

Потом глухо упало с ложа наземь.

Меня стало мутить от кошмара, который я сотворила собственными руками.

Но при мысли о часовых, стоявших перед шатром, слабость прошла.

Страх пересилил отвращение.

Я подумала о том, что стража могла слышать удар меча или звук упавшего тела.

Не выпуская из рук окровавленного орудия убийства, я стала ждать солдат, которые могли вот-вот ворваться в опочивальню.

Но, к счастью, этого не произошло.

Я взяла в руки голову Олоферна и обернула ее своим платком, а потом еще и плащом.

Несколько раз глубоко вздохнув, я стиснула зубы и направилась к выходу.

Проходя мимо часовых, я произнесла дрожащим голосом:

— Господин приказал его не будить.

Глава восемнадцатая

Что произошло, когда я вошла в наш шатер, неся в руках голову Олоферна, сегодня в Иудее знает стар и млад.

Лучше сказать так: каждый думает, что знает, что там произошло.

Потому что никто, кроме меня, не видел перекошенного лица моей служанки Шуа, обомлевшей при виде безжизненной головы грозного врага нашего народа.

Она стала метаться по шатру в поисках сумы, ругая себя за то, что не может найти единственную вещь, которая была поручена ей, — вещь, необходимую для завершения нашего предприятия.

— О Господи, куда пропала сума? Куда она могла запропаститься, о Господи, Боже мой...

Она повторяла это все быстрее и быстрее, точно подгоняя себя.

Я схватила ее за руки.

— Перестань! Успокойся! Не бойся! Все кончилось. Мы совершили то, ради чего сюда пришли. Обуздай себя! Сума рядом с твоей постелью. Ты знаешь, что ты должна делать.

Она пристыженно кивнула головой.

Дрожащими руками Шуа положила в суму голову Олоферна.

Как уже повелось в эти дни, мы подошли к передовым постам ассирийского лагеря и прошли вперед, чтобы "подразнить" обитателей Ветилуи.

Мы шли очень быстро, с трудом переводя дыхание.

Проснувшиеся ассирийские солдаты, уже привыкшие к нашим утренним появлениям, не обращали на нас особого внимания. Зато мы усматривали в каждом их взгляде тень подозрения.

Пройдя половину расстояния между лагерем ассирийцев и нашим городом, мы не остановились, как обычно, но направились к воротам города.

Я закричала как можно громче:

— Откройте ворота! Это я, Юдифь! Я несу вам голову Олоферна! Олоферн мертв!

Услышав мой голос, жители города поторопились открыть ворота, и мы поспешно вошли.

Мое появление было для них неожиданностью. Сбежались все, от мала до велика.

Появились Озия и Иоаким.

При виде головы Олоферна Иоаким пал ниц и стал целовать землю со словами:

— Восславим Господа! Восславьте Бога, который рукою этой женщины совершил подвиг и спас всю Иудею!

Огромная толпа исстрадавшихся людей присоединилась к Иоакиму. Все в один голос возблагодарили Господа за явленную милость и за чудо, которое он совершил моей рукой.

Затем Озия воздел голову Олоферна на копье и призвал:

— Братья мои! Вооружайтесь и готовьте коней! Неся перед собой эту голову, как святое знамя, мы нападем на врагов и захватим их добычу, награбленную в походах!

Одновременно послышался страшный шум и вопли из лагеря ассирийцев, которые обнаружили обезглавленное тело своего вождя.

При виде трупа Олоферна его солдаты в ужасе стали метаться по лагерю.

Когда же из ворот Ветилуи с боевым кличем вылетела наша конница, неся перед собой на копье голову Олоферна, ассирийцы обратились в бегство, давя и топча друг друга.

Граждане Ветилуи разграбили лагерь Олоферна и вернулись с богатой добычей.

Жители других городов Иудеи, прослышав о панике, охватившей ассирийское войско, стали совершать набеги на стоявшие там гарнизоны, и через несколько недель с ассирийским нашествием было покончено.

Глава девятнадцатая

Так я превратилась в женщину, чье имя славится и восхваляется во всей Иудее, да и в соседних с ней странах произносится с неменьшим почтением, чем имя какого-нибудь полководца.

Три дня спустя после моего героического подвига Иоаким приказал подвергнуть избиению камнями торговцев Эбеда и Ифтаха, которые в трудные дни осады нашего города подстрекали народ к бунту.

Два месяца спустя после того, как я убила Олоферна, Иоаким приказал подвергнуть избиению камнями градоначальника Озию, который собирался сдать город неприятелю, если я не вернусь на пятый день своего отсутствия.

Власть в нашем городе была восстановлена и укрепилась, как никогда раньше.

Время разделилось надвое: на жизнь до осады ассирийцев и жизнь после их поражения.

Мой подвиг стал рубежом, от которого отсчитывали "до" и "после".

И поскольку я перестала быть обычной смертной, жизнь утратила для меня свою прежнюю привлекательность.

Три месяца спустя после того, как я убила Олоферна, Иоаким пригласил к себе меня и мою служанку Шуа и сказал следующее:

— Я узнал от Шуа, как все было на самом деле.

Служанка моя опустила глаза, устыдившись своего предательства. Иоаким между тем продолжал:

— Тень печали на твоем лице убеждает меня, что, подобно тому как ты лишила жизни тело Олоферна, смерть его убила радость в тебе.

Я окоченела от холода, исходившего от этого человека.

Он стал говорить, словно произнося приговор на площади перед Храмом:

— Никто не должен знать правды о Юдифи и Олоферне. Нам нужна в твоем лице святая и героиня одновременно. Именно это необходимо для укрепления веры и силы народа. Нам не нужна страдалица, льющая слезы о недостойном человеке. Поэтому ты, Юдифь, будешь жить как святая и никогда больше не выйдешь замуж. Мы поместим тебя в специально отведенные покои, и ты будешь единственной женщиной в истории Иудеи, которой будет разрешено жить возле Храма. Ты не сможешь покинуть эти покои до самой смерти. Если люди захотят тебя увидеть, они сначала должны будут в Храме вознести хвалу Богу за такую ми-

лость, а потом уже удостоятся чести поговорить со "святой". Мы распространим молву о том, что ты не хочешь выходить замуж из уважения к памяти твоего покойного мужа Манассии. Если же ты попытаешься выйти из предназначенных тебе покоев, которые я провозглашу дважды священными, или ослушаешься моего приказа, всем станет известно, что ты в шатре Олоферна осквернила свое тело, и мы проклянем тебя и подвергнем избиению камнями.

Он помолчал, желая убедиться, какое впечатление произвели его угрозы.

Поскольку моим единственным ответом было молчание, он устремил взгляд на мою служанку:

— Ты, Шуа, отправишься в сельскую местность на севере Иудеи, где будешь жить под чужим именем. В награду за то, что ты сделала, и за молчание, к которому я тебя обязываю, ты получишь большое имение и дом, так что тебе не составит труда выбрать приличного мужа.

Глава двадцатая

Я перестала быть собой.

Я превратилась в героиню, в живую легенду.

Израильтяне из отдаленных городов приходят, чтобы увидеть женщину, которая принесла спасение своему народу.

Они приходят в надежде услышать от меня слова, которые стали бы путеводной звездой в их дальнейшей жизни.

Произошло то, что предсказывал Иоаким: с моей помощью израильтяне возродили свою веру и укрепили свое государство.

А моя жизнь превратилась в тошнотворную, невыносимую ложь, которая нависла надо мной и душит меня изо дня в день подобно проклятию.

Ибо я перестала быть собой.

Я обречена снова и снова повторять предопределенную мне ложь.

Пять лет спустя после того, как я убила Олоферна, я решилась доверить свою историю бессловесным листам и тому человеку, который их найдет после моей смерти. Пусть хотя бы он узнает правду. Не я спасла Ветилую и Иудею от ассирийцев. Спасение им принесла любовь человека, который предпочел смерть жизни без женщины, которую он полюбил всем сердцем.

Если бы я могла забыть человека, чьей смертью была вспоена моя слава!

Если бы я могла хоть кому-нибудь признаться, как дорого мне любое напоминание о нем.

Это он спас Ветилую и Иудею, а вовсе не я.

Если бы хоть Шуа, свидетельница всего, что мне пришлось пережить, была рядом, мне легче было бы воскресить воспоминания об Олоферне, о его ласковых руках.

Или, наоборот, легче так — в тишине.

Шуа не раз говорила с улыбкой: "К чему истина, если ложь гораздо проще?"

Но что делать мне со своей жизнью, построенной на огромной лжи, переросшей меня самое?

Я не знаю, стала ли я теперь спокойнее или беспокойнее, но знаю, что поступила правильно, решив облечь в слова историю своей жизни, свои муки. Ведь без этой исповеди я никогда бы не решилась признаться самой себе, что я любила этого человека, достойного моей любви.

Моим же ответом на его поцелуи был удар меча.

Наступило время молитвы.

Время слов благодарности за то, что мне была оказана милость пережить то, чего многим пережить не довелось, и испытать чувства, которые для многих остаются недоступными.

Время помолиться и смиренно попросить Господа нашего, чтобы он был милостив ко всем, кого я встретила в своей жизни и кто теперь уже на том свете.

О Боже, сделай так, чтобы в царстве мертвых они насладились покоем, которого не испытали при жизни.

Мне же даруй терпение и силы дожить свой век в мире с собою.

Литературное наследие

Шарль Нодье

“*Рассказы здравомыслящего насмешника*”

Перевод с французского и вступление Веры Мильчиной

В статье “О совершенствовании рода человеческого и о влиянии книгопечатания на цивилизацию” (1830) французский писатель Шарль Нодье (1780—1844) восклицает: “Вся Франция захлебывалась от восторга, когда д’Аламбер, человек ограниченного ума и скудных способностей, осчастливил соотечественников блестящей классификацией знаний. А ведь классификация эта есть у Бэкона, который, в свою очередь, заимствовал ее у нашего соотечественника Савиньи, чья книга никому не была нужна даже даром, а Савиньи почерпнул свою классифика-

© В. Мильчина. Перевод, вступление, 2003

цию из книги некоего Бержерона, забытого еще прочнее, а уж откуда взял ее Бержерон — никому не ведомо, да это и не важно, поскольку она содержится почти полностью в трудах Аристотеля, который, без сомнения, также не был ее создателем". В этом пассаже — весь Нодье с его блестящим знанием старинных книг и авторов, с его манерой провоцировать читателя нелицеприятными отзывами об общепризнанных кумирах и его убежденностью в том, что прав был мудрый царь Соломон, утверждавший, что под солнцем нет ничего нового.

С начала 1830-х годов Нодье постоянно — и в статьях, которые он публиковал в периодике, и в рассказах — выражает скепсис по поводу таких модных в его время понятий, как "прогресс цивилизации" или "совершенствование рода человеческого". Он был уверен: "Единственная область нашей жизни, где имеет место некое совершенствование, это механический, ручной труд. В самом деле, рука человеческая — хитроумнейшее орудие, возможности которого неисчерпаемы. Сомнительно, однако, чтобы усовершенствования в этой области помогли нам превзойти средневековых ремесленников, являвших чудеса ловкости и терпения; дай нам Бог хотя бы сравняться с ними. Что же касается умственной деятельности и морали, то соответствующие органы к развитию не способны; покуда человек останется человеком, ум его и нравственность пребудут без изменений". Существа, "устроенные более счастливо, чем мы", полагал Нодье, могут появиться на земле только в результате какого-нибудь мирового катаклизма, но в таком случае они уже не будут людьми. До тех же пор, пока этого не произошло, все разговоры о совершенствовании человеческой природы останутся чистейшей спекуляцией.

Нодье вообще утверждал, что настоящей мудростью обладали народы "молодые", жившие на заре истории; мудрость эта запечатлена в народных сказках, в старинных легендах и даже в этимологии слов, и народам "старым" (то есть современникам Нодье) вместо того, чтобы тщиться открыть нечто новое, следует быть внимательнее к этим урокам прошлого. Помимо сказок есть еще один бесценный источник мудрости — "старые книжонки", изданные лет двести-триста назад. Нодье, бывший, можно сказать, "профессиональным" библиофилом и потому разбиравшийся в этой материи превосходно, постоянно внушал своим читателям: сколько бы газеты ни рекламировали новейшие изобретения, ясно, что на самом деле ничего нового в этих изобретениях нет, все они уже много лет как придуманы и описаны. Например, в статье "Любопытные образцы статистики" Нодье рассказывает своим современникам, принимающим омнибусы и дилижансы за последнее слово техники, о "ресторации на колесах", или "омнибусе-ресторане"; это изобретение руанского парламента, сделанное еще в конце XVI века и разрекламированное в старой брошюре, разом оздоровило нравы местных ремесленников: "До тех пор работяги шли отдыхать в кабак и спускали там все; отныне кабакам было предписано отправиться к работягам, не задерживаясь, впрочем, на одном и том же месте дольше определенного срока, дабы развлечения не отвлекали от труда".

Исследователь творчества Нодье П.-Ж. Кастекс назвал его сатирические рассказы 1830-х годов "циклом здравомыслящего насмешника". Насмехается Нодье прежде всего над внешними признаками цивилизованности: железными дорогами, сберегательными кассами, представительным правлением, при котором "королевство процветает под властью прелестно инкрустированного палисандрового монарха, приводимого в движение с помощью весьма несложного часового механизма. Достаточно завести пружину, и правая рука добродушного самодержца подпишет превосходным почерком, бегло и с наклоном вправо, двадцать или даже тридцать бумаг", а после того как все документы будут подписаны, деревянного короля "уберут в кладовую до следующей сессии". Устройство это, конечно, очень удобное, но облагородить общество и изменить человеческую природу ему не под силу. Еще один, и притом излюбленный, предмет насмешек Нодье — уль-

трасовременный научный жаргон, которым пользовались его прогрессивные и склонные к философствованию современники. Нодье, знаток и любитель французской литературы XVI—XVII веков, различал в этих наукообразных разглагольствованиях (сейчас бы следовало сказать — дискурсах) прежде всего неестественность и фальшь и пользовался всяким удобным случаем для того, чтобы над этими "дискурсами" поиздеваться.

Это очевидно уже по длинному и витиеватому названию первого из предлагаемых вниманию читателя рассказов, который был впервые опубликован в феврале 1836 года в журнале "Ревю де Пари". Название это — "Живописное и индустриальное путешествие в Парагвай-Ру и Южную Палингенезию. Сочинение Тридаса-Нафе-Теоброма де Кау'т'чука и проч." — буквально напичкано каламбурными реминисценциями. Словосочетание "Живописное и индустриальное путешествие" — отзвук "Романтических и живописных путешествий по старинной Франции", многотомного издания, имевшего, особенно на первых порах, очень большой успех; оно выходило в 1820—1846 годах, и Нодье сам был в числе авторов. "Парагвай-Ру" — модное лекарство от зубной боли (по фамилии его изобретателя Ру); его упоминает Бальзак в предисловии к первому изданию "Шагреневой кожи" (1831): "Да и какая возвышенная поэма могла бы сравниться в популярности с зубным эликсиром Парагвай-Ру!" "Южная Палингенезия" вместо "Полинезия" — игра с модным философским термином; "палингенезия" означала коренное перерождение мира, в ходе которого должен родиться новый, "усовершенствованный" человек; термин прославился благодаря трактату философа П.-С. Балланша "Опыты социальной палингенезии" (1827—1829). Имя героя состоит из научных терминов: тридас — сок латука, употребляемый в качестве успокоительного средства; нафе — плод гибискуса, растения из семейства мальвовых, служащий для приготовления лекарственных сиропов; теобром — научное название дерева какао (от греч. "пища богов"); наконец, "кау'т'чук" комментариев не требует.

В "Живописном и индустриальном путешествии" Нодье издевается над попытками переделать человеческую природу, которые предпринимают ученые и политики. В рассказе "Лис, попавший в западню" насмешек над современными научными открытиями и политическими доктринами по видимости меньше, но суть его так же пессимистична. Пародируя романтический роман, в центре которого непременно находится фигура гения, не признанного косной средой и отторгаемого ею, Нодье рассказывает историю "чувствительного Лиса", который, в отличие от своих соплеменников, не желает вести жизнь хищническую и, больше того, проникается сердечной страстью к существу иной породы. Однако как людям никакие технические усовершенствования не помогут улучшить их людскую природу, так и Лису не суждено порвать с природой лисьей, какими бы прогрессивными идеями он ни руководствовался.

Рассказ "Лис, попавший в западню" впервые был опубликован в сборнике "Частная и общественная жизнь животных" (1842), куда вошли также произведения Бальзака, Альфреда де Мюссе, Жорж Санд и др. Этот сборник-альбом составил и проиллюстрировал художник-карикатурист Гранвиль (настоящее имя Жан Иньяс Изидор Жерар; 1803—1846), чье двухсотлетие отмечают сейчас во Франции. Рассказ Нодье о прогрессивном лисе переиздавался нечасто, однако история влюбленности лиса в курицу имела любопытное продолжение. Спустя сто с лишним лет после Нодье тот же сюжет использовал в книге "Тутта Карлссон. Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие" (1965) шведский детский писатель Ян Экхольм. Неясно, с чем мы имеем дело в данном случае — с сознательной обработкой малоизвестного старого рассказа или с простым совпадением. Ясно другое: во-первых, Шарля Нодье, посвятившего целую книгу под названием "Вопросы литературной законности" (1812—1828) подражанию, "бессознательному заимство-

ванию", плагиату и прочим формам "литературного грабежа", ситуация с влюбленным лисом, перекочевавшим в книгу автора другого века и другой национальности, наверняка бы позабавила. А во-вторых, на фоне шведской книжки еще очевиднее становится мрачная мудрость Нодье: дело в том, что у Яна Экхольма все кончается хорошо; он верит, что лисы и обитатели курятника могут стать братьями навек. Нодье, так часто надевавший маску старого брюзги, что она в конце концов приросла к его лицу, от подобных иллюзий был свободен.

Живописное и индустриальное путешествие в Парагвай-Ру и Южную Палингенезию

Сочинение Тридаса-Нафе-Теоброма де Кау'т'чука и проч.

ЕСТЬ люди, которые убеждены, будто ремесло журналиста — легчайшая из всех синекур; однако люди эти жестоко заблуждаются, чему порукой те труды, каких мне стоит отыскать в кругу моих скромных пристрастий новый предмет, способный отвлечь читателя от политики или скрасить его досуг. Отчаяние, овладевшее мною, было столь велико, что я был уже готов утопиться в груде снотворных и успокоительных брошюр, когда рука моя ухватилась по воле случая (или того чудесного инстинкта самосохранения, который никогда не изменяет человеку) за путевые заметки Кау'т'чука, ученого чужестранца, имя которого недвусмысленно указывает на его происхождение. Поскольку меня не связует с Кау'т'чуком ни одна из тех мрачных и гулких гармоний, на каких зиждется совершенное согласие авторов и их критиков, я могу сделать вам по секрету признание, бесценное для историков литературы и достойное того, чтобы мой юный и ученый друг г-н Керар как можно скорее отразил его в прекрасном сочинении, где он говорит обо мне столько гадостей[1]. Дело в том, что гибкий, эластический и мягкий писатель, именуемый Кау'т'чуком, — не кто иной, как весьма знаменитый юный китаец, которого китайские мандарины благоволили послать в Париж, дабы он обучился там совершенствованию рода человеческого и возвратился в Пекин, удостоившись звания бакалавра или магистра искусств и наполнив ум знаниями, открытиями и номенклатурами. Мне неизвестно, где именно он работал над описанием своего путешествия, однако я берусь утверждать, что и житель Парижа, имей он, благодаря предусмотрительной щедрости своих родителей, драгоценную возможность в течение нескольких лет учиться в одной из превосходных столичных школ, не изложил бы своих впечатлений более внятно.

Я много слышал о Кау'т'чуке, да и кто из нас не слышал о Кау'т'чуке? Больше того, я знал его и под псевдонимами Тридас и Теобром, ибо, как бы ни отвлекали тебя от ежедневных трудов визиты врача или кредито-

1. Библиограф Жозеф Мари Керар (1797–1865), автор справочника "Литературная Франция" (т. 1–10, 1827–1839), в томе 4 в статье "Нодье" критиковал писателя за его симпатии к "чудовищной" романтической литературе. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ра, трудно не заметить эти имена, напечатанные крупными буквами на последней странице любого номера любой газеты. Что же до Парагвая-Ру, то я всегда мечтал получить какие-либо положительные сведения об этом прославленном крае, который с некоторых пор непременно украшает страницы всех официальных и официозных периодических изданий, причем наборщик отводит ему, наравне с Испанией или Англией, постоянную рубрику; путешественники, однако, не спешили утолить мое любопытство. Кругом полным-полно отважных исследователей неведомых земель, которые возвращаются из Томбукту, даже не побывав там[1], но о Парагвае-Ру не слыхать ни слова. В этом-то расположении духа я и пребывал, когда получил с оплаченной доставкой прелестную экзотическую книжицу, о которой имею удовольствие беседовать с вами сегодня, а именно "Живописное и индустриальное путешествие Кау'т'чука в Парагвай-Ру".

Первое, что поражает взор и ум в этом восхитительном образчике искусства Нового Света, это совершенство его типографического исполнения, благодаря которому он не уступает замечательнейшим из созданий Эльзевиров и Дидо, а может быть, и превосходит их. Паровой печатный станок, который уже широко используется у истоков Миссисипи, сообщает книгам изящество и аккуратность, к каким мы, жители старой Европы, не привыкли. Бумага в Новом Свете плотная, хрустящая и способная долгое время находиться в сыром климате, не превращаясь в кашу, как это случается с бумагой нашего производства, что сулит некоторые выгоды потребителям книг, число коих столь значительно умножилось у нас вследствие развития просвещения. Что же до замысловатых и нарядных шрифтов, нельзя не признать, что гравер с берегов Миссисипи оставил далеко позади искусных парижских мастеров, которые наперебой превращают алфавит в собрание чахлых, тучных или кривоногих буковок, радующих глаз изумительным уродством, и находят в том удовольствие. Строка в таком роде, помещенная на фронтисписе книги Кау'т'чука, имеет то неоспоримое преимущество, что решительно не поддается прочтению: этот опыт, подобного которому никто еще до сих пор не предпринимал, доказывает наличие у издателя бездны ума и вкуса. Уже много лет сталкиваясь с подобными благодетельными трудностями, изучая иероглифы, а главное, разбирая собственноручную переписку высокоученого г-на Мишеля Берра[2], я, однако же, торжественно объявляю, что эта строка осталась бы непрочитанной и я не смог бы привести ее в своей статье, не прояви издатель деликатной предупредительности и не передай он ее человеческими литерами на авантитульном листе. Если бы загадочная строка была напечатана несколькими годами раньше, а издатель не был столь любезен, смерть моего прославленного коллеги Шампольона, и без того преждевременная, наступила бы еще раньше. Вот что мы называем интеллектуальным и нравственным прогрессом в книгопечатании; именно так и следовало бы издавать бóльшую часть книг.

Путешествие Кау'т'чука началось 31 февраля 1831 года (по китайскому стилю), когда в порту Сен-Мало он взошел на борт прославленно-

1. Намек на французского путешественника Жан-Батиста Дувиля (1794—1835), который опубликовал в 1832 г. отчет об открытиях, якобы сделанных им в Африке, а вскоре выяснилось, что большая их часть — мистификация. Томбукту — древний город на территории Мали.
2. Мишель Берр (1780—1843) — первый во Франции адвокат еврейского происхождения, публицист и историк немецкой литературы.

го корвета "Вздорный". Недавно приобщившийся к тайнам романтического языка и морской литературы, Кау'т'чук пользуется терминологией с доверчивостью неофита, для которого впечатление, производимое словами, дороже их смысла. Швартовы взяты на гитовы, риф-банты уперлись в грот-ванты, брамсель вздернут на марсель, и корабль отплывает в юго-восточно-северо-западном направлении[1]. В ясную погоду разыгрывается ураган; волны плещут беззвучно; буруны бурлят у борта; корвет удирает во все узлы и очень скоро огибает мыс Финистерре[2], за которым, как явствует из его названия, начинается конец света. Я не последую за Кау'т'чуком в первые его научные экспедиции; конечно, история создания сухой мадеры или глубокое физиологическое объяснение того факта, что, хотя один ученый муж именует канарейку *изумрудной*, а другой — *оранжево-красной*, перья у нее желтые, не лишены известного интереса. Однако изыскания эти слишком тесно связаны с нашими привычками, потребностями и удовольствиями, чтобы всерьез привлечь внимание человека, который умеет правильно распорядиться полученным образованием: ведь основная цель науки заключается, как всем известно, в исследовании вещей бесполезных, которые вдобавок не стоят того, чтобы над ними ломали голову.

Впрочем, я не могу отказать себе в удовольствии остановиться на минутку вместе с Кау'т'чуком на вершине пика Тенерифе, где он повстречал одного из самых передовых промышленников нашего времени. Этому великому человеку удалось превратить снег в морскую соль посредством высушивания с прибавлением легко испаряющейся щелочи, очень плотной и самой твердой, какая только существует на свете. Снег, обжигаемый в герметической печи, мгновенно кристаллизуется и выходит из огня совсем красным; тогда его швыряют в слабый раствор квасцов и животной селитры, отчего он вновь обретает первоначальную белизну. "Мы отведали этой превосходной соли, — добавляет Кау'т'чук, — и убедились, что она обладает отменными вкусовыми качествами, приятно щекочет нервные окончания языка и радует глаз".

Достойнейшее частное лицо, основавшее эту драгоценную мануфактуру, уже давно открыло способ добывать восхитительное масло из некоторых тенерифских булыжников, содержащих чистый и, можно сказать, самородный *маслин*; однако эта операция ныне слишком широко известна, чтобы нам следовало останавливаться на ней подробно. Нетрудно также догадаться, что древесная растительность Тенерифе служит для производства того уксуса, каким пользуются все парижане, а поскольку гумус, покрывающий склоны этой горы, в высшей степени способствует созреванию салатообразных трав, нетрудно прийти к заключению, что мыс Тенерифе — то место на земле, где можно отведать наилучшего салата, в котором будет недоставать лишь перца, ибо за ним надобно посылать в Кайенну[3]. Этот изъян, пожалуй, нетрудно устранить: необходимо лишь отыскать *перчин* в местных корнеплодах или травах, вроде латука или свеклы, в чем наш химик-агроном непременно преуспеет, если уже не преуспел. После этого, благодарение небесам, на-

1. Пародируя ранние "морские" романы Эжена Сю, Нодье нагромождает морские термины, употребляя их невпопад.
2. Название этого мыса на северо-западной оконечности Иберийского полуострова в переводе с латыни означает "конец земли".
3. Нодье обыгрывает просторечное название одного из сортов стручкового перца, который на самом деле не имел никакого отношения к Кайенне, городу во Французской Гвиане (Южная Америка), куда ссылали преступников.

уке останется мечтать лишь об одном — о способе отыскивать в природе готовый салат вместе с тарелкой.

Мы не станем надолго задерживаться на мысе Доброй Надежды, где, как остроумно замечает Кау'т'чук, все *туземцы* суть англичане или голландцы, что сообщает местным дикарям весьма своеобразную физиономию, представление о которой можно составить, лишь побывав в лондонских тавернах или амстердамских кафешантанах. Путешественники не преминули посетить прославленную Столовую гору, которая из-за грозы была как раз покрыта водяной скатертью. Это, однако, не помешало им навестить знаменитого г-на Гершеля, которого Кау'т'чук называет "племянник славный славного отца", допуская lapsus linguae[1], за что я приношу извинения читателям[2]. Ведь мы употребляем слово neveu <племянник, потомок>, происходящее от латинского слова nepos, в поэтическом языке, когда говорим о наших прямых внуках или правнуках. Впрочем, тому, кто владеет всеми наречиями земли, нередко случается, избирая одно из них для удобства публики, погрешить некоторыми незначительными spropositi[3], чем и объясняется столь безграничная причудливость стиля наших ученых мужей.

Вернусь к г-ну Гершелю: "Он обосновался на Столовой горе, — пишет Кау'т'чук, — с намерением провести там три года и проверить, полностью ли идентична оборотная сторона тех звезд, которые он наблюдал с противоположного бока, из английского города Гринвича, их лицевой стороне"? Всякому известно, что для этих прекрасных изысканий в эмпиреях г-н Гершель пользуется гигантским телескопом, мощность которого не поддается подсчетам, ибо он обладает не переводимой в цифры способностью увеличивать небесные тела в двенадцать раз больше, чем нужно. Восхитительная точность, с которой г-н Гершель и его ученики ежедневно изображают Луну анфас и в профиль, являет собою надежнейшую гарантию верности их чертежей, так что весь мир с нетерпением ждет, когда же они наконец познакомят его с топографией Сатурна, а главное — Урана, на котором они различают мельчайшие предметы четче, чем могли бы сделать в своей спальне в самый полдень, а ведь это испокон веков единственный час, когда господам ученым удается хватать звезды с неба.

Многие, пожалуй, сочтут, что до сих пор о путешествии моего китайца можно было бы сказать то же, что сказал старый Фонтенель об очередной витиеватости Колле: "Я не стану удивляться тому, что слышу каждый день"[4]. В самом деле, разве все рассказанное можно назвать чудесами, достойными изумления! Кау'т'чук путешествовал, но и наука не стояла на месте; она постоянно бежала впереди него. Подземное ядро, которое, как нам обещают, за двадцать две с половиной минуты будет долетать по специальному *туннелю* из Брюсселя в Париж, — штука посильнее, чем телескоп Гершеля; переварить ее потруднее, чем салат с пика Тенерифе. Юный первооткрыватель, за которым я благоговейно следую по пятам,

1. Языковая ошибка (*лат.*).
2. Английский астроном Джон Гершель (1792–1871), продолжавший изыскания своего отца Уильяма Гершеля (1738–1822), в январе 1834 г. прибыл на Мыс Доброй Надежды для наблюдений за звездным небом Южного полушария.
3. Вздор, нелепости (*итал.*).
4. Поэт Шарль Колле (1709–1783) был мастером так называемых "бессмыслиц" — стихотворений с очень богатой рифмой и очень бедным смыслом. Литератор и философ Бернар Ле Бовье де Фонтенель (1657–1757) сказал однажды об очередном творении Колле: "Оно так похоже на то, что я слышу в салонах ежедневно, что нетрудно запутаться и начать искать в нем смысл".

начал, подобно лафонтеновскому мышонку, который "не видел вовсе ничего", с невинных забав на пороге родного дома. Нужно подождать, пока он освободится от наивных интуиций и постепенно усвоит или, точнее, ассимилирует самые эклектические апперцепции своего интеллектуального восприятия, дабы эстетически насладиться завоеваниями своей понимающей способности. Для этого достаточно последовать за ним на острова Палингенезии, куда он добрался, судя по всему, как раз за то время, какое у меня ушло на написание предшествующей фразы.

Кау'т'чук недолго оставался на Ванвуа-Леболи: этот остров так пустынен, что в нем на каждом шагу встречаются огромные деревни без единого дома. Наш Кау'т'чук, вдохновляемый тем филантропическим духом, что вселяет в души знатоков настоятельную потребность просвещать род человеческий и приучать его исследовать самым подробным образом все вещи, до которых ему нет никакого дела, ощущал в своей душе благородное стремление расссуждать и спорить, для удовлетворения коего обычно потребна аудитория! Именно это определило выбор почтенного путешественника и направило его стопы в сторону необитаемого острова, кишащего народом, причем самые крошечные тамошние деревушки казались ему населенными вполне порядочно, особенно если дело происходило днем. Он был так любезен и предупредителен, что объявил эти края владениями Франции, но не сообщил об этом туземцам, ибо был отчасти дипломатом; по наитию он нарек новооткрытую землю островом Цивилизации. Кау'т'чук даже не подозревал, насколько он близок к истине. Если исходить из его "Мемуаров" (а из чего еще прикажете исходить, ведя речь о современной литературе и новейшей истории, если не из "Мемуаров" Кау'т'чука?), цивилизация этой страны достойна называться самой изощренной из всех, о каких может мечтать на диво усовершенствованная нация; во всяком случае, таково положение на данный момент. Имея дело с совершенствованием, нельзя ни за что ручаться наперед.

Надеюсь, мне нет необходимости сообщать, что остров Цивилизации был сплошь покрыт железными дорогами, ведь без них цивилизации нынче не живут; но от наших железных дорог островитяне уже много лет как отказались из-за медлительности этих последних. Новейший мотор, помогающий развить скорость неизмеримо большую, чем прежде, поскольку благодаря ему, даже прибегая к самым мелким единицам счета, время отъезда не отличишь от времени приезда, и наоборот, – это электрический флюид. "Самый малый локомотив, сделанный целиком из металла, – пишет Кау'т'чук, – величиной и формой схож с седельным пистолетом, отчего и получил название *пистолет Вольты*[1]. Локомотив прикрепляют с помощью железного кольца к стеклянному дорожному ящику, в который помещают путешественника, и аппарат этот с неимоверной быстротой устремляется по железной проволоке, служащей ему проводником; существование этого скорого поезда отменяет нужду в любых других средствах передвижения". Очевидно, что сей остроумный метод обладает, помимо скорости, другим преимуществом, еще более драгоценным для оседлого населения, достаточно многочисленного во всех странах: он не влечет за собою ни оскорбительных экспроприаций, ни постоянных покушений на священные

1. Пистолет Вольты, или электрический пистолет, – металлический сосуд, наполненный смесью воздуха и водорода, которая взрывается от электрической искры и выталкивает пробку из сосуда.

владения землепашца со стороны жадных до наживы спекуляторов. Когда наступает час отъезда, поворот рукоятки приводит в движение латунную проволоку, намотанную на огромную катушку, а мирный поселянин может возвращаться к своим трудам так же спокойно, как если бы он родился в пасторальной Аркадии, в прелестной Темпейской долине или на любом из отсталых и варварских островов *Буколического* архипелага.

Описанные дороги служат также для перевозки почты, и Кау'т'чук утверждает, что нередки случаи, когда адресаты получают письма еще не отправленные, в каковом утверждении, впрочем, нельзя не заподозрить небольшого преувеличения.

Бесспорно другое: дальше по этой дороге наук или в этой науке дорог идти некуда, если, конечно, мы не раскроем бесценный секрет острова Годоса, "где дороги ходят", о котором сохранили для нас достоверные предания "Доподлинная история Пантагрюэля" и память народная, ведь недаром говорится о дорогах, что они идут, бегут, а порой даже заводят куда не надо. Счастливые то были времена, когда повозки назывались *сидейками*, потому что человек мог объехать весь мир, не вставая со своего сиденья, при условии, конечно, что перед ним расстилалась мощеная королевская дорога! Именно к этой великой эпохе нашей цивилизации (да возвратит нам ее Господь!) восходит обычай начинать все путешествия, совершаемые для пользы образования, с поездки в Рим, куда, согласно античной пословице, *ведут* все дороги, а это ведь так удобно. Говорят, что к этому способу до сих пор прибегают многие путешественники, которые сочиняют свои путевые заметки, не трогаясь с места, однако это не относится к путешествию "Вздорного", на борту которого находилось столько представителей Европы. Иные утверждают даже, что в их число входил весь *Научный конгресс*, — быть может, именно поэтому в Париже о "Вздорном" не говорят больше ни слова.

Нетрудно догадаться, что до острова Цивилизации уже дошли сберегательные кассы — если, конечно, не придерживаться мнения, что они оттуда вышли[1]. Кау'т'чук с удовольствием обнаружил их в самых жалких деревушках; на его глазах безработный труженик, неимущий пролетарий, бедняк, сраженный нищетой и отчаянием, спешили внести в эту ниспосланную Провидением сокровищницу излишки необходимого, избытки насущного, плоды бережливости. Вещь в этих краях обычная и оттого еще более трогательная — отказать пяти-шести голодным ребятишкам в их жалкой ежедневной трапезе ради того, чтобы обеспечить себе кусок хлеба на старости лет. Местные жители до такой степени прониклись нравственным смыслом этого возвышенного установления, что в большинстве своем предпочитают брать деньги в долг, чтобы увеличить взносы в сберегательные кассы, — кстати, этот вполне законный способ уже вошел в употребление и в Париже. Следствием сего восхитительного изобретения палингенезийской философии стало полное исчезновение из оборота наличных денег, ибо ни один миллионер не отважится презреть свои незыблемые и священные денежные интересы и приберечь, не пустив в дело, даже такую малость, какая потребна, чтобы вдохновить слепого. Злосчастный уличный Гомер может, если ему угодно, терзать смычком скверную скрипку, на которой остались всего

1. Указ об ускоренном введении сберегательных касс — своего рода банков для мелких собственников — был принят во Франции 9 июня 1835 г. по инициативе филантропов, в искренность намерений которых Нодье не верил.

две хриплые струны! Сколько бы он ни услаждал слух прохожих своими монотонными мелодиями, ни одна монетка, даже самая мелкая и стертая, не упадет в его жестяную кружку и не усладит его слух своим позвякиванием. Эта кружка и есть сберегательная касса слепого, в которой он, однако, не стал бы хранить ни одной монеты, если бы даже ему ее дали, ибо он с утра ничего не ел. Таково, однако, одно из неизбежных следствий нашей фискальной и финансовой цивилизации, которая не предназначена ни для слепых, ни тем более для безруких.

Люди сварливые и злонамеренные озаботятся по сему случаю интересами таких основных отраслей людского благосостояния, как торговля, промышленность и искусства, которые делаются тем беднее, чем сильнее развивается общественная жадность, — щедрые эти источники национальных богатств кажутся неиссякаемыми, однако находятся ловкачи, которые тайно высасывают из них средства и направляют потоки награбленного в океан монополии и ростовщичества. На острове Цивилизации подобными парадоксами не увлекаются. Там все помыслы обращены к сберегательным кассам, которые с каждым днем жиреют ровно настолько, насколько тощают их клиенты; впрочем, надо признать, что тем особам, которые будут иметь счастье ни в чем не нуждаться, они однажды окажут очень своевременную помощь.

Я поклялся не говорить больше ни слова о политике: политика сама слишком разговорчива, чтобы нуждаться в толмачах; однако тому, кто на свой страх и риск взялся обсуждать вопросы, касающиеся прогресса, трудно обойтись без этой безмерно прогрессивной науки. На острове Цивилизации, как и повсюду в мире, политика находится в процессе совершенствования, и я осмелился бы даже сказать, что она не оставляет желать лучшего, если бы сама она по своей природе постоянно не желала лучшего. Остров Цивилизации наслаждается, подобно нам с вами, прелестями представительного правления, иначе говоря, имеет самую либеральную конституцию, какую только можно вообразить, — конституцию, при которой одна шестидесятитысячная часть нации представляет одну стопятидесятую часть на глазах у остальных ста сорока девяти и при их единодушном одобрении.

Философическая и сентиментальная прижимистость, на которой зиждется существование сберегательных касс, — душа представительных правлений, которые знают, что жизнь им предстоит долгая, и чувствуют необходимость откладывать средства в ожидании той поры, когда сила вещей приведет их в состояние упадка и детского слабоумия. Впрочем, случиться это может с минуты на минуту, ибо по причине чрезвычайной быстроты, с которой развивается цивилизация, общественный вагон движется так стремительно, что электрическая искра за ним не поспевает. Поэтому жалованье королей возбуждало прежде на острове Цивилизации при каждой новой коронации бурные парламентские дебаты, которым нередко случалось пошатнуть основания конституции. В конце концов монархические victus и vestitus[1] до такой степени подешевели, что, после того как династия, подававшая большие надежды, имела несчастье угаснуть, пав жертвою слишком строгой диеты, политические промышленники были готовы объявить о нехватке королевской материи, способной восседать на троне. Вначале диетических госу-

1. Пропитание и наряд (*лат.*).

дарей пытались короновать по приговору суда, предварительно взяв под арест, но несчастные отказывались, ссылаясь на неприкосновенность личности, и суд давал им отсрочки, благодаря которым они успевали сбежать или, по крайней мере, повеситься. В таком положении монархия находилась до тех пор, пока один из тех изумительных гениев, которые постоянно обнаруживаются в оппозиции, не изобрел остроумнейший способ обойти эту трудность. Ныне королевство процветает под властью прелестно инкрустированного палисандрового монарха, приводимого в движение с помощью весьма несложного часового механизма. Достаточно завести пружину, и правая рука добродушного самодержца подпишет превосходным почерком, бегло и с наклоном вправо, двадцать или даже тридцать бумаг, причем все затраты при подобной процедуре ограничиваются гербовым сбором; особенно же замечательно в этой восхитительной конституционной машине то ее свойство, что она запросто могла бы подписывать бумаги обеими руками, будь на то воля механика. После того, как король подпишет все бумаги, его убирают в кладовую до следующей сессии, приняв предварительно необходимые меры предосторожности против злобных мелких насекомых, которые так лакомы до палисандра, — единственных врагов, способных нарушить покой этого счастливого обитателя картонного Лувра. Сие хитроумное изобретение свело цивильный лист до скромной суммы в 17 франков 52 сантима — столько стоит жидкость, необходимая для смазывания царствующей фамилии; так что, пока цены на оливковое масло не возрастут, жителям острова Цивилизации не приходится опасаться революций.

Хотя я искренне отдаю должное неоспоримой грандиозности описанного способа, мне, вероятно, следует отвести от себя слишком обычное по нынешним временам подозрение в гнусных инсинуациях и подстрекательских намеках. Г-н королевский прокурор, которого я безмерно уважаю, хотя не имею чести его знать, никогда, надеюсь, не сможет меня упрекнуть в нарушении законов о печати, ибо я скорее стану кружить целую вечность вокруг моей собственной мысли, как цепной пес вокруг своей будки, чем преступлю закон на расстояние, равное диаметру атома или даже значению новой идеи. Старый тори по рождению и склонности, я известен тем, что всем палисандровым королям предпочитаю монархов, произрастающих на королевском родословном древе.

Вдобавок, чтобы окончательно снять с себя ответственность, напомню, что я всего лишь пересказываю подлинные впечатления Кау'т'чука, изложенные в его путевых заметках — книге чрезвычайно редкой, как то и подобает возвышенному и содержательному научному труду, но наполненной суждениями, бесспорно не принадлежащими к числу здравых, что, я полагаю, не укрылось от внимания моих читателей. Пожалуй, у Крозе или Текне, любимцев всех собирателей, вам еще удастся отыскать драгоценный экземпляр "Путешествия Кау'т'чука", напечатанный на коже удода и переплетенный в кожу грифона, иксиона, единорога или бегемота, с фантастическим "кружевным" узором работы полинезийского Бозонне, достойного соперника Тувенена[1], — но обойдется вам это недешево.

1. Жозеф Крозе (1808–1841) и Жак Жозеф Текне (1802–1873) — парижские книгопродавцы и издатели, торговавшие библиофильскими изданиями; Антуан Бозонне (первая треть XIX в.) и Жозеф Тувенен (1790–1834) — парижские переплетчики; сам Нодье особенно высоко ценил Тувенена и часто прибегал к его услугам.

Да здравствует писатель, стараниями которого эта превосходная книга прибыла к нам из столь далеких краев! Мы во Франции нуждаемся отнюдь не в легкой веселости, не в людях, которые походя и кстати тонко усмехаются над мелкими слабостями: таких поверхностных шутников у нас более чем достаточно. Мы нуждаемся в серьезной, прозорливой иронии, в людях, которые копают глубоко и не успокаиваются до тех пор, пока не вырвут порок с корнем. Взгляните на Сервантеса, на Батлера, на Свифта, на Стерна — эти люди не удовлетворяются подрезанием luxuriem foliorum[1], они выкапывают дерево и швыряют его на землю засохшим, без семян и побегов. Образцами подобной критики, которою Вольтер и Бомарше злоупотребили самым роковым образом, по легкомыслию или по злобе обратив ее против всех общественных идей, что у нас еще оставались, были сочинения Рабле и Мольера, подражать которым, однако, чрезычайно трудно; впрочем, в ущерб моим философическим убеждениям, я должен признаться, что если у литературы, как и у всех вещей на свете, есть свои конечные цели, Рабле и Мольер своей цели пока не достигли; возможно, Провидение еще подарит нам нового Рабле или нового Мольера, но они, к несчастью, не торопятся явиться на свет. В самом деле, разве может жаргон "Жеманниц" или "Ученых женщин" сравниться с тем жаргоном, на котором нам предлагают говорить сегодня и который не имеет названия ни на одном языке? Сам Тартюф, которого поэт изобразил в столь ярких красках, выглядел бы жалким школяром в наш век лицемерия и вранья, когда преимуществами правды пользуется одна лишь ложь. Потомки — если, конечно, у нас будут потомки — смогут предъявить нам множество упреков, но самой характерной чертой нашей эпохи они назовут почти полное отсутствие *здравомыслящего насмешника*, которому хватает рассудительности для того, чтобы высмеивать чужие пороки и отвечать справедливым презрением на невежественные и безумные выходки своих современников. Как! неужели потомки смогут сказать, что мы прожили шестьдесят лет в царстве самых бессовестных обманов, какими ложная филантропия, ложная наука и ложная литература осмеливались когда-либо докучать роду человеческому (и это отнюдь не преувеличение, в чем может убедиться каждый честный человек, бросив взгляд в прошлое и сравнив его с настоящим!); неужели наша поседевшая нация, в юности представленная Рабле, а в зрелости — Мольером, выпьет до самого дна чашу бесчестия, подносимую ей шарлатанами всех сортов и мастей, которых Табарен[2] не взял бы себе в лакеи, — неужели все это произойдет, и никто не возвысит голоса, дабы подвергнуть это подлое фиглярство тому осуждению, какого оно заслуживает? Чем же заняты авторы истинно талантливые, авторы, достойные своей высокой и значительной миссии и снискивающие славу превосходными комедиями, романами, сатирами? Ведь их у нас немало! Авторы эти старательно критикуют в своих кабинетах мелкие и смешные салонные слабости, мелкие семейные неурядицы, которые трудно разглядеть даже в тот телескоп Гершеля, о котором мы упоминали выше. Они объявляют войну пигмеев мелким и глупым гнусностям, не имеющим решительно никакого значения, ибо не создавай люди серьезные и рассудительные портреты такого рода, никто никогда не обратил бы

1. Обильной листвы (*лат.*; Вергилий. Георгики. I, 191).
2. Табарен (наст. имя Антуан Жирар; 1584—1633) — французский комический актер, игравший в фарсах собственного сочинения.

внимания на их оригиналы; они собирают крошки, оставшиеся от десерта Мариво и Кребийона. А между тем на нашу долю выпали времена, достойные пера Аристофана или Ювенала; времена, когда наглец Архилох, как ни старайся, не сумел бы поразить своим дерзким ямбом тройную броню, которая охраняет преуспевающий порок; времена, когда недостаточно клеймить безумцев и злодеев остроумными пастелями и оригинальными набросками; времена, когда, боюсь, кислота и каленое железо оказались бы средствами чересчур слабыми; а мы все еще ожидаем если не Мольера, которого не дождемся, то хотя бы Лесажа или Данкура![1] Нравственная поэзия и поэзия сатирическая, два великих установления рода человеческого, уподобляются ныне горе-врачу, который припудривает чумные язвы, надеясь вылечить больного от легкой сыпи. Тот, кому дан талант и, следовательно, способность просвещать, исправлять, а порою и карать людей, должен распоряжаться этим даром иначе; это больше, чем ремесло, больше, чем искусство, это священная миссия.

Я торжественно объявляю, что, отвечай автор "Путешествия Кау'т'чука" условиям конкурса, иначе говоря, будь он французом, я предложил бы его Французской академии как весьма достойную кандидатуру на получение премии Монтиона, присуждаемой за сочинение, в наибольшей степени способствовавшее улучшению нравов, хотя его остроумный пустячок принадлежит всецело сфере литературной и научной критики; ведь нравы суть явственное выражение общественного разума. Они развиваются и очищаются, искажаются и гибнут вместе с ним. Если народ наделен разумом, то вы, ручаюсь, можете не тревожиться за его нравы. Безнаказанность порока проистекает из того же источника, что и популярность софистов. Самое блистательное свойство добродетели, лучше всего свидетельствующее о божественности ее происхождения, заключается в том, что народы утрачивают доверие к добродетели лишь тогда, когда они утрачивают *здравый смысл.*

Лис, попавший в западню

Анекдот, извлеченный из бумаг Орангутанга, члена многих академий

— НЕТ! Тысячу раз нет! — вскричал я. — Никто не сможет сказать, что я избрал героем моей фантазии животное, которое презираю и ненавижу, зверя подлого и прожорливого, чье имя сделалось синонимом коварства и плутовства, — одним словом, Лиса!

— Вы ошибаетесь, — перебил меня некто, о чьем присутствии я совершенно позабыл.

Надобно сказать, что я веду уединенный образ жизни, и уединение мое нарушает лишь одно праздное существо из породы, до сих пор не описан-

1. Флориан Картон Данкур (1661–1725) — французский актер и комедиограф, к недостаткам которого Нодье относил "полное отсутствие плана, смакование дурных нравов, бесстыдство в мыслях и речах", а к достоинствам — "живость диалогов, правду характеров, выразительность картин, соль если и не аттическую, то вполне едкую" ("Вопросы литературной законности").

ной ни одним естествоиспытателем, существо, которое я мало утруждаю какими бы то ни было поручениями и которое в тот момент, когда начался наш разговор, пыталось притвориться занятым хоть чем-то и потому делало вид, будто наводит порядок в моей библиотеке, пребывающей, впрочем, в порядке совершеннно идеальном.

Потомки, быть может, удивятся тому, что у меня имелась библиотека, однако им придется удивляться стольким вещам, что, надеюсь, моей библиотекой они займутся лишь в часы досуга, если, конечно, у них еще останется досуг.

Существо, которое меня перебило, могло бы, пожалуй, быть названо домашним гением, однако хотя гении нынче не редкость, домашних среди них не водится, и мы, с вашего позволения, поищем для моего собеседника другое название.

— Клянусь честью, вы ошибаетесь, — повторил он.

— Как! — возмутился я. — Неужели любовь к парадоксам, в которой вас так часто упрекали, доведет вас до того, что вы станете защищать эту проклятую и бесстыдную породу? Разве вы не понимаете моего отвращения, не разделяете моей неприязни?

— Видите ли, — сказал Брелок (назовем его Брелок[1]), опершись о стол, причем лицо его приняло наставительное выражение, которое ему очень шло, — я полагаю, что дурные репутации порой бывают так же незаслуженны, как и хорошие, и что порода, о которой мы толкуем, или по крайней мере один из представителей этой породы, с которым я был близко знаком, стал жертвой подобного заблуждения.

— Значит, — осведомился я, — вы исходите из вашего собственного опыта?

— Вы совершенно правы, сударь, и если бы я не боялся растратить ваше драгоценное время, я попытался бы поведать вам эту историю самым правдивым образом.

— Согласен; но что вы этим докажете?

— Ровно ничего.

— Тогда в добрый час. Садитесь вот в это кресло и, если я засну, слушая вас, не умолкайте, прошу вас, это может меня разбудить.

Угостившись табаком из моей табакерки, Брелок начал так:

— Вам, конечно, известно, сударь, что, несмотря на дружеские узы, связующие меня с вами, я не подчиняюсь вам, как раб, ибо это стеснило бы нас обоих, и располагаю своими часами досуга, которые употребляю на то, чтобы размышлять о самых разных предметах, вы же располагаете своими, которые употребляете на то, чтобы не размышлять ни о чем. Так вот, свои свободные часы я провожу самым разным образом. Случалось ли вам когда-нибудь ловить рыбу удочкой?

— Да, — отвечал я. — Вернее сказать, мне случалось часто усаживаться в подобающем наряде на берегу реки и просиживать там от восхода до заката. У меня была великолепная серебряная удочка, не уступающая в роскоши восточному ятагану, однако несравненно более безопасная. Увы! я провел у реки много счастливых часов и сочинил много дурных стихов, но ни разу не поймал ни одной рыбы.

1. Брелок — одна из ипостасей авторского "я" в стернианском романе Нодье "История богемского короля и его семи зáмков" (1830), "странное и капризное создание <...> смешной набросок, который никогда не будет закончен <...> существо вечно хохочущее, вечно поющее, вечно насмешничающее, вечно подшучивающее..."

— Рыба, сударь, есть порождение фантазии, не имеющее никакого отношения к счастью, какое испытывает настоящий рыбак, устраиваясь с удочкой на берегу реки. Мало кто понимает, в чем прелесть этого удивительного занятия и как могут люди, не испытывая ни малейшего нетерпения, из года в год питать одну и ту же смутную надежду, сидя в тишине у одной и той же прозрачной воды, ведя одно и то же существование, праздное, но не бездельное, которое длится вечно — ибо с какой стати рыбаку умирать?

Я кивнул.

— Как я уже сказал, мало кто это понимает, — продолжал он, — ведь среди множества людей, предающихся этому занятию, большинство держат удочку точно так же, как держали бы любой другой предмет, и так же мало задумываются о том, что делают, как если бы они не ловили рыбу, а читали книгу или рассматривали картину. Такие люди — а их число, сударь, ужасно возросло в последнее время — портят самые прекрасные вещи в мире.

— Это правда, — согласился я.

Брелок не привык к такой покладистости с моей стороны. Он почувствовал себя польщенным.

— Сударь, — сказал он весьма самодовольным тоном, — хотя по моему виду этого и не скажешь, мне доводилось размышлять о самых разных вещах; если бы я записывал все те нелепые идеи, какие приходят мне в голову, я завоевал бы репутацию великого человека, и эта репутация не была бы незаслуженной.

— Кстати о незаслуженных репутациях: вернемся к обещанной истории Лиса. Вы злоупотребляете данным вам позволением надоедать мне этой историей и надоедаете другой; это нечестно.

— Все это, сударь, не что иное, как хитроумный обходной маневр, призванный возвратить нас к тому, с чего мы начали. Теперь я всецело к вашим услугам и позволю себе задать вам один-единственный вопрос. Какого вы мнения об охоте на Бабочек?

— Как, несчастный? Неужели вы станете донимать меня разговорами обо всех животных, которые населяют землю и море, кроме того, которое меня интересует? Вы забываете о его ужасном характере; под маской, скрывающей истинную сущность этого лицемера, вы не умеете разглядеть злодея, который соблазняет бедных Курочек, морочит глупых Ворон, дурачит надменных Индюков и пожирает ветреных Голубей; он стережет жертву, поджидает ее, алчет ее крови. По вашей милости этот Зверь теряет время, да и я тоже.

— Какая клевета! — отвечал он кротко. — Впрочем, я надеюсь отомстить всем врагам Лиса, доказав, что, если в дело вмешивается любовь, и Лисам случается быть бесконечно неловкими, неумными и нелепыми. Однако я имел честь задать вам вопрос касательно вашего мнения об охоте на Бабочек и теперь возвращаюсь к нему снова.

Я нетерпеливо махнул рукой, но он в ответ бросил на меня жалобный взгляд, который совершенно меня обезоружил. Да и кто способен устоять перед очарованием охоты на Бабочек? Уж конечно не я[1]. Я имел неосторожность показать это своему собеседнику.

1. Нодье в юности профессионально занимался энтомологией; его "Энтомологическую библиографию" (1801) одобрил сам Ламарк.

Брелок, весьма довольный, взял следующую понюшку табаку и поудобнее устроился в кресле.

— Я счастлив удостовериться, сударь, — сказал он благосклонно, — что вы предаетесь наслаждениям истинно прекрасным, истинно совершенным. Знаете ли вы человека более счастливого и одновременно более достойного уважения своих сограждан, нежели тот, кто ранним утром, задыхаясь от радости, рассекает сачком высокую траву и носит в петлице подушечку с длинными булавками, дабы ловко накалывать на них порхающих в эфире крылатых насекомых, не причиняя им ни малейшей боли (ибо ни от одного из них никто никогда не слышал жалоб)? Что до меня, то я не испытываю ни к кому такого полного доверия, такой безраздельной приязни, одним словом, такого почтения, как к этому человеку, рядом с которым желал бы прожить до скончания дней. Но теперь речь не об этом; боюсь, что мы сильно отклонились от предмета нашей беседы.

— Я боюсь этого по меньшей мере так же сильно, как и вы.

— Вернусь же к тому, с чего мы начали. Так вот, чтобы не говорить об охотнике вообще, ибо вам это явно не доставляет удовольствия, я позволю себе, со свойственной мне скромностью, коснуться моей собственной особы. Однажды я был всецело поглощен охотой, охота же вовсе не похожа на рыбную ловлю, о которой мы говорили только что.

Я поднялся, чтобы уйти, но он мягко удержал меня.

— Не сердитесь, я упомянул рыбную ловлю только для сравнения или, вернее, чтобы обратить ваше внимание на разницу двух занятий. Рыбная ловля требует совершенной неподвижности, тогда как на охоте, напротив, требуется постоянно пребывать в движении. Останавливаться опасно, можно подхватить простуду.

— А подхватив простуду, выронить добычу, — прошептал я с большим раздражением.

— Поскольку я не думаю, чтобы вы придавали хоть малейшее значение остроте, которую только что отпустили и которая отнюдь не нова, я не стану прерывать свой рассказ. Итак, однажды в горах Франш-Конте я пустился за чудесным аполлоном, и погоня эта завела меня на небольшую опушку, где я остановился, чтобы перевести дух. Я решил, что аполлон воспользуется этим мгновением, чтобы ускользнуть от меня навсегда, но он, оттого ли, что был нагл и насмешлив, или оттого, что также устал, опустился на какое-то высокое и гибкое растение и сидел там, словно бросая мне вызов. Я возмутился и, собрав все оставшиеся силы, приготовился наконец поймать его. Я подбирался к нему крадучись, на цыпочках, не сводя с него глаз, поза моя была столь же неудобной, сколь и нелепой, зато сердце объято волнением, которое вам будет нетрудно вообразить, — и вот, когда аполлон был уже, можно сказать, у меня в сачке, бессмысленный Петух, прогуливавшийся поблизости, затянул визгливым голосом свою несносную песню. Аполлон улетел, и я не мог его в этом упрекнуть, ибо и сам охотно последовал бы его примеру. Тем не менее я был безутешен из-за потери прекрасной Бабочки; усевшись под деревом, я осыпал проклятиями безмозглую птицу, которая только что похитила у меня добычу, стоившую мне стольких пленительных иллюзий и стольких вполне реальных трудов. Я грозил Петуху всеми возможными смертями и, признаюсь с отвращением, в ярости своей дошел до того, что обдумывал намерение извести обидчика отравленными хлебными катышками. В ту самую пору, когда я на-

слаждался этими преступными мечтаниями, чья-то лапа легла мне на плечо, и я увидел глядящие на меня кроткие глаза. Передо мной, сударь, стоял молодой Лис самой очаровательной наружности; облик его мгновенно вызывал приязнь; взгляд обличал благородство и прямоту характера, и, несмотря на предубеждение против этой злосчастной породы, от которого я не был свободен тогда, как не свободны от него вы теперь, я не мог не проникнуться симпатией к представшему передо мной существу.

Чувствительный зверь услышал проклятия, которыми я, объятый жаждой мести, осыпал Петуха.

— Не делайте этого, сударь, — сказал он мне так печально, что я чуть было не заплакал, — ведь она умрет от горя.

Я не совсем понял, что он имеет в виду.

— Кто она? — переспросил я.

— Пеструшка, — тихо ответил он.

Это мало что мне разъяснило. Но я догадался, что здесь замешана какая-то любовная история. Между прочим, я всегда был от таких историй без ума. А вы?

— Зависит от обстоятельств, — сказал я, тряхнув головой.

— Ну, если это от чего-нибудь зависит, значит, вам они не нравятся. Но вам придется либо выслушать историю любви Лиса, либо объяснить мне, почему вам не нравятся любовные истории.

— Я охотно объяснил бы вам это, если бы не боялся вас обидеть; однако я предпочитаю мужественно смириться с выпавшей мне участью и выслушать вашу историю. От скуки еще никто не умирал.

— Так говорят, но доверять этим словам не стоит. Я знаю людей, которых скука едва не свела в могилу. Возвращусь к моему Лису.

— Сударь, — сказал я ему, — мне кажется, что вы несчастны, и судьба ваша живо меня интересует. Прошу вас, располагайте мною; вы всегда найдете во мне верного друга, готового прийти вам на помощь.

Растроганный этой сердечной речью, он схватил меня за руку.

— Благодарю вас, — сказал он, — горе мое такого рода, что никто не может меня утешить; ведь никто не властен сделать так, чтобы она полюбила меня и разлюбила его.

— Вы говорите о Пеструшке? — осторожно спросил я.

— О Пеструшке, — подтвердил он со вздохом.

Самая большая услуга, какую можно оказать влюбленному, если невозможно излечить его от любви, — это его выслушать. Нет никого более счастливого, чем несчастный влюбленный, повествующий о своих невзгодах. Убежденный в правоте этих истин, я попросил Лиса рассказать мне все без утайки и без труда заручился его доверием.

Все влюбленные доверчивы.

— Сударь, — обратился ко мне мой трогательный четвероногий знакомец, — раз вы так добры, что хотите услышать от меня некоторые подробности моей печальной жизни, мне придется начать издалека, ибо несчастья преследуют меня едва ли не с самого рождения.

Своим появлением на свет я обязан хитрейшему из Лисов, от которого я, однако, не унаследовал ни одного из его талантов. Воздух, которым я дышал, весь напитанный злобой и лицемерием, был мне тягостен и гадок. Лишь только я получал возможность предаться моим собственным склонностям, как принимался искать общества животных, наиболее противных моей породе. Мне казалось, что таким образом я мщу Лисам, которых я ненавидел, и природе, которая наделила меня вкусами, столь мало согласными со вкусами моих братьев. Большой Бульдог, с которым я подружился, научил меня любить и защищать слабых; часы напролет я внимал его наставлениям. Добродетель обрела в его лице не только страстного поклонника, но и ревностного последователя; впервые я увидел, как он переходит от теории к практике, когда он спас от смерти не кого иного, как меня. Глупейший из всех лесничих королевства застал меня в винограднике своего хозяина, куда в невыносимо жаркий день привело меня желание отдохнуть в холодке и отведать ягод. Лесничий имел подлость арестовать меня и отвести к хозяину усадьбы, который занимал высокую должность в муниципалитете и имел грозный вид, приводивший меня в трепет.

Между тем, сударь, этот сильный и гордый зверь был в то же самое время добрейшим из Животных; он простил меня, пригласил к своему столу и, помимо пищи телесной, коей он жаловал меня с безграничной щедростью, доставил мне и пищу духовную, преподав уроки мудрости и нравственности — плод чтения прославленных авторов.

Я обязан своему наставнику всем, сударь, — чувствительностью сердца, изощренностью ума и даже счастливой возможностью беседовать нынче с вами. Увы, я до сих пор не убежден, что должен быть ему признателен за то, что он сохранил мне жизнь. Но оставим это. Множество печалей и бедствий, о которых я не стану распространяться, ибо они не представляют для вас ни малейшего интереса, каждодневно омрачали мое существование вплоть до той прелестной и роковой минуты, когда я всем сердцем полюбил создание, на взаимность которого, казалось, не мог питать ни малейшей надежды из-за вражды наших двух семейств. Уподобившись Ромео, я, к несчастью, оказался не так счастлив, как он: я любил, но меня не любили!

Не в силах сдержать изумления, я перебил его.

— Кто же, — восклинул я, — та бессердечная краса, которая пренебрегла любовью столь пылкой? Кто тот идеальный герой-триумфатор, которого предпочли вам? Ведь, как я понял из ваших слов, Пеструшка любит другого.

— Эта краса, сударь, — отвечал он, стыдливо потупившись, — Курица, а соперник мой — Петух.

Я смутился.

— Сударь, — сказал я ему со всем спокойствием, на какое был способен, — не сочтите, что недавняя стычка с этим животным оказывает хоть малейшее влияние на мое к нему отношение. Это было бы ниже моего достоинства. Однако всю свою жизнь я выказывал столь глубокое презрение к существам его породы, что, даже не испытывай я вполне естественного сочувствия к вашим невзгодам, я проклял бы привязанность Пеструшки к этому созданию. В самом деле, есть ли на свете существо более глупо напыщенное и напыщенно глупое, более эгоистичное и самовлюбленное, более пошлое и низкое, чем Петух, чья тупая красота обличает все эти свойства? Из всех известных мне созданий Петух — самое уродливое, ибо самое бессмысленное.

— Многие Курицы не разделяют вашего мнения, сударь, — отвечал мой юный друг со вздохом, — и любовь Пеструшки есть прискорбное доказательство того превосходства, какое дает авантажная внешность в сочетании с огромной уверенностью в себе. Поначалу, введенный в заблуждение собственной неопытностью и безмерностью моей любви, я надеялся, что моя глубокая, безграничная преданность рано или поздно будет оценена той, кто ее внушила; что мне поставят в заслугу хотя бы ту победу, какую безрассудная страсть помогла мне одержать над моими естественными склонностями: ибо, как вам известно, сударь, я не был рожден для подобного чувства, и, хотя образование существенно изменило мои инстинкты, тот факт, что я сообщил привязанности Лиса к Курице, носящей, как правило, характер сугубо материальный, известную одухотворенность, заслуживал, как мне кажется, хоть какого-нибудь поощрения. Однако счастливая любовь безжалостна, и Пеструшка наблюдает за моими страданиями, не испытывая ни малейшего раскаяния и, пожалуй, почти вовсе их не замечая. Соперник мой извлекает пользу из моих страданий, ибо там, где можно выказать фатовство и заносчивость, он всегда будет первым. Друзья, возмущенные моим поведением, презирают меня и не желают со мною знаться; я один в целом свете, покровитель мой почил вечным сном в почтенном уединении, и я возненавидел бы жизнь, не придавай ей моя безумная страсть, несмотря на все доставляемые ею муки, некое неизъяснимое очарование.

Я живу ради того, чтобы видеть ту, которую люблю, а чтобы жить, я должен ее видеть: это замкнутый круг, в котором я кручусь, словно несчастная Белка в своем колесе; не надеясь и не смея покинуть свою тюрьму, я брожу вокруг той тюрьмы, которая укрывает Пеструшку и от кровожадности моих собратьев, и от самой страстной и почтительной привязанности, какую когда бы то ни было испытывало земное существо. Я чувствую, что обязан нести свой крест до конца дней, и не роптал бы на судьбу, если бы только мне было позволено тешить себя мыслью, что прежде, чем судьба прервет череду моих дней и страданий, я смогу доказать этой пленительной особе, что достоин ее нежности или, по крайней мере, жалости!

Вы так снисходительны, сударь, что вполне естественные обстоятельства, послужившие к сближению наших судеб, возможно, не оставят вас равнодушным.

Поэтому, если вы позволите, я поведаю вам о кровавом сборище, которое имело место прошлым летом и на которое я был допущен исключительно из почтения к памяти моего отца; ибо, как я уже говорил, наградою за мое пристрастие к жизни созерцательной и за полученное мною эксцентрическое и гуманитарное образование, неизменно служи-

ли мне нещадные побои и язвительнейшие насмешки. Поэтому мое участие в той вылазке, которая обсуждалась тогда, представлялось всем вещью крайне сомнительной.

Дело шло просто-напросто о том, чтобы в отсутствие хозяина и его собак напасть на скотный двор соседней фермы и учинить там резню, от одних приготовлений к которой волосы у вас на голове встали бы дыбом. (Простите, — смутился он, — я не заметил, что вы носите парик.)

Несмотря на мягкость моего характера, я довольно охотно согласился сделать то, что от меня требовалось; возможно даже — ибо глупая гордыня примешивается ко всем чувствам человеческим, — я был рад доказать своим друзьям, что, несмотря на всю мою мечтательность, в минуту опасности я могу действовать так отважно, как того требуют интересы дела и ужина; вдобавок, скажу откровенно, в ту пору заговор, одно воспоминание о котором приводит меня в трепет, не казался мне таким отвратительным, каким он был на самом деле. Ибо тогда я еще не любил, а добрые или злые чувства пробуждает в нас вполне только любовь. Вечернею порою мы беспрепятственно, не испытывая ни малейших угрызений совести, ворвались в плохо охраняемые пределы фермы и увидели там наших будущих жертв: большинство из них уже почивали. Вы знаете, что Куры обычно ложатся спать спозаранку. Лишь одна еще бодрствовала: то была Пеструшка.

При виде ее некое смятение овладело мною. Вначале я счел, что меня влечет к ней естественная склонность, и упрекнул себя за приверженность к этому пороку; однако вскоре я понял, что чувство, поселившееся в моей душе, совсем иной природы. Я чувствовал, как кровожадность моя тает от пламени ее очей; я восхищался ее красотой; грозившая ей опасность лишь сильнее разжигала мою страсть. Что мне сказать вам, сударь? Я любил ее, я ей об этом сказал; она выслушала мои клятвы как особа, привыкшая к почестям; плененный без остатка, я отошел в сторону, чтобы обдумать способы спасения моей милой. Прошу вас заметить, что любовь моя началась с мысли нимало не эгоистической — случай достаточно редкий и потому достойный внимания.

Поразмыслив о том, что мне следует предпринять, я возвратился к тем жаждущим крови Лисам, с которыми имел несчастье состоять в родстве, и с деланным равнодушием предложил им поначалу для возбуждения аппетита съесть несколько яиц всмятку, ибо иначе мы можем про-

слыть обжорами, сроду не бывавшими в свете и не знающими правил приличия.

Предложение мое было принято подавляющим большинством голосов, и это доказало мне, что Лисов нетрудно провести, играя на их тщеславии.

Тем временем я, снедаемый тревогой, тщетно искал способа дать невинной Курочке понять, в какой опасности она находится. Не сводя глаз со злодеев, чьи безжалостные челюсти уничтожали в зародыше многочисленное куриное потомство, она бессильно клонила к палачам прелестную головку. Я испытывал невыносимые муки. Несколько товарок Пеструшки уже нечувствительно перешли из царства сна в царство смерти. Петух спал без задних ног, даже не подозревая, что гарем его захвачен неприятелем; ждать спасения было неоткуда. Горе Пеструшки вселяло в меня некоторую надежду, ибо возлюбленная моя, предавшись ему вся без остатка, хранила молчание; но я с ужасом сознавал, что стоит ей вскрикнуть, и она погибла. В довершение всех несчастий, пришла моя очередь стоять в карауле; надобно было оставить Пеструшку среди подлых разбойников. Я колебался; внезапно счастливая мысль осенила мой встревоженный ум. Я бросился к воротам и через мгновение громким криком "Спасайся кто может!" посеял панику среди Лисов, большинство из которых успели завладеть другой добычей и вдобавок были слишком напуганы, чтобы покуситься на мое сокровище. Что же касается меня, то я возвратился в курятник и, лишь окончательно удостоверившись, что все мои товарищи его покинули, осмелился расстаться с Пеструшкой, избавив ее от необходимости изъявлять мне признательность. Память об этой первой встрече, хотя к ней и примешивались сожаления, близкие к раскаянию, — одна из немногих радостей, какие остались в моей жизни. Увы! ни одно из событий, которые последовали за тем вечером, когда родилась и созрела моя любовь, не могло заставить меня забыть ее. Сопровождая Пеструшку всегда и повсюду, я не замедлил убедиться, что она отдает предпочтение известному вам крикливому султану; я нимало не заблуждался на счет того естественного влечения, по воле которого она отвечала ему любовью на любовь.

Оба только и делали, что прогуливались крыло об крыло, угощали друг друга зернышками проса, поощряли один другого легким кокетством, а затем пугали деланной жестокостью; говоря короче, сударь, они вели себя так, как от века ведут себя люди любящие, не придавая значения насмешкам над своим поведением, которое в самом деле было бы смешно, не будь оно настолько достойно зависти.

Я был так привычен к несчастьям, что это открытие не застало меня врасплох. Я страдал, не жалуясь и по-прежнему не расставаясь с надеждой.

Несчастные влюбленные всегда продолжают надеяться на лучшее, особенно когда говорят, что не надеются ни на что.

Однажды, когда я, по своему обыкновению, бесшумно бродил вокруг фермы, я стал невидимым свидетелем сцены, которая сделала мое горе еще более безутешным и нимало не укрепила ту слабую надежду, что еще теплилась в моей душе. На беду, я слишком хорошо знаю силу любви, чтобы предположить, что дурное обращение может ее истребить или хотя бы уменьшить. Если ты любишь, то чувство твое, как правило, разгорается от обиды еще сильнее.

Так вот, сударь, это бессмысленное животное, именуемое Петухом, било шпорами и клювом мою любезную Пеструшку, а я был обречен со-

зерцать эту ужасную картину, задыхаясь от гнева, но не смея вымолвить ни слова. Как ни желал я отомстить за муки любимой, страх скомпрометировать ее в чужих глазах, а также, надобно признаться, не менее сильный страх узнать, что жестокая краса, на защиту которой я встал, не спросив ее согласия, отвергает мою помощь, был сильнее жажды мести. Страдая, как вы понимаете, больше, чем она, я не без горечи читал в ее глазах выражение абсолютной, упрямой покорности. Я с великой радостью сожрал бы этого мужлана, но, увы! ведь это причинило бы ей такую боль!

Сознание того, что я приношу свои желания в жертву ее счастью, помогло мне набраться терпения и дождаться конца отвратительной сцены; сердце мое, разумеется, было разбито, однако я был горд тем, что одержал над своими страстями труднейшую из побед.

Меж тем мне предстояло выдержать с самим собой еще одно сражение. Петух, надо признаться, относился к беззаветному чувству своей юной фаворитки с величайшим презрением и постоянно изменял ей. Пеструшка была слишком ослеплена любовью, чтобы это заметить, и мне, сопернику Петуха, следовало бы ее предупредить; однако, как я уже неоднократно говорил вам, сударь, я любил в ней даже эту ее привязанность, неоцененную и непонятую, и не согласился бы лишить мою возлюбленную драгоценнейшей из ее иллюзий, даже если бы в награду мне посулили ее любовь.

Подобные речи, я вижу, кажутся вам странными в моих устах; я сам, припоминая множество ощущений слишком мимолетных, чтобы память сохранила их надолго, и по этой причине опущенных в моем рассказе, с трудом могу понять себя.

В такие минуты перед моим мысленным взором встает заботливый старый наставник и его уроки: уединение, мечтательность и, главное, любовь довершили данное им воспитание. Я добр, в этом я уверен, и полагаю, что чувства и ум помогли мне стать выше моей породы, однако не подлежит сомнению, что в то же самое время я глубоко несчастен. Разве такое постоянно не происходит и с людьми?

Что мне сказать еще? История неразделенной любви не отличается разнообразием; я с удивлением убеждаюсь, что тем, кто много страдал, нечего рассказать о своих муках; многие люди находят в этом утешение, – быть может, то же суждено и мне. Как бы там ни было, теперь вы имеете представление о моем безрадостном существовании, а я уже давно не мечтал ни о чем ином, кроме возможности однажды излить душу существу избранному. В тот единственный раз, когда я виделся с Пеструшкой и мог свободно говорить ей о моей любви, – если, конечно, то-

му, чьи движения и речи скованы робостью, позволительно вести речь о свободе, — она выказала мне, как я и ожидал, такое глубокое презрение, она отвечала на мои уверения и клятвы таким холодным и насмешливым тоном, что я решил раз и навсегда: я скорее умру, чем еще хоть раз стану докучать ей рассказами о моей злосчастной страсти. Мне довольно того, что я охраняю Пеструшку и ее возлюбленного, прогоняя от их дома животных хищных и злобных. Нешуточные опасения внушает мне лишь одно из них, которое, к несчастью, обитает повсюду и почти повсюду творит зло. Это животное — Человек.

— Теперь, — добавил он, — позвольте мне проститься с вами. Солнце близится к закату, а я не смогу уснуть, если не увижу, как Пеструшка грациозно взбегает по лесенке, ведущей в курятник. Вспоминайте обо мне, сударь, а когда вам станут говорить, что Лисы злы, не забудьте, что вам довелось видеть Лиса чувствительного и, следовательно, несчастного.

— И это всё? — спросил я.

— Разумеется, — отвечал Брелок, — если, конечно, вы не прониклись сочувствием к моим героям и не желаете узнать, что с ними сталось.

— Я никогда не руководствуюсь сочувствием, — возразил я, — но я люблю, чтобы каждая вещь находилась на своем месте; лучше узнать заранее, чем теперь заняты все эти особы, чем рисковать встретиться с ними в каком-нибудь месте, где им совершенно нечего делать и от посещения которого я мог бы воздержаться.

— Так вот, сударь, тот враг, о существовании которого известил моего юного друга его острый ум, то существо, в котором праздность и гордыня цивилизовали кровожадность и варварство, — Человек, "раз нужно нам его по имени назвать"[1], употребил злополучную Пеструшку для воплощения старинной идеи насчет Курицы с рисом, — идеи, жертвою которой сделались уже многие Курицы и многие из тех, кто их ест, ибо блюдо это отвратительно; но жалоб по этому поводу вы от меня не услышите: справедливость превыше всего!

Пеструшка пала, а несчастный влюбленный Лис, прибежавший на ее крик, заплатил жизнью за преданность, равной которой мы не сыщем среди людей. Я знал лишь одного представителя человеческого племени, являвшего собою исключение из этого правила. Однако недавно мне доказали, как дважды два, что мой герой — мерзавец, достойный повешения, и с тех пор я стал очень жесток из боязни употребить чувствительность не по назначению.

— Похвальная предусмотрительность. Ну а Петух?

— Петух? Да вон он поет!

— Как? Тот же самый?

— Боже мой! Разве это важно? Изменилась особь, чувства же остались прежними, и новое существо полно прежнего эгоизма, прежней грубости, прежней глупости!

— Перейдем же к сути, друг Брелок, — отвечал я. — Вы, я полагаю, до сих пор не простили Петуху потери аполлона?

— О нет, вы ошибаетесь. Я думаю, что могу утверждать: никогда мое сердце не таило злобы против отдельных особей; именно это, пожалуй, дает мне право ненавидеть многие вещи в целом.

1. Реминисценция из басни Лафонтена "Животные, больные чумой"; там, где у Нодье "Человек", у Лафонтена — Чума.

— Но разве не питаете вы против Петухов того же предубеждения, какое я питаю против Лисов? Я бы мог сплести вам о Петухе такую же фантастическую историю, какую вы только что сплели мне о Лисе. Не бойтесь, я не стану этого делать, тем более что вы так же не поверили бы моему рассказу, как не верю я вашему, ибо воевать против общепринятых представлений и рассказывать небылицы, которых никто никогда не рассказывал, безрассудно.

— Хотел бы я, — возразил Брелок, — чтобы кто-нибудь доказал мне, какой прок сочинителю сказки разделять все представления, сделавшиеся общепринятыми во времена Потопа, а может быть, и раньше, и рассказывать те небылицы, которые были рассказаны уже сотни раз.

— Об этом мы можем спорить до завтра — чего, однако же, делать не станем; тем не менее позвольте мне заметить, что если Петух и не являет собою образец всевозможных добродетелей, если его чуткость, величие и благородство в высшей степени сомнительны, из этого ничуть не следует, что Курицам стоит всецело полагаться на преданность и чувствительность Лисов. Меня вы до конца не убедили, и я все еще пытаюсь разгадать, какую цель мог преследовать ваш Лис. Если я это разгадаю, я буду меньше любить его, но лучше понимать.

— Поверьте, друг мой, — печально сказал Брелок, — видеть во всем только дурную сторону — большое несчастье. Мне частенько приходило на ум, что, добейся наш Лис взаимности от обожаемой Пеструшки, он первым делом слопал бы свою милую.

— В этом-то я не сомневаюсь ни минуты.

— Увы, сударь, я тоже; но как же это досадно.

Документальная проза

Абель Поссе
Пражские тетради

Роман

Перевод с испанского Е. Лысенко

После катастрофы в Конго Гевара не хотел возвращаться на Кубу. Физическое его состояние было прескверное. Он выбрал Прагу, и мы тайно прожили там несколько месяцев перед походом в Боливию. В Прагу он приехал из Каира инкогнито с поддельными документами.

Улисес Эстрада

Ходят слухи, что в течение этого периода нерешительности Че записывал в нескольких тетрадях свои размышления, сомнения и проекты. Проверить это невозможно — власти Кубы хранят на этот счет молчание. Если эти гипотетические "Пражские тетради" существуют, их, вероятно, оберегают более тщательно, чем любые другие документы.

Для тех, кто знает, насколько Гевара не стеснялся в своих высказываниях, нетрудно предположить, что эти записи могли бы иметь эффект взорвавшейся бомбы. И если его тетради когда-либо появятся на свет, они будут особенно интересны тем, что откроют нам, каким было состояние духа этого "кондотьера" в то время, когда он отдыхал, в долгие дни бессмысленной праздности в великолепной холодной Праге.

Пьер Кальфон

Великие люди остаются в нашей памяти. Но величие каждого из них определяется тем, к чему он стремился. Один велик, ибо стремился к возможному. Другой стремился к вечному. Но самым великим из всех был тот, кто стремился к невозможному.

Кьеркегор

© 1998, Abel Posse
© Е. Лысенко. Перевод, 2003

ДУМАЮ, ЧТО Я НИКОГДА НЕ СТАЛ БЫ ПИСАТЬ О МОЕМ ЗЕМЛЯКЕ ГЕВАРЕ. Но получилось так, что после прихода к власти Гевара я оказался в Праге и стал свидетелем распада советской империи. Приехал я в эту волшебную Прагу в 1990 году, и только в 1992-м до меня дошел слух о Геваре, о его пребывании там. Причем на решающем этапе, в самый важный период его бурной многоликой жизни. Пребывание это оставалось тайной. Лишь по слухам было известно, что после неудачных боев в Конго и перед вылазкой в Боливию "он укрылся в одной из стран Восточной Европы".

С какого-то момента мне стало мерещиться, что его призрак бродит под окнами кафе "Славия" или вблизи острова Кампа. Или же мелькает на мощеных улочках Малой Страны, влажных от осенней мороси.

Потом мне начали являться два призрака – Гевара и Кафка в своем котелке. Оба возникали на миг, сворачивали за угол и тут же растворялись. Оба, казалось, были в странном сговоре, подавая мне какие-то знаки. Военный берет Че и котелок тайного бойца господина К.[1] *...*

Когда на Гевару (во время мирового издательского бума, случившегося в связи с тридцатой годовщиной его гибели) обрушились бронза и мрамор четырех основательнейших биографий, я поспешил познакомиться с этими книгами, однако не нашел в них никаких подробностей о столь важном этапе его жизни – пражских месяцах. О почти полугодовом периоде – после поражения в Конго и перед трагическим походом в Боливию – рассказывалось хронологическим пунктиром на двух-трех страницах.

Я понял, что в этих биографиях, столь точных и подробных, авторы руководствовались некими тайными и не вполне честными побуждениями, отдавая дань бесспорному, ставшему легендой мужеству Гевары и не касаясь главного в нем – его духовной жизни. Его заключительного диалога со смертью, странной причины финального преображения и одиночества, вылившегося в отчаянный вызов. Вызов героя-самоубийцы, который, убивая себя, рождается заново.

В этих обстоятельных книгах пражский этап Гевары едва обозначен воспоминаниями нескольких его верных телохранителей. И я понял, что самая лучшая биография, основанная на внешних и достоверных данных, есть нечто вроде схемы героя, его поверхностное "я", его историческая роль. Я решил писать, руководствуясь фразой Михаила Бахтина, прозвучавшей как послание, брошенное в воды Балтийского моря в самые суровые годы советской власти: "Роман – это победа жизни над идеологией".

Биографии утверждают идеологизированный образ Гевары. Только роман может освободить его от ореола пророка-освободителя.

К тому же я познакомился с Власеком. Шофер нашего посольства во время поездки в аэропорт услышал, как я упомянул о Геваре. По возвращении он мне сказал:

– Вам надо бы познакомиться с Власеком! Уж он-то много чего знает о Геваре. Это мой сосед... Да, Власек! Вам надо с ним поговорить...

Зигмунд работал в кубинском посольстве двадцать лет. Он даже перенял некоторую южную живость, отнюдь не свойственную чехам. Впоследствии я узнал, что Зигмунд, равно как и Власек, оказался в списке подпадающих под закон о люстрации, куда вносили сотрудников тайной полиции и чешского отделения КГБ. Именно благодаря Власеку, позволившему мне ознакомиться с машинописной версией (не с рукописным оригиналом) "Философских заметок" и "Пражских тетрадей", у меня, конечно, и созрело решение углубленно заняться этим важнейшим периодом.

1. Господин К. – герой романа Ф. Кафки "Замок". (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)

Все это и побудило меня писать о Гевара. В мой роман я пригласил многих. Три раза съездил на Кубу. Разбирался в куче анекдотов, посмертных оценок, критических или восторженных. В середине 1993 года я начал упорно преследовать призрак, который словно издевался надо мной, прячась то в каком-нибудь портале на Нерудовой, то на Железной улице.

И время от времени мне являлся тот, другой – господин К. в своем котелке, как у брокера лондонского Сити, с блестящим, слегка ироничным взглядом черных глаз...

После одного вечера с изрядной выпивкой я увидел себя – или приснился себе – на пустынной Староместской площади в Пражском Граде. Было очень поздно. Близился рассвет, эпоха сталинизма была позади. Приехал на "мерседесе" князь Кински – тоже аргентинец. Он поставил машину у дворца своих предков. Включил на полную громкость магнитофон с "Валенсией" [1]*. Мы все взялись за руки, образовав веселую пьяную цепочку, которая проникла в дверь магазина Германа Кафки, через Железную вышла к аркадам площади, потом миновала астрологические часы и сожженную нацистами ратушу. Нас подстрекала глупая и веселая воинственность "Валенсии".*

Кински и Лени[2]*, Кафка, Тита Инфанте, я, Алейда, Рибальта, Макс Брод, Че, переряженный в безобидного буржуа, Улисес Эстрада, Милена, Помбо, хмурый Власек, Росевинка, Таня в своих соблазнительно узких военных брюках, Артур Лондон-Сланский, Мартинес Тамайо, Арчимбольдо, Элизабет Бургос, равви Лёв, Карел Чапек и Зигмунд, который время от времени выходил из нашей движущейся цепочки, чтобы снова поставить кассету с "Валенсией", глупый, шумный восторг, побуждавший нас скакать, взявшись за руки... Было еще много всякого народу, и у всех лица белые, как венецианские маски. А по краям Староместской площади зловонные тени мертвецов. Мертвых гуситов, мертвых партизан, боливийских солдат, конголезских негров, повешенных протестантов. Безымянных покойников, которые печально толпились вокруг. И герои, взявшиеся за руки под звуки "Валенсии"...*

Каким-то образом все они зависели от меня! Каждый романист может, как волшебник, превратить смерть в судьбу, а достоверную, хронологически точную историю – в реальность человеческой жизни.

ПРАГА, 1966. "ФИЛОСОФСКИЕ ЗАМЕТКИ". КАФЕ "СЛАВИЯ". Заказываю чай, закуриваю свою трубку с табаком "Амстердамер" – роскошь для отвоевавшегося партизана. Я занял удобное место у окна. Начинаю "Пражские тетради".

Серое утро суровой зимы. Жемчужный свет Праги. В лучах далекой зари туман розовеет. Там, наверху, среди облаков, проглядывают Градчаны, твердыня всех властителей. Торжественно и отрешенно плывут лебеди к Карлову мосту, Карлсбрюке.

Я обманул своих телохранителей – сегодня я, изменив облик, относительно свободен. Нынче я Рауль Васкес Рохас, паспорт 114145. Так гласит "легенда". Торгую древесиной твердых и ценных пород, приехал из Конго через Каир. Я стал лет на двадцать старше и весьма благоразумен. Ни следа юношеского донкихотства. Очки, плешь, на зубах протез, чтобы придать лицу более буржуазный вид, туфли без каблуков, чтобы уменьшить рост. Типичный "аппаратчик" капитализма. А вот показались над замком и шпили собора Святого Вита. Будто рожки улитки в тумане, как сказал бы Дилан Томас[3].

1. "Валенсия" – песня, популярная в 20–30-х гг.
2. Лени – персонаж из романа Ф. Кафки "Замок".
3. Дилан Томас (1914–1953) – английский поэт.

Я прожил на свете тридцать шесть лет и теперь отдыхаю в облике коммерсанта Васкеса Рохаса, он явно симпатизирует франкизму и болеет за мадридский "Реал" – так гласит заученная мной на память "легенда", сочиненная кубинской службой безопасности. Васкес Рохас учит меня курить медленно, терпеливо чиркая советскими спичками. Ни Васкес Рохас, ни другие персонажи – уругваец Адольфо Мена и Рамон Бенитес – не намерены изменить мир[1]. Все трое ищут во вчерашней газете результаты футбольного матча. Отмечают крестиками фильмы, которые желательно посмотреть.

Я отдыхаю в своей маске. Какое облегчение! Мирно толстею, после того как потерял двадцать пять кило во время последнего неудачного похода, когда попытался заложить фундамент мира, который, как оказалось, был неграм ненавистен. В самом сердце Конго.

Официант приносит чай, полагая, что я бельгийский турист. Разве может он вообразить, что недавно я ел в джунглях салат из бабочек, что меня вырвало от волокнистого несъедобного мяса слона, что я перенес поистине библейскую диарею, длившуюся сорок дней и сорок ночей. Так сказать, мой личный великий потоп.

Васкес Рохас правильно поступает, заказав к чаю слоеную булочку. Да, правильно. Теперь он откидывается на спинку кресла и прикрывает глаза, потому что четыре стареньких музыканта "Славии" начинают играть меланхолическое танго "Бедный мотылек", "Poor Butterfly". Конечно же, Васкес Рохас танцевал его в Бургосе на ежегодном празднике в отеле "Кондестабле" со своей девушкой Консепсьон, когда Франко уже немного навел порядок...

Но во мне всегда просыпается провокатор. Когда старички закончили "Бедного мотылька", я почувствовал острое желание испортить утро Васкесу Рохасу/Мене/Бенитесу – и сделал запись, изгадившую философскую тетрадь, некий набросок о смерти.

Я имею в виду не свою смерть, а смерть другого человека. Я имею в виду совершенное мною убийство – и это было похоже на заключение договора с дьяволом, ужасного и необратимого кровавого договора. Случилось это в начале кампании в Сьерра-Маэстре[2], 17 февраля 1957 года, когда нас осталось всего двадцать, поклявшихся сражаться за Кубу. Мы обнаружили, что Эутимио Герра – проникший в наши ряды предатель. С помощью своих друзей в Сьерре он выдал наше местонахождение войскам. Мы застигли его in flagranti[3]. Арестовал его Альмейда. Из-за него погибли многие. И вот он, Эутимио, стоит перед нами на коленях. У него было несколько детей, и это всегда осложняет задачу палача. Фидель ему сообщил, что его казнят. (Этот расстрел у нас был первым.)

Мы все стояли вокруг него, он держался достойно, и это смущало нас. Сиро Фриас, друг Эутимио, изложил суть обвинения с позиций революционной борьбы. Эутимио не плакал – но в этот час перед смертью он состарился буквально у нас на глазах. Его черные волосы постепенно

1. Эти три фамилии соответствуют подложным удостоверениям личности, которыми Эрнесто Гевара пользовался в своих поездках и подпольных явках. Порой он рассуждает о событиях с точки зрения этих выдуманных субъектов, порой вступает с ними в спор. Все три отражают некоторые физические черты Гевары, у каждого разных размеров большие очки. (*Прим. издателя.*)
2. Сьерра-Маэстра – горная цепь на Кубе. Там находилась первая свободная территория Кубы (база революционной освободительной армии).
3. На месте преступления (*лат.*).

седели и под конец стали белыми. С годами эта сцена предстает передо мной все более четко. Теперь я уже не помню ни деревьев, ни ночного мрака. Только голое, пустынное пространство вокруг, словно Земля — это бильярдный шар, затерявшийся во Вселенной. Вдобавок с годами исчезли и люди. Эутимио стоит на коленях, старится у меня на глазах, он один передо мной, я — с револьвером в руке. А он все старится, проживая в два часа все то время, которое оставалось бы ему до естественной смерти.

Смертный приговор легче осуществлять с помощью большой машины Государства. Когда это финальный акт бюрократического правосудия. Когда же его выносят всего несколько человек и нет никакого Государства, казнь всегда похожа на убийство. Мы все были удручены, особенно наши женщины-революционерки. Послышался шепот, что Фидель склоняется к помилованию.

Настоящее государственное правосудие не имеет лица. Разве там кто-нибудь говорит: "Его убьешь ты"?

Волосы Эутимио стали совсем белыми. Мне кажется, он даже сразу весь сморщился, как Айша[1]. Ситуация была тягостная как для нас, так и для него, и я решил проблему, выстрелив ему в правый висок из револьвера 32-го калибра. Агония была недолгой. Когда я стал обыскивать его, никак не мог снять часы, прикрепленные к поясу металлической цепочкой, — и он прошептал мне еле слышным, но твердым голосом, в котором не было страха, но чувствовалась смерть: "Дерни, парень, сильнее..."

Спали мы очень плохо, потому что совершенно промокли во время ливня. У меня началась астма. Сильный приступ, когда боишься не дожить до рассвета. Боишься Девы Зари, несущей смерть.

Теперь я пишу то, что описывал раньше с поэтическим пафосом, какого требовала революционная борьба. Но то не было всей правдой. То была правда дидактическая — для казенных публикаций, для школьного употребления.

Наденьте очки, дон Васкес/Мена. Прочтите это и узнайте, какова война.

Я был первым палачом. Я пожелал им быть. Мне надоели приказы: "Пойди ты!" — приказы армии, Государства, Правосудия. Я сказал себе: пусть сделает это не темный крестьянин, которого все мы считали на такую роль предназначенным... (зовут ли его Патохо, или Анаклето Теран, или Индалесио Перес...)

Договор, скрепленный кровью, договор с сатаной. Договор Партизана.

Я — всегда рядом со Смертью, я навсегда перешел в ее владения. У черепа нет слез.

На том голом куске земли, озаренном трагедией, дождя уже нет. Он застыл вне времени.

Я почувствовал, что наши двадцать бойцов и простые крестьяне смотрят на меня как-то по-особому. Это длилось одно мгновение. 21 июля я получил звание команданте.

Об Эутимио Герре я думал редко. Зато я всегда помню Хулио Сенона, погибшего из-за его предательства как раз тогда, когда я, проявив огромное терпение — ему ведь уже стукнуло сорок пять, — сумел выучить с ним

1. Айша — любимая вторая жена Магомета, на которой он женился, когда ей было 9 лет, и на руках у которой умер.

пять гласных букв. Эутимио выдал Сенона, и того расстреляли. А я расстрелял Эутимио.

Это я-то, который до того лишь однажды убил кота — мы вместе с дружками забросали его камнями в Альта-Грасии[1]...

ГОВОРИТ ВЛАСЕК. ПРАГА, 1992. В его монотонной испанской речи с еле заметным кубинским акцентом иногда слышится легкое дрожание, выдающее присутствие некоторых человеческих чувств. Власек был уволен, когда начались исторические перемены, когда у советской власти случился приступ слабости или даже инфаркт. Его тогда сильно унизили — включили в список тайных агентов и доносчиков. Само собой разумеется, те, кто до 1989 года здоровались с ним опасливо и любезно, теперь относились к нему с неприязнью.

Правду сказать, его общество мне не доставляло удовольствия. После нашей первой встречи, подготовленной по телефону шофером Зигмундом, я, пожалуй, не поехал бы к нему снова, не искал бы повторного свидания. Но мне показалось, что в сменившем облик Геваре, который надеялся таким образом сбить с толку агентов КГБ, Власек обнаружил нечто, глубоко его поразившее. В ходе разговора Власек сказал:

— Тогда я понял, что на этого человека что-то ужасно давит, его терзают крайне опасные искушения.

Я попросил объяснить весьма двусмысленную фразу. Он ограничился коротким ответом:

— Я вел за ним плотную слежку. Вначале просто по обязанности, а затем из интереса — знаете, как проглатываешь последние страницы какого-нибудь триллера. Пришло время, когда я понял, что этот человек действует один против самых жестоких режимов в мире. Он стоял на краю пропасти, но не сознавал этого, вел себя как безумец... Словно фантастический паук, он в тишине плел свою сеть. Но такую сеть, которая шла от купола вашингтонского Конгресса до Спасской башни Кремля, от Сьерра-Маэстры до верхних этажей гостиницы "Пекин". Я вам расскажу...

Я решил уточнить дату все откладывавшейся встречи с Власеком. Я знал, что он живет на пенсию жены — его вполне по заслугам наказали те, кто проводил тогда неолиберальную революцию. Стоял ноябрь 1992 года, один из тех беспредельно унылых дней, когда Кафка кажется нам приятным и даже забавным писателем. С тоской в душе вел я свою машину вдоль берега Молдавы по направлению к Смихову. Листва на деревьях уже поредела, близилась зима. В сером воздухе кричали последние грачи, возможно готовясь к ежегодному перелету — ведь они проводят зиму в восхитительной дельте Нила.

В самой Праге, с ее грандиозными императорскими дворцами, есть тайные, скрытые от глаз долины. Вполне сельские участки с крохотными орошаемыми садиками и старомодными уютными домами. За Смиховом я спустился по дороге, которая вела через густую, темнеющую рощу. Это был район Нова-Вес, продолжение оврагов Прокопске-Удоли. Глубокая долина, из которой дорога поднимается к холмам госпиталя Мотол, к полю для игры в гольф и мрачному городскому крематорию, который, говорят, и нацисты, и русские старались модернизировать.

1. Альта-Грасия — дачное место в провинции Кордова, где прошло детство Гевары.

Здесь и там стоят редкие дома, утопающие в сумерках. Коза на длинной цепи. Немало собак, пробегают кошки. На домах номера, чтобы ориентировать почтальона (а до 1989 года – полицейских). Найти Власека было нелегко. Вместо звонка – колокольчик, потерявший от плесени голос. Гавкнула собака, громко, но только один раз – явно вышколенная.

Навстречу вышел человек, чересчур тепло одетый, словно он только что вернулся с холода. Он повел меня через дверь, открывавшуюся прямо в неуютную кухню, где даже не хотелось снимать плащ. Довольно полная женщина поспешно скрылась в комнатах. Двухцветный кот подошел поближе с независимым видом, ведь все представители кошачьей породы от рождения чувствуют недоверие к человеку.

У Власека стоял наготове алюминиевый чайник – какие бывают, наверное, в сибирских избах.

Роста он был высокого, худощав, волосы с проседью и тусклый взгляд полицейского, но полицейского безоружного. Он производил впечатление большой человекоподобной птицы, вроде Сэмюэла Беккета.

Говорил кратко, как на допросе. Правда, теперь, при так называемой свободе, он время от времени позволял себе с горькой усмешкой вставлять в разговор саркастические замечания.

Власек прежде служил в чешских органах, естественно связанных с КГБ. В 1966 году ему поручили вести оперативную слежку за Геварой, составлять досье на Гевару.

– Это досье, – сказал он, – носило название "Человек". Задание нам объяснили достаточно туманно. Было неясно, то ли мы должны его охранять, то ли бдительно следить за его действиями. Одно из тех дел, которые начинаются с невнятных или чрезмерно засекреченных инструкций... Мы не знали, куда он двинется из Праги – в Сибирь или на Кубу, чтобы снова занять там свой пост в правительстве. И хотя, как я вам сказал, точных инструкций нам не дали, у нас сразу создалось впечатление, что он настроен скорее "прокитайски" и что с этим Человеком будут проблемы. Вдобавок мы тогда не знали, каково его действительное положение на Кубе и какие у них отношения с Кастро. Мои коллеги роптали, но определенного мнения не выработали. Люди мы были серьезные, отнюдь не расположенные следить за выкрутасами этих латиноамериканцев, способных вывести из терпения самого святого Иосифа.

Власек сделал паузу для скромного чайного ритуала, мы выпили по стакану молча, под взглядом бело-рыжего кота. Я почувствовал, что этому человеку уже невозможно возродиться. Его жизнь лишили смысла. "Строгие, конструктивные порядки", как он выразился, сталинских лет рухнули в пропасть свободы и рыночных отношений. Из вежливости я осторожно осведомился о его нынешнем положении.

– Капут! Mors civilis[1]. Конец.

Свобода с молодыми наркоманами, которые пьют и горланят на площадях Праги, была в его глазах полным неприличием.

– Главное, порнография. Это хуже всего.

Он предпочел вернуться к разговору о Геваре.

– Вначале мы не знали, откуда Человек приехал. Через неделю от проговорившихся русских коллег мы узнали, что он явился из Конго.

1. Гражданская смерть (*лат.*).

Пытался там разжечь войну с помощью горстки кубинских негров, смешавшихся с неграми конголезскими.

"Раз, два, три, и Вьетнам наш" — помните? Однако их разгромили. Слишком много влаги и тропических ливней, чтобы в этих джунглях удалось разжечь политическое пламя... Но самым большим препятствием для нашей работы было то, что мы не знали, относиться к нему как к другу или как к внушающему серьезные подозрения субъекту. Вы, сеньор Поссе, сказали мне, что в те годы жили в Москве. Стало быть, помните, что время было трудное: у русских и китайцев в Сибири произошло серьезное военное столкновение на реке Уссури. Они клеймили друг друга перед мировым коммунистическим сообществом. После ракетного кризиса 1962 года русские поняли, что ядерная война — дело слишком серьезное и непоправимое, чтобы дать такое оружие народу, который пляшет конгу и дансон... Умнейший Суслов из Политбюро письменно осудил волюнтаристскую троцкистскую партизанщину. Иначе говоря, этот странный парень, переодетый степенным коммерсантом, исторически был обречен... По крайней мере, мы так считали. Но уверяю вас, работа с ним была настоящим адом... То он часами писал в кафе, то устраивал неожиданные встречи с сомнительными агентами, с женщинами, приезжавшими из Гаваны неизвестно с какими целями... Короче, сущий ад. Полнейшая неразбериха. А его негры, предполагаемые агенты или телохранители, — эти ребята спали с женщиной, которую он перед тем принимал как члена своей персональной разведывательной сети... Все это было невозможно переварить, непонятно! Естественно, сперва у меня не возникло никакого интереса к Человеку. Лишь потом, месяца через два, я начал понимать суть невероятного заговора, который он плел, и масштабы его замысла.

Налив по второму стакану чая, Власек продолжил:

— Надо признать, что первая версия, которую нам изложили, гласила, будто он приехал полечиться. Состояние его и впрямь было плачевное. Его обследовали в военном госпитале в Градец-Кралове. Он был очень слаб. Тяжелая хроническая астма, фурункулез, кишечные паразиты, подкожные паразиты...

— Где он жил?

— До 1989 года это держали в секрете. Кубинцы имели в своем распоряжении три "надежных дома". Что-то вроде вилл, пользовавшихся правом экстерриториальности. Мы, чехи, делали вид, будто ничего об этом не знаем. (У нас, на условиях социалистической взаимности, имелись такие же дома на Кубе.) Таковы шпионские обычаи... Сперва он жил в районе Слапы, на окраине Праги. Но для встреч пользовался другим домом, в Праге-VII. Много раз селился в гостиницах. Чаще всего в "Париже". Обманывал своих телохранителей, например некоего Помбо, а они все имели особый приказ Кастро не отходить от него ни на шаг. Благодаря прослушке мы знали, что он им говорил: будто ему, по секретнейшим соображениям, надо встречаться с китайцами в местах, которые его телохранителям знать не положено... Да, уследить за ним было невозможно, и он делал что хотел с этими простыми парнями, которые его обожали и боялись. К тому же он начал пользоваться двумя разными личинами и соответственно двумя паспортами. Видно, невтерпеж было оставаться взаперти с этими славными, но туповатыми ребятами. Он удирал от них. Иногда просто для того, чтобы посидеть и почитать в каком-нибудь кафе Старого Города, иногда он часами писал в кафе "Славия". Он любил

шахматы, но его телохранители в партнеры не годились. И он играл сам с собой, повторяя партии из учебника Капабланки.

Мне было пора уходить. Но Власек разговорился, стал вспоминать подробности, как бы подготавливая переход к главной цели встречи, о которой мне намекнул Зигмунд. Это были "Пражские тетради".

— Мы находили эти материалы и фотографировали их для наших регулярных отчетов, когда он со своими неграми для тренировки ходил на дальние прогулки или когда они упражнялись в стрельбе на специально оборудованной площадке в районе Подебрад. Потом с фотоснимков делались машинописные копии. Этот человек писал обо всем. Вы, конечно, знаете его фото, сделанное в Боливии: он там пишет, сидя на развилке дерева... Ничего подозрительного нам не попадалось. Одна из тетрадей была для политических заметок, другая имела на обложке надпись "Философские заметки".

Власек немного нервничал. Кот бесстрастно следил за тем, как он ходил, как потом остановился. Сотрудник, уволенный после сорока пяти лет службы в системе социалистической бюрократии, не хотел терять связи с ритмом Истории и постарался сохранить хотя бы часть материалов, доставшихся ему из ее архивов. В эти месяцы "конца империи" советские офицеры и солдаты продавали на Карловом мосту свою форму и ордена. Особенным спросом пользовались часы, они стали модны в Нью-Йорке.

— Вдруг это заинтересует какого-нибудь историка из вашей страны... Вот фотокопии с машинописи. Они никогда не были засекреченным материалом. Можете их взять. Если кто-либо из дипломатического корпуса проявит интерес, я могу свести его с владельцем...

Я поблагодарил Власека за доверие и любезность. Фотокопии с круглыми печатями на каждом листе он передавал мне как приманку, сулившую оригиналы тетрадей, где-то спрятанные и, видимо, украденные после 1989 года из архива чешских органов безопасности.

Мне было трудно себе представить, что Гевара мог уехать из Праги, не забрав свои тетради. Правда, до нынешнего времени ничего не было известно об этих текстах, которые он писал в долгие дни ожидания, сомнений и депрессии.

Власек был доволен, ничем не рискуя, он намекнул мне на существование тетрадей и их доступность — речь шла всего лишь о сделанной наспех копии. Он проводил меня к машине. И, как бы догадываясь о моих подозрениях, сказал:

— Он писал в красивой записной книжке, из тех, что крупные фирмы дарят на Рождество. Почерк ужасный, почерк врача. Наши машинистки изрядно потрудились, чтобы сделать эти копии... Была еще большая тетрадь, вроде альбома для рисования, и школьная тетрадка, где он делал записи по экономике...

ГЕВАРА. "ФИЛОСОФСКИЕ ЗАМЕТКИ" ("СЛАВИЯ"). *"Умирать живя. Жить умирая"*. Никогда не забуду этот фрагмент Гераклита, который недавно обнаружил в книге "Введение в философию". Людям, над которыми — к счастью или к несчастью — нависла смерть, не так уж трудно очертя голову окунуться в бурную жизнь или даже стать героями. А других парализует страх перед "неожиданностью" смерти. Когда в нас рождается смерть?

В моем случае эта Подруга явилась очень рано. Дева Зари. Как ни странно, та, что дала мне жизнь, моя мать, дала мне и смерть. Воспоми-

нание о том дне у меня сохранилось очень смутное, но это первое воспоминание о чем-то важном, о чем-то таком, что дрожавший на берегу двухлетний ребенок воспринимал или ощущал как нечто решающее. День был холодный, уже стоял май, и мать, выйдя из воды, прижала меня к своей ледяной груди. Сказала, что и меня научит плавать. Мне кажется, я помню холод ее груди, в глубине которой трепетало теплое сердце. Она выныривала, а потом тянула меня в глубину, в мрак речной воды. Разумеется, мой страх мало-помалу отступал перед спокойствием, расслабленностью, готовностью умереть на ее теле. Невыразимое ощущение — возвращаться к смерти благодаря матери, совершая обратный путь...

Замечательная мать, любимая моя Селия! Ты мудро питала меня смертью, вскармливала моей собственной смертью.

Оказавшись на берегу, я, вероятно, был бледен — потому что она растирала мне щеки и запястья, и тогда, наверное, впервые появился этот хриплый, неудержимый звук глубоко в горле, звук, похожий на рычанье или кошачье мурлыканье. Астма.

Астма навсегда. Так сказать, смерть на всю жизнь...

Теперь у меня есть время все это записать, все, что я раньше, пожалуй, только ощущал. Она меня погрузила в смерть — быть может, чтобы я отличался от других, чтобы был отмечен жестокой привилегией "умирать живя и жить умирая". Это было в мае. В мае 1931 года. В Сан-Исидро[1]. (Наша смерть тоже должна бы получать какую-то метрику с проставленной датой ее рождения...)

Теперь доктор Садак в госпитале в Градец-Кралове уверяет, что сумеет окончательно избавить от астмы Васкеса/Мену. От астмы, подаренной ему матерью, от трамплина смерти-жизни. Доктор действует разумно. Зачем Васкесу/Мене астма? Какой ему от нее прок? Неужели он примется лихорадочно писать, как Пруст, запершись в комнате, обитой пробковыми панелями, чтобы ни один звук из внешнего мира не отвлекал его?

Зато Гевара, Эрнесто Гевара де ла Серна, испытывает нечто похожее на чувство опасности, которое, наверное, испытывал бы Самсон, входя в парикмахерскую. А что останется делать партизану, если доктор Садак лишит его смерти?

Я, как мог, объяснил ему историю моей астмы. Вспомнил бесконечные мучительные ночи, когда я в полумраке слышал присутствие родителей, напряженно ловивших малейший мой вздох. И как я ребенком научился скрывать смерть, и страх, и страх смерти от встревоженных родителей. Я обрел зрелость человека, живущего на краю гибели. Ребенок, цепляющийся за ниточку воздуха, все более тонкую — вот-вот оборвется. О, эта неудержимая одышка, глубокий хрип агонии. Бесконечно долгие ночи, когда осваиваешь смутный болезненный соблазн смерти. Тело реагирует неразумно. Никто не может сдержать его животную силу. Оно — дышащая бомба, издающая непристойные звуки, лишенная доступа воздуха извне. Это столь же ужасно, как агония выброшенной на берег рыбы. Ребенок узнает, что он борется со смертью. В какие-то мгновения он — словно отец своих испуганных родителей. Он притворяется, он их успокаивает, показывает рукой, что воздух уже проходит в легкие. Но это ложь, он знает, что один на один сражается с невидимым Минотавром.

1. Сан-Исидро — пригород Буэнос-Айреса на берегу залива Ла-Плата.

(А эти утра, когда не идешь в школу и можно с жадностью погрузиться в первые свои книжки, сверкающие жизнью, взять реванш — мечтать о приключениях и путешествиях по далеким континентам, где сплошь герои и потрясающие битвы.)

Я не могу сообщить доктору Садаку и его ассистентам дату возникновения и обстоятельства развития недуга: Сан-Исидро, холодный майский день 1931 года, потом Буэнос-Айрес и город Кордова и, наконец, Альта-Грасия. Для него будет просто историей болезни то, что для меня — география потерянного рая. (Как вместить в клиническую карточку, заполненную на чешском языке, теплоту груди моей матери, моей сообщницы, теплоту, пробивающуюся сквозь холод и ледяные капли?)

Никто не знает об астме больше, чем я. Астма, какой ее видят медики, кажется мне ребяческой теорией. Они блуждают наобум, будто стайка воробушков в тумане. Как им сказать, что моя астма была астмой без Бога? Что моя астма не возвышалась до созерцательного состояния или экстаза, как астма поэтов и блаженных? Во мне утвердилась астма партизана, который выслеживает и побеждает слабого врага — свое тело. Как объяснить врачам, что бывает такая астма, которая вместо поисков утраченного времени дерзает создавать новое время в мире?

Доктора верят в торжество своей науки. Васкес/Мена исподтишка забавляется, иронично поглядывая на них из-за стекол своих больших очков. Для обычной нормальной жизни нет большей опасности, чем склонность к созерцанию или неумеренная жажда приключений. Тот, кто создал мою болезнь, создал мою жизнь...

Умирать от астмы. Жить астмой.

Strategos. Стратег — это генерал. Он "обозревает все поле сражения". Стратег стоит на вершине холма и должен избрать наилучшее место, откуда начать и потом развить наступление. Необходимо определить, где находится Herzland[1], самое сердце поля. Кто овладеет этим жизненным центром, тот выиграет любую битву. Тот победит!

Стратег не может ошибиться. Где находится Herzland нашей Америки? Где надо искусственно разжечь костер, который превратится в революционный пожар всего континента?

Стратег склоняется к мысли о глубинной Америке. Перу. Боливия. Однако главными для него остаются два направления, на два государства — Бразилию и Аргентину.

Strategos уже двигает свои фигуры.

РАССКАЗЫВАЕТ УЛИСЕС ЭСТРАДА. ГАВАНА. 1997 ГОД. "Я прошу тебя дать мне клятву, — сказал мне Гевара, беря за руку. — И дело идет не о простой клятве. Ты свободен выбирать, тут речь не о верности своему командиру, с которым ты был рядом столько лет. Мы начинаем нечто новое — возможно, это станет окончательной битвой. Если хочешь быть с нами или, вернее, если хочешь принять в этой битве участие, скажи мне "да" или "нет". Если "да", тебе следует знать, что впереди нас скорее всего ждет гибель..."

Мы были вдвоем в саду нашего секретного дома. Моросил дождь, но, поскольку Гевара решил сообщить мне нечто важное, приходилось терпеть и сырость, и холод. Он был уверен, что чехи постоянно ставят

1. Зд.: сердцевина (*нем.*).

в доме "жучки", считал их более хитрыми, чем они были в действительности.

— Я вам уже говорил, команданте, я всегда с вами...

— Я хочу, чтобы ты меня правильно понял: быть со мной вовсе не означает идти против Фиделя или против русских, чехов, китайцев. Ты должен это крепко запомнить... Речь идет об особом рывке, однако в том же историческом направлении.

Он говорил со мной начистоту, открывал все карты. Я знал, что он меня понимает и что я его понимаю, хотя сам-то я не мог изъясняться так гладко, как он.

— Мы образуем отдельную ячейку. Именно для того, чтобы не компрометировать Кубу, — не во вред китайцам и не в пользу русских. У нас свои шифры и свои задания. Я тебя буду предупреждать, о чем Пиньейро и другие должны знать, а о чем — нет. Ты отправишься в Боливию и наладишь контакты. Там уже два года находится Таня под именем Лауры Гутьеррес. Она сумела высоко подняться — по всем ступеням. Я даже думаю, что она близка с генералом Овандо[1]. Надо ее разыскать. Потом тебе придется прозондировать вопрос, кто из внешних кадров расположен пойти с нами. Все дальнейшие акции будем планировать оттуда. Обстановка в Боливии должна нам благоприятствовать. Ты встретишь немало людей, которые нашли себе там убежище после неудачных выступлений в Перу. Эти люди будут нам очень полезны, когда мы начнем разрабатывать окончательный стратегический план.

Я понимал, что́ он задумал. Он наконец-то приближался к своей главной политической и революционной цели. Он был намерен не менее и не более как бросить вызов и традиционной буржуазии, и буржуазии новой — из коммунистических правительств. Он превращал себя в запальный шнур, в детонатор Истории.

Я сказал "да". Я готов ехать в Боливию, когда он скажет, чтобы "активизировать" Таню и связаться с теми, кого он назовет. (На самом-то деле он потом выбрал другого товарища, замечательного *папи* Мартинеса Тамайо.)

Я сказал "да", сказал, что клянусь...

— Только об этом не должны знать даже наши здешние товарищи. Все должно происходить тайно, строго между нами — тобой и мной. Никаких разговоров ни с ними, ни с лучшим твоим другом, даже с родной матерью. Ты продолжаешь нормально работать для Пиньейро и сообщать кубинской службе разведки все, что они потребуют...

Мы никогда не знали, то ли он делает вид, будто колеблется, чтобы подладиться к собеседнику, то ли уже обдумал все окончательно. Например, касательно Тани: два года тому назад он отправил ее в Ла-Пас, с исключительным успехом внедрив в тамошнее общество. Она нервничала, не понимая, помнят ли о ней, не забыли ли... Теперь он ее собирался "активизировать", вроде бомбы замедленного действия, с помощью Мартинеса Тамайо. Сказать правду, это сильно раздражало: от нас он требовал готовности умереть, требовал, чтобы мы соблюдали строжайшую секретность, даже по отношению к нашему правительству, а сам сообщал лишь часть своих планов, да и то как-то неопределенно. Он придумал систему взаимного контроля, однако никто не знал, кто кого контролирует. За своим

1. Альфредо Овандо Кандия (р. 1918) — президент Боливии с 1965-го по 1970 г.

другом Масетти, на которого возлагал великие надежды, связанные с повстанческой борьбой в Аргентине, он организовал слежку с помощью кубинских спецслужб. А здесь, в Праге, я по приказу Фиделя следил за ним самим; ел и спал в том же доме, не зная точно, какова моя роль и кто следит за мной.

Намереваясь "активизировать" Таню, которая могла оказаться для него столь же полезной, сколь и опасной, он наметил двух человек, чтобы ее контролировать. Один из них – агент по кличке Мерси – "перевоспитывал", как выражаются на языке разведчиков, Таню в Сан-Пабло. Мерси сообщил ей новые шифры для связи (исключительно с Геварой) и проверил ее психическое состояние, эмоциональную устойчивость. Мерси, человек очень серьезный, Таню одобрил, и она, возвратившись в Ла-Пас, с головой окунулась в работу по вербовке, закупке необходимого оружия и так далее.

Вы думаете, этим дело ограничилось? Он еще "разморозил" одного старого агента, очень способного парня, который по соображениям психологического характера какое-то время назад отказался участвовать в новых опасных предприятиях. У него была кличка Франсиско. Гевара попросил его в последний раз съездить в Ла-Пас – вероятно, чтобы проверить информацию других агентов и, кроме того, проконтролировать тех, кто считал себя высшей инстанцией среди контролеров... Кто сторожит сторожа?

Одинокий и терпеливый, как иранские или афганские ткачи, которые всю жизнь ткут один-единственный ковер, он ткал свою сеть, используя нити существующих тайных служб. Брал от каждого агента лучшее из того, что тот мог дать.

Посылая Мартинеса Тамайо в Ла-Пас и "активизируя" Таню, он начинал небывалую политическую шахматную партию. С неукротимой решимостью он стремился разжечь мировой революционный конфликт, то есть стремился к собственной гибели. Не допуская для себя никакой альтернативы. При том что приходилось раз в неделю посещать госпиталь в Градец-Кралове, чтобы лечить свои гнойники и раны, полученные в Конго...

Мы полагали, что образуем ячейку товарищей, объединенных с ним ради очередного его великого деяния, как говорил он сам полушутливо. Однако каждый из членов ячейки находился под наблюдением или привлекался им к заданиям высшей секретности, о которых никто другой не должен был знать.

Такой была история Тани. Пока мы с ней не познакомились в Боливии, пока не увидели, как она сражается, как переносит трудности почище многих мужчин, стреляя из винтовки, врученной ей самим Геварой на своеобразной официальной церемонии (вопреки разговорам, будто он, когда Таня явилась к нему в лагерь в Боливии вместе с Дебре, отругал ее последними словами, так что она при всех разрыдалась)... Так вот, пока мы не увидели, как Таня стреляет и как она погибла в Вадо-дель-Йесо, мы толком не знали, доверяет он ей или нет. Считает ее по-настоящему нашей или сомневается в ее преданности делу.

Его беседы с каждым происходили с глазу на глаз. Он один держал концы нитей той сети, которую плел. Он был самым одиноким человеком на свете, твердо решившим дойти до конца, добиться того, чтобы мир изменился на веки вечные. Верите, никто из знавших его не может усомниться, что лозунг "Победа или смерть" звучал в его устах абсолютной истиной.

"ПРАЖСКАЯ ТЕТРАДЬ". ПОСЛЕДНИЙ ПРИСТУП ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ МАЛЯРИИ, КАК ОПРЕДЕЛИЛ ДОКТОР САДАК. Вначале лихорадочное состояние, переходящее в сон. Затем внезапное нашествие призраков, которые врываются в окна или, быть может, лезут сквозь стены отеля "Париж". Поздняя ночь, в советской Праге царит тишина, могильная тишина. Я укрылся в "Париже", чтобы освободиться от моих телохранителей/заместителей, которые не читают Ницше и даже не способны сносно передвигать ладью или коня.

Негр с огромными белками глаз, как у Армстронга, — этакие два бильярдных шара во мраке — целится в меня из "калашникова". Возможно, это Помбо или сам Рибальта или Дреке. Потом он раздваивается. Один целится в меня из ванной. Я слышу собственный крик. Похоже, будто Васкес Рохас в своих больших солидных очках, сидя в кресле, наблюдает за вполне вероятной казнью Эрнесто Гевары де ла Серна.

— Да ну же, сволочи, козлы, стреляйте поскорей!

Я, наверно, сильно вспотел — простыни скрутились вроде лиан, насквозь пропитанные потом (или кровью?).

(Отголоском "церебральной малярии", видимо, был также приговор в Танзании.) И что же это такое — церебральная малярия? Колдовство? Последствие того пойла, "давы", которое приготовили колдуны Лорана Кабилы?

Один из них теперь спрятался с "томпсоном" за роялем. На них походная форма, они пачкают ковер охряной, липкой землей с берега озера Танганьика. Это меня раздражает.

— Кто вам приказал меня убить? Эй, трусы, стреляйте же поскорей!

Кажется, к ним подошли и другие.

Я подставляю грудь и кричу, чтобы стреляли. Я бессмертен, в этом у меня нерушимая, дерзкая уверенность. Я выпил "даву". Известно, что колдун "муганга", руандиец, приготовил ее, а потом зелье влили в мой термос с чаем. Чай был единственным средством, облегчавшим мою диарею, — я бегал по двадцать четыре раза в сутки. Теперь я уже верю в колдовство.

А они все не решаются выстрелить. "Дава" меня охраняет. Я бессмертен. Я уже бессмертен. На мокрой улице в эту холодную декабрьскую ночь блестят голубые огни "Парижа".

Дочь вождя, проказница Балу, юркнула в мангровые заросли[1], радуясь, что ей пришло в голову влить "даву" в мой чай, когда я спал под навесом из пальмовых листьев.

— Бессмертный белый воин! — кричала она на суахили, ныряя в джунгли, как в море.

Кажется, я собрался с силами, чтобы соскочить с кровати и пойти им навстречу. В полумраке я чувствовал присутствие покойника. Мне померещился встревоженный профиль Масетти, а может, наивная физиономия Патохо. Я ухватился за накидку на рояле, вышитую с типично центральноевропейской безвкусицей, потянул — и тут раздался страшный грохот, потому что упала безобразная китайская ваза.

На моем этаже занят только мой номер-люкс. Я знаю, что за дверью, в коридоре с ковровой дорожкой, стоят еще другие люди, подняв свои винтовки.

1. Вечнозеленые древесные заросли на тропическом побережье.

Мертвые не способны действовать. Они являются нам, это верно, но в их власти только напоминать о себе. О, эта их неподвижность, их взгляды! Мертвецы — даосисты.

— Стреляйте, черт побери! Стреляйте же наконец!

Но мне удается добраться до ванной. Я открываю кран — вначале идет ледяная вода. Я как отравленный тигр, добравшийся до берега Замбези. Вода — изначальная стихия. Я подставляю под струю свою пылающую голову, но даже это не возвращает ясность ума. Мне чудится, что вместе с водой головы моей касаются ручки Балу, исцеляя меня своей прохладой.

Вода течет безостановочно, как поток с вершины горы, где тают снега.

— Тату, белый воин бессмертен!

Я, чудится мне, делаю невероятное усилие. В ногах страшная слабость. Они словно без костей, подгибаются. Все же подползаю к кровати, как к причаленной у берега лодке. Лоутон с автоматом в руке смотрит на меня — смотрит высокомерно, на что имеет право.

Чунга Лоутон, Адмирал озера. Могучий негр, не привыкший лукавить, не подчиняется мне здесь, на этих берегах, где я потерпел поражение и где теперь отказываюсь войти в лодку, — на мне живописные лохмотья, во рту трубка, со мной пес Симба и две обезьянки, которые ищут друг у друга блох, косясь на другие лодки, куда любыми способами стремятся залезть конголезцы, у каждого — куча детей, а кое-кто пытается затянуть на борт еще и украденную свинью.

— Я пройду через джунгли и доберусь до отрядов Мулеле. Я буду продолжать сражаться, — говорю я. Однако скрываю, что чувствую себя разбитым и не хочу уходить отсюда, со священного места моего поражения.

— У меня приказ Фиделя вывезти вас. Враги хотят схватить вас, им нужны вы, а не эти жалкие конголезцы. Кто станет стрелять из пушек по воробьям! Они ищут вас, команданте. И у меня приказ: либо вы подчиняетесь добровольно, либо я вас свяжу и силой посажу в лодку...

Я пытаюсь нашарить пистолет под своими лохмотьями. Бесполезно. Лоутон успеет помешать мне, спасет меня. У него приказ. Ангел-хранитель. Они верят в сомнительную ценность жизни.

Я цепляюсь за край кровати-лодки и, как могу, начинаю ползти, волоча непослушные ноги, подтягиваясь на одних руках. Отель "Париж". Лоутон, храбрый и наглый негр, направляет лодку вперед, к жизни.

Я испытываю желание поскорее переселиться в Васкеса Рохаса. Хочу снова обрести невозмутимость торгаша и смотреть в темноту сквозь толстые стекла его очков, пока не засну в объятиях его никчемной сладкой жизни, без "давы" и без героизма. Как там сыграл мадридский "Реал"?

Просыпаюсь поздним утром. В голове никакой тяжести. Право, я спокоен, почти как турист Васкес Рохас. Рядом с роялем разбитая ваза и россыпь осколков — это звон осколков показался мне стрекотом пулемета.

Ущерб невелик. И вряд ли сморенный сном ночной портье слышал шум и крики призраков.

Они так и не решились выстрелить.

Сейчас я пишу в "Славии", над Влтавой-Молдавой. Это кафе примечательно огромной, писанной маслом картиной в стиле конца прошлого века. Полотно занимает всю стену напротив входа, и взгляд упирается в нее сквозь густой дым трубок и советских папирос. На ней

изображен господин во фраке. И еще рояль, и стилизованный силуэт женщины, некое видение, которое явно терзает этого господина. Призрак, надо сказать, весьма телесен. Однако он недоступен для вожделений сентиментального влюбленного, одурманенного к тому же алкоголем. Она "из другого мира", и он пьет, безутешно ее любя.

На непременной эстраде оркестр в энный раз играет "Подмосковные вечера"...

ЗАПИСЬ В КАФЕ. Сегодня, во время бритья, я понял, что буржуа, симпатизирующий франкизму, вроде Васкеса Рохаса/Мены, без всякого смущения может беседовать на равных со мной, со знаменитым Геварой. Для него характерна самоуверенная развязность человека, твердо убежденного в том, что самое важное — это деньги и уменье наслаждаться жизнью, иначе говоря: здоровье, песеты и любовь.

Васкес Рохас, торгующий ценной древесиной, не способен понять, что можно серьезно говорить об "экзистенциальном типе революционера". Без злобы, самым естественным тоном он напоминает революционеру о его буржуазном детстве. Кто сказал и по какому праву, что непременной целью человеческого существования должно быть преображение мира?

Васкес/Мена не любит философствовать. Он знает, что философия убивает энергию действия, и наверняка у него есть друг в Бургосе, который — бедняга! — изучал философию. Но в любом случае Васкес/Мена — умеренный эволюционист.

Стоя перед зеркалом при неизбежной утренней встрече во время бритья, Гевара с невольной досадой испытывает позыв опровергнуть его непробиваемую уверенность. Васкес/Мена глубоко убежден в некоторых существенных вещах: например, что в любом случае жизнь следует предпочесть смерти и комфорт героизму. (Позволить себе роскошь героизма — или самопожертвования — человек может только в отчаянных, предельных ситуациях. А вообще-то...)

Правду сказать, Гевара не находит слов для ответа на его куцые, прагматичные резоны. Главное, здесь он, Гевара, лишен возможности принять свой привычный облик вождя, а с коротко остриженными волосами он выглядит заурядно, так, вероятно, чувствовал себя Самсон. В иные минуты у него появляется неприятное ощущение, будто он прислуживает этому всевластному торговцу: каждые два дня должен приводить в порядок его прическу и применять особую краску, чтобы брови казались более черными. В довершение всего он вынужден накладывать на зубы протез, чтобы изменить форму челюстей, да еще носить туфли без каблуков, чтобы казаться пониже... Во время долгих сеансов утренней косметики Гевара чувствует, что мир вывернулся наизнанку и Дон Кихот должен прислуживать Санчо, но он догадывается, что тут скрыт тайный урок, полезный для контроля за всплесками гордыни. Нечто вроде "мытья ног" папой или приниженности браминов, когда они с иронической усмешкой склоняются перед каким-нибудь могущественным вайшьей[1] или торговцем, мнящим себя важной персоной.

Гевара знает, что, пока он в Праге, придется соблюдать этот ритуал, эту игру. Придется ходить в костюме буржуа, забыть на время о своей шевелюре и берете с революционной звездой — о том образе, который превратил

1. Вайшья — член одной из четырех древнеиндийских каст, в которую входили земледельцы, скотоводы, а позже торговцы.

его в символ волюнтаристской мировой революции. Ощущение непривычное — он отчужден от самого себя, он тоскует по себе истинному.

Когда Гевара подводит Васкесу/Мене брови, этот тип самодовольно смотрится в зеркало и напевает "Гранаду". Стоя перед зеркалом в массивных очках, он делает спокойную, скептическую мину преуспевающего дельца. Изменять мир? Неужели стоит этим заниматься? Вы уверены, что перемены не будут лишь переходом от известного к худшему?

Гевара ничего не может поделать с таким человеком и его пошлой логикой. Он думает, что ему полезно стоять вот так, лицом к лицу, как с сиамским близнецом, с человеком подобного типа, ведь уже много лет он, революционер-аристократ, старается держаться от таких подальше. Подальше от посредственностей, движущих житейскую реальность своим повседневным усердием и поразительной прозаичностью.

Вот так, словно на смех, я вынужден вселяться в Васкеса/Мену и направляться на утреннюю прогулку, которая наверняка закончится в "Славии", перед моей записной книжкой.

Против логики тупости, очевидности, практицизма у меня нет аргументов. В вульгарности и грубой витальной силе торгашей, вроде Васкеса/Мены, есть что-то завораживающее, гипнотическое. Оба слишком в себе уверены. Маска, более подходящая для Праги, — это Васкес Рохас. Он чуть моложе Адольфо Мены, лысого (с блестящей лысиной) и седыми висками, которые пришлось бы подкрашивать каждую неделю. Но оба проявляют все больше наглости при встречах перед зеркалом в ванной. Для пересечения границы мне придумали три паспорта и три вполне буржуазные физиономии. Три этих благонамеренных типа меня защищают. Они меня прикрывают, но и самим им выгодно прилепиться к революционеру. Они подозрительно любезны, чутки... Усмешка Сатаны.

Сегодня Васкес Рохас решил подойти к столу, где сидят студенты и преподаватели университета, они приходят в "Славию" раз в неделю. Составляют вместе несколько столиков.

Васкес Рохас спросил у них, где находится дом Кафки. Четверо или пятеро молодых людей, говорящих по-испански, принялись показывать ему дом на карте.

Васкес Рохас им сказал, что живет в Праге и иногда выезжает в Богемию и Словакию по делам, связанным с торговлей древесиной для мебели.

— А вы бывали в Испании или Южной Америке?

— Нет. Мы не имеем возможности путешествовать... — сказала девушка по имени Росевинка с иронической улыбкой, наверняка вызвавшей у ее друзей саркастические комментарии на чешском.

— Да. Здешние люди не путешествуют, — подтвердил студент с бородкой, представившийся как Степанек — только это имя Васкес Рохас и запомнил. — Самое большое — ездим на Кубу. С Кубой у нас экономические связи. Туда ездят многие переводчики, техники...

— И как вам нравится Куба? — спрашивает Васкес Рохас, которого молодые чехи сразу же определили как бесцветного, сытого западного человека.

— Куба такая красивая! — сказала Росевинка. — Я там пробыла всего два месяца.

— А я — полтора года. Потрясающе! Солнце, море, мулатки. Мороженое в "Копелии".

— *А кубинская революция?*

— Дерьмо, такое же, как здесь.

— Дерь-мо, — повторил пухлый толстяк. — Но дерьмо летнее, в летней блузке. А какие попки...

Все расхохотались. Васкес Рохас старался быть беспристрастным:

— Я с коммунистами никак не связан, но все же кубинцы достигли заметных успехов. Если посмотреть, как живут в Панаме или на окраинах Каракаса...

Студенты посмотрели на него с усмешкой, некоторые с досадой.

— Все оплачивают русские и мы, по приказу русских... Кубинцы ни на что не способны, только задом крутить. Ничего они не достигнут, ни с коммунизмом, ни с капитализмом. Да, конечно, они очень симпатичные. Но все, что у них есть, делают наши техники.

— А мы чуть не воевать за них готовы!

Васкес Рохас — и тот, кто был у него внутри, — испытали сильное разочарование, услышав столь суровый и откровенный отзыв молодых филологов.

— Был бы рад встретиться с вами еще раз.

— С удовольствием, — сказала Росевинка. — У вас замечательное произношение — нечто среднее между испанским и латиноамериканским... Мы сюда приходим каждый понедельник в это время. Иногда еще и по средам. А вы читали Кафку? — И она показала ему затрепанную книжечку с переводом Лосады.

— Да, кое-что читал, но я так до конца его и не понял.

— У нас он запрещен. Читаем в переводе, как в этой книжке... Нам повезло, что тут учатся иностранные студенты.

— Когда мы с вами встретимся в следующий раз, вы должны будете нам рассказать, как живут люди в других странах, вообще в мире.

— Почему?

— Потому что здесь — это не мир. Здесь пустота. — Все вокруг заулыбались. — Жизнь где-то в другом месте. Какая там жизнь, сеньор Васкес? — спросил парень, назвавшийся Витом, и вся компания громко расхохоталась.

Васкес Рохас постарался присоединиться к их смеху, но без особого успеха.

БУЭНОС-АЙРЕС. 1993. ГОВОРИТ ЭЧАГУЭ. Ты углубился в лабиринт Гевары. Все в нем идет из детства, из Аргентины. Там и только там — ключи к его дерзости и к его отчаянию.

С одной стороны — семья Линч, наполовину калифорнийская. Люди из тех, что приживаются на новом месте без энтузиазма, колеблясь, надо ли окончательно отказываться от родного английского языка. С другой стороны — семья де ла Серна, люди основательные, давние землевладельцы, пользующиеся авторитетом в политике. Заслуживает упоминания один из их предков, он был вице-королем Перу и в чине генерала сражался против Сан-Мартина[1]. Был чудаковатый человек... Потерпев от освободителей поражение, он вынужден был покинуть Перу и поступил примерно так, как другой воин-неврастеник, Лоуренс Аравийский, который после боев в пустыне записался в армию простым солдатом... Сан-Мартин

1. Хосе де Сан-Мартин (1778—1850) -- национальный герой Аргентины, один из руководителей Войны за независимость испанских колоний в Америке (1810—1826).

и де ла Серна, испанский вице-король, встретились в самый разгар войны с глазу на глаз и могли бы избавить бедную Латинскую Америку от сотни лет, потерянных на защиту формальной независимости. Они едва не подписали договор о создании иберо-американского союза...

Семья Гевара жила в старинном буэнос-айресском доме на улице Арагос, в двух кварталах от дома семьи де ла Серна. (Панчо и Пипо дружили.) Пипо де ла Серна представлял собой великолепный тип портеньо[1]. Любил говорить: "Мужчины должны носить револьвер не для того, чтобы убивать, а чтобы умирать стреляя".

Селия, мать Эрнесто, отличалась эксцентричностью. Ей претил буржуазный быт. Ей хотелось сопротивляться чрезмерному благополучию, гастрономическим увлечениям аргентинской буржуазии. Она вышла замуж за Гевару Линча, человека слабого и симпатичного. Художника-неудачника, но человека добродушного, любителя женщин... Он был мужем Селии, пока не вырос Эрнесто, их сын...

С деньгами у них всегда было туго, но они никогда не теряли сознания своей принадлежности к высшему сословию. В жизни их поддерживало сознание собственного превосходства — если угодно, родового, аристократического, а может, только с потугой на аристократизм — или просто снобизм... Эрнесто всегда ходил неопрятный, плохо одетый, был дерзок до крайности — такое, знаешь, поведение, обусловленное социальным статусом.

Мы были ровесники, росли вместе. На Рождество и на Новый год выезжали в их небольшую усадьбу в Портеле, называлась она "Санта Ана" в честь бабушки-англичанки. А не то собирались несколько семей в нашем сельском доме в Пергамино, или в имении семей Мойяно, или Карранса, или Гидо Лавалье. Теперь, по прошествии многих лет, я вспоминаю о тех ежегодных двух неделях как об одном сплошном празднике.

Какой-то олух прозвал те чудесные годы перед мировой войной "позорным десятилетием". Мы, аргентинцы, любим придумывать себе несчастья. Это просто какая-то истерическая потребность привлекать к себе внимание, хотя мы живем на далеком и счастливом острове, который нам достался по какой-то ошибке Создателя. Люди пресыщаются удовольствиями: летние прогулки, пирушки, всякие забавы, спорт. Наша страна застряла на орально-анальном этапе. Людям наскучили развлечения. Их, подобно эмигрантам, снедает болезненная тоска по грандиозным пожарам и бедствиям, которые когда-то давно заставили их эмигрировать в Америку, в Аргентину... Но с ними ничего не происходит. Да и никогда ничего не происходило. Эрнесто — характерный тип именно такого человека, который это ощущает и ищет исцеления в авантюрах.

Мне всегда казалось, что между Селией де ла Серна и ее сыном существовало странное взаимопонимание. Она каким-то образом научила сына, как он должен себя вести, чтобы не походить на отца... Однажды, вспоминается мне, мы находились на яхте на реке Парана, и Селия вознамерилась, вопреки здравому смыслу, поплавать там, где течение сильней всего. Она прыгнула в воду, и это едва не закончилось трагедией. Подробности описывать не буду. Я стоял, прижавшись к борту, рядом с Эрнесто, который отчаянно кричал, меж тем как его отец, Гевара Линч, бросал спасательный круг. И в какой-то момент испуганный и блестя-

1. Портеньо — коренной житель Буэнос-Айреса.

щий от слез взгляд Эрнесто встретился со взглядом Селии, когда ее, едва дышащую, поднимали на борт.

В сочельник мы всю ночь были в веселом возбуждении от грохота петард, от пахнущих пороховым дымом шутих, фейерверков. Всегда находился какой-нибудь дядюшка-умелец, устраивавший это языческое действо. Он же в полночь сооружал огромный бумажный шар, который поднимался вверх за счет подогреваемого спиртовкой воздуха, весь в разноцветных бумажных лентах. Шар поднимался медленно, бриз слегка относил его то в одну, то в другую сторону, и огонек внутри еле-еле светился. Бывали годы, когда все получалось, а бывали, когда затея кончалась полной неудачей — шар, например, вдруг загорался и падал в заросли сорняков на ближайшем поле.

С утра дамы со своими горничными и кухарками готовили на кухне аргентинское пиршество...

Холодное мясо с приправами, язык с винегретом, испеченные со шкурой, бесстыдно разверстые поросята с листком салата в пасти и в заду, батареи спелых томатов. Боевые шеренги артишоков. Выложенные по краям блюд с русским салатом сардины, похожие на водяных танцовщиц в известном фильме "Школа сирен".

Зеленые салаты. Огромные миски со свеклой. Пикули и баклажаны с чесноком. Корзины с лесными орешками, виноградом, изюмом, сушеными персиками, миндалем и грецкими орехами. Башенки из жареного маиса окружали громадное центральное блюдо, где высился купол, вроде собора Святого Петра, из сдобного хлеба — центр и символ аргентинских христианских чувств.

— Покороче, Эчагуэ. Не давай воли своим поэтическим порывам. У тебя всегда была склонность к стилю псалмов.

— Встречали гостей из Буэнос-Айреса, Мар-де-Плата[1] или Кордовы. И все мы бежали за огромными "паккардами", или "бьюиками", или "де сото", когда они проезжали последние ворота, блестя радиаторами, на которых налипли раздавленные бабочки и даже, бывало, какой-нибудь несчастный щегол или коноплянка.

Во время сиесты взрослые — особенно те, кто недавно приехал, — обычно отдыхали в комнатах с высокими потолками и выходом на галерею. Для нас, детей, это был час беготни. Бурные игры в кошки-мышки в глубине сада с кузинами, нянюшками и ворчащими служанками. Мы скручивали сигары из кукурузных листьев и заставляли пяти-шестилетних красоток курить. (Словно рассчитывали на какой-то неведомый нам самим возбуждающий эффект в далеком будущем.)

Под вечер подростки резвились у стены, играли в пелоту (белые рубашки и белые брюки на фоне красной спортивной площадки). Теннисисты без устали колотили по мячу.

В сумерках появлялись одетые к ужину дамы в воздушных платьях с кружевами, мужчины в белых пиджаках и галстуках и собирались вокруг рояля, специально поставленного на галерее. А какие песни пели, помните? "Paris, je t'aime"[2], "Мак", "Коварство", "Валентина".

Эчагуэ налил себе еще одну основательную порцию виски.

— Но Эрнесто, Эрнесто Гевара...

1. Мар-дель-Плата — курортный городок на берегу Атлантического океана.
2. "Париж, я тебя люблю" (*франц.*).

— Он прекрасно чувствовал себя в этом мире. Это был его мир. Ну, например, вот он в четыре года цепляется за прелестную ножку кузины, которой поручено за ним присматривать. Маленький Тете.

В полночь, когда слышался шум машин, отъезжающих в приходскую церковь к всенощной, чета Гевара оставалась дома. Оба они — особенно Селия, мать Эрнесто, — были критически настроенные интеллектуалы, диссиденты. Они вели себя вызывающе, проповедуя демократические принципы в стране, где словом "демократия" пользуются, чтобы прикрыть им традиционный, генетический, неизменный по сути своей авторитаризм. В стране, где общество всегда чтило только успех и власть. Нет, они не посещали мессу. Они были отчаянные антифранкисты. Но их не принимали всерьез. Считалось, что Селия, которой не удалось выйти замуж за богатого человека, стремилась компенсировать это, утверждая свой авторитет за счет культуры и увлечения политикой. Когда гости возвращались из церкви, Селия легко угадывала, кто там еще был, и высмеивала нелепые наряды местных буржуа, которые в эту ночь сидели рядом со знатными особами.

— Но ничего интересного ты припомнить не можешь? Никаких примечательных историй?

— Нет, ничего такого не помню. Кажется, Эрнесто, когда подрос, помогал какому-то богатому дядюшке де ла Серна держать бумажный шар, пока тот надувался теплым воздухом. Хотя вот! Было кое-что, резко отличавшее Тете от остальных. Мы все привыкли к тому, что то днем, то вечером у Эрнесто случался приступ. Тогда одна из кузин или служанок вбегала в дом с криками, что малыш Тете задыхается.

— Он задыхается, кашляет!

Мать и тетки спешили к нему. Ну ясно, его прохватило вечерней сыростью, или он слишком долго сидел в бассейне.

Его взгляд уже не отвечал на наши тревожные взгляды и возгласы. Мы окружали его, смотрели на него, а он хрипел с полузакрытыми глазами. То был ритуал Приступа. Тете постепенно отдалялся от нас. Уходил в одиночество. Погружался в свою борьбу за сохранение минимального прохода для жизнедающего воздуха. Его относили в постель, делали ему ингаляции — рядом с ним мы видели высокого, неуклюжего Гевару Линча, который сидел у кровати, держа ребенка за руку, и просил нас успокоиться, вернуться к нашим играм — у Эрнесто, мол, это скоро пройдет.

Обычно приступы не были особенно тяжелыми. К ужину Тете появлялся аккуратно причесанный и принимал поздравления, как герой, возвращающийся после очередного подвига.

Но вот заканчивался долгий праздничный вечер. Уже никто больше не ставил пластинки на проигрыватель. Наступала ясная летняя ночь, тетки и кузины, сидя в парке в уютных плетеных креслах и кутаясь в шали, перешептывались, осеняемые таинственным волшебством звездного неба. Их платья фосфоресцировали средь темноты парка. Тете спал, пригревшись на коленях у какой-нибудь jeune fille en fleur[1], счастливо посапывая, положив голову ей на грудь, защищенный этим ни с чем не сравнимым естественным теплом от ночного пространства, от любой опасности.

Его родиной навсегда осталось его детство. Кто это сказал? Фолкнер? Кто написал слова о "моем детстве, моей силе, моем Дворце"? Фолкнер

1. Юная девушка в цвету (*франц.*).

или же я сам в каком-нибудь из моих светских и сугубо интимных псалмов. Тех, которые я никогда не опубликую?

ЭЧАГУЭ ПРОДОЛЖАЕТ, пытаясь определить некую связь, которая ему не вполне ясна. Он погружается в воспоминания детства.

Он вспоминает день на яхте, стоявшей на причале у берега Парана-де-лас-Пальмас[1]. Ему и его другу Эрнесто было по пять лет. Под пологом от москитов укрылась дружная стайка женщин в соломенных шляпах и легких платьях. Девушки из семей Мартинес Кастро, Эчагуэ, Кампос, де ла Серна. Дамы, судачившие о своих поместьях, о родах, о парикмахерских и о поездках в Париж, дамы, которых Селия неизменно ужасала своими выходками.

Селия, мать Эрнесто, явилась туда в закрытом по тогдашней моде купальном костюме (на нем вышита изогнувшаяся в прыжке ныряльщица). На голове у Селии была смешная резиновая шапочка, чтобы не намокли волосы. Не слушая предупреждений, она прыгнула в воду с мостика. Как я уже рассказывал, она поплыла на середину реки, но не смогла удержаться поблизости от стоявшей на якоре яхты. Все встревожились. Эрнесто и я прилипли носами к планширу. Мы слышали взволнованные возгласы. Селию сносило течением. Ее муж Гевара Линч вместе с матросом пытались побыстрее поднять якорь. Потом Линч схватил веревку, привязанную к пробковому спасательному кругу. Дамы в соломенных шляпах иронически и вместе с тем испуганно наблюдали за злоключениями дерзкой амазонки.

Рядом со мной — я это хорошо помню — молча дрожал Эрнесто.

Наконец Селии удалось схватить конец веревки. Бледную, задыхающуюся, в полном изнеможении ее подняли на борт. Быстро укутали полотенцами, но она, прежде чем упасть в кресло, подошла к нам и обняла трепещущего Эрнесто: "Вот видишь? Ничего не случилось".

И он улыбнулся, словно после кошмара его осветило ясное утреннее солнце...

Похожий случай произошел летом 1933 года на Плайя-Гранде в Мардель-Плата, которая теперь уже не та... Хорхе де ла Серна, чемпион по плаванию, вздумал поплавать, несмотря на запретительный красный флажок. (Он улыбался, выражая презрение к любым полицейским и любым штрафам, раздутый от самоуверенности, как и положено истинному мачо.)

Словно отвечая на безумный вызов, брошенный в ее лице всем представительницам женского пола, Селия решила не уступать ему в дерзости и упрямстве. Она натянула резиновую шапочку и тоже бросилась в воду.

И снова стояли мы рядом, Эрнесто и я, вероятно уже предчувствуя, что сумасшедшая затея добром не кончится. Вздымались гигантские волны. Потом катились прочь от берега, и остальные купальщики не решались войти в воду. Стояли на отмели и спорили. Собралась целая толпа, возмущаясь безумной парой.

Конечно, я и в тот раз обнял Эрнесто за плечи, словно в ожидании развязки. Он напряженно смотрел темными, ярко блестевшими глазами на белую точку — резиновую шапочку Селии, которая то появлялась, то исчезала, как легкий поплавок на леске.

1. Парана-де-лас-Пальмас — приток аргентинской реки Парана.

Этот ужас продолжался двадцать минут. Хорхе де ла Серна помог Селии, и крепкие руки других пловцов поддержали их, когда они выходили на берег.

Эрнесто задыхался. И снова, прежде чем упасть в изнеможении, Селия подошла к Эрнесто и крепко его обняла.

С той поры я заподозрил, что между ними двоими идет какая-то варварская тайная игра, игра со смертью. Кажется, это Рильке говорил о культуре защищенности и культуре риска?

Отринуть защищенность, подобно чайке в бурю.

Педагогика с уроками смерти и риска?

Помнится, однажды она сказала: "Смерть – вроде дикой собаки. Она боится того, кто смело идет ей навстречу, и убегает, поджавши хвост. Она кусает только тогда, когда чувствует, что ее боятся. Ясно?"

РАССКАЗЫВАЕТ БЫВШИЙ ТОВАРИЩ ЭРНЕСТО ПО ПОХОДУ В КОНГО. ГАВАНА, 1995. Видите ли, мне кажется, что авантюра в Конго стала для Эрнесто Гевары, захваченного своими героическими идеями, истинным прозрением. Здесь, на Кубе, связанные с этим архивные материалы рассекретили только совсем недавно.

Быть может, до самого последнего момента, до отступления к озеру Танганьика, Гевара и впрямь думал, что все люди на свете в основном руководствуются одними и теми же желаниями и мотивами. Гевара прибыл в Конго убежденным интернационалистом, экуменистом, "глобалистом" от революции, твердо усвоившим марксистско-ленинскую схему.

Кастро не удалось укротить авантюрные порывы Гевары, одержимого идеей реальности достижения абсолюта. Думаю, что они после ожесточенных споров пришли, так сказать, к джентльменскому соглашению, примирив государственный резон и революционное донкихотство. (Уже начиная с Сьерра-Маэстры Гевара, молодой новообращенный аристократ, оправдывал любые крайности, ссылаясь на марксистскую этику. "Если ты не идешь до конца, то оказываешься потом снова в пустоте", – слышал я не раз из его уст.)

Был заключен договор: "Я тебя поддерживаю, пока твои действия не будут бросать тень на Кубу. Ты отправляешься с неким контингентом в Конго, отправляешься тайно и занимаешься там в основном тренировкой своих людей, не драматизируя то, что там происходит, так как тамошние настроения нам не вполне ясны"...

В Конго Геваре пришлось разочароваться в своих философских построениях. Вспоминаю одну из первых его "стратегических" бесед с конголезским командиром, "генералом Ламбертом". Это был здоровенный, нескладный детина, напоминавший духа гаитянского культа вуду, но во французском кепи и со звездами, которыми обозначался его весьма сомнительный чин. Он доложил о расположении и уровне боеспособности своих пехотных частей. Гевара, выслушав его, спросил: "А какая у вас противовоздушная защита? Имеется ли легкая артиллерия, ракеты?" – "Нет, этого нет. Но перед атакой бельгийцев и правительственных войск хороший результат дает "дава". У нас почти не бывает потерь..."

На лице Гевары выразилось явное огорчение. Они верили в колдунов "муганга" как в стратегический фактор. Колдуны им варили защитное питье.

Когда они чувствовали, что "дава" сильная и чистая, они без прикрытия с криками выходили из джунглей. Иногда разбивали противника и

торжествовали победу. Или же их сметали ураганным огнем бельгийские пулеметы. Бывало, они занимали главенствующую позицию, но если им казалось, что "дава" не подействовала из-за козней злых духов или была неправильно приготовлена колдунами, они покидали эту позицию, бросали оружие и, дрожа от страха, скрывались в джунглях.

Вообразите себе Гевару с его аргентинской интеллектуальной спесью. Мог ли он включить в свою стратегию "фактор колдовства"?

Он никогда об этом не сказал открыто, даже в горестном последнем отчете, который надиктовал, прячась в мансарде кубинского посольства в Дар-эс-Саламе. Однако в Конго стена колдовства его остановила. Это было поражение западного ума, натолкнувшегося на неодолимый рубеж. Вся марксистская мысль страдает тем же — отсутствием метафизической и даже поэтической проекции. Это ее ахиллесова пята. Мне приятно говорить это вам именно здесь, в Гаване. Какая связь существует между мертвенно-серым языком газеты "Гранма" и здешним народом, отплясывающим румбу и упрямо верящим в колдовство?

В лагерях Конго Гевара пережил дни растерянности и депрессии. (И это была растерянность наивного человека, осмелюсь сказать...) Он проводил долгие часы в одиночестве, прячась от суеты и криков этих людей. Он читал и курил трубку. Размышлял, уставившись в облака.

А вокруг — споры, племенные песни конголезцев, яростные ливни, вынуждавшие сидеть под брезентовым навесом.

Все началось плохо. Уже с 20 июня, когда он получил известие о смерти матери в Буэнос-Айресе... Она была его сообщницей, его подругой. Была ему и матерью и отцом, а он для нее был ее настоящим мужчиной, больше, чем когда-то муж. Эта весть, пришедшая в самом начале похода, прозвучала зловещим предзнаменованием в ночи, знаком беды.

Порой в самые трудные минуты военной кампании бывает ощущение тайной радости. Радости войны, сознание, что ты в гуще опасного приключения. Это сознание объединяет мужчин. Оно дает почти праздничное настроение. Тут есть поэзия войны, риска, воинской доблести, мужества. В Конго он этого не испытал ни разу. Диктуя свой последний отчет, он придает ему элегический тон. Парня, который пишет под его диктовку в тесной квартире посла Рибальты в Дар-эс-Саламе, зовут Калеман Феррер. Это хроника печальных событий. Гевара винит себя в том, что держался особняком в пестром экзотическом отряде, терпевшем сплошные неудачи — одно поражение за другим, совершавшем одну ошибку за другой.

Он упорно повторял: да, он не сумел зажечь энтузиазм, радость, снискать милость богов. В прежние времена, например в Сьерра-Маэстре, они бы только смеялись, что едят волокнистое мясо зародышей гиппопотама, или поджаренных на сковороде обезьян, или салат из цветов и бабочек, который дочка муганги подала проголодавшемуся Геваре как вкуснейшее, изысканное блюдо. Бывает война как праздник смерти и жизни и бывает такая, как тут, — война в грязных, унылых окопах...

Да, поэзия войны не озарила их тут ни разу. Колдовство и мрак джунглей взяли верх над марксизмом-ленинизмом, который он иногда с указкой в руке пытался объяснить на французском языке отряду негров.

Джунгли духовно подавляют западных людей свирепым автоматизмом чередования жизнь — смерть — жизнь. Разум и предназначение человека становятся нелепыми величинами, незначительными величинами среди растительного ритма джунглей.

Вдобавок укусы всякой нечисти, черви, вонзающиеся в кожу, ядовитые мухи, залезающие в волосы. В своей палатке он лежал один и курил, всегда с раскрытой книгой на груди. Заметьте, что уже в сентябре, когда не прошло и месяца с начала их отступления, он находит время попросить в шифрованной телеграмме, чтобы ему прислали "Илиаду" и "Одиссею". Пришлось кому-то пошарить по книжным магазинам Испании. Как бы то ни было, книги прислали, и я присутствовал, когда он вскрыл пакет и с наслаждением погладил оба томика. Он принадлежал к числу тех людей, которые черпают силу для грез в книгах, подобно Дон Кихоту, если угодно...

Вот так. После завершения всего этого дела он, страшно исхудавший, добрался до берега, где Лоутон фактически насильно спас его — вместе с любимой собакой Симбой, трубкой и плетенной из тростника корзиной, набитой книгами. Когда мы, взволнованные, прощались, так как он отправлялся в Дар-эс-Салам, ничего другого не пришло ему на ум, как потребовать у нас клятву верности, обещание продолжать революционную борьбу: "Мы продолжаем идти вперед. Вы готовы к дальнейшим боям?" — "В любом месте", — сказали мы.

Мы знали, что его гордость уязвлена. Он не хотел вот так возвращаться в Гавану. Возвращаться "побежденным в отчий дом", как говорится в танго, которое он иногда напевал. Возвращаться без победы — это было не для него.

Целую неделю он писал хронику войны в Конго. Фидель, этот всепонимающий отец, сделал так, что в Дар-эс-Салам к нему приехала Алейда.

Она заменила ему мать. Она его купала, лечила ему раны, говорила с ним о детях, готовила еду из продуктов, которые добряк Рибальта покупал в дипломатическом магазине.

Кастро отлично понимал, насколько Гевара нуждался в Алейде в этот критический период. Знал, что он будет часами лежать в теплой ванне, читая ей стихи Бодлера, Нерваля, Мачадо, Леона Фелипе. Она будет ему намыливать ступни и массировать костлявые ноги. Неутомимые, натруженные, безотказные ноги воина.

Но в Гавану он не хотел возвращаться. Фидель публично зачитал его отказ от всех постов и от кубинского гражданства...

И тогда было решено отправить его в Прагу. С Кубы туда поехал Эдди Суньоль, чтобы подготовить появление Рауля Васкеса Рохаса, Рамона Бенитеса и еще одного персонажа — Адольфо Мены.

Но Эрнесто уже познал поражение и силу колдовства. Прежде всего — силу колдовства. Потому что до той поры он путешествовал только между Камю и марксизмом-ленинизмом, каким тот представал на собраниях партийной ячейки, в рассуждениях перуанских эмигрантов, полуголодных преподавателей, в общем, всяческих изгнанников...

НАБЛЮДАЮ И ЗАПИСЫВАЮ В МОЕЙ "ПРАЖСКОЙ ТЕТРАДИ". Росевинка с удовольствием беседует с Васкесом Рохасом. Вчера они вместе вышли погулять. Он попросил ее поработать его гидом. Росевинка чувствует, что может свободно разговаривать с этим западным господином, совершенно далеким от идей социализма. Росевинка спрашивает, есть ли у него дети.

— Да, двое. Сын учится в Мадриде, дочка живет с матерью в Монтевидео, у меня там магазин по продаже дерева.

— И как у них дела? — спрашивает Росевинка.

— Сын уже взрослый. Но живет как-то не так. Он из тех юнцов, которые ни во что не верят. Целый день носится по городу на мотоцикле в шапке канадского зимовщика с лисьим хвостом. Слушает музыку, так, всякие глупости... Он не такой, как здешняя молодежь.

— А какая она, на ваш взгляд, здешняя молодежь?

— Хорошая. Мне кажется, она воодушевлена социалистическими идеалами, построением социализма...

— Построением социализма? — Росевинка смеется. — Вот забавно!..

Они встретились в "Славии". Васкес Рохас, который, согласно придуманной для меня легенде, немного глуповат, щеголяет в шляпе отнюдь не в стиле Гарделя[1], а с ровными полями, и надвинута она низко на лоб. Серый костюм, пиджак застегнут на все три пуговицы, и тяжеленное пальто на случай снегопада. Чтобы не поскользнуться — галоши. Росевинка то и дело предупреждает: "Ост орожно!", она боится, что в этот сырой зимний вечер он, даром что в огромных очках, может не заметить лед.

Когда на подъеме Малостранской улицы она его опережает, не Васкес Рохас, а уже Гевара внимательно осматривает ее сзади: худенькая, однако бедра красивые, ноги длинные. Это можно угадать даже под пальто. Подстрижена коротко, под мальчика, черты лица очень гармоничные и взгляд чуть-чуть сонный, "рыбий", как говорили о Грете Гарбо.

— Вначале я поведу вас по улицам Кафки, — говорит она.

— "Замок" я так и не смог до конца понять. Как и "Процесс".

— Вы их прочитали?

Васкес Рохас/де ла Серна вспоминает, как он лежал в гамаке на балконе с чугунной решеткой на улице Араос. Ему чудится шелест страниц, которые треплет бриз, летящий от высоких платанов с улицы Парагвай и даже с улицы Каннинг. Летняя сиеста. Чтение книг в Буэнос-Айресе. Ностальгия по этому бесподобному городу.

— Книги оставляют свой след. Во мне книги Кафки оставили какую-то тревожную ноту, и я не мог понять почему. Что-то крайне неприятное, мне не свойственное, не в моем характере.

— Это описание бессмысленности жизни, а не ее смысла, если бы таковой у жизни и был... Если бы вы, сеньор Васкес, пожили здесь, вы бы прекрасно поняли направление его мыслей... Все кажется организованным, рациональным, однако жизнь здесь — сплошной абсурд. Вы помните К.? Как бы он хотел подняться, как мы, к замку по Нерудовой улице! Кажется, это так легко, а вот для кого-то оказалось невозможным!

Великолепие Праги, ее красота в жемчужном, холодном сумеречном воздухе. Фасад Тынского храма. Дворец Морзин. Камеи, забытые на чердаке исчезнувшей империи.

Росевинка сообщает Васкесу Рохасу исторические подробности, рассказывает о знаменитой дефенестрации[2]. Об иллюзиях мятежных героев, вроде грозного Валленштейна[3].

Когда они, чтобы согреться, пили кофе, Росевинка четко связала чувство абсурда у Кафки с мыслями сегодняшних молодых чехов:

1. Карлос Гардель (1909—1935) — знаменитый аргентинский певец танго.
2. Дефенестрация (от *лат.* Fenestra — окно). В 1618 г. в разгар борьбы протестантов с католиками чешские протестанты против несправедливого отношения к ним императора Матвея (1612—1619) выбросили его советников из окна дворца в крепостной ров.
3. Альбрехт Валленштейн (1583—1634) — полководец, главнокомандующий императорским войском в Тридцатилетней войне (1618—1648). Герой одноименной трилогии Ф. Шиллера.

— Если вы мне не верите, можете сходить вечером в какое-нибудь кафе, где молодежь слушает джаз... Все они желают одного — чтобы это кончилось, изменилось. Есть группа, которая мечтает о "социализме с человеческим лицом". Но...

— И все же, на взгляд иностранца, вроде меня, здесь у всех есть работа, есть возможности приобщиться к культуре. Однако я настаиваю: самое важное то, что это шаг в построении нового мира, новый момент Истории. Капитализм — агонизирующая несправедливость...

— Мне кажется, сеньор Васкес Рохас, что, если бы вы знали социализм изнутри, вы бы так не рассуждали! Это такая скука, все серое, безжизненное. Это лицемерное, жестокое общество, верьте мне. Возможно, что вы, живя в достатке между Испанией и Уругваем, видите действительность в романтическом свете. Но тут все внутри источено червями, как те балки, которые кажутся прочными и рассыпаются в прах одна за другой...

Когда они спустились с Замковой горы, Васкес Рохас предложил Росевинке что-нибудь поесть.

— Не возражаю. Вы очень любезны. Я хочу вам показать "Зеленую лягушку" — это винный погребок, существующий еще со Средних веков.

Погребок оказался совсем рядом со Староместской площадью. Сводчатый зал с деревянными лавками, сельские кувшины и прочие драгоценные, но неудобные вещи. Мы пьем вино и едим бутерброды с пражской ветчиной. Росевинка иногда поглядывает на Васкеса Рохаса. Поглядывает с симпатией. В душе (мой единственный выход вовне — глаза) я могу подтвердить — да, от нее исходит некий ток любопытства и нежности.

— Значит, ваш сын ничего не делает?

— Ну, не совсем, кое-что он делает — ходит на курсы. Но его довели до идиотизма музыка, мотоцикл, футбол.

— Он читает?

— Нет. Молодые теперь не читают, чтение в упадке. Их ничего не интересует. Настал цикл духовной пустоты... Меня удивляет, что здесь везде продаются книги, на каждом углу.

Росевинка объясняет Васкесу Рохасу: это заведение, этот погребок, славится тем, что он был единственным, куда мог ходить пражский палач.

— Палач был человеком, пользовавшимся почтением у наших предков. Его уважали, как уважают прокаженных. Некоторые палачи прославились, например Ян Мыдляр, который действовал веревкой. Они жили неплохо: пользовались правом продавать труп казненного анатому. Или продавать в розницу кости как амулеты... Но их сторонились. Хотя они убивали во имя правосудия, народ чуял в них что-то демоническое, что-то разбойничье... Мыдляр и его преемники питались здесь отдельно, вон в той каменной нише со столиком... Еду им подавали через окошко. Интересно, что у всех народов во все времена боялись тех, кто способен решиться на убийство во имя правосудия.

Росевинка на минутку удалилась в уборную, а когда вернулась, Васкеса Рохаса не было. Она обнаружила его в нише палача. Он там сидел выпрямившись, неподвижно, застегнутый на все три пуговицы и в шляпе, надвинутой до бровей.

— Ну и ну! Какое ребячество! — засмеялась Росевинка. — В нашей стране, если кто-нибудь выкидывает такие фортели, вызывают тайную полицию. Вас сошлют в Сибирь!

— Не сердитесь. Вы, может, не поверите, но это местечко мне вполне подходит.

ГОВОРИТ ПОМБО: Я ДУМАЛ, У НЕГО НАЗНАЧЕНА ВСТРЕЧА С КАКОЙ-НИБУДЬ ЖЕНЩИНОЙ. Он сказал Улисесу и мне, что на два-три дня переселится в отель для проведения встреч, организованных с Кубы, но я в это не поверил. Я получил приказ от команданте следить за ним и охранять "даже против его воли". Он сам уложил в чемоданчик пару-другую белья на смену, и рано утром я услышал, что он одевается. Я притворился, будто сплю. Он всегда старался не будить нас. Когда я услышал стук калитки в саду, я мигом оделся и кинулся к мотоциклу, который служащие посольства предоставили нам для поездок за покупками. Издали я увидел его на стоянке такси — он сел в серую "шкоду". Машина проехала через всю Прагу. Мне пришлось гнать под дождем и в изрядный холод. Я следовал за "шкодой" через реку по Бубенскому проспекту и, когда мы миновали автовокзал, понял, что Гевара направляется к Центральному вокзалу. Я его обогнал, не теряя такси из виду. Он расплатился и со своим чемоданчиком в руке зашел в здание вокзала. Не веря своим глазам, я увидел, что он садится на поезд, направляющийся в Демократическую Германию, у которого первая остановка — Дрезден.

Было поздно что-либо предпринимать. Он сыграл с нами одну из своих шуточек. Мы были всего лишь пешками в его большой игре. Что затевалось в Восточной Германии?

Мне пришлось под тем же дождем покорно возвращаться назад, я очень хотел бы с кем-нибудь обсудить странный поступок Че. Но мешали запреты: если ты был "человеком Че", тебе следовало помалкивать. Даже с Улисесом я не мог поговорить на эту тему. Может показаться нелепостью, но все было именно так. Че нам говорил: "В этой Праге больше врагов, чем в сьерре или в джунглях. Мы с вами мобилизованы, и я требую от вас строжайшей дисциплины". Он всех нас держал в кулаке.

Через два дня он появился, ничего не рассказывая, словно все это время тихо писал или читал в каком-нибудь номере "Парижа" или "Европы".

ВЛАСЕК СОГЛАСИЛСЯ С МОИМИ ПОДОЗРЕНИЯМИ. Если вы намерены проследить передвижения Гевары по Праге, вам надо обзавестись мощным мотоциклом, чтобы проехать из конца в конец извилистый маршрут его сложной жизни. То, что вам рассказал в Гаване его телохранитель, — чистая правда: даже их он ставил в тупик своими выходками. Гевара посвятил себя, так сказать, "окольной" дипломатии, сугубо личной, связываясь со всеми, в ком он чувствовал страсть к революционной деятельности — или тоску по ней. Это относилось к Чжоу Эньлаю и Тане, Бен Белле и Насеру, даже к Бустосу и Дебре. Он переживал одно разочарование за другим. Но, несомненно, хотел создать "свою" сеть. Телохранитель, который гнал за ним на мотоцикле по улицам Праги до Центрального вокзала, вероятно, мчался рядом с нашей "волгой", потому что мы тоже следовали за Геварой, тоже не понимая его намерений. Нам было ясно одно: когда он пересечет грани-

цу Восточной Германии, мы уже ничего не узнаем о его действиях там, потому что в ГДР все контролировал Вольф, он безусловно все держал в своих руках, настоящий начальник, главный специалист по шпионажу в советском блоке. (Если хотите и если вы любите читать Джона Ле Карре, назовем его Карл...)

И тут возникает вопрос — какого черта ему понадобился Вольф? Что могло их объединять, какой заговор замыслили они вместе с этим холодным, талантливым змеем-искусителем?

— Неужели он надеялся, что привычные к строю, но только к своему строю, восточные немцы согласятся участвовать в его авантюрах?

— Этого нам не узнать. Я вполне допускаю, что они вместе с Вольфом/Карлом предвидели гибель советского коммунизма, когда еще никто об этом и подумать не мог... Но мы представляли себе совсем другие цели — что-либо связанное с Таней. Таню (Гайде Тамару Бунке Видер) завербовала или вовлекла в свое дело именно германская спецслужба. Это была хорошенькая аргентинка немецкого происхождения, двадцати двух лет, с которой Гевара познакомился в 1961 году во время одной официальной поездки. Она работала устной переводчицей. В ту эпоху он, видимо, еще не превратился в Савонаролу, осуждавшего царящую на Кубе вольность нравов... И именно по его настоянию ее послали на Кубу. Через три года, в 1964 году, когда она уже стала настоящим агентом, вышколенным шефом кубинских разведчиков Пиньейро, Гевара ее привлек к работе в Боливии и Аргентине. Он находил у нее большие способности к общению с людьми. Но она была безрассудной и не вполне контролируемой.

— В каком смысле?

— В том, что касалось ее бурной сексуальной жизни. Ведь эротика, распутство и шпионаж были всегда тесно связаны, задолго до Мата Хари... Но вернемся к сути вопроса: Гевара, живя в Праге, знал, что ему надо задействовать совершенно особого агента. Знаете, почему мы подумали, что он едет в Восточную Германию ради встречи с Вольфом?

— Понятия не имею.

— Тут оказался замешан мой берлинский друг Гюнтер Маннель. Он, как и я, был причастен к латиноамериканским делам, но, естественно, находясь в Берлине, под началом Вольфа. В 1961 году, вскоре после того как Таню по просьбе Гевары подготовили к отправке на Кубу в качестве переводчицы, моему другу Маннелю вздумалось "перейти на Запад" — он попал на крючок очаровательной блондинки из ЦРУ. Этакое приятное предательство, момент прозрения.

Таким образом, Маннель мог легко разоблачить Таню перед ЦРУ. Тут не оставалось иного решения, как удалить ее с Кубы и забыть о плане заслать в Боливию и Аргентину. Именно так следовало поступить, руководствуясь правилами этой древней и презираемой профессии.

Если бы речь шла о другом агенте, Гевара поступил бы, как велит поступать в подобных случаях наш суровый кодекс; но тут он, как всегда, предпочел более опасный путь. Вот почему мы с коллегами из наших органов подумали, что единственной целью встречи с Вольфом было желание просить его о гарантиях и, возможно, о строгом контроле за положением агента Тани, Тамары Бунке, которая действовала в Боливии под именем Лауры Гутьеррес.

Мне представляется, что Гевара просил Вольфа подключить к делу своих внедренных в ЦРУ агентов или их сотрудников, которые на него

работали. Геваре была необходима полная гарантия. Тане поручили вербовать людей для поддержки повстанцев (городская стратегическая сеть). Кроме того, она знала надежные явки, убежища и способы связи с боливийскими коммунистами... Я вижу, вы смотрите на меня очень серьезно...

— Действительно, если я правильно понимаю ваши слова, Гевара шел на крайний риск, на риск, простительный только новичку...

— Он легко шел на риск, он, видно, полностью положился на Вольфа, наверное, чрезвычайно доверял этому незаурядному человеку.

— Вероятно, Вольф во время тайной поездки Гевары в Панков дал ему полные гарантии...

— Допустим, что так, сеньор Поссе. Гевара, со своей стороны, должно быть, предложил для контроля за Таней Мерси и другого опытного агента (разумеется, в 1966 году мы об этом ничего не знали, а узнали только много позже). Но тут у меня возникает вопрос: а если бы Вольф ошибся, или был обманут, или "захотел бы" ошибиться? Нас ждал бы полный провал, не так ли? Ведь не надо быть чрезмерным пессимистом, чтобы предположить, что, когда Гевара выезжал из Праги, ЦРУ уже знало обо всех возможных акциях в Боливии... Короче, что, садясь на поезд в Праге, Гевара уже был мертв, проведя несколько месяцев в одиночестве, готовясь к походу в Боливию, который для него был по сути началом битвы за Аргентину... Такой вариант тоже надо учитывать. Правда, я в него не верю.

— Он был человек сентиментальный, — сказал Власек, осторожно доливая воду в черную по-сибирски заварку. Как и в прошлый раз, мы сидели на кухне. Кот наслаждался нашей беседой. Он устроился в плетеном кресле, поблизости от печурки, на которой постоянно грелся огромный алюминиевый чайник. — Но почему-то обычно мы больше симпатизируем людям сентиментальным...

— А по-вашему, что он должен был сделать? — спросил я.

И Власек ответил:

— В нашей старой коминтерновской школе не возникло бы никаких сомнений: Гевара должен был приказать ликвидировать Таню (другого способа не существовало, так как она знала всех главных действующих лиц и все тайные явки боливийской сети). А что сделали бы вы, сеньор Поссе? Было бы глупо предположить, что мой друг Гюнтер Маннель (у которого теперь другое лицо благодаря косметической операции, и он, по слухам, работает управляющим в гольф-клубе в Оклахоме) не включил Таню в список агентов, проданных ЦРУ... Как вы думаете? Но я вам уже сказал, Гевара был человек сентиментальный. Разве мог он приказать убить очаровательную Таню? Он был, извините, аргентинец, человек, воспитанный на культуре танго, на глубокой меланхолии танго. А это вершина сентиментальности, которая мешает совершать некоторые поступки, даже в сугубо профессиональной сфере. Уж вы меня извините...

ГОВОРИТ ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. Жизнь в Праге была довольно однообразной. Кто-то подумает, что сам факт жизни в подполье вместе с команданте Геварой мог содействовать сближению. Ничего подобного. Напротив, чем ближе мы соприкасались, тем больше он от нас отдалялся. Когда мы выходили в сад, где, по нашему мнению, не было "жучков",

он давал нам разъяснения и приказывал, кому чем заняться. Было нас трое или четверо, потому что иногда кого-то посылали куда-нибудь в качестве нарочного.

Мне он приказал говорить ему "ты" и называть Рамоном. Это мне никак не удавалось, и я по нескольку раз в день ненароком говорил ему "вы" и называл "команданте". Мы были разбиты на две группы. Одна пара готовила еду, другая делала уборку – по очереди. Он потребовал, чтобы и ему давали работу, как всем.

Он стал прибавлять в весе. Как-то утром, во время завтрака, он сказал: "Мы физически раскисли. Надо начать тренироваться, готовиться. Сперва не слишком интенсивно, потом без поблажек. Начнем с зарядки в саду. Надо поставить турник. Потом сделаем лесенку. Будем ходить в походы". – "Но, команданте... извините, Рамон, это же безумие. Тебе надо посоветоваться с профессором, который тебя лечит... Извините, команданте, но я должен вам это сказать... Думаю, здесь все того же мнения". – "Я учту твое замечание. Но пока будем действовать, как я сказал. Начинаем завтра в восемь утра".

У нас был никуда не годный проигрыватель и две пластинки – одна с "Битлз", другая с Мириам Макеба. Жили мы хуже, чем в военном лагере, – жесткие койки, несколько стульев и голый стол.

Он устроил себе уголок вроде письменного стола. Поставил лампу с пластмассовым абажуром. Он как раз заканчивал писать книгу по экономике. (В Гаване Боррего собирал все его рукописи.) Меня это тревожило. Товарищам я ничего не говорил, но у меня появилось чувство, что команданте готовится к большому делу. Мы знали, что в один прекрасный день он вдруг нам заявит: "Завтра уезжаем", и придется следовать за ним.

Служившая в посольстве женщина два раза в неделю приносила нам продукты и наводила порядок. В полдень мы часто выходили на прогулку (иногда по пятнадцать километров). Заходили пообедать в какой-нибудь ресторанчик или в рабочую столовую. Тут можно было ненадолго расслабиться, пошутить. Одна из официанток вроде бы даже влюбилась в Улисеса. Поставит ему тарелку и ласково потреплет по голове. Мы позволяли себе кое-какие вольности. Он в этом не участвовал, но смотрел сквозь пальцы. Другое дело во время военных походов: там это могло стоить жизни, как случилось в Конго с нашим парнем, который обрюхатил конголезскую негритяночку. Команданте ясно сказал: тот, кто это сделал, должен на ней жениться по закону и остаться с ней жить навсегда. Но парень был женат, имел сына в Камагуэе[1], и он застрелился. Нашли его мертвым в луже крови...

Однажды, надевая походную куртку и ботинки на шнуровке, он указал мне на костюм Васкеса Рохаса: "Взгляни: вот "приличный костюм", бессмысленная норма... Вот нормальная жизнь!"

Пиджак и жилет висели на спинке стула. Брюки были сложены на сиденье, на них покоилась шляпа. У стула – пара "благопристойных туфель", как он говорил.

Казалось, он радуется, что освободился от наряда, в котором был вынужден ходить по городу. "Теперь мне не хватает только длинных волос, бороды, моей сигары. Как я понимаю Самсона! И смотри, этот Васкес Рохас, такой воспитанный и заурядный, а еще задирает нос!"

1. Камагуэй – город в центральной части Кубы, административный центр одноименной провинции.

Он с удовольствием выходил на нашу импровизированную тренировочную площадку. Бегал, бросался плашмя на землю. Но в Праге слишком холодно и сыро, и по временам мы слышали в его груди звуки, которые он называл мурлыканьем. Предвестье приступа. Однако он старался держаться до последней минуты, до запланированного конца занятий.

За обедом в столовой он говорил откровеннее. (У него была навязчивая идея, что чехи следят за каждым его шагом, чтобы все передавать русским, в КГБ.)

Однажды он завел речь о том, что наша настоящая историческая миссия — развязать войну за Америку, освободить Америку. Куба, дескать, была примером того, что такое возможно. Он сказал, что наши народы — это пересохшее жнивье, ждущее огня, а потом — воды. Огонь освободит, вода оплодотворит. "Стоит зажечь хоть небольшой огонек, жнивье загорается, как загорелась Куба после искры в Сьерра-Маэстре. Америка ждет. В Африке другое положение. Я захотел пойти дальше, чем можно, но Фидель расценил эту акцию как политический вызов, а для нас это был шанс испытать себя... В Америке все будет по-другому".

И тут команданте объяснил нам в общих чертах, что произойдет: "Дело не в том, чтобы разжечь огонь где попало. В Перу это может быть рискованно — там среди наших много шпионов. Надо искать страну с таким географическим положением, чтобы был доступ и в Бразилию и в Аргентину. Вероятно, в этом смысле подойдет Боливия". — Тут он глянул на меня и сказал: "Если уж придется мне умереть, то я хотя бы умру, стоя одной ногой в Аргентине..."

Этот обед нам запомнился — ведь до того мы предполагали разное. А тогда он четко высказал то, о чем прежде говорил более туманно: "Вы должны знать, ребята, что между верностью, которой от вас требуют Куба и Фидель, и вашей преданностью мне нет никакого противоречия. Я просто делаю еще один шаг в таких условиях, когда Куба и Фидель, по государственным соображениям, не могут нарушить определенных международных норм. Противоречия нет, и не верьте клеветникам: Фидель и я — две независимые стороны одной и той же монеты... Вы не должны думать, что, следуя за мной, можете оказаться в оппозиции к Кубе. Знайте, есть особый путь, по которому я должен двигаться совершенно самостоятельно. Это путь, которым не пойдут ни наша спецслужба, ни сам Пиньейро... И цель моя — избежать конфликтов и недоразумений, которые могли бы серьезно повредить Кубе".

Мы подумали, что наша акция скоро начнется, так как беседы за столом все более обрастали точными деталями. Но в них чувствовалось что-то странное, какой-то вызов с его стороны.

"Вам пора понять, что тот вариант советского социализма, который мы видим здесь, в Праге, — это мертвечина. Нам предстоит создать настоящий социализм, которому будет изнутри давать жизнь сам народ... Здешний омертвелый социализм пытается подчинить себе Кубу. Во время Второй мировой войны немцы связывали проволокой живого русского солдата с мертвым. Мертвый, разлагаясь, всегда побеждал живого. Именно это и происходит с нами: самое страшное, что мертвец, прах, разрушает живое тело. Разве мы не ощущаем гибельности этих пут? Но разве может живое тело не бежать мертвечины, не стремиться к спасению? Просто необъяснимо — словно некий демон затягивает мир, человечество в трясину, влечет к самоуничтожению..."

"ФИЛОСОФСКИЕ ЗАМЕТКИ". ПРАГА, 1966. КАФЕ "СЛАВИЯ". Похоже, что я "салао", неудачник, как тот старый рыбак из Кохимара[1] (до того как он вырвал у моря огромную рыбу, рыбу его жизни). Агенты, которых мне поставляют чехи, русские, а может и ЦРУ, — двойные: трудно не распознать это по их бегающему взгляду, который задерживается на тебе на миг дольше, чем надо, как у восточных педерастов.

Мое пребывание в подполье многих раздражает, и в прессе придумывают разные истории моей гибели. Жан Лартеги в "Пари матч" превознес мою бесполезную храбрость — будто я восстал против Фиделя Кастро и был расстрелян, как положено, на рассвете, воскликнув: "Победа впереди!" В североамериканском варианте утверждается, будто мне удалось бежать на авиетке и увезти секретные документы стратегического характера, которые я передал ЦРУ. Или что мне сделали косметическую операцию хирурги (нацисты) и я живу в Лас-Вегасе, предаваясь азартным играм. По вечерам-де я появляюсь там в Парке Цезаря с ослепительной мулаткой (разумеется, несовершеннолетней), чтобы играть в казино на те миллионы, которые мне заплатили. Даже в Аргентине оповестили о моей смерти, не преминув возвратить мне мой социальный статус: "Гибель доктора Эрнесто Гевары де ла Серна... Из старинной семьи..." Неистребимый аргентинский снобизм.

Самая удачная выдумка — про мулатку. А то слишком уж я вжился в образ высоконравственного героя. Катон тропиков... Это меня уже раздражает, особенно как подумаю о своей прежней беспорядочной сексуальной жизни. Демон этики начал искушать меня в Сьерра-Маэстре. Потом я стал издеваться над своей семьей: "Как, и ты будешь есть подаренный тебе шоколад?", "Неужто мы обзаведемся исправным холодильником?", "Пристало ли тебе принимать в подарок от делегации пару итальянских туфель?"

В этом отношении Васкес Рохас/Мена свободней, чем тот, другой, Гевара-герой-геррильеро.

В конце концов ты сам становишься собственной маской. И выбранная мною маска пахнет смертью. Этот персонаж, чувствую, начинает идти своей дорогой и увлекает меня за собой. Так что в итоге я уже и не Васкес Рохас, и не всем известный Гевара де ла Серна.

Когда собираешься писать не что-нибудь, а "философские заметки", чувствуешь себя нелепым выразителем банальностей. На ум приходит самое пустячное. Это напоминает реакцию на запрет кашлять в театре или, когда мы были детьми, непреодолимое искушение засмеяться во время мессы.

Процесс письма и чистая страница — это жандармы, надзиратели и даже убийцы... Мне нравится делать быстрые краткие заметки военного дневника, сидя на стволе дерева или при огоньке светильника, вроде того, который все пытались цапнуть две мои ласковые обезьянки в лагере в Конго. В таких случаях пишешь только самое необходимое — кто погиб и кто ранен. Продвинулись вперед или отступили. Конкретные вещи. "Сегодня убили гиппопотама и ели его жареное мясо, внушая себе, что это говядина..."

В мирной тишине пражского кафе, в томительной скуке серого дня, который проходит за окном, философия требует очень большого усилия.

1. Речь идет о герое повести Э. Хемингуэя "Старик и море".

Если она сама не придет и не найдет тебя, выдавить ее из кончика карандаша невозможно.

Чудесна Прага, когда глядишь на нее из окна "Славии". Оркестр пенсионеров играет "Императорский вальс". Вверху, как у Шагала, паря на ложе из розовощеких облаков, появляется и исчезает замок.

Озябшие лебеди стройной чередой плывут к Карлову мосту. Кое-где чайка, усевшись на кусок льда из последних зимних запасов, дрейфует по течению.

Близятся сумерки, когда зажигаются первые огни, когда Прага начинает трудно дышать. Потому что Прага тоже больна астмой.

Я начал еще одно письмо Тите Инфанте (некоторые я посылаю, большинство остается в черновой тетради как фрагменты постоянного диалога). Тита там, в Буэнос-Айресе, со своей сумкой и медицинскими инструментами еще делает последний обход в клинической больнице. Тита не красавица. Не чарует блеском. Обожает дерзость, движение. По четвергам неизбежно ходит на собрания ячейки Коммунистической партии, всегда происходящие в разных местах, словно речь идет о спасении от неотступного преследователя. Тита влюбленная, у которой никогда не было любовника. Или она еще верит, что у нее наконец-то появится этот воспетый Нерудой парень: "Люблю любовь моряков — они целуют и уходят".

Тита, ее письмо... и фраза: "Мой друг, моя любовь к Вам, Эрнесто, и дружба никогда не ведали колебаний. Я знаю, что Вы среди нас. Знаю, что когда-нибудь где-нибудь я смогу Вас увидеть".

Вот письмо, которое я и сам не знаю, по какому космическому адресу послать:

"Дорогой друг! Я часто вспоминаю наши долгие беседы в Буэнос-Айресе. Я всегда питал к Вам особое уважение — держась, правда, на отдалении. Быть может, меня сковывало то, что Вы являетесь дисциплинированным членом Коммунистической партии. Эта организация казалась мне легендарной, и в те годы, когда я заканчивал свое медицинское обучение, я был очень далек от тайн марксизма, в которых Вы разбирались со спокойной уверенностью посвященной. Потом, став старше и фактически под дулом пистолета, я превратился в последовательного осквернителя марксизма. Я даже управлял ключевым министерством — министерством промышленности.

Вообразите себе, как ужасно было бы для Гиольди, Рубенса Искаро или Араоса Альфаро узнать, что только ради того, чтобы воевать в горах карибского острова с автоматом в руке, как полагается мужчине, у которого все что надо на месте (извините, Тита, мою обычную грубость), я занял в мировом коммунизме такое место, о каком они и не мечтают. Их коммунизм — это коммунизм старых баб (вечно трепещущих перед дубинкой очередного военного правителя). Чванливый, умозрительный и схоластический коммунизм аргентинских интеллектуалов, всех тех, кого мы с Фиделем практически вышвырнули с Кубы, настолько они нам осточертели своими попытками учить нас революции... Но Вы, Тита, Вы другая и Вы знаете, как глубоко я Вас уважаю. Однако мой случай — наглядное доказательство того, что Революция — это действие, а не интеллектуальные конструкции или мечты.

Всякий раз, когда пишу Вам, я отвлекаюсь, теряю нить и начинаю нести всякую чушь. А я хотел Вам сказать, что здесь, в Праге, где я восстанавливаю силы после военных неудач в Конго, я могу ежедневно наблю-

дать социализм, которого мы отнюдь не желаем. В этом великолепном городе — наряду с Венецией и Парижем самом красивом в мире — люди кажутся серыми тенями с бегающим взглядом, как у испуганных, вечно настороженных птиц. Здесь царят неодолимое уныние и скрытое недовольство. Ни единого знака внимания, никто тебе не скажет "Добрый день", когда входишь в лавку. (В этом, надо признать, Куба являет собой революцию в революции. Там порыв любви, латинской живости, правда при огромном недостатке трудолюбия и серьезности, — по крайней мере, там жизнь похожа на ароматный кофе с местным сахаром — белым и хрустящим на ладони, как снег.)

Здесь везде господствует серость. По улицам ходят люди, проклинающие свою судьбу. Вообразите, Тита, что́ это означает для меня: с теоретической точки зрения мне кажется очень разумной непреклонность, с какой Чехословакия и Восточная Германия насаждают дух коллективизма. Если бы я здесь правил, я бы поступал точно так же!

Наши "южане" часто обзывают меня сталинистом — за то, что я применяю к ним строгость и дисциплину, которые им не по нраву.

По этим моим мыслям Вы можете понять, какие противоречия и сомнения одолевают меня. Советским и чешским правителям удалось замазать радостный красный цвет коммунизма липкой серой слизью, смесью страха и бюрократии, так что никто не слышит голоса революционной поэзии. И я, теоретически, одобрил бы это! Кое-кто на Кубе называет меня "пруссаком"! Как будто нельзя научиться избегать крайностей, найти нечто среднее между разболтанностью и казарменной дисциплиной, которая в конце концов превращает людей в детей, вечно зависимых от начальства.

Попробую описать сегодняшние события. Один из моих людей отправился купить мяса: его выводят из очереди "до прихода заведующего". На улице Индрижшской на остановке у старушки упал кошелек. Пока она собирала монеты, кондуктор подъезжающего трамвая истерически трезвонил. Перепуганная старушка так и оставила на земле несколько монеток. И тут подходят полицейские и тоже на нее кричат. Словом, стоит ли продолжать? Гёте говорил: в минимальной точке микрокосма вмещается максимум макрокосма...

Но Вы же понимаете, Тита, что нынче я стою на командном посту. Мне нельзя прятаться за теориями и рассуждениями. Я теперь среди тех, кто должен принимать решения. И я без конца спрашиваю себя: уверен ли ты, что это тот мир, который ты хотел бы построить? Наверняка нет.

Тита, сейчас я уже покидаю кафе, покидаю письмо, прекращаю на сегодня наш постоянный диалог. В душе я всегда опасался Ваших бездн, Тита. Мне всегда хотелось внушить Вам то, что мы, возвращаясь из клиники по авениде Кордова, называли "моей материалистической и грубоватой любовью к жизни". Но Ваши бездны, эти внутренние чудовища — они грызут Вас, ведут Вас к гибели. Вы мне говорите: "Я была мертвецом среди живых. Мои личные трудности все возрастали, пока не довели меня до края настоящей болезни — до состояния безумия, отчаяния, которое опутало меня своими сетями, угрожая моему физическому, моральному и даже умственному состоянию".

О, ужасная Тита со всеми Вашими безднами, — оставайтесь там, где жизнь, сопротивляйтесь. Это Вы посвятили меня в марксистский орден, как бы введя в мир геометрии, рациональности, где бьет источник чистой и истинной жизни. Смелей, Тита! Вперед! Ваш друг Эрнесто".

КРАЙНОСТЬ. Наглость тех, кто всегда жил во Дворце смерти, безмерна. В каком-то смысле им все нипочем: они выросли в темных коридорах, удивляясь каждому проблеску света или неожиданной двери в конце. С детства они приучились терпеть. Они испытали ужасный миг, когда жизнь держится на тонком волоске воздуха. На серебряном волоске.

Отец часами держал меня за руку, сидя на краю моей кровати. В полутьме я измерял его страх по блеску глаз. Я старался его успокоить. Я лгал ему, но обманывать было нелегко. Иногда я поворачивался на постели лицом к стене и говорил: "Уже прошло". Через день или два я возвращался в школу. Как объяснить пережитое? Как рассказать о Дворце? Ты несешь страшное бремя отличия. Нас всегда будет что-то отделять от здоровых людей.

Тот Дворец – школа вождей. Это разумеется само собой. Нам всегда будет суждено ждать других, мы всегда будем разочарованы вялостью и медлительностью здоровых. Ужасная судьба: нам все будет стоить вдвое дороже. Подняться на гору, доиграть до конца футбольный матч, доплыть до борта в бассейне. Нас постоянно будет преследовать искушение – плюнуть на все. Или идти до конца. До "конца".

Люди здоровые – по сути своей консерваторы. Здоровые не думают о смерти. Они живут годами, не сознавая себя смертными. Для них болезнь и смерть – это всегда неожиданный и бестактный сюрприз. У них нет проблемы со временем, они думают и чувствуют, что оно у них никогда не кончится. А другие, те, перед кем стоит призрак смерти, способны на любой риск. Они-то знают, сколь преходяще и эфемерно их время. И мир для них так же недолговечен, поэтому они безоглядно идут на самые отчаянные выходки. Их всегда будет манить край балкона, нависшего над бездной, над концом конца, над абсолютом. Будь то конфликт из-за советских ракет на Кубе или попытка создать социализм для нового человека, который будет способен усвоить необходимые этические нормы.

Этот тип "не щадящих себя" в высшей степени опасен для общества. Они нетерпеливы и весьма заносчивы. Они кичатся своей способностью дойти до предельной точки. Они знают, что только они бодрствуют среди легионов сомнамбул, мнящих себя здоровыми.

Опять оркестр в кафе играет "Эль континенталь". Воспоминание о годах в Кордове и "далекой возлюбленной", которая есть у любого героя танго. Самый робкий из них превращается в наглеца. "Неодолимо влекущий болезненный блеск его черных глаз". Где мы были? В особняке Феррейра, в усадьбе или в Малагеньо? Под моей ладонью ее гибкая талия. Я танцор неловкий, да и туфли стоптаны. Но нет. Я никогда не испытывал чувство унижения. Я всегда ощущал себя принцем. В ней все было светло, понятно – в противоположность Тите. Одна была создана для радости, другая – для мрачных тайн.

Уже тогда я пытался бежать от своей судьбы. От затягивающей нормальной жизни. А девушка, уже почти влюбленная в меня, чуяла, что я, пожалуй, человек из Дворца смерти. Чужак или случайный гость в раю буржуазного благополучия. Среди представителей семейств Мойяно, Феррейра, Фунес, Гарсон, де ла Серна...

Да, хрупкая "далекая возлюбленная" с пахнущей жасмином кожей. Счастье – величайший соблазн для того, кто стремится к невозможному и необычному.

Юный Нарцисс, каким я был, не стеснялся грязноватой рубашки и стоптанных туфель, выступал надменно, уверенный в своем несомненном обаянии. С недовольной миной он танцевал под звуки оркестра, игравшего "Лауру" или "Щека к щеке". И еще другие модные танго, которые приводили в восторг "далекую возлюбленную" и ее кузин, красовавшихся в изысканных кружевах и broderies[1]. Звучали "Бразилец" или "Третий мужчина". Или бесспорный шлягер тех лет — "Деликатный".

"Далекой возлюбленной" было шестнадцать лет, а Нарциссу — двадцать два года.

И я, обнимая ее талию, вдыхая аромат "девушки в цвету", впервые ощутил странный трепет. В нашей компании в Малагеньо я всегда похвалялся своим цинизмом: мол, любовь — это позднее и гнусное изобретение развращенных дворян XVIII века. "Расслабляющее и разлагающее чувство", которого не ведали здоровые цивилизации.

Но, танцуя с ней, Нарцисс почувствовал, что колени у него подгибаются и руки слабеют.

Потом, уже ночью, оркестр услаждал нас томными звуками "Мака" и "В твоих глазах туман".

Они проникали из зала на галерею, насыщенную ночным ароматом жасмина. И мы целовались, начиная игру, в которой просыпалась юная плоть.

Покатились дни, круглые, как жемчужины. Автомобиль "бентли", принадлежавший Гонсалесам Агиларам, отвез нас из Кордовы в Малагеньо. По вечерам мы пели. А Нарцисс рассуждал о Ницше, о Фрейде, о марксистской революции. И "далекая возлюбленная" цитировала фразы Ганди из книги Неру "Открытие Индии".

Любовь соблазняла, предлагая жизнь: детей, успех, гармонию и мир. Нарциссу хаос нормальной жизни казался возмутительным. Как исхитриться и уничтожить эту отнимающую силы гадину, которую называют любовью?

Потом, укрывшись на заднем сиденье припаркованного "бьюика", мы впивались друг в друга поцелуями, пока губы не распухали и не пересыхали, как после долгой пытки. Я погружал пальцы в ее распущенные волосы. И чувствовал таинственный восторг, который был выше желания.

А потом возвращение в Кордову в состоянии, близком к опьянению. Мы подъехали к дому Калики Феррейры почти на рассвете. Пришлось перемахнуть через наружную ограду. Залезть по водосточной трубе на боковой балкончик и оттуда тихонько проникнуть в комнату для прислуги, где слабо пахло одеколоном "Ле Санси" и дешевым мылом. В полутьме виднелась гравюра Морана "Поющая душа", приколотая кнопкой к стене, виднелось уставшее его ждать спящее тело негритянки Кабреры. Ее жаркие бедра в летней ночи под шелковистой комбинацией. И то, что было похоже на зрелый тропический фрукт, который Нарцисс кусал, заставляя ее кричать. На рассвете Нарцисс снова надел свою нейлоновую рубашку, обулся и исчез с быстротой вампира. Не произнеся ни слова.

"Моя далекая возлюбленная.

Я был несносным, агрессивным.

1. Вышивки (*франц.*).

Сегодня ты меня ненавидишь, а я, счастливый, уединяюсь, чтобы плакать о тебе. Я хвастал смертью. (Я просил тебя приложить нежное ухо к моей груди, чтобы ты слышала захлебывающееся дыхание Девы Зари.) Среди наших добрых друзей и твоих очаровательных кузин и сестер я слыл агрессивным интеллектуалом, наглым безбожником.

И еще я славился своими любовными подвигами. Обхаживал служанок, домашних хозяек, робких студенток-медичек. Все это, как и стоптанные туфли, стало частью моего героического образа, всем этим я гордился. Несносный Нарцисс. (Который, естественно, считал себя вдобавок и поэтом.)

Я сделал все, чтобы погубить любовь. Ты искала и не нашла свое счастье. А я стал тем, кем хотел стать. Я отправился в путь на мотоцикле своего друга Гранадо и в конце концов въехал на танке в Лас-Вильяс[1]".

Все проходит, вот почти все и прошло. Но вынужден признать: любовь жива, как странный многолетний цветок, который никто не смог и до сих пор не может погубить. Должен признать это. Признать сейчас, находясь в мрачной и великолепной Праге, готовясь к скорому бою, очередному бою, проиграв последнее сражение.

(Перед моим отъездом в Конго француз Дантон, человек тонкого ума, послушав меня, сказал:

– Это полное безумие. Неужели ты действительно хочешь отправиться туда, чтобы основать фаланстер для негров, которые и так уже живут в фаланстере джунглей? А не ищешь ли ты смерти?

– Смерти? Зачем – смерти? Что за безумная мысль...

– Ох, Гевара, спроси Христа, так ли эта мысль безумна!..)

В своей пресловутой "Философской тетради" я не слишком продвинулся вперед. Просто так взять и начать философствовать – нелепость. Так не поступают даже профессиональные философы, которые в своих академических построениях избегают живой мысли. Мои страницы заполняются неожиданными замечаниями, туманными соображениями.

Наконец-то я договорился с Росевинкой и ее друзьями-филологами: вместе с Васкесом Рохасом они сходят в кафе или он заглянет в некий маргинальный театр, где они собираются вечером по четвергам. Они считают, что явиться туда с иностранцем неосторожно. Я подойду к их столику, не показывая вида, что мы уже познакомились раньше, в "Славии". В девять вечера я иду по улице Народной. Заведение называется "Редута". Швейцар с неприветливой миной, отгороженный от публики цепью, открывает и закрывает дверь с алчностью таможенника в самой горячей точке границы. Говорю по-английски, что мне рекомендовали это заведение в отеле, и меня пропускают. Внутри все заражено тлетворными западными веяниями. Клапан для оттока гноя и способ держать под контролем интеллектуалов-диссидентов – бич любого государственного порядка, любой системы. Этих мелких клещей, бурно размножающихся мерзких "литераторов".

Звуки духовых и ударных. Дежурное блюдо – творчество Чарли Паркера. Музыкальные ансамбли будут выступать по очереди до самого позднего часа, разрешенного системой. Рыжая, изможденная женщина в платье с блестками поет голосом нью-йоркской проститутки.

1. Лас-Вильяс – провинция на Кубе; ее главный город – Санта-Клара.

В звучащей полутьме Васкес Рохас отыскивает столик своих знакомых. Он садится поблизости и заказывает вино. Потом вступает с ними в разговор. Росевинка сияет, и Васкес Рохас не скрывает восхищения. Она распустила медно-рыжие волосы, густая челка падает на лоб. Она кажется совсем другой. Росевинка щеголяет в контрабандных blue jeans, которые купила на деньги, полученные за уроки испанского и за работу гида с коммерсантами вроде Васкеса Рохаса.

Она явно сознает победоносную силу своих джинсов.

Представляют некое подобие театральной пьесы под звуки почти безголосого саксофона. Пьеса абсурдистская. Росевинка говорит это Васкесу Рохасу, чтобы он не старался искать в ней смысл. В финале выходит карикатурный военный с бритой головой, увешанный жестяными орденами. Вокруг все смеются, и Васкес Рохас догадывается, что этот шут — русский. Ему кажется, что шут говорит по-чешски с сильным русским акцентом и ведет речь о братстве. Появляются акробаты, два карлика и две собаки.

Словом, короткая пьеса в духе театра абсурда. Светловолосый, тщедушный и очень бледный юноша приветствует публику с шаткого помоста. Росевинка объясняет Васкесу Рохасу, что это "молодой талантливый писатель, который работает в стиле Ионеско". Васкесу Рохасу послышалось, что его зовут Хэвен, Хавен или вроде того. Парень подходит к столику преподавателей. Росевинка представляет его и переводит приветствие. Васкес Рохас его поздравляет, хотя признается, что не сумел понять пьесу...

— А она и не рассчитана на то, чтобы быть понятой. Скорее, она должна вселять тревогу.

— Как называется ваша пьеса?

— Пока "Болото", в дальнейшем, возможно, будет называться "Сад". Пьеса не закончена, я ее еще пишу. К тому же каждое представление отличается от предыдущего. Пьеса "творится", как жизнь. Текст постоянно варьируется.

Васкес Рохас заказывает хорошее моравское вино, которым все восхищаются. Подсаживаются еще друзья, кроме Степанека и Голана, с которыми он уже знаком. Тут и молоденькая симпатичная девушка, готовящаяся поехать на Кубу, зовут ее Бланка. И толстый жизнерадостный испанист по имени Иржи.

Вино льется рекой. Васкес Рохас следит, чтобы его было вдоволь. Пьют за здоровье гостя. Саксофонист играет A Slow Boat to China[1].

— Поехали на Slow Boat to China, — говорит Васкес Рохас Росевинке.

— Лучше бы в другом направлении, — говорит она. — Не хочу я в Китай.

Урбан тоже поедет на Кубу — в качестве переводчика на завод по производству стеклянной тары.

— А вы бывали на Кубе, сеньор Рохас?

— Нет, но я охотно съездил бы туда. Я слышал о Кубе много интересного, хорошего.

— Для нас это будет год каникул, рай. Можно даже скопить немного деньжат. — Урбан осушает очередной стакан.

— Говорят, — рискует вставить Васкес Рохас, — что у них социализм весьма неплохо развивается...

1. "Медленный корабль в Китай" (*англ.*).

– Да нет, социализм и там такое же дерьмо, только в них чертовски сильны латиноамериканские корни. У женщин такие попки – с ума сойти.

Появляется певец с лицом, зачерненным горелой пробкой. С плохим английским произношением он поет нескончаемый спиричуэл.

Ближе к концу швейцары впускают в зал торговцев всякой западной ерундой: они предлагают одеколон, чулки, шариковые ручки, пластинки и джинсы с клеймом "Columbia University". Клапаны для оттока гноя.

– Западные побрякушки, – пробурчал Васкес Рохас.

– Побря – что?

– Побрякушки.

– Что вы имеете в виду?

Они вышли из "Редуты". Направились к берегу Влтавы. Урбан прихватил бутылку вина и стакан. Тихонько прошли мимо двух полицейских машин, наблюдавших за этим притоном робкого диссидентства.

Выпили вина – Росевинка, Бланка и прочие.

– Может быть, вы все-таки нам скажете? – спросила Росевинка. Она выпила больше, чем следовало, и глаза ее блестели в холодной полутьме.

Васкес Рохас не ответил и со слегка высокомерным видом отошел к обледенелым металлическим перилам. Тогда Росевинка обняла его за плечи и крепко прижала к себе. Через пальто Васкес Рохас почувствовал ее тугие груди под пуловером и крепкие бедра. Все смеялись. Васкес Рохас с наслаждением покорился взявшей его в плен девушке.

Пошляк Васкес Рохас написал бы: "Груди твердые, мраморные, и все же теплые, как две голубки, напуганные морозной ночью коммунизма..."

Перебрали сверх меры. Утром в неуютном засекреченном доме при церемонии бритья нельзя было понять, кто кого бреет – то ли Васкес Рохас Гевару, то ли Гевара, в отвратительном настроении, в очередной раз изготавливает пошлую маску мелкого буржуа Васкеса Рохаса.

В глазах коммерсанта иронический блеск. Маленькая, торжествующая искорка – перед несомненной реальностью этого разочарования. Без идеологических ухищрений, за счет обмана с одной стороны и идиотизма – с другой, утверждалась сокрушительная победа American way of life[1] со всем его изобилием барахла. Те, кто были накануне в "Редуте", собственно, не принадлежали к буржуазному классу. Они родились при социализме. Они воспитывались как комсомольцы. Они знали об ужасах нацистской оккупации.

Как обычно, Васкес Рохас напевал "Валенсию". Гевара словно слышит его голос. Коммерсант внушает ему, что любые героические намерения спасти мир – банальность. Революция – преходящий миг, поэтический момент, мазок красной краски на серой стене вчерашнего дня. Нынешнее состояние – скука. Наилучшая организация в коммунистическом духе – не та, о которой с высоты своего подвижничества вещают великие вожди, а та, что строится в серости будней. Все зависит от точности антропологической оценки... Друг Гевара, внешне абсурдная власть либерального капитализма основана на признании посредственности человеческого материала. Именно так...

Пока он остается Васкесом Рохасом или Меной, Гевара должен забыть о своей шевелюре Самсона. Он никогда не взывает к Богу, но если бы он взывал к Нему (или к пражскому Младенцу Иисусу), то попросил

1. Американский образ жизни (*англ.*).

бы Его только о том, чтобы Он не позволил ему умереть лысым в патетический и нелепый миг — во время приступа астмы. Нет, ни за что на свете!

Вот он, Васкес Рохас, в застегнутом на все три пуговицы пиджаке, в шляпе, надвинутой до ушей. Он болеет за мадридский "Реал". Франко, конечно, был не золото, но он сумел установить порядок и, по крайней мере, спас Испанию от военной разрухи и от коммунистического и атеистического рабства. Васкес Рохас! И все равно она обнимает его сзади и прижимает к своей груди и бедрам, жарко и возбужденно дышит ему в ухо. К черту! И это тоже надо терпеть!

После дрянного красного вина Гевара пребывает в дурном настроении. Его раздражают эти три субъекта: Рамон Бенитес, Васкес Рохас и Мена. Три аргентинца — на одни плечи. Это уж чересчур!

Вдобавок, твое не-существование опустошает. Даже если не вдаваться в абстрактные умствования и пошлые рассуждения на тему "идентичности", ясно, что реальность тут начинается с некоего кокетства: как это возможно ходить с короткой стрижкой, как у жандарма или нью-йоркского клерка, словом, как у обычной канцелярской крысы?..

Геваре нравились его шевелюра и борода. Он любил свои волосы и берет, потому что они выражали что-то очень существенное в его личности. На знаменитом фото Корды все это передано. Ужасно досадно неделя за неделей заниматься приведением в порядок прически и бриться по утрам так тщательно, словно готовишься к поступлению в Военную академию в Вест-Пойнте.

Нынче утром, перед зеркалом, он видит всех троих — и они словно указывают ему на эти противоречия. У всех троих хитрый, осторожный взгляд, похожий на тот взгляд, который бесил его в одной давнишней стычке с прибывшими в Гавану аргентинскими интеллектуалами, на время сбежавшими от своих психоаналитиков. Они выбрали этакий "кубаанализ". Было это 25 мая 1960 или 1962 года.

Теперь Гевара, в самом отвратительном состоянии духа, должен выдержать атаку этих ловких, живучих дельцов, которые дерзко напоминают ему о том карлике-буржуа, которого все мы носим в себе. С рождения.

Ему хотелось бы высказать этой тройке, что в конце концов существуют две основные категории — основатели и исполнители, те, кто в жизни исполняют свою скромную работенку.

— Что ты сделал хорошего? Был ли ты когда-либо воином, Васкес Рохас? Почувствовал ли, что такое игра не на жизнь, а на смерть? Бежал ли под пулями, чтобы помочь раненому или подобрать винтовку убитого? Если угодно, можем поговорить о философии. Только с учетом основных категорий человеческого характера: Святой, Воин, Поэт... и еще — пария, и корпорация коммерсантов, и молчаливое стадо жаждущих уцелеть!

Эти торговцы выводят его из себя. Ему хочется ударом кулака разбить зеркало над умывальником.

Когда этот живучий буржуа принимается уверенно излагать свое торгашеское мировоззрение, рука Гевары невольно тянется к револьверу.

В действительности (теперь, когда я делаю эти заметки в кафе, вовсе не философские) я должен сказать, что Гевара терпел своих буржуазных друзей из Кордовы и Буэнос-Айреса, пока они не вторгались в его душу, демонстрируя презрение или отсутствие восхищения. Гевара сознавал, что тут играет роль его нарциссизм.

Что вы знаете о смерти? Ты, Васкес Рохас, и ты, Мена! Вы знаете только смерть в клинике. Живете, выпрашивая пенициллин. А представительную железу вам в этом году обследовали? Обновили ваш страховой полис?

Я объясняю троим виртуальным буржуа, моим маскам и моим беспощадным критикам, что война – это перманентная эрекция, бесконечные оргазмы в непрекращающейся ночи любви. Опьянение победой, подвиги верности, презрение к опасности. Зачарованность смертельной игрой. Жизнь или смерть. Победа или поражение. Сумеешь или не сумеешь.

Я сажусь в мой воображаемый джип – в мой командирский джип – на улице возле "Славии", беру с собой трех этих ничтожных людишек – Васкеса/Бенитеса/Мену – и отправляюсь с ними в провинцию Лас-Вильяс. Прихватываю и господина К., уроженца Праги. Почему бы не взять и его?

Ночь теплая, джип едет по иссохшим холмистым полям к месту сосредоточения повстанческого войска. Гевара сидит за рулем. Остается свободным место справа, на котором он так часто возил зажигательную мулатку Зоилу. Военная колонна построена, напряжена, как лук, и готова атаковать деревню Кубайгуан, после чего начнется большое решающее сражение.

Время около трех ночи, и, когда они проезжают предпоследнюю деревню, фары джипа освещают девушку в военной форме, которая храбро исполняет обязанности связной. Алейда, Алейда Марч. Потрясающая блондинка, которая мне очень нравится. Джип останавливается рядом с ней.

– Сейчас мы будем брать Кубайгуан. Хочешь, поедем со мной...

Она глядит на меня с обочины. Заслоняется от фар, но они освещают ее улыбку. Она садится в джип.

– Едем в Кубайгуан, а то скоро рассветет.

Подъезжаем к заброшенной кофейной плантации, от которой еще пахнет гарью после бомбежек. Делаю поворот, и мы оба выскакиваем из джипа и бежим к навесу сушилки. Всего десять-пятнадцать минут. Оставшиеся в машине господин К. и три моих виртуальных спутника наверняка слышат шуршанье больших сухих листьев и особый, веселый шорох кофейных зерен.

С тех пор и навсегда – Алейда. Брезентовая портупея. Походные ботинки с вечно болтающимися шнурками.

Я, всемогущий, насвистывая, несколько раз вдыхаю аромат прохладного рассветного воздуха и направляюсь в расположение Четвертой колонны.

21 декабря, веселая перестрелка на заре. Приказ вести обстрел гарнизона правительственных войск. Алейда рядом со мной в своих парусиновых брюках – словно готова опять упасть на ложе из кофе и сухих листьев. Она бежит в укрытие, спасаясь от снарядов.

Бой длится недолго: девяносто пленных, семь пулеметов, много винтовок. Дальше – осада и штурм Пласетаса. Потрясающий обед в крестьянском доме – свинина с рисом, пиво "Полар" – и сиеста с Алейдой.

Я прилипаю к ингалятору. Одна рука одеревенела, неподвижна. Алейда растирает мне лодыжки. Прикладывает смоченные холодной водой платки к глазам, с ее помощью я на два часа погружаюсь в хрупкий сон.

Потом я увижу трупы, растерзанные снарядами. Улыбку друга, с пятном свернувшейся крови на губах. Того, кому надо прикрыть остановившиеся глаза. Того, чье имя ты как будто помнишь. Увижу раненых, просящих закурить или воды или умоляющих, чтобы им не делали ампутацию и дали спокойно умереть своей смертью.

И опять вперед, полк движется под звуки марша. Батальонные командиры со своими картами. Погрузка снарядов, провизии. Прощания.

Короче, ритуал войны, где смерть — это не смерть, а судьба или черная фишка, которая может тебе выпасть в священной игре.

— А вы когда-нибудь позволили себе удовольствие захватить бронепоезд? Когда в его броню летят бутылки с коктейлем Молотова и по ней палят из огнеметов, так что броня раскаляется добела? Вам довелось испытать чувство — вернее предчувствие, — что битва за город Санта-Клара, которой по воле богов войны вы командовали как стратег, означает окончательную победу в войне на Кубе?

Я приглашаю своих спутников выйти из джипа, чтобы они посмотрели с дороги, что происходит с бронепоездом, составленным из двадцати двух вагонов. Господин К. в своем котелке, как и положено важному чиновнику "Assicurazioni generali"[1], и три маски, три паспорта, которые, вместо того чтобы услужливо прикрывать меня в моей подрывной деятельности, лезут со своими мнениями, ворошат буржуазные чердаки своего хозяина.

— Вот, смотрите, здесь есть все: неожиданность, потрясение, случай, храбрость, инстинкт, животный страх, слава, дикая отвага, красота огня, которая так волнует ребенка (тот самый огонь, который остается навсегда, как что-то волшебное или как некий пожизненный долг)...

Они выстраиваются над откосом. Мне их жаль, как было бы жаль четырех дам, приглашенных полюбоваться на массовую бойню. Как было намечено, двадцать метров рельсов заранее разобрали, и поезд, который тащили два огромных локомотива, вздыбился и рухнул на автомастерскую. Пыль, крики, пламя. Лязг разламывающейся стали. Оглушительный грохот. Вопли четырехсот солдат Батисты, размещенных в двадцати двух вагонах вместе с огромным количеством оружия. Пулеметные очереди и стрельба моих людей. Потоки огня и тучи дыма — горячий воздух будто опаляет нам брови и ресницы.

— Осторожней, господин К., как бы не загорелся ваш котелок.

Самая богатая добыча за всю войну. Победители снуют, собирая базуки, минометы, пулеметы, пушки, шестьсот автоматов и множество боеприпасов. Я спускаюсь с откоса с Алейдой и говорю ей:

— Сейчас сниму тебя на память — самый необыкновенный снимок из тех, что может подарить мужчина своей любимой.

Алейда принимает позу и улыбается. В кадр попадает горящий первый вагон.

Эрекция войны. Судьбу мира решает случай — орел или решка. Война дезинфицирует. Сосудорасширяющее средство (идеал для астматика, так как выделяется антиастматический адреналин). Я глубоко вдыхаю воздух, в котором мне уже чудится запах гаванского моря. Я выиграл пари, мой жребий выпал быстро и удачно — ликующие радиограммы от Фиделя. Мой брат Камило Сьенфуэгос звонит мне и кричит что-то восторженное по телефону. В "Нью-Йорк таймс" пишут, что мы выигрыва-

1. Общее страхование (*итал.*).

ем войну. Что я великий стратег Сьерры. И мои руки опять обнимают талию Алейды. Я падаю с неба и засыпаю на твоем божественном теле.

Эрекция. Шутка Девы Зари. Эротика смерти, эротика жизни.

— Господин К., в какой еще жизни вы получите шанс атаковать бронепоезд? Не теряйте времени, сводя счеты с отцом, вспоминая его недостатки или обижая бедную Милену Есенскую[1]. Вы мечтатель, такой же, как и я. Так вперед же!

ГАВАНА. НОЯБРЬ 1994 ГОДА. Рассказывает один из командиров Че, мы сидим на террасе отеля "Президент".

— Верите ли, теперь, на расстоянии, мне кажется неправдоподобным сделанное этим одиночкой, бродившим в бесконечные дни по зимней Праге из одного кафе в другое то в облике торговца ценной древесиной, то в маске агронома. Он так же, как и Дебре, мечтал о "революции в революции", старался основать новое идеологическое общество внутри социалистического. В Праге он почувствовал, что тамошний социализм умирает от серости и заурядности. Что он умрет с долгим стоном, как оно, собственно, и случилось в 1989 году — он испустил дух в объятьях его душителей, дуэта Горбачев-Ельцин.

— Берет, который носил Эрнесто, и впрямь был нелепым и героическим шлемом Дон Кихота — тазиком для бритья.

Теперь, через столько лет после его гибели, мы можем реконструировать последний поход Рыцаря Потрясающего Образа. Я полагаю, что для вашей работы вам надо хорошенько прояснить себе главные вопросы. Во-первых, его решение стать зачинщиком нового пожара, "нового Вьетнама", после поражения в Конго.

В этом вопросе вам надо иметь в виду, что не было в мире силы, способной его в чем-то разубедить. Он был непрошибаем. Когда мы жили в пражском секретном доме, я, получив от него тысячный мат на шахматной доске, рискнул завести разговор о его здоровье. Я знал, что в госпитале в Градец-Кралове ему сказали, что состояние его далеко не блестяще. Профессор Садак считал, что ему понадобится по крайней мере два года, чтобы окрепнуть, а главное, чтобы избавиться от приступов астмы.

Куда там! Он скорчил обиженную мину и тут же принял решение удвоить часы тренировок и зарядки, которой мы занимались для поддержания формы.

Я вам уже пересказывал некоторые наши беседы в рабочей столовой, куда мы заходили во время дальних прогулок. Он говорил о том, что социализм достиг критической точки — на фоне соотношения военных сил в мире, — и теперь можно попытаться предпринять окончательный штурм бастиона капитализма (иногда он это называл "штурмом замка").

Обстановка созрела для битвы, для Армагеддона. Он говорил, что никто не может удержаться на гребне, что надо немедленно действовать — иначе ты неизбежно начнешь скатываться по противоположному склону...

Теперь я думаю, что бои в Конго несколько отрезвили его и он отказался от сражений с ветряными мельницами. Здесь, в Гаване — уж вы меня извините, — я уверен, тогда были убеждены, что лучше терпеть Че дома, чем следить за ним в его похождениях за границей.

Но вернемся к главным пунктам, чтобы нам не уйти слишком в сторону. Во-первых, это решение двигаться только вперед, несмотря на слу-

1. Милена Есенская — чешская журналистка и переводчица, последняя любовь Ф. Кафки.

чившееся в Конго. Во-вторых, убежденность, что теперь действовать надо в Америке: поджечь костер, который может превратиться в великий революционный пожар на всем континенте. "В Африке дрова были еще слишком сырые", — сказал он. В-третьих, какое место Америки выбрать? Вам уже известны его рассуждения на эту тему. Вначале он подумывал о Перу. Потом отказался от этой мысли, сочтя Перу не совсем подходящей страной, — среди левых, которые могли бы его поддержать, было много агентов, работающих на военных. Перу уже стал могилой для нескольких попыток мятежа: Че вспомнил Бланко, Бехара, Лобатона, де ла Пуэнте Уседу... В Боливии — другие возможности, однако большие проблемы возникали с местной коммунистической партией и ее секретарем, сеньором Монхе, который ныне в неолиберальной и мафиозной Москве живет как богатый предприниматель... Все это известно, об этом подробно рассказывается в биографиях Гевары, которые нынче публикуют, пользуясь выгодной коммерческой ситуацией — тридцатилетней годовщиной со дня его гибели...

Тут и обсуждать нечего, все ясно. Еще во времена, когда Гевара был министром промышленности, задолго до отъезда в Конго, он уже знал, что ему суждено умереть с автоматом в руке как партизану, и он про себя решил, что Боливия станет центром великого пожара. Я не хотел бы прослыть человеком, выдающим чужие тайны, но Кастро хорошо знал о намерении Гевары, который говорил, что уж если умирать, то он хотел бы умереть на родине, в Аргентине...

Все это совершенно ясно. Там, в Праге, он упоминал про Перу, чтобы сбить нас с толку. Чтобы заставить нас сказать то, что он хотел услышать: мол, логика велит избрать Боливию как идеальную страну для его главной задачи.

Здесь ходит анекдот про аргентинцев — конечно, преувеличение, но достаточно убедительное. Когда перед грозой начинают сверкать молнии, все, естественно, раскрывают зонтики, а аргентинец поправляет галстук и смотрит вверх — он уверен, что это Господь собрался сфотографировать его. Анекдот вполне к месту: Гевара, наш любимый команданте, нисколько не сомневался, что битва в Боливии будет не менее чем детонатором Третьей мировой войны. Главной из всех войн. И тут он готов был взять ответственность целиком на себя, не помышляя даже, как я думаю, о том, какая это по сути грандиозная безответственность.

Если в этом плане анализируешь события на нашей Кубе — ее Особый Период, когда она сидит на мели у берега, где разлагается капитализм, и у нас уже не осталось поддержки со стороны того мира, который прежде считался могучим и дружественным, замысел Че может показаться нелепостью, донкихотством, но ведь он мог быть пророком, провидцем? В Праге, где гнил и разлагался кит сталинского социализма, Че раньше, чем кто бы то ни было, еще в 1966 году, понял, что всесокрушающий капитализм одерживает победу.

СНОВА ВЛАСЕК, снова я отправляюсь к Власеку, в долину, которую прячет красавица Прага. Моя машина движется по козьей тропе вдоль берега речушки, окаймленной густыми, темными рощами. Без некоторых комментариев Власека невозможно найти объяснение последней авантюры Гевары, его действиям, устремленным скорее к смерти, чем к жизни, тому, к чему он готовился в эти пражские месяцы.

Власек копался у себя в саду. Я не видел его с тех пор, как он передал мне фотокопии "Тетрадей". Едва глянув на меня своим профессиональным взглядом, он тотчас понял, что материал произвел впечатление.

— Жаль, что там много ошибок, машинистка наверняка была не испанкой. Но очень интересно.

— Думаю, там есть сведения, имеющие важнейшее значение. Когда Гевару канонизируют и начнут писать окончательную его биографию, "Тетради" окажутся в центре внимания...

Власек ждал меня, он приготовил ритуальный чай.

— Этого материала никто не знает, — сказал Власек.

— Он очень неоднородный. Я думал, он будет более политическим, более конкретным. Возвращаю вам фотокопии. Если найду коллегу, который заинтересуется оригиналами, и тогда, если вы не возражаете, я ему предложу связаться непосредственно с вами.

Этого Власек и хотел. Я ему был нужен, чтобы запустить информацию о том, что он готов тайком продать рукопись большого политического значения.

— Да, материал пестрый. Видно, что он писал его примерно так, как пишут письма. Достаточно вольно, перескакивая с одной темы на другую. Записи очень личные. Иногда слишком интимные. И все же он там касается и тем политических, весьма важных.

— Гевара уехал из Праги на Кубу, чтобы оттуда отправиться в свой последний поход — в Боливию. Вряд ли он собирался брать туда эти "Тетради". Кому же он мог их доверить?

— Известно, что многое он отдавал Алейде, своей жене, чтобы она сохранила. Но, конечно, не "Тетради", где столько очень личных излияний...

— У него был, вероятно, какой-то близкий друг, кто-то ведь готовил его полное собрание сочинений — выступления, рассказы и так далее.

— Возможно, — сказал Власек. — Но легко допустить, что, скучая в этом зимнем городе, он писал намного больше, чем в периоды активных действий. Или что "Тетради" постепенно превратились в некую исповедь или в заметки, помогавшие ему думать. Вероятно, когда надо было уезжать, он решил доверить их кому-то, не принадлежащему к его семье. Или мог спрятать. Или попытался сам уничтожить, или поручил сделать это своему Максу Броду[1], который не выполнил просьбы...

Если Власек или кто другой владел оригиналом "Тетрадей", очевидно, что намерение их продать было обусловлено политическим содержанием. Какая-то часть или отдельные размышления стали причиной того, что для многих была нежелательна публикация этих текстов. Другие видели в них повод для скандала.

— Без "Тетрадей", — сказал Власек, — невозможно понять всю ту огромную сеть, которую он плел. Если вы внимательно проследите ход событий, Гевара начинает игру в прятки — со своим другом Кастро, с китайцами, с советскими спецслужбами. В то же время он с немыслимой наивностью полагается на сверхпреданных ему людей, на тех, кого он, хотя они зависят от других властных структур и работают на них, считает беззаветно верящими в его дело, то есть в окончательный, решающий революционный рывок. Как я вам прежде рассказывал, он "активизиру-

1. Макс Брод (1884—1968) — немецкий писатель, друг и душеприказчик Ф. Кафки, автор его биографии, который не выполнил просьбы Кафки и сохранил почти все его произведения.

ет" Таню, которая в Боливии завязала отношения на всех уровнях власти. (Несомненно, Вольф, или Волк, с которым Гевара наверняка встречался во время своей эскапады в Восточный Берлин, его убедил, что Таня может продолжать выполнять свою миссию... И надо думать, что Гевара поверил Вольфу, Волку...) Вот тогда-то он и решил послать из Праги Мартинеса Тамайо, своего лучшего агента, чтобы тот привел в движение сеть верных людей, независимо от позиции официальной Кубы или непредсказуемой реакции боливийцев, которые с самого начала видели в Геваре прежде всего аргентинца, удачливого и всевластного авантюриста, явившегося к ним делать революцию в их, конечно, революционной, но, кроме того, дикой горной стране, стране аймара[1]...

Мне не хотелось разочаровывать Власека, но Гевара в "Тетрадях" как правило избегал подробностей своих стратегических планов. Его тексты отражали другую и весьма сильную сторону его личности — "человеческий фактор", который для политиков, пожалуй, нечто второстепенное. Если Власек и его вышедшие в отставку друзья лелеяли несбыточную мечту стать миллионерами, им надо было набраться терпения.

— Совершенно очевидно, — сказал Власек, — что мы тогда вступили в период большой активности. Было очень трудно контролировать этих недисциплинированных кубинцев. Даже заговоры они готовили и осуществляли в ритме румбы.

Пока Гевара передвигал своих агентов — а мы еще не знали, что они делают или что собираются делать, — его телохранители доставляли нам массу хлопот. Один из них, рослый мулат, помог перелезть через ограду нашего сада поварихе из рабочей столовой, где они часто обедали. У меня же для постоянного наблюдения за ними имелось всего два сотрудника. И вот, представьте, с одной стороны, Гевара, Человек, который ходил и бродил по всем улицам города, а с другой — эти черти, его телохранители, ни одному из которых не исполнилось и тридцати... Даже когда они вели себя более или менее спокойно, и то было нелегко. И вообразите, что началось, когда Человек решил перейти к активным действиям... Итак, однажды мы узнали, что посольская машина ездила в аэропорт встречать высокопоставленную даму, работающую в министерстве образования. Довольно-таки эффектная блондинка, с высокой прической и в пальто до щиколоток, по тогдашней западной моде. Вы уже догадываетесь, что это была Таня, Тамара Бунке. У него хватало смелости отправлять ее в поездки с паспортом на имя Марты Ириарте.

Конечно, в то время он водил нас за нос. Что мы могли знать об этой Тане? Тогда до нас еще не дошла информация от наших советских коллег или из Восточной Германии. Она для нас была просто приезжей дамой. Потом, со временем, мы узнали, что это за птица. Попробуйте представить себе, чтобы Вольф, этот Волк, укусив добычу, выпустил ее...

(Когда мы убедились, что "чиновница" встречалась с Че в номере, который он иногда снимал в отеле "Париж", мы подумали, что это посланница Кастро или случайная любовница — ситуация вполне обычная для этой среды, где секс примешивают в любые дела. Мы подумали, что она вроде той поварихи, которую заполучил мулат, уговорив перелезть через ограду "дома госбезопасности".)

1. Аймара́ — индейцы в Перу, Боливии и Чили.

Такие они, эти люди. Он сам называл их "тропиканцы". Несерьезные люди. Жизнь для них — вечное детство. Однако менее опасными они от этого не становятся. Вспомните, что в 1962 году они едва не развязали ядерную войну, едва не взорвали к черту весь мир.

Да. Несерьезный народ...

КАФЕ "СЛАВИЯ". "ФИЛОСОФСКИЕ ЗАМЕТКИ". Серьезное и сосредоточенное размышление о времени в жизни человека. (Сосредоточенное — ибо я не позволяю себе отвлекаться и последовательно обдумываю избранную тему.)

Есть время воина-богатыря — и время неспешно мыслящего стратега. Воин-богатырь понимает, что у него нет права упустить шанс, что он обязан принять вызов Дон Кихота, который в последний раз выехал верхом на своем изможденном астматическом Росинанте. Другого не будет. Поджигателю остается от силы два года, чтобы дать начало "времени костров"[1]. Бог или демоны предоставляют смельчаку поджигателю в лучшем случае пару лет. Великая Свинья перед ним, случай и впрямь исключительный. Достаточно одного точного выстрела, решающего выстрела, и тяжелые бронзовые врата Истории повернутся на своих заржавевших петлях.

Бессмысленно убеждать себя, что твоя физическая немощь непременно преобразится в опытность стратега. Война — искусство, ремесло. Последний бой — это всегда поединок врукопашную.

Я следил за мимикой доктора Садака и его ассистентов. Хорошая прибавка в весе, действие витаминов. Теперь надо попробовать новое, очень сильное средство против астмы. Говорят, это великое открытие "кремлевских врачей". (Теперь-то дряхлые правители из Политбюро в серых костюмах могут быть спокойны, они же все, несомненно, астматики...)

Я сижу на койке, отвратительно безбородый, с небольшой лысиной. Дряблые икры. На мне унизительные серые носки. В стеклянной двери отражаются мои длинные, костлявые ноги (как у Христа в провинциальных церквах).

Медиков, как всегда, вовсе не волнует главный вопрос: "Зачем вам нужно это тело?"

Как им объяснить, что я воин-богатырь и что через год-другой уже никто не захочет взять меня наемником, я никому не смогу предложить себя в качестве самурая-одиночки? Век воина-герильеро-героя почти такой же, как у теннисиста или игрока в регби, — старше сорока тут делать нечего.

Доктор Садак невозмутимо смотрит на меня. Я чувствую, что он многое угадывает во взгляде почтенного Васкеса Рохаса. Видит бесов, которые таятся у того в глубине глаз.

Я не могу им сказать, что тело необходимо, чтобы спать, как спят некоторые приматы на развилке дерева, когда земля джунглей затоплена водой. Как им сказать, что, когда начинается приступ астмы, я, как задыхающийся хищный зверь, должен вскарабкаться на дерево — и вот я уже наверху, на развилке, и могу поднять голову и вдохнуть "верхний воздух", который всегда казался мне более чистым?

1. "Время костров" — аргентинский документально-публицистический фильм левой направленности, критикующий неоколониализм (1966—1968).

Я не хочу тревожить доктора Садака. Быть может — хотя я не рискну это сделать, — он не слишком бы удивился, скажи я, что хочу подготовиться к ежегодному нью-йоркскому марафону. Но нет, я не рискну.

Как ему сказать, что в моей грязной походной сумке, куда я сую руку, чтобы достать трубку или книгу Ницше, я натыкаюсь на ужасную ядовитую змею, которая, к счастью, жалит заскорузлый рукав моей военной куртки (и она, змея, замертво падает на землю, и все мы громко хохочем, удивляясь, насколько ядовита грязь).

Да, доктор Садак, мне необходимо тело, чтобы брести по пояс в воде по топям озера Танганьика или по ледяным озерам американского плоскогорья. Я буду есть сырых змей, освежеванных Бенигно, как если бы это были вкуснейшие лангусты, сбрызнутые соком диких лимонов. Буду есть испеченных на углях чиманго[1]. Отобедаю старым, слепым кондором. Буду есть обезьян. Крыс, поданных под видом морских свинок. Отловленных в деревне собак — под видом заячьего жаркого. Мертвых кобыл, свалившихся с кручи или убитых в бою, чью кровь мы предварительно пьем вместо кока-колы, которую обожают подростки, падкие на телевизионную рекламу.

Но есть нечто такое, что со мной больше не произойдет никогда — никогда уже я не буду есть салат из бабочек, который мне приготовили люди Идефонсе Масенго. Никогда больше не почувствую, как к нёбу моему, мешая дышать, прилипают разноцветные крылышки. Во рту нет больше слюны, чтобы их выплюнуть, и проглотить тоже невозможно.

На самом-то деле мне надо было прочитать доктору Садаку стихи Рембо:

> ...Я ополчился против справедливости.
>
> Обратился в бегство. О колдуньи, ненависть и нищета,
> вам доверил я свое сокровище!
>
> .....
>
> Я призвал палачей, чтобы в час казни зубами впиться в
> приклады их винтовок. Накликал на себя напасти, чтобы
> задохнуться от песка и крови. Беду возлюбил как бога.
>
> Вывалялся в грязи. Обсох на ветру преступления. Облапошил
> само безумие.
>
> И весна поднесла мне подарок — гнусавый смех идиота[2].

Как сказать доктору Садаку, что тело мне нужно всего лишь на полтора года. Этого будет достаточно, чтобы разжечь великий костер, последний Вьетнам!

NELL MEZZO D'IL CAMMIN DI NOSTRA VITA[3], когда огромные хищники из мировых джунглей набрасываются на меня.

Я одинок, немыслимо одинок, как говорится в танго. Колдую над своим заговором, сидя за столиком "Славии", "У Флеков" или в "Европе". В унылых залах с витражами в стиле модерн. Тяжелые шторы и источенные мо-

1. Чиманго — небольшая хищная птица, которая водится в районе Рио-де-ла-Плата.
2. Стихотворение А. Рембо из цикла "Пора в аду" (перев. Ю. Стефанова). Цитируется в сокращенном виде.
3. "Земную жизнь пройдя до половины" (*итал.*) — начальная строка "Ада" Данте (перев. М. Лозинского).

лью ковры. Бронзовые вазы, утратившие блеск. Вся Прага напоминает зал "Титаника" в тишине морской пучины. Комнаты огромного, гигантского борделя, закрытого лет сто назад. Нацистские тени на улице Майсловой. Черные сапоги. Люди с волчьим взглядом из-под черной фуражки с серебряной кокардой. И нынешняя армия людей, которые не умеют улыбаться, робких детишек, которые ходят строем, не осмеливаясь поднять голос.

Общество, где люди отводят взгляд, здороваясь с соседом, при этом приветствуют они друг друга кивком головы куда-то в сторону (на что обратила мое внимание Росевинка).

Отсюда, из этого затерянного в тумане города, я уже сделал первый ход, начав шахматную партию.

Знаю, хода назад нет. Теперь les jeux sont faits[1].

Неукротимые старички из оркестра в "Славии" наяривают "Мак", "Чай для двоих" и "Манисеро"[2]. Продавец жареной кукурузы – в тумане, с погасшей печуркой – особенно волнует меня. Кубинский манисеро – смущенный, растерянный – на Малостранской улице.

Здесь, в этом кафе, напротив зеркальной стены, висит огромная картина, которая завораживает меня. Это некий тяжеловесно-романтический fin de siècle: господин во фраке с шевелюрой поэта сидит за столом. Поза его выражает отчаяние: голова опущена на руку, одна нога отставлена в сторону. Ему является видение – эфирная, прозрачная, но очень соблазнительная женщина. Обнаженная под прозрачной накидкой, чувственная в самой смерти. С шапкой медных волос, достойных кисти Боттичелли.

Быть может, это Дева Зари?

Наверное, они были любовниками, и их разлучило непреодолимое препятствие. Это самое простое толкование. Возможно также, что она – жизненная сила, утраченная юность. В ту эпоху свирепствовал туберкулез... Тема любви и смерти. Кашель и оргазм – девятнадцатый век.

В этой сцене есть что-то душераздирающее. Картина писана маслом. Она потрясает своей экстатической неподвижностью – отчужденностью от ресторанной суеты.

Но для меня – это явление Девы Зари. Призрак, о котором мечтаешь и от которого в ужасе бежишь прочь.

РОСЕВИНКА И ГОСПОДИН К. Росевинка подошла к столику Васкеса Рохаса и поздоровалась более церемонно, чем обычно.

Коммерсант пригласил ее сесть.

– Мне не хотелось бы, чтобы вы неправильно поняли то, что произошло той ночью. Мы все много выпили. Бланке и мне очень стыдно... Это было ужасно.

Васкес Рохас снисходительно махнул рукой:

– Действительно, довольно странно было видеть молодых людей, которые в материальном плане живут вполне сносно – ведь все это университетские и школьные преподаватели, – во власти такого, я бы сказал, "негативного" настроения.

– А именно так и чувствует себя наша молодежь. Мы живем в атмосфере лжи, неуклюже прикрываемой высокими словами. Лозунгами.

1. Ставки сделаны (*франц.*).
2. Манисеро – продавец жареной кукурузы.

— Не стану спорить, но все эти молодые люди, которые принялись петь писклявыми голосами "Стеньку Разина", чтобы поиздеваться над полицейскими и пятью-шестью русскими офицерами, живут куда богаче, чем их сверстники в Испании, Южной Америке, Азии...

Росевинка глянула на него иронически.

— Богаче или беднее... Разве дело только в этом? Здесь молодежь не волнует, хорошо ли они едят и где спят. Они хотят свободы.

— На Западе и вправду есть свобода — свобода оглуплять себя.

— Да посмотрите же вокруг! Это не страна, это питомник молчащих, на все согласных существ. Вот вы свободны, вы устраиваете свои дела, проводите несколько недель в Праге, в самом центре вражеской системы, и никто к вам из-за этого не цепляется. Потом вернетесь в Бургос или в Монтевидео, и никто не будет интересоваться, чем вы занимаетесь. Даже в Испании больше свободы, чем здесь. Даже при Франко.

Васкес Рохас предпочитает не отвечать. Что-то абсурдное есть в этом социалистическом мире, родившемся из гуманизма прошлого века, — в мире, где люди друг другу не доверяют, мешают друг другу жить, доказывая с инструкцией в руке, что ты не имеешь права на чашку кофе, что в пивной для тебя нет места... В повседневной жизни каждый шаг дается с трудом. Угрюмый социализм. Социализм, при котором все окрашено в серо-бурый казарменный цвет.

Для Гевары де ла Серна слышать такое непереносимо. Какая-то необъяснимая глупость, которую он видел и раньше, во время своих кратких официальных визитов — в Москву, Прагу и другие города, — когда удавалось пройтись пешком хотя бы по центру. Бесцветный социализм с обозленными людьми. Социализм страха — порядок под гнетом террора. Pax[1] доносчиков.

Гевара ничего не может ответить Росевинке. Он всегда восхищался Сталиным. Ведь для Сталина русский народ с его многодневными запоями и деревенским язычеством был тем же "тропическим" дикарством, с которым приходилось бороться, прибегая к жестоким мерам.

Когда Гевара уходил из министерства промышленности, он аккуратно вынул фотографию Сталина из-под стекла на письменном столе. Сохранил ее, чтобы вставить в рамку.

Беседуя с Микояном, его сыном и послом Алексеевым, он даже позволял себе шутки вполне в сталинском духе, и те смеялись, считая их остроумными. Особенно в 1960 году, когда правительство Кубы делало первые шаги в повороте к коммунизму.

По-своему приятно и даже удобно прибегать к крайним мерам, отдавая предпочтение стальному седлу логики и верности принципам.

Цель и средства. Государственный интерес. Революционный интерес. (Постоянно перед ним на письменном столе темные, блестящие глаза Сталина с фотографии, которая стоит между чашками кофе, алюминиевым чайником и трубочным табаком в коробочке из прозрачного пластика.)

Всегда быть смелей в решении, чем в размышлении? Всегда — орел или решка, а все узлы разрубать ударом ножа, как злодеи в танго?

Васкес Рохас напоминает Геваре один неприятный период: первые дни в крепости Ла Кабанья. Скорые суды над теми, кто при Батисте пытал и убивал людей. Массовые расстрелы. Крики и слезы жен, сестер, матерей.

1. Pax (romana) — Римская империя (*лат.*).

Перед расстрелом команданте Гевара объяснял палачу из полиции Батисты и его семье, словно это была группа пациентов на занятии у психоаналитика, почему суд вынес обвиняемому смертный приговор. Осужденный, побелевший от ужаса перед неминуемой карой, покорно кивал. Там, в Ла Кабанье, все происходило в некоем подобии судебного зала с жесткими деревянными креслами, какие бывают в захолустном кинотеатре. Осужденный обнимал жену, сына и говорил, что да, он виноват и должен умереть. Однако трудно поверить, будто человеческая логика, даже логика палача и мучителя, может принять и осознать неизбежность собственной смерти во имя Правосудия.

— Объясни своей матери, что ты творил! — взывал Гевара.

Вот это было в Революции хуже всего, но он делал и это. Выдержал. Не отступил ни на шаг. Выпив мате, выносил приговор палачам Батисты. Потом опять пил мате.

Уже в сумерках он шел к каменному дому с черепичной крышей, откуда было видно море. Старинный дом испанского губернатора в Ла Кабанье. Там его ждет Алейда — возможно, она раздобыла мяса на жаркое. Он садится в плетеное кресло с антологией французских поэтов в руках, лицом к морю. Приходит Ильдита, дочка, она целует его и пытается залезть к нему на колени. На остров опускается ночная тьма. И Алейда уже несет миску зеленого салата, она улыбается.

Наверное, он один напряженно вслушивается в предрассветную тишину. Если ветер дует не с моря, то, прежде чем снова заснуть, он услышит смертельные залпы — от крепостной стены, что у бокового рва. У той же стены испанцы расстреливали патриотов, а теперь патриоты-революционеры расстреливают палачей Батисты. Печальное, вечное повторение зла. "Вечное повторение всегда одного и того же" (Ницше).

БЫСТРО ОПУСКАЮТСЯ ТЕМНЫЕ ТУЧИ. Вечер наступает внезапно, как-то поспешно. Мощеные улицы Малой Страны влажно блестят — в воздухе ощущается еле заметная изморось. Старомодные фонари, имитирующие газовый свет конца прошлого века, загораются мертвенно-бледным светом.

Васкес Рохас и Росевинка решили прогуляться к замку тем же путем, каким ходил туда господин К.

(Росевинка дала ему потрепанную книжку, но Васкес едва заглянул в нее.)

— К. приближается к мосту и идет по нему. Это Карлов мост — другого не может быть. Потом заворачивает в таверну и сидит там в оцепенении. Наверно, это было где-то здесь, на месте старой мельницы, где теперь живут лебеди.

Они идут по Тынской улице. Ни в окнах, ни в подъездах не видно ни души.

— Я не очень помню, но, кажется, это был замок графа Вест-Вест, не правда ли? Когда я прочитал роман, еще много лет назад в Монтевидео, он вызвал у меня раздражение. Похоже, будто К. было приятно собственное бессилие. Его ведь никто не выгонял из замка, его там просто не приняли. А теперь я опять полистал книжку, которую вы мне дали, и финал показался мне очень грустным: герой живет среди прачек и служанок... Бедный землемер К., он опускается все ниже и ниже...

— Для нас, вероятно, это более понятно, чем для вас, сеньор Васкес Рохас. Читая Кафку, можно подумать, что в замке таится какая-то огромная сила. Сила бесполезная, как у Голема или роботов. Вы знаете легенду о Големе?

— Ну как же! Чудовище, которое слепил из глины раввин Лёв. Он вложил ему в рот записку с буквами тайного имени Иеговы, и чудовище ожило. Но оно умело делать только одно — уборку в синагоге и пугать кота, как написал один аргентинский сказочник... Вот видите, какие у меня познания!

— Уже не мало. Голем по крайней мере наводил чистоту, — сказала Росевинка. — Нынешний Голем тиранит жителей, только это он и умеет... Он был рабом, а стал господином.

Васкес Рохас предпочел оставить ее слова без ответа.

Улочка шла в гору. Проехало несколько служебных автомобилей, следом — два полицейских мотоцикла. Васкес Рохас остановился возле колоссального фонаря в стиле барокко. В окнах дворцов играло лишь тусклое отражение его слабого света.

— Это Totenstille[1], — сказала весело Росевинка. — Не огорчайтесь, это тайна Праги. Все спрашивают, что это такое. Название правильное. Все люди, которых вы днем видите на улицах, мертвецы. В шесть часов они возвращаются в черные подъезды, а на самом деле это входы в катакомбы.

Последний отрезок пути они проделали по крутому подъему — параллельно величественной каменной лестнице. Наверху, в глубине, виднелся большой вход в пещеру, где царили полумрак и туман.

— Наверняка это и был настоящий вход в замок, — сказал Васкес Рохас.

— Нет. Надо пройти еще немного. И, свернув налево, мы окажемся на главной площади замка. Я хочу, чтобы вы увидели самое благородное здание Праги — Дворец архиепископа.

В конце улочки стояли на страже два охранника, Росевинка показала им свою карточку гида и указала на Васкеса Рохаса. Охранники оглядели его с неспешной профессиональной подозрительностью.

Васкес Рохас и Росевинка подошли к большой решетке. То был наружный портал с несколькими статуями — титан, вооруженный грозной дубинкой, расправляется с врагами.

Тут же стояли две сторожевые будки.

— Дальше пройти уже действительно нельзя... — сказала Росевинка. — Так что теперь вы, я и К. — в одинаковом положении...

Окна Дворца архиепископа были темными, но это лишь усиливало его внушительность. Росевинка указала мне на фасад Шварценбергского дворца. Далее, за крепостными башенками и классицистическими постройками первого кольца, виднелись в полутьме шпили готического собора Святого Вита.

На просторной дворцовой площади не было никого, кроме двух-трех пар охранников, беседовавших под мелким вечерним дождем.

— Здесь долго оставаться нельзя. Давайте спустимся по улице Нерудовой, — предложила Росевинка.

Это крутая улица, на которой Гевара однажды едва не упал во время давнего официального визита. Поскользнулся, но его поддержали тело-

1. Мертвая тишина (*нем.*).

хранители. Теперь Васкес Рохас шел осторожно, беседуя с Росевинкой о чешском поэте Неруде и другом Неруде, современном[1].

Он не смог противостоять опасному искушению, и коммерсант Васкес Рохас прочитал девушке строки из "Танго вдовца" и еще из "Вступления к древесине".

— Грандиозный поэт, правда? Вы его здесь читаете?

— Это поэт официальный и у нас обязательный. Приезжал сюда много раз. Я слушала его в Каролинуме. Такой самоуверенный, спокойный господин. Говорил нам, студентам филологического факультета, о нашей политической ситуации, в которой не очень-то разбирался.

Васкес Рохас прочитал более сентиментальные стихи из "Двадцати стихотворений о любви"...

-- А еще он написал "Оду Сталину", — сказала Росевинка.

— В Чили, в Южной Америке, его преследовали, он сидел в тюрьме. Ему запрещен въезд в Испанию...

— Я вижу, он пришелся не ко двору в обоих полушариях.

— Но ведь вы, Росевинка, не можете ненавидеть поэта за политические взгляды...

Тогда Росевинка сделала Васкесу Рохасу весьма серьезное признание:

— Я вас очень уважаю. К тому же вы поступили великодушно, наняв меня себе в гиды... Однако я думаю, будет честно рассказать вам кое-что о себе. Я работаю переводчицей и гидом, но мне запрещено поступать в Карлов университет в докторантуру... У вас это называется черный список, да? Вот такое у меня положение.

Во время процессов Сланского мою мать преследовали, она покончила с собой в 1956 году. На нее донесло тогдашнее ее начальство. Она работала в израильском посольстве. От нее потребовали, чтобы она поставляла секретные сведения о после. Ее мучили. Она испытала такое унижение, что, возвратясь в посольство, где работала, там же и повесилась. Не захотела сотрудничать с КГБ. Моя мать была еврейка.

Васкес Рохас и Гевара спускаются по Нерудовой улице молча, словно окоченев под ледяной изморосью.

Васкес Рохас, согласно своей "легенде", должен был произнести что-нибудь в осуждение системы. Но слов он не находил.

Она помогла ему, не знавшему, что сказать о ее трагедии:

— Со временем, после того как Чехословакия порвала отношения с Израилем, здание, где мать покончила с собой, было передано Аргентине. 25 мая — аргентинский национальный праздник[2], и там всегда устраивают прием для всей латиноамериканской общины. Я стараюсь сопровождать туда кого-нибудь из гостящих у нас предпринимателей или чиновников. В глубине сада есть деревянный домик — там повесилась моя мать. Так я поминаю ее каждый год...

— Если в мае я еще буду здесь, обещаю взять вас с собой, — сказал Васкес Рохас.

Они идут по улицам Кламма, Барнаба и К.[3]. Улицы кажутся прямыми, но на самом деле они слегка извилистые, как в лабиринтах...

1. Как известно, чилийский поэт Пабло Неруда (наст. имя Нефтали Рикардо Рейес Басуальто, 1904–1973) взял себе псевдоним в память чешского писателя и поэта Яна Неруды (1834–1891).
2. 25 мая — национальный праздник Аргентины: в этот день в 1810 г. в Буэнос-Айресе вспыхнуло антииспанское восстание.
3. Кламм, Барнаба и К. — персонажи романа Кафки "Замок".

— Мы не хотим читать Кафку. Нас не интересует этот нереальный, жестокий мир. Что еще можем мы потерять, чего до сих пор не потеряли? Даже если русские пошлют на нас свои танки...

В Росевинке сочетаются хрупкость, яростная энергия и обаяние. Перед самой площадью Святого Николая Васкес Рохас взял ее за талию, привлек к себе и крепко сжал в объятиях. И поцеловал в глаза, а потом в лоб. Так они и попрощались.

Гевара и Васкес Рохас вернулись в свой засекреченный дом. Они чувствовали, что им нечего сказать друг другу.

ЭЧАГУЭ И ДРУГИЕ В БУЭНОС-АЙРЕСЕ делились со мной своими воспоминаниями о годах аргентинской douceur de vivre[1]. Поэт Лавапер вспоминал, как Эрнесто участвовал в танцевальном вечере, устроенном для пятнадцатилетних подростков.

— Хотя его семья была почти нищей, однако по своему происхождению они принадлежали к аристократии, поэтому материальные трудности и коммерческие неудачи отца воспринимали как некий знак отличия. Селия де ла Серна, его мать, хвалилась "счастьем быть бедными, когда не приходится воевать с прислугой".

— Эрнесто был невыносимо плохо воспитан и способен на любую выходку. Сознание принадлежности к высшему классу было у него столь же сильным, как у родителей. Помню Эрнесто в пору увлечения регби, когда он писал заметки о матчах, помню его и на медицинском факультете. Однажды в пятницу он прихватил с собой с занятий в анатомичке ногу трупа, завернул ее в несколько листов "Пренсы"[2] и поехал с ней в метро, чтобы хорошенько изучить к семинару, который будет в понедельник. Эта сумасшедшая история стала анекдотом года. Он все пытался прикрыть ногу, вылезавшую из небрежно сделанной обертки и источавшую трупный запах, смешанный с запахом формалина. Ему такие штучки нравились. Безрассудство, крайности, но крайности, если угодно, болезненные. А все вокруг восхищались.

— Был он жутким поросенком, ходил всегда вызывающе неопрятным. Нейлоновую рубашку, когда-то бывшую белой, он "купал по субботам", как и свою собаку. Ему нравилось эпатировать окружающих. Но делал он это с почти ребяческим озорством. "Я купаю собаку, а заодно мою рубашку".

— Потом озорство стало превращаться в чистой воды авантюризм. Тут сыграла роль Селия, его мать. Это она учила сына преодолевать болезнь, не поддаваясь ей, бросая ей вызов. Она ему сказала: "Даже если ты чувствуешь, что умираешь, совсем задыхаешься, не паникуй, терпи — обожди немного, на краю стадиона, у бортика бассейна. И как почувствуешь, что воздух начинает проходить в легкие, снова плыви! Снова беги!"

— Селия была чудовищем. Типичная де ла Серна. Жизнестойкая, упрямая. Но в глубине души разочарованная в своем муже, оказавшемся слабаком. Поэтому сын Эрнесто, Тете, был ее козырной картой... А возможно, орудием жестокого реванша. Она, по правде сказать, всегда была левачкой (против Франко, за де Голля, против генералов, против Перона, которого считала правым, — и всегда против буржуазных и

1. Сладкая жизнь (*франц.*).
2. "Пренса" — аргентинская газета.

консервативных взглядов своих братьев и той социальной среды, от которой в повседневной жизни она себя не отделяла и от которой, в сущности, никогда не отказывалась).

— Ты ищешь ключи к детству героя, — говорит мне Эчагуэ. — Как я уже рассказывал тебе когда-то, главной там была молчаливая, тайная борьба астматика с постоянной угрозой смерти от удушья. Наверно, это можно сравнить с обрядом инициации — после приступа все обретало уже совсем иной смысл, воспринималось иначе.

После приступа, когда всю ночь он держался за руку отца и время от времени слышал тревожные вздохи Селии, своей матери, он начинал сознавать собственное превосходство и над старшими мальчишками, и даже над взрослыми мужчинами — он постиг высшую науку, то есть познал предел, познал смерть.

И смерть его завораживала. Он едва не умер от какой-то инфекционной болезни, которой заразился, копаясь во внутренностях трупа во время занятий в лаборатории доктора Пизани... Он всегда старался шагнуть дальше других, это известно — но в тот раз слишком уж приблизился к гибельной черте... Был очень плох, однако сумел выкарабкаться. Говорите, случай? Теперь я так уже не думаю...

Итак, он изучал медицину, а выбор такой, видно, сделал, когда случился апоплексический удар (как тогда говорили) у его бабушки, которую он очень уважал и которая тоже была, на свой лад конечно, авантюрной особой. Эрнесто дни и ночи проводил подле нее все время долгой агонии. Сам терпеливо кормил бабушку. Трудно, а то и невозможно представить, чтобы так вела себя нынешняя безалаберная молодежь. Он видел, как смерть одерживает верх, как уносит человека, которого он так глубоко почитал. И тогда, неожиданно для всех, он решил изучать медицину. Иначе говоря, выбрал себе профессию не как это делают другие — после серьезных и основательных раздумий, — а как человек, идущий в бой.

— Несносный и замечательный Эрнесто! Где бы он ни появлялся, он привлекал к себе взгляды, он был наделен харизмой, как помазанник Божий, — говорил Лавапер. — Это тебе подтвердят все, кто его знал, даже те, кто ненавидел или презирал его за выбранную политическую позицию. Что-то в нем притягивало — может, взгляд, может, осанка, а может, ребячливая заносчивость или некая отчужденность, которая, как говорит Мельчор, могла объясняться только тем, что он уже постиг весьма необычную науку — "науку смерти".

Его друзья — Хорхе де ла Серна, Карлос Фигероа, Калика Феррер, Пако Агилар, Марио Саравиа Гевара, Густаво Рока. И Гранадо, товарищ по колледжу "Декан Фунес" в Кордове (он сам не захотел или родители решили не отправлять его в Монсеррат, где находилось более подходящее для него престижное учебное заведение...). Жил он то в Кордове, то в Буэнос-Айресе. Семья Гевара вернулась в Буэнос-Айрес в 1947 году, в разгар перонистской революции. Но именно в Кордове он познакомился с Чичиной Феррейра — и они влюбились друг в друга. Эрнесто пришелся весьма кстати в особняках Феррейра и Малагеньо. Потому что там тоже обожали самые рискованные забавы. Когда являлся на обед какой-нибудь правительственный чиновник, или предприниматель, или другие серьезные, благонамеренные гости, девушки принимались ссориться, изображая дикую вражду и не стесняясь в выражениях. Они гонялись друг за дружкой и швыряли дешевые тарелки и вазочки с таким

видом, будто это дорогие старинные вещи, и вдруг кто-то из юношей высовывался из окна с револьвером, притворяясь, будто хочет застрелить сестру. "Шлюха! Ты потеряла невинность!" — и делал два-три выстрела... Гости приходили в ужас. Épater le bourgeois[1]...

Такие бывали "шуточки" в доме Феррейра. Гевара там появлялся в своей "недельной" рубашке, которую стирал по субботам, в туфлях разного цвета, купленных на какой-то распродаже, и с книжкой Камю или Томаса Манна под мышкой.

Чичина была нежной, интеллигентной, стройной, с чувственными зелеными глазами. Есть фотография — целая орава молодежи в открытом "форде", voiturette[2]. И разумеется, Эрнесто, не умевший водить, сидит за рулем — они выезжают, "чтобы перебраться через пропасти пампы Ачала[3]".

Словом, Эрнесто и Чичина полюбили друг друга. Семейство Феррейра разделилось на два лагеря: тех, кто смирился с отчаянным наглецом, и тех, кто его терпеть не мог.

Видимо, Эрнесто уговаривал Чичину отправиться вместе с ним в необычное путешествие — объехать всю Америку на мотоцикле или на автомобиле с домиком-прицепом (рассчитывая, вероятно, на экономическую поддержку семьи Феррейра). Действительно, было трудно представить себе Эрнесто — а ему уже исполнилось двадцать два года — в приличном костюме, сидящим в медицинском кабинете в Кордове или играющим в гольф в Вилья-Альенде[4]. Было очевидно, что Эрнесто видел и в буржуазном укладе жизни, и в любви очаровательной Чичины Феррейра серьезное препятствие для своих планов, ведь он мечтал о независимости, о полном разрыве с этой средой. Не менее очевидно для любого из его друзей было и то, что девушка не сможет приспособиться к анархическому нраву Гевары, которого вечно манили самые рискованные предприятия. Это было ясно. Думаю, он попытался уговорить ее объехать всю Америку, а затем, мол, они поселятся в Париже. Такова была программа богемы, золотой молодежи тех лет.

Что до марксизма, до идеологии, это придет позже. В то время марксизм был для него всего лишь скромным увлечением: беседы в кафе, дружба с Титой Инфанте, которая училась на том же факультете и была членом Коммунистической федерации. Но не более того. Он мыслил по-юношески дерзко, либерально. Защищал Перона исключительно из любви к провокации — на обедах в семействе де ла Серна в доме на улице Парагвай или в усадьбе Малагеньо, загородном поместье семьи Феррейра. Среди студентов, сидя в кафе, он был антиперонистом левого толка. Значение перонизма он понял только в Гаване, уже став команданте-победителем и беседуя с двумя выдающимися людьми — Алисией Эгурен и Джоном Уильямом Куком, пионерами революционного перонизма и пропагандистами (в некоторой степени) противоречивых идей Перона.

Когда в 1955 году военные свергли Перона, Эрнесто, кажется, написал стихотворение "Роза для Хуана Доминго Перона". Это мне сказала на Кубе его вдова Алейда Марч. Она утверждала, что у нее есть оригинал...

1. Эпатировать буржуа (*франц.*).
2. Небольшая машина (*франц.*).
3. Ачала — пенеплен (остаточная равнина) в Сьерра-Гранде-де-Кордова.
4. Вилья-Альенде — пригород Буэнос-Айреса.

— Просто счастье, — замечает Лавапер, — что он так много написал именно в прозе. Его поэтические опыты — а их было немало — демонстрируют склонность к банальной сентиментальности. Уже само название этого стихотворения, если таковое существует, достаточное тому доказательство...

— Улица Араос, 2180, их дом стоял почти на углу! — говорит Лерена де ла Серна. — Так и вижу дом, ворота в гараж, где он задумал изготовлять средство против тараканов на основе гамексана. Хотел, видите ли, разбогатеть. (Они бы и разбогатели, потому что его компаньоном был Карлос Фигероа.) Он пытался зарегистрировать отраву под маркой "Аль Капоне". Это не удалось, но название дали достаточно красочное: "Вендаваль"[1]. (Могло ведь быть и "Сталин", разве не так?)

— Мне кажется, надо поподробнее рассказать тебе историю с женитьбой, которую он так решительно расстроил, — говорит Эчагуэ. — Если ты ищешь то, что лежит глубже обычных биографических сведений, этот эпизод очень важен. В общем и целом его невеста Чичина была очень выгодной партией — он мог получить богатую жену, притом еще и очаровательную. Эрнесто об этом не думал. С его-то нарциссизмом и самодостаточностью... Я уверен, что ни его мать, ни кто-либо другой из их полоумной семьи не думали о деньгах клана Феррейра. В итоге в путешествие он поехал с Гранадо, они отправились на юг, потом в Чили, через Мирамар[2], где семейство Феррейра проводило лето. Что именно случилось там, в Мирамаре, не вполне ясно, вернее, я точно не помню, но что-то неприятное. Эрнестито, Тете, нашалил. Кажется, он стал обхаживать их служаночку. А поскольку у девицы, когда Тете захотел пойти с ней позагорать в дюнах, не нашлось купального костюма, он, недолго думая, схватил с веревки купальник одной из сестер Чичины. Серьезное преступление, чего уж говорить. И еще случилось что-то с браслетом Чичины, который он у нее выпросил как залог их любви, а на самом деле он побился на пари с Гранадо, что получит браслет. Похоже, самоуверенность и спесь завели его слишком далеко, и он вел себя как последний хам. Тут-то прелестная девушка и прислушалась к голосам наиболее благоразумной половины семейства Феррейра. Они расстались, поклявшись друг другу в вечной любви. Он ей подарил собачку-амулет, чтобы она о нем вспоминала. Но, приехав в Барилоче[3], получил от нее нежное прощальное письмо.

Да, он вел себя безрассудно. Однако добился того, чего хотел: любовь, возможно, даже настоящая любовь, больше не мешала устремлениям его авантюрной натуры. Что там произошло в Мирамаре, я точно не помню, но он совершил ошибку. Хотя, возможно, она только и ждала, чтобы он совершил ошибку... Возможно, они оба хотели освободиться.

— Возвратившись из путешествия, он решил закончить обучение. Сдал шестнадцать экзаменов, один за другим, проявив чудеса воли. Сидел запершись в квартире на улице Ареналес у своей тетки Беатрис, которая его обожала и заводила будильник, чтобы ночью подать ему мате — ведь Тете всю ночь занимается!

1. "Ураган" (*исп.*).
2. Мирамар — курортный город в провинции Буэнос-Айрес.
3. Барилоче (Сан-Карлос-де-Барилоче) — аргентинский город в провинции Рио-Негро, туристический центр.

— Но он не только занимался. У тетушки Беатрис была служанка, хорошенькая девушка из Катамарки[1], с которой Тете...

Он был наглецом. Я помню эту девушку. До сих пор перед глазами стоит... Однажды (его всегдашнее бахвальство!) он попросил меня занять тетушку разговором, и тут же, рядом, за полуоткрытой дверью, на мраморном кухонном столе...

"ФИЛОСОФСКИЕ ЗАМЕТКИ". Я ШЕЛ ВДОЛЬ ВЛТАВЫ, потом спустился на остров Кампа на Малой Стране. Какой-то человек, наверняка чех из охранки, следовал за мной с поразительной профессиональной неловкостью. Мое значение в международном плане уже так невелико, что сегодня ко мне отрядили какого-то внештатного сотрудника-новичка.

Я выбрал удобный столик. В это дождливое утро в кафе было пусто. Но выпить чаю или кофе не удалось — автомат не работал. Выкурил трубку, попросил рюмку водки. Льет дождь на маленькой площади Кампа — никого вокруг, только грачи с криками скачут по голым веткам. А еще мой "хвост" — он выходит на площадь и обнаруживает, что там, да и перед кафе никого нет, кроме него самого, а ему нельзя себя выдавать. Он ведет себя так неловко, словно по ошибке попал в женскую уборную. Но деваться некуда, и он невольно наталкивается на мой взгляд в окне. Мой филер тощ и хил. У него небольшая головка приунывшей птицы или заблудившегося нетопыря. Чем-то он похож на Кафку — но еще не сдавшего экзамен на адвоката, а только получившего степень бакалавра, и без котелка. Как он выйдет из положения? Он слишком резко ускоряет шаг (отступать он не может), пересекает площадь и проходит мимо моего окна, не поворачивая головы, — теперь он вынужден топтаться на берегу реки, под мелким дождем возле окоченевших лебедей. Лебеди смотрят на него враждебно — они привыкли к туристам, которые бросают им куски булочек или печенья, а такого оборота он не предвидел. Плохой признак — следить за мной посылают неопытных шпиков.

Я размышляю о своем положении. Иногда с иронией. Да, я одинокий condottiero, что достаточно парадоксально. Я с трудом переношу других людей. Мой отряд мне наскучил. Мои телохранители из "секретного дома" невыносимо тупы. Как будто родились и выросли среди полной тишины. Тишины, нарушаемой лишь старыми-престарыми анекдотами. Я пытался заставить их играть в шахматы. Или читать. Бесполезно. У них есть приказ — охранять меня. Заботиться, не спуская глаз. Но я ловко от них сбегаю со своими "Тетрадями" в город, где, по их мнению, я встречаюсь с агентами обширной конспиративной сети. Я им говорю, что работаю, и это обычно их успокаивает.

Я всегда был одинок. Лежал в безмолвном доме и ждал, пока другие проснутся. Всегда страдал бессонницей и удушьем. Я — и другие. Я, мои книги — и другие.

Я родился в стране, где происходили самые экзотические смешения кровей. В стране, издавна рождавшей бастардов, где девушка из семьи басков влюблялась в голубоглазого авантюриста кельта. Неаполитанцам детей рожали женщины индейского племени матако[2]. Астурийских крестьянок похищал какой-нибудь злодей из племени мапуче[3]. Страна, на-

1. Катамарка — аргентинская провинция и административный центр у подножья Анд.
2. Матако — индейское племя, обитающее в предгорьях Анд.
3. Мапуче (араукаы) — индейская народность в Чили.

поминающая бред доктора Менгеле. Она производит только штучные изделия – все разные и немного архаичные.

Так и Поджигатель, неукротимый де Серна, Че Гевара, в котором смешалось несколько кровей, вернулся в мир, верхом на мотоцикле отправился на поиски цельности, связей с миром.

Только аргентинец, не имеющий собственной расы, может быть "латиноамериканцем". У него то преимущество, что он легко входит в мир других людей. Мы – иммигранты, а затем эмигранты. (Хотя большинство предпочитает вернуться в Европу, в "развитый" мир.)

Так что Поджигатель удирает со своим другом Гранадо, как бы желая уйти из некоей лаборатории в подлинную реальность мира.

И этот неукротимый Гевара находит нужную ему любовь, находит большой дом, о котором так мечтает человек, не имеющий корней, – на Кубе. Море любви. Ему говорят: это твой дом, твой дворец, блудный сын. Мы даем тебе все и ждем, что за это и ты отдашь нам всего себя.

Поджигатель обладает энергией, недоверчивостью и злостью бастарда. И еще – он жесток, как член масорки[1], потому что такую жестокость прячет под улыбкой каждый аргентинец. Он обладает интеллектуальной силой человека без корней. Возможно, его любовь – это любовь из танго, которая не обходится без оскорблений и пощечин. Любовь "со стыдом за то, что ты любовь".

ВОСТОЧНОМУ ЧЕЛОВЕКУ БЫЛО БЫ СМЕШНО смотреть на наши старания повернуть судьбу усилием воли. Спору нет, мы здесь, на исстрадавшемся Западе, производим существ болезненных, однако занятных. Задолго да начала революционной жизни мне было откровение о моей судьбе. Это случилось после приступа астмы, когда мы жили в Буэнос-Айресе. В те времена я определял свою жизнь двумя состояниями: нормальным и провалом в "пещеру" астмы. Пещера конусообразно суживалась кверху, и ее венцом был туманный, непроницаемо темный круг, куда меня толкало удушье. Порой мне случалось бывать "близко". Когда стало лучше, я полумашинально записал бредовые строки, в которых различил предвестье будущего "со штыком и пулями".

Я знаю! Я знаю!
Если отсюда уйду, меня поглотит река...
Это моя судьба, сегодня я должен умереть!
Но нет, сила воли всемогуща.
Кругом препятствия, я понимаю,
Я не хочу уходить.
Если мне суждено умереть, пусть я умру в этой пещере.
Пули? Что могут мне сделать пули,
Если моя судьба – умереть от удушья?
Судьбу можно изменить силою воли.
Умереть? Да. Но изрешеченным пулями,
Исколотым штыками. Да, нет.
От удушья – нет...
Оставить память более прочную, чем мое имя.

17 января 1947 г.

1. Масорка – карательные отряды при аргентинском диктаторе Росасе (1793–1877).

Мне было восемнадцать лет, и мы тогда уже переехали в Буэнос-Айрес, чудо-город, однако наш семейный очаг был в руинах. Отец спал внизу, в гостиной на софе. У Селии — рак, причиной которого могли быть и неприятности. Они с мужем сильно не ладили.

Первые дни на улице Араос, 2180. Бороться, умереть борясь. Но какая тут борьба? Все же голос судьбы просочился в лекарства для ингаляций и мельком приоткрыл мне картину: пули и штыки, пока еще почти нереальные, недостижимо далекие.

Да, иногда судьба открывается нам. Вроде того, как гадают сантеро Камагуэя[1], кидая свои сомнительные косточки. Судьба только шепчет или подает "знаки, которые никто не понял".

НОСТАЛЬГИЯ ПО БУЭНОС-АЙРЕСУ. Ностальгия по улице Коррьентес[2] — когда я сижу за столиком в "Европе" на Вацлавской площади в нескончаемый дождливый день с порывами ледяного ветра — в Праге, где сконцентрирована вся мировая печаль.

Негрита Кордова — моя кузина. В тот вечер мы все, двоюродные, бегали, играя, по дому в странном возбуждении. "Слепой петух", потом прятки. Я забрался в огромный черный шкаф на первом этаже, скрючился в темноте и стал прислушиваться к недовольным крикам тех, кого нашли. И вдруг кто-то очень тихо открывает шкаф и устраивается с другой стороны, на стопке простынь и полотенец. Осторожно закрывает дверцу шкафа. Я затаил дыхание. Чувствую неясный и незнакомый мне запах. Тогда, не желая поднимать шум или пугать, я тихонько свищу, чтобы известить о своем присутствии и призвать к молчанию, так как кто-то вошел в комнату, порыскал по углам, но затем ни с чем удалился. Я чувствую странное опьянение. В полной темноте протягиваю руку и прикасаюсь к телу девочки, которая деланно хихикает. "Ты кто? Ты кто?" — спрашиваю я. Провожу ладонью по ее лицу, и она пытается укусить меня за палец. Чувствую ее уже заметные грудки. Я знаю, что это моя кузина — Негрита Кордова де ла Серна. Я привлекаю ее к себе, нюхаю. Ощущаю, как пылает ее лицо. Тогда я шепчу тоном зануды-анатома или орнитолога: "Значит, ты уже настоящая женщина?"

"И дома твоего давно уж нет", как поется в танго. Наверно, кто-то, сам не зная зачем, купил тот шкаф на распродаже, как покупаешь на ярмарке апельсины, не зная, что один из них таит безумных любовников Иеронима Босха. Иероним Босх!

16 октября 1947 года я приехал из Кордовы в Буэнос-Айрес: мы переезжали в столицу, и надо было оформить некоторые документы. И там, на углу улиц Ареналес и Урибуру, в доме моей тети Беатрис, я встретил Негриту, которой уже минуло семнадцать. Она притворилась, будто уходит, но я провел ее через черный ход в мою комнату.

Ужасная влажность, тропическая. 17-го числа тетя Беатрис пожаловалась на жару. "Это закончится страшным разрядом, бурей, упаси нас Господь". Она хваталась за голову. И все же приготовила мне мое любимое блюдо — картошку с сыром.

1. Сантеро — последователь афрохристианского культа — сантерии, распространенного на Кубе.
2. Улица Коррьентес — улица в Буэнос-Айресе, на которой много издательств, книжных магазинов и т. п.

Привратник и сторож сообщили, что по улицам Санта-Фе, Ривадавия, Коррьентес с утра едут грузовики с рабочими. Днем их стало гораздо больше.

Негрита вернулась, сказав, что забыла портмоне. Тетушка все ахала: "Пусть бы налетела буря посильнее, чтобы разогнать всех этих перонов-ских фашистов, этот наглый сброд!"

Прибывали они на грузовиках. Захватывали трамваи. Переправлялись через Риачуэло[1] в битком набитых лодках, как плотоядные муравьи, которые во время своих жестоких набегов плывут на листьях.

Отец Негриты, мой дядюшка Поличо, писатель, член коммунистической партии, разъяснял дочке: "Это запоздалый удар международного фашизма. Настоящие нацисты, которыми командуют Перон и его Кобыла[2]".

Нам с Негритой удалось влезть в трамвай, и мы подъехали к зданию Конгресса. Там мы смешались с толпой людей, которые прежде никогда не отваживались появляться выше улицы Пуэйрредон[3]. Действительно, то были "голодранцы"[4], сплошь в альпаргатах. Со всех сторон звучали здравицы в честь Перона. Действительно, они восстали против военных, державших Перона под арестом на острове Мартин-Гарсиа.

Вожаков там не было — мы видели воистину народные массы. Хотя Негрите говорили, будто их заставили туда явиться.

Но на самом деле движение было столь же мощным и по-настоящему народным, как то, что я потом наблюдал во время Боготасо[5] или при нашем вступлении в Гавану.

Всплеск подлинно народных чувств. Такое случается редко, но подобные события созидательны. Тогда я впервые ощутил это настолько остро: вот он, народ.

Пятьсот тысяч восставших заполонили город и возвели на престол нового лидера.

С того дня я изменился, хотя продолжал относиться к Перону с недоверием, а к Эве — с ничем не оправданным презрением. Я даже не пытался понять ее или проявить снисходительность. Классовое высокомерие. Спесь обитателей Северного района[6], вполне сопоставимая со взглядами всех этих кошмарных университетских коммунистов, обремененных степенями теоретиков, умников с улицы Коррьентес, из Психоаналитической ассоциации и из Киноклуба.

— Партия мобилизована. Все ячейки приведены в боевую готовность. Поличо проводил совещание с членами Центрального комитета через посредничество Араоса Альфаро[7], — говорит Негрита, когда мы уже находимся на Диагональ-Норте[8] и застреваем, зажатые толпой бедняков.

— Тебе это сказал сам Поличо, твой отец?

— Да.

— А Поличо и все они вооружены?

1. Риачуэло — река, протекающая по Буэнос-Айресу.
2. Так называли враги Перона его жену Эву Перон (Эвиту).
3. То есть в центре столицы.
4. "Голодранцами" (descamisados) называла Эвита бедняков, которых опекала.
5. Боготасо — народное восстание в столице Колумбии Боготе (1948) против консервативного правительства М. Оспины Переса.
6. Северный район Буэнос-Айреса — район буржуазии.
7. Грегорио Араос Альфаро (1870–1955) — аргентинский медик и гигиенист.
8. Диагональ-Норте — небольшая улочка в центре Буэнос-Айреса.

— У папы был кольт, но он его спрятал, потому что идут обыски в домах коммунистов.

— А кольт хороший?

— Старый кольт-38, с длинным стволом, с кольцом на рукоятке.

— Сейчас же возвращайся домой и скажи своему папаше, чтобы он вел себя благоразумно, пусть лучше стихи сочиняет...

Арестованному Перону, который находился в военном госпитале, дали выступить в одиннадцать вечера, он даже пижаму не успел снять. Перон брал власть не на один десяток лет, и я очень поздно это понял. Хотя изображать некоторую лояльность к перонизму, шокируя богатых родственников или обитателей особняка Феррейра, стало одной из любимых моих забав в те годы, в годы моего беспардонного нарциссизма.

ДНИ И НОЧИ 1947 ГОДА. Эпицентры: улица Кордова — вроде светлой реки, затем поворот, а справа легендарная Клиническая больница с идолами медицины — грозными Арсе, Чутро, Бреа, Финокьетто, Тайяной. Кафе на улице Чаркас. Столик у окна, за которым Тита Инфанте и Кампос объясняют свое коммунистическое отношение (ортодоксальное и проверенное) к перонистско-популистскому фашизму. Фернандо де ла Серна. Арнальдо Свердлик, который отправлялся сражаться за Израиль — на грузовом польском судне, с заходом в Марсель. Белые халаты, пахнущие формалином. Растрепанный том Тестю[1]. Ночь в Актемине перед экзаменом. Практическое занятие по анатомии — труп, послуживший учебным пособием не меньшему числу студентов, чем книга Тестю. Служитель-галисиец двигает ящики с деревянными крышками, которые служат сиденьями, и вытаскивает очередного мертвеца, с которого ручьями стекает формалин. "Этот уже достаточно промок", — говорит служитель.

Старина Регейро рассказывает историю про анархистов в Патагонии, о расстрелах в продуваемой всеми ветрами пустыне. Они были покинуты и преданы коммунистами. Потом является Кампос — он детально изучил то, что произошло в Петербурге в 1905 году, и пришел к выводу: все погубила недисциплинированность анархистов. Луис Альберто Бальестер. И фотограф Яро с неизменным фотоаппаратом на груди. Родольфо Уарте.

Я собираюсь сдать двадцать предметов один за другим. Тетя Беатрис просыпается в два часа ночи, чтобы приготовить мне мате. После каждой главы проверяет меня — задает вопросы. Потом заставляет пить особую настойку. "Чтоб на рассвете встал бодреньким", — говорит она. И когда она засыпает, я пробираюсь в комнату Ньяты; от нее пахнет мылом "Люкс" (которым пользуются девять из десяти кинозвезд). Делаю ей подарок: фото Эвиты в платье от Диора, рядом Перон в парадной форме, они стоят в фойе театра "Колон"[2]. Я сам четырьмя кнопками прикрепил фотографию на внутренней стенке шкафа, чтобы тетя Беатрис не увидела и не возмутилась. Потом прогулка с Титой по улице Пуэйрредон. "Вы должны прочитать "Анти-Дюринга", это основополагающая книга", — говорит она.

Луис Альберто Бальестер рассуждает о мире Карамазовых и о чувстве зла у Ивана Карамазова. Зло невинное (у отца и у Грушеньки) и извращение Зла...

1. Леон Тестю (1849–1925) — французский анатом, автор руководств по анатомии.
2. "Колон" — оперный театр в Буэнос-Айресе.

К этим столикам в кафе чужие не подходят. Тут все сообщники, друзья.

По воскресеньям вечером встречи с издателями журнала "Tackle". Наша команда шикарного клуба "Аталайя". Мейер Арана, Роберто Гевара, Родригес Альгараньярас, Линч, Карлос Фигероа. Хронику пишет Чанг-чо (это я). Хохот. Ужасные раблезианские похождения Карлоса и Франсиско. Необычный способ соблазнять "очаровательных нищенок" у Гардини, который насиловал их на скамейках на площади. Кусандье, прилежно изучающий систему Брайля на курсах в Национальном обществе попечительства слепых на авениде Хуан Б. Хусто, чтобы иметь возможность читать Достоевского (которого ему рекомендовал Бальестер) летними ночами. Без света, спасаясь таким способом от комаров.

Подобно Роберто Арльту[1] с его медной розой и электролитической ванной, я мечтаю о тысячах, которые заработаю, продавая в парке Мартинес-и-Акассусо мое средство против тараканов. Иду в Бюро регистраций торговых марок. Пробую предложить название "Аль Капоне". Не разрешают. "Почему "Аль Капоне"?" — спрашивает чинуша. "Потому что он никого не оставляет живым. Неужели не ясно?" А он: "Что вы скажете про "Аттилу"?" Идея кажется мне потрясающей, но "Аттила" уже зарегистрирован как название мыла для уборных. Я соглашаюсь с названием менее громким: "Вендаваль". Отрава для тараканов "Вендаваль". "Недурно", — говорит этот человечек и записывает его своим мелким почерком.

И долгая ночь перонистского празднества, возмущающего наших портеньо. Празднует простонародье, которому что-то перепало из прорех таинственной Республики, и оно наводняет улицы космополитического, богатого Буэнос-Айреса, пугая господ в жилетах и канотье.

"Салон Риоха", "Салон Родригес Пенья" — в этих заведениях вокруг танцевальной площадки стоят мужчины, кивком приглашая девушек, сидящих за столиками. Девушек, которые употребляют дешевый одеколон, которые больше не идут в прислуги и освоили профессии работниц, санитарок, служащих гигантского перонистского государства. Когда заказывали пиво (черное, "Кильмес"[2]), официант приносил ящик с дюжиной бутылок и украдкой ставил их под стол. В "Салоне Риоха" танцевальная площадка удобна для "чамаме с иноходью". Веселье подогревают аккордеонисты. Затем торжественно выходит традиционный квартет и исполняет ритуальное танго перед чересчур возбужденной публикой.

Я, всегда щеголявший в своей нейлоновой "недельной" (чем она и прославилась) рубашке, отправляясь туда, должен был надеть строгий костюм с галстуком. (Как в Москве, где нам кричали: "Некультурно!", когда мой телохранитель хотел пойти танцевать в военной походной форме.) Галстук требовался и для посещения публичных домов "Ла Энрамада" и "Палермо-Палас". Такси катали желающих вокруг памятника Испанцам.

Буэнос-Айрес под зимним дождем, льющим за окном кафе. Судорожно повторяю машинописные конспекты, параграф за параграфом, нервно ожидая мига, когда экзаменаторы дойдут до буквы "Г".

1. Роберто Арльт (1900—1942) — аргентинский писатель.
2. Кильмес — пригород Буэнос-Айреса с пивоваренным заводом.

Страх и дрожь на каждом экзамене.

Кто он был, тот человек?

Одинокий эротоман выходит на ночную охоту. Полночь, улица Коррьентес, отель "Пикадилли", кондитерская "Премье" на втором этаже отеля "Лавалье". В поисках чуда. И долгие одинокие прогулки под кронами деревьев улицы Араос; когда я слышал их ночное дыхание, порой мне мерещилось, что дышат они так же трудно, как я с моей астмой.

Трамвай 132 на авениде Кордова. Или медленные трамваи с их симфонией лязга и скрежета, идущие по улице Чаркас, — они соединяют университет с моим домом.

Буэнос-Айрес — целый мир, вселенная тревог и одиночества.

Кем я был? Что стало с тем человеком и с его городом?

Томительное очарование ностальгии дождливым утром в Праге. За чудесной камеей-Прагой — тоска по Буэнос-Айресу и уже утраченному времени. Танго.

CODEX PRAGENSIS[1]. ПИСЬМО К КОМАНДАНТЕ. ДРУГ МОЙ, я должен тебе написать длинное письмо. Я уже начал двигать свои фигуры, развязка близится. Мы все высказали друг другу во время долгих яростных споров, особенно после моего доклада об Алжире. Чувствую в тебе больше чем брата, потому что вижу твое терпение и желание понять мои действия. Пишу тебе в унылом и тихом пражском кафе (где, по закону советского идиотизма, "машина не работает", поэтому ни официант, ни девушка в баре не могут вскипятить мне воду для чая. Неужто этот путь неизбежен? Неужто социализм, задуманный ради того, чтобы жить в равенстве и справедливости, превращается в беспросветное царство неэффективности?).

Итак, ты уже знаешь, что я двинул свои первые фигуры на шахматной доске. Ты оказываешь мне поддержку — даже слишком великодушную. Я встретился с твоими посланцами и в конце концов решил тайно вернуться в Гавану и пробыть там минимум времени, необходимого для знакомства с группой, которая будет меня сопровождать. Несомненно, ты прав. Я хотел отправиться к моей цели прямо из Праги, но это и впрямь было бы неразумно. Мне трудно возвращаться на Кубу после Конго и после отказа от постов и гражданства (о чем говорилось в письме, которое ты публично прочитал на площади Революции). Так было нужно, однако тут сыграла свою роль и гордыня. Чувство очень человеческое, но сейчас самое важное — немедля начать подготовку к грядущей битве — тренировку специального отряда.

Как и за многие прежние дела, бесконечно тебе благодарен. Здесь, на расстоянии, когда вижу, как ты справляешься с Монхе[2] или успокаиваешь русских и Суслова с его "учением", я действительно чувствую твое огромное и поразительное великодушие, подобное тому, какое бывает в семье, где один из братьев — заядлый игрок, способный в одно мгновение проиграть дом.

Но тут мы подходим к центральному вопросу. Мы уже давно не встречались, и мне кажется, будто из пресловутых наших с тобой и Рау-

1. Пражский свод (*лат.*).
2. Монхе — секретарь боливийской компартии.

лем конструктивных и жарких споров сформировалось нечто вроде общего для вас двоих убеждения: ты выбрал Великий Путь (как в буддизме), а мне предоставляешь попробовать идти "узкой тропой".

Думаю, сейчас важно сказать тебе отсюда, из дождливой Праги, некоторые вещи — то, что, по моему мнению, должно быть между нами четко выяснено. Во всяком случае, брат-игрок, прежде чем его заклеймят и назовут избалованным ребенком Истории, должен иметь право объявить о тех изменениях, которые он желал бы внести в свои планы: надо, чтобы Великий Путь объединился с "узкой тропой" региональной партизанской борьбы. (Что-то вроде того, как если бы ты поставил свой единственный доллар на номер тридцать шесть, надеясь сорвать банк...)

Из Праги, из самого центра советской социалистической империи, хочу тебе повторить — поскольку я приближаюсь к часу истины — то, в чем глубоко убежден: мир восточноевропейских демократий потерпел крах, несмотря на технологическую и индустриальную мощь, несмотря на Красную армию, которая выставляет напоказ свои ядерные ракеты каждое 7 ноября. Этот мир разлагается — от скуки и от гнуснейшего торжества мелкобуржуазного индивидуализма.

Этому миру с его бюрократией и миллионами ленивых поденщиков, утративших интерес к жизни, никогда не удастся победить мир западных предпринимателей с его свободным рынком и финансовым могуществом, с его дьявольской властью эгоизма.

Это не социализм, это поражение на пути к социализму.

Социализм мог бы выиграть окончательно только путем войны. Но эту войну он не начал — смерть Сталина стала самым важным событием нашей эпохи. Вот он мог бы рискнуть — дать решительный бой. В один из моментов великого противостояния — во время берлинского кризиса, кризиса с ракетами на Кубе; в любой другой ситуации неминуемо пришлось бы начать решающую схватку. Коммунистическая военная машина, включая сюда китайские массы, не раз приближалась к моменту истины, к моменту, когда все решают меч или огонь, но уже не осталось человека, готового взять в руки меч или зажечь пламя. Остался жалкий Хрущев, которого Сталин, когда бывал пьян, заставлял "изображать медведя" на кремлевских застольях. Хрущев, который нас предал, когда забрал, не посоветовавшись с нами, ракеты.

Мы стояли на ринге, но не решились на великий последний бой. Мир свиней, мелких буржуа, разлагающийся мир торжествует и расширяется. Особенно ясно это видно в жалких, унылых странах, где уже и следа не осталось от власти старых большевиков, от великих идеалов и стремления создать "нового человека".

Команданте! Твой брат-игрок чувствует, что все кончается. Чувствует, что благородный кубинский социализм тоже покатился по наклонной — после предательства Хрущева в 1962 году.

Не думай, что твой азартный брат — мот и пустозвон. Мы упустили шанс дать решительный бой, и теперь за Кубой остается лишь ее революционно-героическая слава. Брат-игрок хочет воспользоваться последними искрами огня, чтобы разжечь новый огонь, который вызовет великий кризис, сильнейшую реакцию Запада и, будем надеяться, приведет к объединению всех типов социализма (русского, кубинского, китайского и так далее) для великой битвы.

Мы находимся на финальном этапе великого исторического движения, которое уже угасает. (Я имею в виду не социализм, он-то в будущем обязательно возвратится. Сколько раундов понадобилось для становления капитализма, начиная с итальянского Ренессанса и до мануфактур Манчестера?)

Вот так обстоит дело, команданте. В распоряжении брата-игрока остались лишь фитиль и коробок спичек.

В джунглях Конго льют сильные дожди — дрова там всегда сырые. Но ты только вообрази: а вдруг бы они загорелись? Тогда зашевелились бы китайцы, ведь они уже проникли в Африку (это мне дал понять Чжоу Эньлай). Русские не захотели бы отставать от китайцев, они никогда не позволят, чтобы китайцы вытеснили их из Черной Африки, ее главных территорий: Анголы, Мозамбика, Конго, Южной Африки... Но увы, не получилось.

Теперь игрок рискует последним — последней фишкой и последним серебряным долларом...

Разлагаются как Восток, так и Запад. У нас есть шанс перешагнуть границу социализма и создать этого самого "нового человека", без которого любая политика — лишь еще один эпизод в череде вечных неудач.

Моя ставка велика, ибо велика моя тревога. Теперь не время щадить людей. Пришло время заложить новый фундамент — для нового этапа истории человечества.

Игрок намерен сделать ставку на революционный авторитет Кубы в Латинской Америке, чтобы поджечь — на сей раз по-настоящему поджечь — сухие дрова (те, что не занялись в Конго).

Битва будет всеобщей. Если отсечь у чудовища только один из его хвостов, оно выживет.

Не так уж много было моментов, подходящих для развязывания Третьей мировой войны, без которой мир так и погрязнет в нищете, будет и дальше разлагаться: берлинский кризис, война в Корее, Куба в 1962 году.

Теперь имеет смысл только попытка спровоцировать Великий Кризис, который заставит разобщенных коммунистов встать в единый строй и двинуться одной дорогой — и эта дорога приведет их к последнему бою.

Команданте! Быть может, если бы кофеварка здесь работала, не случилось бы этого важнейшего объяснения — почему брат-игрок хочет продолжать игру.

ПРИЕХАЛА МАРТА ИРИАРТЕ (ТАМАРА/ТАНЯ). Едва она вышла из посольского автомобиля с двумя чемоданами и пакетами (покупки, сделанные в аэропорту Орли), как наш "секретный дом" посветлел, словно все тени Праги разом рассеялись. (Ее привезли из посольства тайком, спрятав под пледом на заднем сиденье "волги").

Никто не знает, кто она такая на самом деле. Судя по тому, как я кинулся ей навстречу, все решили, что это эмиссар Кастро. Мои телохранители считают, что ее приезд означает начало нашей акции. Они улыбаются.

— Это сеньора Ириарте, — говорит шофер. — Выгрузите чемоданы, а мы возвращаемся в посольство.

Потрясающая сеньора Ириарте. Она взволнована нашей встречей, несмотря на то что волос у меня на голове стало куда меньше. К тому же я теперь без бороды и причесан, как Васкес Рохас.

— Могу я вас поцеловать, команданте? — И она обнимает меня, держа в обеих руках пакеты с деликатесами из аэропортовских магазинов. Сыр камамбер, две баночки foi gras и marron glace[1], бордо, две бутылки шампанского. — С такой короткой стрижкой, команданте, вы только половина себя самого, — и она громко хохочет.

Потом кладет пакеты на стол, где красуется лишь шахматная доска с расставленными фигурами.

— Ух, как я воевала в аэропорту! Они хотели конфисковать у меня шампанское — или плати пошлину! Я сделала вид, что не поняла. Вмешался посольский шофер. Крику было!

Марта Ириарте снимает свое роскошное пальто, доходящее ей (как шинель у Сталина) до щиколоток.

— Они довели меня до бешенства, команданте, эти чехи с их птичьим взглядом! Всякий раз, как я попадаю в этот аэропорт или в аэропорт в Панкове, говорю себе: "Таня, надо, чтобы победила революция в Америке — сперва сотрем с лица земли военщину и капиталистов, а потом — этих монстров!"

Таня напоминает Робинзона в тот миг, когда к нему на его безмолвный остров приплывает гость. Мерси, которого мы назначили для контроля над ней, после совместного пребывания в Сан-Пабло предупредил нас о ее неуравновешенном характере. Но это здоровая неуравновешенность. В течение года она думала, что о ней забыли, а когда Мерси сообщил, какой ей присвоен ранг и что ее приняли в кубинскую коммунистическую партию, она от волнения разрыдалась.

Таня бросает пальто на стул, и теперь во всей красе предстает ее дивная фигура, от которой не отвести глаз.

Я знаю, что Таня переспала почти со всеми своими контролерами, инструкторами, прямыми и косвенными начальниками, со своими врагáми и случайными друзьями. Каждое произнесенное ею имя заставляет предположить какую-нибудь любовную историю. Наверно, Пиньейро ей подсказал, что ее германская сексуальность среди латиноамериканских мужчин будет лучшим оружием в работе.

В ней есть что-то обновляюще-свежее, чистое, искреннее.

Готовлю мате, и мы уносим чайник на террасу, выходящую в сад, чтобы поговорить без "жучков".

Таня проделала труднейшую работу. Она отлично выполнила задание, которое я дал ей в Гаване. Весь Ла-Пас уложила на обе лопатки (притом в свою постель), включая генерала Баррьентоса, президента страны. Она вышла замуж за молодого студента из хорошей семьи и с хорошими связями, что дало ей право гражданства. Потом отправила юношу со стипендией в Соединенные Штаты специализироваться по агрономии. Рассказывает об этом без злобы и без цинизма. Не выдумывает мнимых горестей и мнимого раскаяния. Поразительно умна. Но абсолютно неуравновешенна. У нее бывают свойственные германцам депрессии с еврейской мелодраматической ноткой. Ее контролеры это отметили. Образ жизни, который она себе придумала в Ла-Пасе — роль

1. Гусиная печенка, засахаренные каштаны (*франц.*).

антрополога и светской дамы, — вся эта чудовищная фальшь, по словам Мерси, против нее же и обернулись в форме жестоких приступов депрессии и весьма глубокого раздвоения личности. Ничего удивительного: живя в выдуманном обличье, вынужденные постоянно лгать, мы в конце концов сами подавляем то, что есть подлинного в нашей личности. Разве не то же самое происходит со мной и Васкесом Рохасом/Адольфо Меной/Рамоном Бенитесом?

— Ты боялась? Тебя в чем-то подозревали?

Таня уверена, что нет. Последнюю высоту пришлось одолеть, когда она стала встречаться с генералом Баррьентосом.

— Если бы какая-нибудь западная разведка меня заподозрила, они тотчас бы меня остановили, ждать бы не стали. Как ты считаешь, команданте?

— Пожалуй, — отвечаю я. — Хороший шахматист может рискнуть защитой своего короля, чтобы завершить подготовку к атаке... К последней атаке.

— На меня шахматы всегда наводили скуку, — сказала Таня. — Неужели существуют хорошие шахматисты, которые умеют выигрывать войны, словно действуют на шахматной доске?

Просто невероятно, сколько людей из всех слоев общества Таня сумела в той или иной степени использовать. Ее отчет наполняет меня оптимизмом. Она сделала гораздо больше, чем я мог предположить, особенно в своих контактах с местными кадрами. Сумела преодолеть сектантские настроения левых, взаимное недоверие.

Все, что мне было известно из разрозненных донесений моих посланцев, в частности от Папи, вполне подтверждается.

Она подготовила явки и убежища. Организовала работу в независимых ячейках. Она описывает мне Боливию как страну с революционной традицией (там шахтеры еще в 1952 году восстали и добились правительства, ориентированного на защиту национальных и социальных интересов).

Работа проделана блестящая, о чем я ей и говорю. Она бурно выражает свою радость. На отдельном листке я наметил обширную схему связей, нашу особую, совершенно тайную схему, и другую, о которой знают в Гаване.

Таня говорит о возможности разбить лагерь в Альто-Бени[1]. Но я не спешу сообщать ей свои соображения насчет этого сложного дела. Я говорю, что мы купим две-три базы, а окончательный выбор сделаем в последний момент, чтобы не рисковать.

Она много говорит. Старается угадать мои мысли. (Но, к счастью, у меня самого они не вполне ясны.)

— Мне очень приятно быть Мартой Ириарте. Лучше, чем Лаурой Гутьеррес, как в Боливии. Марта Ириарте — удачная выдумка Пиньейро, чтобы ездить по Италии и Аргентине. Она дает мне полную свободу и позволяет хорошо одеваться. К тому же прибавляет несколько лет — это ведь интересней, не так ли?

Она смотрится в зеркало. Снимает пестрый жакет и остается в белом пуловере с высоким воротником.

1. Бени — департамент на северо-востоке Боливии, часть территории которого покрыта вечнозелеными и саванными лесами.

— Ты напрасно согласился, команданте, чтобы Пиньейро придумал тебе такую "легенду" — с короткой стрижкой, хотя теперь глаза у тебя стали очень выразительными...

Если бы мы поступали строго по правилам, по инструкции, ее следовало бы нейтрализовать, убрать. Я ей сообщаю, что, прежде чем возвращаться и приступить к решающему этапу задания, ей придется побывать в Берлине, в Панкове. Такой поворот дела ей не нравится. Но она соглашается. Не спорит, но на миг с ее лица исчезает улыбка, которая с самого появления озаряла его.

— С тобой, команданте, мы пойдем куда угодно и всегда — к победе! — Она откупоривает бутылку вина и предлагает тост: — Мы — люди Че!

Я смотрю на нее.

— Да, мы — твои люди. Мы знаем или чувствуем, что ты хочешь идти до конца, идти к чему-то очень великому. Команданте, разреши мне сказать, что в 1961 году, когда мы познакомились в Берлине, я это в тебе почувствовала. Масетти — или кто-то другой, возможно Бустос, — мне сказал, что я отчаянная женщина. Нас, тех, кто чувствует, что этому миру нельзя идти на уступки, можно сосчитать на пальцах одной руки. Мы ощущаем себя загнанными в туннель. Ты помнишь, команданте, отель в Берлине? Это был "Гранд-Отель"? Ты мне рассказывал про Алейду, про твоих детей. Помнишь? Нет. Ты ничего не помнишь. Я тебе сказала, что есть женщины для жизни и для смерти. Я это сказала тебе по-немецки: "Frau zum Tod". Ты мне рассказывал о своей матери. Я тебе сказала, что она была твоей Frau zum Tod...

Мы выпили несколько бокалов бордо, и я послал шифровку: сеньоре Ириарте надо уехать отсюда совершенно незаметно, будто она весь день не покидала посольства.

Мы еще раз обсудили боливийскую схему. Расходы, надежные конспиративные квартиры, базы для тренировок и контакты. Таня не подозревает о том, что я сопоставляю ее информацию с информацией, которую уже получил от Папи — Мартинеса Тамайо. Все совпадает.

В этот час, в свете гаснущего дня, пока сеньора Ириарте рассказывала мне о своей жизни в Ла-Пасе, о занятиях археологией и шпионских любовных похождениях, я понял, что жребий брошен. Как бывало уже не раз, я все "поджидал других". А теперь другие шли по тропкам своих заданий, как роботы, не зная один другого, и вот уже они поджидали меня.

Сеньора Ириарте не подозревала, как я рисковал из-за нее. Будущее покажет, кто она — женщина для жизни или Frau zum Tod.

До ее отъезда у меня остаются два дня, чтобы сообщить ей точное место, откуда я хочу начать свой последний крестовый поход.

Таня все говорит и говорит о Боливии. О Баррьентосе, о своем муже-немуже, о влиятельных военных и праздниках. Говорит о Монхе и молодых диссидентах, которые не согласны с официальной линией боливийской компартии, они жаждут действия и не желают терпеть того, что Монхе пляшет под дудку Москвы. Говорит о Геваре — члене прокитайской боливийской партии ("Знаешь, чтобы отличать его от тебя, мы его называем "Ты Гевара"). Она хохочет и продолжает рассказ.

Секс — большая сила, он способен обольщать, покорять, направлять. Харизма женской привлекательности. Великолепные ноги Тани в обтягивающих брюках и сапогах с пуговицами до колена, как носили прежде прусские офицеры. Безумие и тайна этих пуговиц.

Общительность, смешливость и говорливость, а за ними — трагедия и слезы.

Наконец прибыла машина из посольства, и весь процесс повторяется: машина подъезжает к террасе задом, Таня, изрядно выпившая, залезает в нее на четвереньках и, покрикивая "мяу-мяу", падает на заднее сиденье, шофер накрывает ее шотландским пледом. Прежде чем захлопнулась дверца, она успевает высунуть кончик ноги и помахать им в знак прощания.

ОТНОШЕНИЯ С ВАСКЕСОМ РОХАСОМ осложняются. Встречи перед зеркалом становятся с каждым днем все более неприятными для обеих сторон. Уже дня два-три я не брил его и не подстригал ему волосы (мы совершали дальние походы и тренировались на острове Слапы), так что сегодня пришлось не меньше получаса восстанавливать его внешность. Гладко выбрил ему физиономию, укоротил и даже проредил волосы, как говорят в Аргентине — "а-ля полуамериканка".

Васкес Рохас глядит на меня с иронией. Наверно, из-за приезда Марты Ириарте/Тани. Как будто говорит: "Ага, не хочешь вспоминать "Гранд-Отель", белые, пушистые полотенца, нагретые на радиаторе, которыми она тебя укутывала после двухчасовой ванны. Это было в 1961 году. Ты был победителем. Она — переводчицей, приставленной к тебе Вольфом, человеком с повадками мрачного демона. И в последний день официального визита ты попросил немцев, чтобы ее отправили на Кубу. Через три месяца девушка явилась. Тогда ты не был профессиональным моралистом..."

Я подравниваю ему височки и обрабатываю брови краской, которую дал мне Эдди Суньоль. Васкес Рохас преображается в типичного буржуа, воплощение посредственности, человека, уверенного в том, что умрет он непременно в одной из мадридских клиник.

Он не знает, что ему делать с Росевинкой.

— Ты просто бабник, Васкес Рохас, бабник. Так и будете бродить по следам Кафки? Декадента с физиономией нетопыря?.. (Правильно, что его запрещают.)

А он мне в ответ:

— Для социалистического лидера, Гевара, последнее дело — блюсти нравственность, изображать из себя ревнителя этических норм. Изображать из себя Катона. Первый, кто теряет свободу, это ты (сексуальную свободу в первую очередь. Ты уже не можешь сказать: "Хочу переспать с Таней"). Тебя гнобит лицемерная мораль. Ты — Катон. Люди больше всего ненавидят атмосферу пуританской морали, которую навязывают те, кто называет себя революционерами...

Итак, брови подкрашены, лицо чисто выбрито, теперь последние, самые важные штрихи — очки в массивной черепаховой оправе и протез на зубы, изменяющий овал лица. (Для Гевары это самая неприятная часть процедуры. Принимаясь в кафе за свои заметки — как теперь, — он украдкой вынимает протез, чтобы чувствовать себя комфортней.)

— На днях, Гевара, ты писал своей дочке Ильдите. Ты ее убеждал, что назначение ее жизни стать революционеркой. "Великой революционеркой, борющейся за освобождение Америки". Кто тебе сказал, Гевара, что жизнь человека должна быть посвящена революции? Это ведь означает вечное самопожертвование. Буржуазное общество, как я тебе однажды говорил, в моральном плане менее совершенно, а потому оно бо-

лее человечно. Всем быть героями, революционерами? Не знаю, Гевара, стоит ли Таня в человеческом смысле выше, чем моя дочь, которая, согласно сочиненной Пиньейрой "легенде", живет в Монтевидео...

Мы глядим друг на друга в зеркало. С каждым разом у нас все меньше взаимной симпатии и уважения. Васкес Рохас утверждается в своей посредственности, в "прелестях буржуазной жизни". О, эти воскресные обжорства в доме Хорхе де ла Серна! Кем мог бы стать Че Гевара? Он мог бы стать "Ты Геварой" — завсегдатаем гольф-клуба "Наутико". Проходил бы специализацию по серьезным аллергическим заболеваниям в Парижском университете. Участвовал бы в роскошных обедах с приборами из перуанского серебра в доме Феррейра. Чичина во главе стола. Пруст, фильмы Бергмана, последний модный роман...

Заканчиваю подравнивать ему виски. Как раз "полуамериканка"! Он смотрит на меня из зеркала. Говорит мне:

— Ты с Таней. Я с Росевинкой. Каждая из них от чего-то бежит, и они мчатся наперерез друг другу, сталкиваются — одна бездумно рвется на Восток (та, что в сапогах, купленных, надо полагать, на виа Кондотти), в этот серый мир, а Росевинку тянет на Запад, каким она его себе воображает. Она ненавидит всю эту грандиозную, невыносимую социалистическую скуку, от которой рот сводит в зевоте и которую вы хотите навязать всему миру. Она очаровательна, но у нее нет ни сапог с виа Кондотти, ни духов "Шанель № 5".

Что с тобой, Гевара? Ты не можешь быть по-революционному искренним, признаться себе самому, что хочешь снова обладать Таней, хотя она переспала со всей кубинской номенклатурой и с некоторыми из твоих здешних телохранителей, которых ты вовремя отослал на Кубу? Образумься, команданте...

Васкес Рохас по привычке напевает "Валенсию". Я приглаживаю ему виски. Надо лбом волосы кажутся довольно реденькими.

Мне приятно расслабиться в облике этого буржуа без свойств[1]. Охотно бы поговорил с ним о мадридском "Реале" и о Ди Стефано. Он знает, что я понимаю его мир. Однако мой мир он понять не способен.

— Разве можно советовать сыну, чтобы он стал поэтом? Революционерами рождаются, Гевара, их не фабрикуют в школе, как комсомольцев и пионеров... Они — мгновение, как комета, как любой художник. Они непредсказуемы. Скорей всего, они являются на свет волей случая, как это было с тобой. Вообрази, если бы наш отец дон Эрнесто Гевара Линч проснулся бы однажды утром в Альта-Грасия и сказал тебе то же, что ты написал в письме, посланном бедняжке Ильдите: "Ты должен быть революционером". Немыслимо, правда? Тут тайна Вселенной и тайна каждой отдельной жизни. Поэтому ты и не можешь понять капитализм. Тебя приводит в отчаяние то, что он в определенном смысле ближе к тайне, нежели к разуму... Тебе досадно, что в капиталистической экономике больше игры, чем геометрии. Ты никогда не понимал могущества рынка как выражения скрытой игры человеческих интересов и потребностей. Вспомни время, когда ты был министром промышленности, когда возглавлял Центральный банк! Какая это была пытка, команданте! Профессору Вильясеке, бедняге, приходилось вставать в два часа ночи,

1. Намек на название романа австрийского писателя Роберта Музиля (1880—1942) "Человек без свойств".

и его везли в ужасную крепость, в этот Эскориал, который тебе так нравился, называемый Ла Кабаньей, — где никогда не выветривался запах пороха и крови, не смолкало эхо криков, — и он давал тебе уроки высшей математики. Ты ждал его, потягивая мате, и порой вы просиживали с ним до шести утра. Тогда ты обучался экономике по дрянному советскому учебнику. А не произошло ли у тебя с экономикой то же самое, что в Конго с колдовством?

Несносная наглость Васкеса Рохаса! Наглость, скрытая за внешней покорностью, пошлость умеренного скепсиса.

— А ты помнишь, что ты написал своим детям в другом письме? "Растите истинными революционерами. Учитесь прилежно, чтобы овладеть техникой, которая помогает овладеть природой. Помните, что Революция важней всего и что каждый из нас в одиночку ничего не стоит". Ты мог бы и теперь снова написать последнюю фразу? Ты-то сам всегда был одинок, команданте. Мир изменяют одинокие люди, вроде тебя... Хотя ты не хочешь этого признать. Но это так.

Что будешь делать с Росевинкой? В этой своей "деловой поездке" ты так одинок, что ждешь не дождешься встречи с ней. Конечно, ты с ней говоришь об Испании. Для нее ты — воплощение нормальной буржуазной жизни. Для нее ты — отец двух детей, которые могут стать вполне порядочными посредственностями — инженерами, дантистами, упаковщиками сардин. Для нее ты — уравновешенный человек. Она слушает твои невыносимо благоразумные рассуждения о Франко и о недавнем открытии границ Испании. Ты ей рассказываешь о Монтевидео и о своем мире, где так много возможностей для молодого человека, желающего устроиться. Ты ей нравишься, потому что сдержан, притворно робок, в меру лицемерен. В общем, порядочный человек. Ясное дело, тебе плевать на революцию и тому подобную ерунду. Как? Ты намерен ее соблазнить? Вот была бы потеха! Так и вижу, как ты дрыгаешь ногами в постели отеля "Париж", пытаясь скинуть черные туфли проповедника, которыми тебя наградил Эдди Суньоль!

Ну, сегодня ты меня уходил своими разговорами о детях. А все потому, что в глубине души всякий Авель завидует Каину...

БЕСЕДУЕМ С ДЖОНОМ ЛИ АНДЕРСОНОМ в Буэнос-Айресе. 1997 год. Из пяти-шести биографий, возвеличивающих Гевару через тридцать лет после его гибели, биография Андерсона самая обстоятельная. Хотя биографический жанр скорее тяготеет к эпосу и монументальности, чем к постижению внутренней жизни персонажа.

Андерсон собрал огромное количество сведений. Он прожил на Кубе почти три года. Изучил архивы в США. Алейда, вдова Гевары, передала ему много всяких материалов или, по крайней мере, дала их прочитать.

— Ну а Прага, пять очень важных для него месяцев в Праге?

— Об этом ничего не удалось прочесть. Ни на Кубе, ни где-либо в другом месте. Думаю, что эти документы спрятали подальше — из политических соображений... А ведь в Праге у него было много свободного времени — он только и делал, что писал. Вполне вероятно, что на Кубу попали тетради с заметками по экономике и политике — он тогда готовил полное собрание своих сочинений и хотел включить в него собственные комментарии к некоторым трудам по экономике... Но другие тетради? Его философские заметки? Его дневник? Ничего удивительного, если

эти записи — а с ранней юности он выбрал именно такую форму для самоанализа и исповеди — показались ему компрометирующими и он захотел их уничтожить перед отъездом из Праги. Ведь почти двадцать пять лет держали засекреченными его заметки и отчет о войне в Конго...

Мы сидим с Андерсоном в баре ресторана "Кларидж". С ним трудно разговаривать. Его поминутно вызывают для телефонных интервью, ведь он приехал на презентацию написанной им биографии ныне легендарного Че.

— Не узнав Буэнос-Айреса — это уже мой третий визит сюда, — я не смог бы понять Гевару. Чувствую, что он был внутренне неразрывно связан с космополитическим стилем этого города — интеллектуального, лишенного корней... Теперь мне кажется, что он никогда не покидал Буэнос-Айреса.

— В этом он признается Марии Росе Оливер, когда та посещает его в Гаване: "Никогда, ни на один миг я не переставал быть аргентинцем". Однако Куба приняла его с распростертыми объятиями. Он стал во главе государства вместе с Фиделем и Раулем Кастро и должен был развивать и уточнять свои взгляды и цели. В какой-то мере ему пришлось придумывать себя как стратега, марксиста, экономиста и моралиста... Нелегкая была задача.

— И в этом смысле, полагаю, очень сильно проявилась суть Аргентины — здесь все было плодом целеустремленности, желания стать чем-то и кем-то. Так буквально из ничего возник потрясающий европейский город, где мы теперь с вами находимся! Из ничего, из иллюзии. Из устремления вперед. И ваш земляк Гевара только и делал, что рвался к крайностям — марксизма, морализма, военного дела... Войдя во власть, он действовал с той же аргентинской целеустремленностью, волей. Волей, которую часто путают с высокомерием. Это проявилось и в знаменитой четвертой колонне, которой он командовал, желая привить сельским парням прусскую дисциплину, установить особую систему наказаний. Потом, уже в министерстве, он удивлял окружающих волей все делать по четкому, продуманному плану, без оглядки на особенности кубинского "человеческого фактора". Я включил в свою книгу беседу Гевары с Хрущевым во время его первой поездки в Россию, когда он требовал, чтобы советские специалисты построили на Кубе металлургический завод — мощностью в миллион тонн в год! Смех да и только! Гевара все время рвется вперед, к крайностям, но надо признать — и ввысь. (Кто-то мне говорил, наверняка психоаналитик, что в каждом астматике живет некое нетерпение по отношению к действительности и вместе с тем тайная зависть к ней...) Это "нетерпение" проявлялось в нем ежечасно — начиная со Сьерра-Маэстры.

— Словно бы он, прибегая к крайностям, пытался преодолеть свою неуверенность.

— На мой взгляд, весьма показательна его беседа с архитектором Кинтаной, вся вина которого сводилась к тому, что он был христианским демократом и хотел разузнать что-либо о судьбе арестованного друга. Гевара в своем грозном кабинете в Ла Кабанье — а это происходило вскоре после вступления повстанцев в Гавану — говорит архитектору: "Революции безобразны, но необходимы, и частью революционного процесса является несправедливость, которая служит будущей справедливости"... Кинтана ему ответил: "Бессмысленно говорить гибнущим о целительной несправедливости"...

В этом же разговоре Гевара сообщил Кинтане, что высылает его с Кубы. А если тот захочет остаться, ему уготованы тридцать лет тюрьмы или расстрел...

От мысли о своей смерти — к смерти других людей...

— Но и к мысли о жизни других людей тоже. Будем справедливы в оценке его политических целей...

— В моей биографии мне хотелось бы объяснить "генезис особой революционной морали", которую Гевара стремится насадить в период между Сьерра-Маэстрой и Ла Кабаньей. А также то, как укоренялся дух умеренного марксизма в этом вольнодумце, ставшем затем мужем Ильды Галдеа... Несомненно, что и здесь проявляется некая крайность: в решающем 1960 году именно он вместе с кубинскими коммунистами делает все для закрепления успеха Революции. Университетское революционное движение не имело коммунистического характера. Сразу после триумфа кубинской Революции мои соотечественники увидели в Геваре просоветски настроенного марксиста. Иными словами, тут мы опять наблюдаем устремление к крайности. Кастро всегда был более осторожен, более дипломатичен.

Рубикон они перешли, когда на Кубе были установлены ядерные ракеты. Кризис 1962 года. Гевара считал это правильным шагом. А затем, когда разразился кризис и Хрущев пошел на попятный, столкнувшись с очень решительной позицией Кеннеди, Гевара настаивал: надо идти до конца и не страшиться ядерной войны. В эти дни он продемонстрировал свою готовность идти "даже в крайности до самой крайности".

Андерсон — североамериканец до кончиков ногтей. Он "солидный" профессор. Живет в Гранаде. Счастлив, женат, растит детей. До мозга костей пропитан здравомыслием, и поэтому ему совершенно чужды демоны и ангелы, владеющие латинским духом. Пока он продолжает говорить, заказав вторую чашку кофе, и пока я жду завершения его долгого интервью репортеру канадской газеты, я думаю о своем и чувствую, что рядом возник призрак Гевары и он обходится с Андерсоном так, как тридцать пять лет тому назад сам Гевара обошелся с архитектором Кинтаной, пригрозив тому смертной казнью.

Андерсон — выразитель североамериканского здравого смысла. Зачем нужны эти Сталин, Мао, Насер, Перон, Кастро, де Голль, Эвита, Тито, Арафат, Че Гевара?

Зачем существует зло, если есть уравновешенный, спокойный мир — с выборами каждые четыре года и разумной рыночной политикой?

Андерсон возвращается из телефонной кабины.

— В Канаде очень интересуются Че Геварой, — сообщает он. — Просто невероятно значение Гевары как всемирного символа.

— Символа чего? Что представляет собой слово "Гевара", сам Гевара с его беретом и этим необычным взглядом, уловленным фотографом Кордой на давнем митинге в Гаване?

Андерсон смотрит на меня смущенно.

— Это дух бунтарства, — говорит он наконец. — Возможно, тут речь идет о чем-то изначально присущем человеческой натуре.

Для здравомыслящего Андерсона бунт должен быть завершающим этапом детства человека. (Человека, предшествующего так называемому "концу Истории".)

— Кому-то требуется символ — нужен этот берет со звездочкой, даже если вокруг царит нестерпимый порядок, как, скажем, в Торонто или Хьюстоне, — отвечаю я.

Андерсон озадачен. Он предпочитает держаться документального и аналитического планов.

— Гевара с большим энтузиазмом относился к мысли о присоединении Кубы к социалистическому лагерю. Начиная с первой своей официальной поездки. Первое заявление в этом духе он сделал на девять месяцев раньше, чем сам Кастро. Однако уже во время первой поездки в Москву Гевара и его кубинские друзья заметили несколько пренебрежительное отношение к себе со стороны советских вождей. Экспансивные кубинцы кричали на улицах, смеялись, пытались на улице Горького или на Красной площади обниматься с советскими друзьями (которые убегали в страхе, опасаясь общения с иностранцами, пусть и коммунистами, как те утверждают). Кубинские негры, мулаты, деревенские парни и южноамериканские студенты из университета Ломоносова пели и танцевали "Гуантанамеру". Русские же, как правило в шляпах и серых пальто, сторонились их, помня о ледяных просторах Колымы... Да, неожиданно Гевара и его друзья поняли, что в советском мире царит страх перед Сибирью...

В тот момент — надо отдать ему справедливость — он наверняка понял, что его судьба и цель — не только революция, но "революция в Революции", как написал Дебре...

— Как он представлял себе советизацию, вхождение в социалистический лагерь?

— Думаю, что главной являлась идея модернизации. Во времена Батисты Куба была страной промышленно более развитой, чем обычно полагают. Существовала, так сказать, глубинка — неграмотные крестьяне, негры и мулаты — и масса людей, занятых в обслуге, в публичных домах и так далее. Но всей экономической системой управляли Соединенные Штаты... Кастро понял, что, если он разрушит сахарную и туристическую отрасли, Куба останется на мели — без бордельных доходов, которые могли бы поддерживать "современный образ жизни" городского меньшинства. Хотя сегодня это покажется невероятным, они, глядя на Советский Союз, путали могущество с техническим прогрессом... Думали, что Россия укажет путь технологической модернизации...

На этом этапе Алексеев, с которым вы познакомились в Москве, был влиятельным агентом советского воздействия на Гевару. Потом — Рауль Кастро и уж в третью очередь — Фидель Кастро приняли идею "марксистско-ленинского" преобразования. Традиционная нерасторопность дипломатии моей страны довершила остальное... Но с тех пор, после кризиса с ракетами, Гевара начал вынашивать идею континентальной революционной волны, делая ставку на аргентинский север...

— Это была его личная идея?

— Во всяком случае, убежденность его была абсолютной. Вероятно, он мыслил и действовал, надеясь на поддержку Кастро, однако не обязательно на его полное и безоговорочное согласие с идеей "окончательного революционного решения", которое Гевара считал единственно возможным путем для Латинской Америки.

— И как он к этому готовился?

— Он создал свой особый отряд, где большинство составляли аргентинцы. Он с аргентинцами лучше ладил. И уже в это время возникает мысль о Боливии как базе для обучения и для акций на континенте, поблизости от Аргентины... В основную группу входили Масетти и Бустос; потом, в качестве припрятанной карты Гевары, появилась Таня, тоже аргентинка. Это была его "революция в Революции". Знаете, как он называл это движение? Операция "Сомбра", по книге "Дон Сегундо Сомбра"[1]. Масетти был Команданте Сегундо, Бустос — Лауреано (литературный персонаж), и он, вождь, естественно, называл себя Мартином Фьерро[2].

Они придумали собственный шифр. Все это происходило в 1962 году, после ожесточенных объяснений с советскими руководителями по поводу ракет.

Тогда они добились, чтобы Куба получила у чехов базу для тренировок в Чехословакии. Это означает, что еще в конце 1962 года они сделали первую попытку подобного рода, а длительное пребывание Гевары в Праге в 1966 году — уже вторая попытка! Конечно, в первый раз Гевары там не было...

Масетти, Бустос и некоторые другие кубинцы поселились в районе острова Слапы, вблизи Праги, зимой 1963 года. Они совершали бессмысленные походы на двадцать-двадцать пять километров по снегу — представьте, так они готовились к военной операции в боливийских субтропиках! Проникали без разрешения на территории воинских частей, чтобы испытывать свое оружие. Случались неприятности с чешскими военными (они повторились через три года, в 1966-м, перед отъездом Гевары и его людей в Боливию).

Короче, все было очень странно в этой операции "Сомбра". В декабре они жили уединенно в мрачном отеле на озерах острова Слапы (там находились только аргентинцы, которые называли себя кубинскими стипендиатами). Мерзли жутко. Вопреки инструкциям своего начальника на Кубе, Масетти, изрядный сумасброд, приказал начать стратегическое отступление (весьма характерное для аргентинцев) — они отправились встречать Новый год в Париж! Неделю гуляли в отеле на набережной д'Орсе. Лувр, пирушки. Оттуда Масетти поехал довершать военное обучение своей группы в Алжир, а из Алжира — в Аргентину, в провинцию Сальта, откуда его и весь состав группы "Сегундо Сомбра" в конце концов выслала аргентинская полиция.

— А вы знали об этих событиях, очень похожих на то, что повторилось через три года в Праге? — спросил меня всезнающий Андерсон.

— Только в общих чертах.

— После провала Масетти Гевара впал в глубокую депрессию. Он Масетти очень любил. Однако он не отказался от плана своей личной независимой революции: он мобилизует Таню, отправляет ее в Боливию, а Сиро Бустоса — в Аргентину, снова в Сальту, чтобы иметь опору на родине, когда начнется поход в Боливию... Бойцов набирал, не учитывая их качества и пригодность для такого дела. Он был всемогущ, им владела его "дава", его магия: когда он появится, все пойдут за ним, как бывало на балах у Чичины Феррейра в усадьбе Малагеньо!

1. "Дон Сегундо Сомбра" (1926) — роман аргентинского писателя Рикардо Гуиральдеса (1886–1927).
2. "Мартин Фьерро" (1872–1879) — эпическая поэма аргентинского поэта и политического деятеля Хосе Рафаэля Эрнандеса (1834–1886), история свободолюбивых гаучо.

С ВЛАСЕКОМ В ПРАГЕ. Мне удалось вытащить Власека из его сибирской кухни. Я пригласил его пообедать в ресторан "Парнас" на проспекте Сметаны над Влтавой. "Парнас" хранит зловещее очарование сталинских лет. Прежде это был ресторан для номенклатуры и высокопоставленных иностранцев. Хотя там и теперь еще ощущается стиль модерн эпохи Масарика. В углу зала стоит рояль, на котором неизменно меланхоличный пианист играет венские вальсы. Точно в назначенный час появился Власек, покинувший свою идиллическую долину между холмом Баррандов и возвышенностями Мотола. Он был в сером костюме времен своей службы и в торжественном, хотя слегка выцветшем галстуке.

— Заведение достаточно знаменитое, — сказал Власек. — Благодарю за приглашение. Я уже отвык от таких ресторанов. Сюда, помнится, несколько раз приходил ваш земляк с весьма роскошной женщиной — мы же тогда не знали, что это Таня, которая теперь так знаменита...

Конечно, мы за ним следили. Он, кажется, сидел вон за тем столиком в углу, возле рояля. Ну и работенку задал нам этот субъект! Видно, ему ресторан нравился. Он захаживал сюда, насколько я помню.

Руки у Власека белые, костлявые, со скрюченными пальцами. Он читает меню очень внимательно. Глаза серые, птичьи. Ни искорки юмора или иронии. Он выбирает итальянские блюда. Согласен на предложенное мной красное вино "Руландер". И смотрит на улицу, где течет жизнь нового для него мира либеральной диктатуры с его скрытыми язвами — беспорядком и непривычными законами, где бал нередко правят несправедливость, тупость и эксплуатация. Проходят юноши с волосами, убранными в косичку, и с серьгой в ухе. Бродят группами туристы и раскрыв рот взирают на недоступную, волшебную, трудно постижимую Прагу. Туристы в спортивной обуви, кричаще ярких рубашках жуют на ходу сосиски.

— Да, мы не знали, что эта женщина войдет в историю. А как можно было знать? Гевара совершал абсолютно необъяснимые поступки. Все, что он делал, казалось нам несерьезным и малопочтенным. Вы понимаете, существует некий род "европейского культурного расизма".

— Прежде всего я хочу вас поблагодарить, — сказал я. — Не познакомься я с вами, у меня не пробудился бы интерес к моему знаменитому земляку. Я уверен, что его "Тетради" привлекут к себе внимание. В них содержатся любопытнейшие, неожиданные оценки. Это записи, сделанные на досуге, а не обычные предназначенные для вечности сводки и отчеты о той или иной акции, как в других дневниках. Если бы Гевара остался жив, он стал бы писателем.

— Ну что ж, теперь писатель — вы. Писатель — это человек, который наделяет голосом других людей, ведь так? То, что не записано, перестает существовать. Видите, сеньор Поссе, что происходит здесь, в этих странах, у которых были цель, направление, место в истории... Наши руководители исчезли со сцены молча. Без завещания. Без попытки защитить себя! Полное молчание. Они даже не сидят в тюрьме, они — безмолвные призраки, словно их одолел стыд за то, что они защищали и создавали в течение восьмидесяти лет. Когда-нибудь напишут историю этих призраков, этих побежденных... А пока еще не прошло время молчания и лжи.

Благодаря этому похожему на птицу Власеку во мне просыпается симпатия к тому, что побеждено, — да, капут, крах. Меняется мода, меня-

ются понятия о добре и зле. Он это знает и принимает с покорностью, позволяющей предположить в нем некую мудрость. На него упала тень от планеты История. Таких, как он, называют "историческими преступниками". Просто их "зло" вышло из моды. Теперь в моде тупое зло рокеров и либерализм, скрывающий дичайшую меркантильность. В низах, как обычно, возмутительная покорность. Из окна ресторана "Парнас" мы видим двух русских младших офицеров в джинсах, которые на каменных перилах старого моста через Влтаву разложили красноармейские фуражки, знаки различия, шинели и сапоги.

Власек достает небольшую картонную папку и, пока еще не принесли десерт, говорит:

— Поскольку о вашем знаменитом земляке продолжаются споры и вы питаете к нему особый интерес, я набросал схему политической ситуации, сложившейся в Праге тогда — двадцать восемь лет назад! Кажется невероятным, сеньор Поссе. Речь идет о 1966 годе, когда он, как, помнится, вы сказали мне, побывал в России. Мир тогда вступал в этап, который мы еще не могли определить как решающий; а ведь 1967, 1968 годы были очень напряженными и переломными. Ясное дело, никто, тем более я, не мог тогда об этом даже подумать. Мы не видели, что повседневная жизнь скрывает от глаз глубочайшие перемены. И недавно, когда я копался у себя в саду, я подумал, что, несмотря на раздражение, которое вызывали у меня манеры господина Гевары, я должен честно сказать вам: сразу после его гибели в 1967 году я почувствовал, что этот человек боролся с невероятным по силе противником. Боролся в абсолютном одиночестве, и это было одиночество безумца или гения. Да, я должен вам это сказать.

Когда он готовил свою боливийско-аргентинскую авантюру, мы получили приказ от нашего правительства. "Директиву" по поводу революционных движений, групп прямого действия и т. п. Русские в ту пору больше опасались левых революционеров, вроде Гевары, алжирцев, индонезийцев, чем организаций правого толка. Такова была доктрина советского Политбюро, которую распространяли затем во всех "братских партиях"; русские санкционировали как раз противоположное тому, к чему стремился Гевара: они требовали, чтобы всякая антиимпериалистическая вооруженная борьба велась исключительно под их руководством. Если вдуматься, этот документ — декрет о конце мировой социалистической революции. Советские руководители решили покончить со своим Лениным, со своим Сталиным! Для Гевары это означало подтверждение его оценки поведения русских в отношении Кубы. Все его беседы с Алексеевым и Микояном, все стратегические маневры потерпели крах, как он всегда и предчувствовал.

ВЛАСЕК НЕ СКРЫВАЕТ, ЧТО ПОДДАЛСЯ обаянию искусителя Гевары. Он подробно описывает необычную, дерзкую личную дипломатию Гевары в отношениях с китайцами — возможно, это была его главная ставка, но она свидетельствовала о крайней наивности Че.

— В этот период, — говорит Власек, — наблюдая за Геварой и его людьми, мы выявили рост его интереса к Китаю. Знакомясь с сообщениями других разведслужб и изучая общее направление его тогдашних действий, мы сделали вывод, что его надежды перетянуть на свою сторону китайцев были сколь упорными, столь же и безрассудными. Похоже, в первую же официальную встречу Гевары с Мао Цзэдуном китай-

ский вождь ограничился протокольным приветствием. Он подал Гевара вялую, чуть теплую руку. Гевара полагал, что язык марксизма — это универсальная истина. Он делал попытки сблизиться с Чжоу Эньлаем и Лю Шаоци. Он думал, что китайцы с их стратегией атаки на городскую культуру с опорой на деревню увидят в нем идеологического единомышленника.

Он вел с китайцами свою дипломатическую игру (если это можно так назвать). Ему казалось, что разногласия китайцев с русскими имели те же корни, что и у кубинцев. При каждом удобном случае, при решении каждой проблемы он стремился найти поддержку у людей, которые, по его мнению, разделяли его тревогу. В Китае он считал Чжоу Эньлая человеком, способным его понять, с которым он мог бы вступить в некий сговор.

В феврале 1963 года он совершил пробную поездку. Нам стало известно, что он презрительно называл нас — просоветский блок — пацифистами, мелкими буржуа, равнодушными к тому, что он называл латиноамериканской борьбой. И когда в 1965 году он отправился в Конго, он считал, что этот поход — к которому Кастро отнесся как к военным учениям для своих кадров — мог бы при поддержке китайцев (а Китай, в свою очередь, многое делал, чтобы внедриться в черную Африку) зажечь желанный для него великий костер. Казалось, до Апокалипсиса уже рукой подать.

Мы зафиксировали тайную поездку Гевары из Каира — со сложной комбинацией пересадок с самолета на самолет — в Китай на решающую встречу с Чжоу Эньлаем, чтобы заручиться его твердой поддержкой.

Он сделал вид, будто задержался в Асуане, состряпал задним числом несколько писем на Кубу — смехотворное поздравление тетушке с днем рождения, — а сам в обстановке строжайшей секретности слетал в Пекин. Этот факт кубинцы всегда отрицали, или, может быть, они о нем не знали, во что мне лично трудно поверить.

Разочарование было огромное. Говорили, что вследствие дискуссии с китайцами у него случился сильнейший приступ астмы, потому что ожидаемой поддержки он не добился. Здесь, на этой вот карточке, я указал вероятные даты его поездки. Первая — 3 февраля 1965 года, следующая — где-то между 6 и 8 марта 1965-го. 1 апреля того же года он отправился в Конго, чтобы стать во главе партизанского движения. Он китайцев совершенно не понимал...

— В каком смысле?

— Китайцев интересует только их мир, их культура, Срединная Империя, Небесная Империя... Весь Запад, включая марксизм, кажется им ничтожным. В 1967 году советско-китайские отношения окончательно испортились. Но не из-за "вопросов революции", как мог себе вообразить Гевара. Их разделили древние, исторические проблемы, природа которых не имела ничего общего с марксистско-ленинской логикой.

Вдобавок еще один решающий факт: Мао и думать не хотел о какой-либо революции вне Китая, он замышлял ни много ни мало как внутреннюю революцию — Культурную Революцию, которая покончила бы со старым китайским коммунизмом и с любого рода коммунистическим интернационализмом. (Прощайте, Достоевский, Бетховен, Моцарт, Гёте, — все вы культурные преступники! И это не шутка — таким образом Китай провозглашал себя оплотом великой Восточной культуры...)

Гевара, однако, до последнего момента не терял веры. Из Конго в октябре 1965 года, когда их уже разгромили, он просит у Чжоу Эньлая помощи! Чжоу ему советует в любом случае оставить там партизанскую базу на будущее... Он сделал вид, что не понял, о чем его просят.

Но это было еще не самое худшее разочарование. Нам известно, что в какой-то момент Гевара подумал, что его дипломатические переговоры с Чжоу Эньлаем выльются в нечто конкретное. Когда его заместитель Сиро Бустос вербовал аргентинских повстанцев, Бустоса внезапно пригласили в Китай как заместителя Че. Аргентинцы тут же вообразили, что если они получат серьезную военную и экономическую поддержку, тогда теория "решающего Вьетнама", окончательного пожара, превратится в реальность... Бустоса приняли со всеми почестями. Ему посулили договор о помощи, а возможно, и идейную поддержку. Под конец военный министр вручил ему проект совместной декларации, в которой Гевара и его партизанское войско объявляют Фиделя Кастро и советских вождей "союзниками империализма". Конечно, то была глупость: китайцы только хотели использовать Гевару в своей антисоветской игре, в борьбе с русскими.

Естественно, разочарование было ужасным. Гевара объездил весь мир, продвигая свою идею искупления и решающей битвы, но наталкивался лишь на риторику холодного политического расчета. Несчастный Дон Кихот, не так ли?

Власек смотрит на меня. В его хитрых глазах я, кажется, вижу искорку восхищения. Длинным, костлявым пальцем он указывает на записи.

– Я хотел отметить для вас следующие моменты. Главной темой этих двух лет было то, что русские ясно показали – ради Кубы они не пойдут ни на ядерную войну ("ракетный кризис" 1962 года), ни на поддержку самой малой партизанской войны в Богом забытой стране под названием Боливия. А в 1967 году китайцы готовятся навсегда отгородиться от "чудовищной западной культуры". Гевара может опереться лишь на стойкую верность Кастро, который то и дело подбрасывает ему "фитиль и коробок спичек, необходимые поджигателю", как в шутку говаривал Че. И разумеется, у него остаются надежда и революционный миф о Латинской Америке. Какие годы! Западу предстояло пережить 1968 год, когда несчастный западный мир, так сказать, расправится с собственным отцом. А что потом? Что мы видим вокруг? Посмотрите теперь на Прагу: педерасты с меланхолическим взглядом, лицеисты, сидящие на мостах и пьющие вино в три часа дня, вся эта молодежь в живописном рванье, убивающая себя при жизни! Отцеубийцы, готовые погибнуть сами, подкладывая бомбу. Ничтожества. Симпатичное западное дерьмо. Свобода без смысла. И, ясное дело, торжество международных торгашей и мафиози.

Если вдуматься, то, возможно, ваш друг видел намного дальше, чем мы думаем или можем предположить теперь, через тридцать лет!

ЙОЛАНДА ВОЗНИКАЕТ В ПРАГЕ. Игра памяти, эксгумирующей реальность из лабиринта прошлого. Я сидел в баре отеля "Европа" (я, Васкес Рохас, в облике мирного буржуа) и рассеянно пил чай. Внезапно появилась группа туристов – вьетнамцев или, быть может, монголов или лаосцев. Я приметил среди них девушку с восточным лицом – она стояла в обязательной здесь очереди, чтобы получить ключи от своего номера, – и, вздрогнув, понял, что передо мной Йоланда, какой она была

двадцать лет тому назад. Тонкое овальное лицо, резко очерченные крупные губы, ее скулы, ее черные, прямые волосы. Из кажущегося забвения в Праге материализовалась Йоланда, прокаженная. Йоланда. Когда я подошел поближе, группа уже рассыпалась, поднимаясь по лестнице, и я успокоился на мысли, что то была не Йоланда и что надо быть реалистом — это просто какая-то вьетнамская или лаосская туристка.

В жаркую зиму 1950 года во время моего путешествия на велосипеде по провинции Кордова я заглянул в лепрозорий, где мой друг Альберто Гранадо заведовал аптекой. Было это в Сан-Франсиско-дель-Чаньяр.

Йоланде было, вероятно, лет семнадцать. Платье из легкой ткани закрывало все ее тело — от шеи до середины икры (она не хотела показывать пятна — одно на спине, другое на ноге). Гранадо устроил мне скромный коктейль, приглашены туда были и прокаженные.

Красавица Йоланда (которую называли Китаянкой) подошла ко мне.

— Я знаю, что вы тоже врач. Я в отчаянии, моя семья подписала все бумаги, связанные с диагнозом, но я не прокаженная.

У девушки была потрясающая фигура. В ней сочетались изящество восточной женщины и легкая ироничность взгляда. В ней было что-то тревожащее.

— Я не прокаженная, поверьте. Но здесь я стану прокаженной...

Я заперся с Гранадо в ординаторской и прочитал историю болезни этой девушки. На мой взгляд, там не было достаточно убедительных доказательств для окончательного диагноза. Гранадо спорил со мной, обвиняя в доверчивости.

— Она не просто прокаженная, ее надо содержать в отдельной палате. У нее очень опасная стадия болезни, очень заразная.

Во время коктейля Йоланда помогала медсестрам расставлять напитки на подносы. Пока некоторые танцевали, Йоланда поднесла мне большой стакан "биттера" со льдом. Да, она цеплялась за жизнь, ступая по краю пропасти. Она не хотела быть включенной в постоянный контингент лепрозория. Подумав об этом, я почувствовал, что раз она сама не верит в то, что больна неизлечимой смертельной болезнью, значит, она победит.

Она отпила из своего стакана. Я взял его из ее руки и сделал долгий, спокойный глоток.

И тогда, в свои двадцать два года, я испытал то, что потом испытывал неоднократно: я играю с явным удовольствием, полагаясь на интуицию, бросаюсь в омут опасности. Взбешенный Гранадо вмешался в нашу беседу. Он сказал, что Йоланда всегда пытается обмануть посетителей. Он заставил нас пройти с ним в ординаторскую. Там он попросил Йоланду показать мне большое пятно на спине, и, когда она спустила платье до пояса, обнажились ее изумительно крепкие, остроконечные груди. При ярком свете и с лупой мы осмотрели пораженные участки кожи. Гранадо обследовал ее, используя трубку с горячей водой. Да, были места, потерявшие чувствительность. Но я стал с ним спорить, что это, возможно, какая-то форма псориаза, о чем твердила отчаявшаяся Йоланда. (У Йоланды была очень тонкая талия, и при взгляде на нее чудилось, будто в теле девушки трепещет чистая, несокрушимая жизнь, но ужасное пятно сразу уничтожало это впечатление. Я почувствовал, что тут же с радостью прижал бы ее к себе, обхватил бы руками ее груди.)

Гранадо пошел на крайнее средство — взял большой шприц и вонзил иглу в пятно. Значит, прежде Йоланда солгала, будто ощущает тепло воды. Для Гранадо это было решающим доказательством. Он посмотрел на меня, взывая к моему здравому смыслу.

— Нет, я не верю, что у Йоланды проказа. Йоланда права, что не верит...

Альберто издал негодующий вопль и выбежал из ординаторской в помещение, где происходил чудовищный бал прокаженных.

Йоланда даже не обернулась — возможно, она была мне благодарна. Возможно, она укрепилась в своей надежде. И в полутьме комнаты, освещенной только горелкой Бунзена, мне почудился иронический, странный блеск в ее глазах, который психологи, изучающие прокаженных, приписывают свойственной им порочности.

Я без колебаний пошел на риск — за что меня всегда корили. Я не дал Йоланде застегнуть платье, я поцеловал ее с неподдельной страстью, и до рассвета мы были заняты только друг другом.

Прокаженной Йоланде я был необходим, чтобы восстановить ее надежду и веру. Возможно, ее ободрила эта ночь любви, которую она провела с понравившимся ей юношей. Возможно, тогда она начала побеждать проказу.

Но, скорее всего, победить проказу не способен никто.

Йоланда вошла в холл пражского отеля "Европа". Страшное пятно не пожрало великолепные груди, не уничтожило их, не превратило плоть в зловонную рану.

Или все не так. И то была не Йоланда.

И я не узнал, что победило — болезнь или вера. Во всяком случае, я сознательно сыграл свою роль...

В моих объятиях она, наверно, открыла для себя радость плотской любви и вместе с тем нашла неожиданную поддержку, чтобы воскресить агонизирующую надежду. Я поверил ей, значит, нас, не верящих в победу проказы и в ее необратимо разрушительную силу, было уже двое.

А двое — это уже целый народ, когда надо сразиться со смертью!

ПРАЖСКИЕ ЗАМЕТКИ. Наконец, после этих сибирских месяцев, проглянула весна. Деревья, окаймляющие противоположный берег Влтавы, еще серые, но на них уже что-то зеленеет. В полдень со стороны Староместской площади неожиданно подул теплый ветер. Я снова открывал для себя Прагу после двух дней отсутствия, но свои заметки не писал уже целую неделю. В Париже весна вспыхнула на месяц раньше, когда в Татрах еще шел снег.

Все движется вперед. Пробуждаемся и мы. Мои здешние помощники заняты подготовкой: с концом сильных холодов стали возможны запланированные мной тренировки. Кажется, нам позволят воспользоваться территорией воинской части ("для спортивных тренировок"). Мои люди радуются, чуя, что наш корабль, застрявший в зимних льдах, собирается продолжить плаванье. Требовательный профессор Садак отмечает значительное улучшение моего состояния. Я здоров... Есть только одно "но": моя болезнь так и остается неизлечимой...

— В вашем возрасте вам пора привыкать к абсолютно спокойной жизни, — говорит он с неправдоподобной наивностью, присущей врачам во всех широтах: люди либо не могут, либо не хотят лечиться. — Вес хорош, — говорит доктор Садак. — По крайней мере, в этом отношении

вы сделали большие успехи. Когда вы намерены снова заняться своим бизнесом?

Васкеса Рохаса захватили врасплох.

— Какой бизнес вы имеете в виду?

Доктор смотрит несколько растерянно. Васкес Рохас мгновенно его успокаивает. Рассказывает о крупном лесопромышленном деле в Монтевидео и о перспективе поселиться в Мадриде, чтобы открыть торговлю мебелью для офиса. Он забыл, что уже говорил об этом доктору при первом визите.

Выйдя из госпиталя в Градце Кралове, Гевара испытывает зависть к виртуальному будущему Васкеса Рохаса. Ощущение странное. Как будто погружаешься в пуховую перину. На тебя не давят ни сложные проблемы, ни безумные в своей дерзости замыслы. Васкес Рохас встретится со своими детьми в Мадриде и Монтевидео.

Заведенный мною механизм уже подчинил себе и меня самого. После Тани приезжает эмиссар из Буэнос-Айреса. У Мартинеса Тамайо в руках все контакты. Боливийская компартия будет вынуждена согласиться, хотя ей придется ослушаться советских директив. Прокитайский ее сектор готов подхватить призыв к выступлению. Шахтерам придется присоединиться. Самое важное — группа истинных боливийских революционеров, готовых пойти против Партии и ее вождя Монхе. Они пользуются большим авторитетом. Их в Германии объединил Рауль Кирога де ла Вега. С ними идут Передо, Даниэль, Артуро, Инти, Васкес Вианья.

Чувствую, что по ночам меня уже целиком поглощают мысли о деталях похода, о работе агентов — сомнения и планы сокращают часы сна. Редко выпадает ночь, когда я не просыпаюсь между четырьмя и пятью утра, и бронхи мои не свистят.

Эй, Росинант, близится час следующего похода!

Я ПРЕДАЛ ВАСКЕСА РОХАСА. Мне пришлось съездить в Париж, чтобы еще раз проверить надежность "легенды", с которой придется пересекать несколько границ. "Легенду" Рамона Бенитеса Фернандеса. Это будет мое дорожное имя, прежде чем я себе прибавлю еще пятнадцать лет и стану Адольфо Меной. (Надеюсь, эти призраки, изобретенные Пиньейро и Рамиро Вальдесом, предвещают долгую жизнь, о которой свидетельствуют их очки и обильные седины. Неужели я и впрямь достигну тех лет, до каких дожили они?)

Нынче мы бреемся после нескольких дней разлуки. Я подправил прическу, брови, вставил протез, и вот в зеркале появился Васкес Рохас, мой пражский наперсник — не знаю, правда, насколько дружелюбный. (У Рамона Бенитеса лицо более энергичное, хотя тоже лицо буржуа. Интеллектуальная физиономия аргентинского профессора левых взглядов, из числа тех, что приезжают на Кубу учить нас революции. Или он может быть молодым управляющим погрязшего в долгах предприятия. Персонаж Онетти[1]... Во всяком случае, вид у него менее любезный и человечный, с ним не очень-то поболтаешь перед зеркалом в ванной комнате. По всему видно, что Васкеса Рохаса он недолюбливает.)

А тот глядит на меня с некоторым сарказмом.

1. Хуан Карлос Онетти (1909 — 1994) — уругвайский писатель.

— В прошлый раз, команданте, ты пробыл в Париже только сутки. А ведь ты охотно остался бы подольше... ходил поесть пиццу на бульвар Сен-Мишель, бегом пробежался по Лувру... Да, у сеньоры Марты Ириарте была хорошая идея. Мол, как ты собираешься отправиться на новую битву, не проверив свое новое обличье, свою "легенду" во Франции, ведь ее полиция пользуется большим авторитетом?

Предположим, что идея принадлежала Марте Ириарте. Она умеет читать желания мужчин. Наверное, сказала что-то в своем духе: "Раз уж мы замахиваемся на великое, почему бы не дать себе поблажку в малом?" Или: "Раз уж ты должен испытать эффективность своей новой маски, чем плох Париж?"

Васкес Рохас кивает с той же иронической искоркой во взгляде. Он не такой строгий моралист, как Гевара, который с годами создал себе среди обитателей тропиков репутацию неумолимого Катона. (Гевара ненавидит расхлябанность военных лагерей: хохот, непристойные шутки, мелкие кражи "по чину", любые нарушения военной дисциплины...) Со временем он создал себе другой вид одиночества: одиночество грозного надзирателя, бдительного судьи. "Три дня в стоячем карцере, без еды". "Пойдешь в бой в первом ряду без оружия! Винтовку возьмешь у первого убитого врага!"

Макиавелли говорил: надо, чтобы тебя боялись или любили; никто не может удержаться на середине, нет такого государя, который устоял бы, оставаясь на середине.

В душе Гевара желает внушать и любовь, и страх. Порой, глядя на своих восторженных приверженцев, он думает, что этого достиг.

Но надежно только его одиночество. Это тоже своего рода форма аристократизма, презрения к черни.

Глядя из зеркала, Васкес Рохас следит за мной.

— Ну ладно. Ты прав. Возможно, ей пришлось заехать в Восточный Берлин. С остановкой в Париже перед возвращением в Боливию. Да, Таня могла сказать что-то вроде: "Ну же, команданте, приободритесь! Если мы стремимся к славной смерти, то по крайней мере попрощаемся с жизнью там, где стоит жить. Нам обоим нравится Париж..."

Она была права. Не оказался бы я в Гватемале, да еще в период гнусного свержения Арбенса[1], я бы закончил приездом в Париж. Окончил бы докторантуру в университете. Это путешествие устроило бы Чичину Феррейра. Да, это путешествие устроило бы.

Возможно, что Таня послала шифровку из Берлина с предупреждением, что у "сеньора Бенитеса" забронирован билет на самолет из Праги. В Орли прибывает в 13.30. Отель "Мэдисон" на бульваре Сен-Жермен...

После многих споров и прогулок в холодном пражском тумане бедняга Васкес Рохас остался ни с чем. Удача выпала Бенитесу, обладателю другого паспорта, который вдобавок не слишком стоек по части морали, он уругваец и холост...

Разумеется, в отеле "Мэдисон" была хорошая ванна, и команданте мог удобно расположиться и несколько часов посвятить чтению книг, купленных на рю Бонапарт. Лучшего завершения долгого дня нельзя было и придумать. Команданте чем-то напоминает юного султана, ребенка,

1. Хакобо Арбенс Гусман (1913–1971) – министр обороны, а затем президент (1951–1954) Гватемалы, проводивший прогрессивные реформы. Был свергнут силами реакции.

избалованного обожающими его тетушками. Ему нравится, когда ему намыливают ступни и голени, пока он, погрузившись в обволакивающее тепло ванны, читает или размышляет.

Да, Гевара неосторожно приближается к оседлому миру. К миру индивидуального удовольствия, наслаждения. Однако Васкесу Рохасу никогда не понять, что этот момент, если он затянется, оборачивается смертельной скукой. Гевара вспоминает свою тайную страсть к Бодлеру. К его чувственности, обреченной вечно перетекать в отвращение. (Он купил в книжном магазине "Бодлера" Сартра и карманное издание его стихов.) В углу, где были выставлены левацкие журналы, он увидел свое собственное лицо. С сигарой, в берете и в походной форме, окруженный французскими революционными теоретиками, гостившими в Гаване. Он эту сцену не помнит. В другом журнале о нем писали почти как о покойнике. Кто-то рискнул состряпать некролог. Восхваляли его идейную несгибаемость. То были журналы латиноамериканских эмигрантов, отравленных жаждой подражания и алжирским вином. Вечные философствования и идеологические споры, прикрывающие роскошную пустоту парижской жизни — последний всплеск романтической богемы. Богемы, увлеченной игрой в повстанцев.

Васкес Рохас, кажется, терпеливо ждет конца моего длинного отступления. Как будто спрашивает: "Ну, что еще?"

— А еще то, что мне было там потрясающе хорошо. Тебе же известно, какими чарами сексуальная мифология наделяет нордический тип — этих чуть глуповатых блондинок. Тут уж ничего не поделаешь. И секс, видимо, представляется как форма мести или компенсации для третьего мира. Вдобавок, ты знаешь, что у Тани идеальные груди, просто потрясающие, и они возвеличивают ее до категории архетипа. Она привлекает не только мужчин нашего склада, но весь континент, и в ее случае это доказано на деле. Короче говоря, харизма... Ее незабываемые, умопомрачительные подколенные ямочки. Не смотри на меня так. Это, на мой взгляд, своего рода затылок коленки, если так тебе будет понятнее, иначе не скажешь.

Васкес Рохас все смотрит на меня. Но тема не исчерпана.

— Ты думаешь, мне не следовало этого делать? — спрашиваю я. — Да, верно, ответственность постепенно превращает человека в евнуха. Партизанский вождь в личной жизни ограничен теми же рамками, что и североамериканский сенатор... Какая нелепость. Я ведь был моралистом, не так ли? Вспомни того парня, который в Конго в лагере пустил себе пулю в лоб, потому что у них с очаровательной негритяночкой родился сын. А он уже был женат, и я постановил, что тот, кто согрешит с местной женщиной, обязан жениться на ней — загладить вину. А сам-то я с Таней в Париже...

— Ну ладно, ты же был на отдыхе, а не в военном лагере, — говорит Васкес Рохас, чтобы облегчить муки моей совести. — Нет ничего более отталкивающе-идиотского, чем моральные потуги политиков. Это наиболее ханжеские отрыжки иудео-христианского понятия о грехе. Ведь грех или какой-нибудь особенный порок придают политику, обесчеловеченному принципиальностью, немного человечности...

— Как и англосаксонская идея греха, викторианская, — добавляю я.

Во всяком случае, Васкес Рохас дает мне передохнуть. Ему хочется побольше узнать о Париже.

— Странное существо наша зажигательная Таня, — говорю я. — Откровенная сексуальность любвеобильной матери. Веселая, беззаботная сексуальность. Мы к такой меньше всего привыкли, какая-то языческая. Вне понятия греха. Я-то в этом плане никогда не переставал быть католиком.

Таня тратила все свои сбережения в галереях "Лафайет", пока я читал в постели. Время от времени поглядывал в окна, на весенние проблески зелени в садах, окружающих аббатство Сен-Жермен. Я ждал ее для очередной ванны. Она пришла, нагруженная пакетами. "Если смерть меня настигнет, товарищ, пусть я умру в этих вышитых трусиках от Диора", — выкрикнула она и показала мне коллекцию восхитительных произведений искусства, цель которых — прикрывать известное место. Я к таким предметам женского туалета очень чувствителен и совершенно перед ними беззащитен.

Она говорит, что заказала столик в "Ла Куполь" на Монпарнасе на девять часов. Я был счастлив, когда входил в этот многолюдный, веселый ресторан под руку с Мартой Ириарте, нарядившейся с большим шиком. Я, конечно, заказал себе мясо гриль, не испорченное каким-либо французским соусом. Два бифштекса и жареный картофель. Да, две однородных единицы, к удивлению официанта-картезианца[1]. Бордо и сыр камамбер, вроде тех, что покупал Панчо де ла Серна на рынке в Ла-Плате. Таня ела дары моря с вином "сансерр".

— Чудесное местечко для прощания с жизнью.

— Чувствую, что на сей раз это и меня касается, — говорит Таня с комической гримаской. — Я не останусь в Ла-Пасе, команданте. Теперь и я пойду в сьерру — желаю получить винтовку.

Я ей сказал, что ее работой было установление связей, организация сети содействия. Что это самое важное. Но она меня осадила:

— Знаю, знаю, ты мне не доверяешь, думаешь, что я человек не очень надежный... — Она улыбалась. — Но я тебе докажу, товарищ, обратное, я пойду под пули. Вот увидишь.

— Я тебя не пущу, — сказал я. — Герриль я, война — это для мужчин. У женщин другие задачи.

Но я ее не убедил.

— Вот увидишь, увидишь, — повторяла она.

Васкес Рохас восхищен моим тайным праздником. Я признался, что после кофе мы пошли в дансинг "Ла Куполь", который находится в подвале ресторана, потому что увидели объявление: оркестр исполняет танго. Играли музыканты, собранные из старых довоенных оркестров. В немыслимо широких шелковых бомбачах по моде тридцатых годов. Певца звали Эрнесто Рондо, он тоже был в пестром костюме гаучо, однако с идеально напомаженной шевелюрой. Мы прослушали множество танго и пошли танцевать, когда заиграли "Моя жизнь". Я так расчувствовался. Я выделывал долгие томные, изысканные па. Я кружил по тротуару улицы Парагвай, на углу Араос...

Вопреки тому, что писал Мартинес Эстрада[2], танго — танец не досексуальный, а постсексуальный. Это как бы прогулка в состоянии ностальгии, в болезненном настроении. И не от очарования соблазном, а от разочарования в самом сексе... "Грустное (ностальгическое) чувст-

1. Намек на основу картезианской философии — последовательный дуализм.
2. Мартинес Эстрада, Эсекиель (1895–1964) — аргентинский поэт.

во, которое избываешь танцем", даже у меня, любителя громко притопнуть.

– В ТОТ ДЕНЬ, 25 МАЯ, ОН ОБЕСКУРАЖИЛ НАС своей дикой выход-

кой, – говорит мне Власек, комментируя последние шаги Гевары перед отъездом из Праги в Боливию.

Я вместе с помощником ехал следом за ним. Он направился в такси к одному из центральных мостов и оттуда пошел пешком по дороге, ставшей для него довольно привычной в те месяцы, – к кафе "Славия". Одет был как всегда: серый костюм тройка, плащ и шляпа, надвинутая до бровей. Не доходя до кафе рядом с Национальным театром, он встретился с несколькими преподавателями-испанистами и переводчиками из уже знакомой нам группы. И, конечно, с переводчицей, которая раз в неделю была его гидом на прогулках. (Переводчица эта явилась к нам с самого начала, чтобы информировать о характере их встреч. Мы позволили ей работать с ним и дальше.)

С этими знакомыми из кафе они поехали на двух такси вдоль реки по направлению к холму Баррандов. Там, в доме номер 17, находится резиденция аргентинского посла. (Вам, конечно, этот адрес хорошо известен.)

Флаг был поднят, перед входом стояла очередь официальных машин, а в подъезд входила толпа приглашенных на национальный праздник Аргентины. Мы видели, как Человек в сопровождении знакомых чехов (испанистов, приглашенных посольским отделом культуры) и со своей личной переводчицей вошел в здание.

Чего в этом поступке было больше – безответственности или желания снова попробовать национальное блюдо – мясо на решетке? Хотя на такие праздники сходятся все живущие в Праге латиноамериканцы, в поведении Человека была какая-то издевка. И мы, сидя в нашей "волге", были объектом его насмешки. Как написать в отчете о смысле этого поступка? Что сказать коллегам из КГБ? Сказать, что он хотел пошутить, хотел отведать мяса?

ВАСКЕС РОХАС ИСПОЛНИЛ обещание, данное Росевинке. Он надел самый строгий костюм из своего гардероба (убрав с лица и из прически всякий намек на гевaристские вольности) и встретился с ней и другими испанистами перед Национальным театром. В двух такси они подъехали к резиденции посла. Это большое здание над Молдавой, построенное в тридцатые годы отцом и дядей молодого драматурга, того самого блондинчика из кафе "Редута", который опять был арестован тайной полицией "по доносу", как рассказал Урбан. .

При доме был обширный парк с бассейном. Степанек рассказывал истории про тогдашних киноактрис. Адина Мандлова и Лидия Баарова были знаменитыми посетительницами этого парка во времена немецкой оккупации. В этом доме бывал Геббельс, любовник Бааровой.

Васкес Рохас, естественно, не признавался Росевинке в том, зачем на самом деле отправился на праздник. А объяснялось все просто: он хотел еще раз проверить, насколько надежен его новый облик. Вновь прибывшие поздоровались с послом, после чего Васкес Рохас и девушка двинулись прямо в парк. Они спустились по каменной лестнице в ярком свете весеннего полуденного солнца. В парке были расставлены барбе-

кю, от них в прозрачный солнечный воздух поднимался настоящий аргентинский дымок.

Казалось, Васкес Рохас с Росевинкой решили отыскать более тихое и безлюдное место. Высокопоставленные чиновники и послы разных стран сосредоточились вокруг бассейна. Васкесу Рохасу показалось, что он видит лысину кубинского посла, своего подчиненного.

— Мне всегда хотелось жить в Аргентине, — сказал он. — В некотором смысле я и сейчас нахожусь в Аргентине, хотя бы в силу международного права...

В сопровождении Росевинки (чтобы в какой-то мере оправдать тот риск, на который я столь безрассудно пошел) я очутился в одном из патио моей родины. Вкус вина. Аромат жареного мяса. Неподражаемый щебет шумных детишек, играющих в глубине сада. Странный соблазн — возвращение на родину. Душу каждого, начиная с безумного Улисса, притягивает неодолимая сила Итаки. Человек может быть интернационалистом в широком смысле слова, но каждый из нас связан с каким-то одним двором, с определенными деревьями, с особенным запахом самой таинственной комнаты в родном доме. Тайное уединение. (Затхлый запах в холле и прихожей дома на улице Араос, 2180.) Летние дни, когда я, оставшись один, готовился к последним экзаменам по медицине. Тревожное ожидание и наконец звонок с улицы, возвещавший о приходе моей чудесной кузины; мы вместе впитывали тот незабываемый аромат пустого дома, пока не добирались до комнатки в самой его глубине. Эротизм старых домов, когда ты там один и все родственники разошлись по своим делам. Вот она, родина, — вкус наслаждения, любовного экстаза. Или свежий воздух, когда ты на рассвете идешь по дороге. Когда впервые выезжаешь в мир на стареньком мотоцикле, ничуть не похожем на Пегаса, но зато очень напоминающем дерзкого и ненадежного Росинанта.

Тайна родины — в душе каждого человека.

Васкес Рохас съел две копченые колбаски с красным перцем, бифштексы из корейки, пирожки с мясом. Выпил вина из Мендосы. При этом он не удержался и высказал-таки, чем ему не нравится Кафка:

— Все время думаю о вашем Кафке, о том, как он изобразил господина К., его покорность обстоятельствам, когда тот не может проникнуть в замок. В нем есть что-то отталкивающее, Росевинка, в вашем господине К. И еще больше, чем о К., я хотел бы поговорить о "Превращении".

— Вы же мне сказали, что не читали этот рассказ.

Васкес Рохас понял опасность, которой грозила недооценка провалов в памяти. Кафка не был включен разведслужбой в перечень предположительного чтения Васкеса Рохаса/Бенитеса/Мены.

— Да кто ж не знает историю персонажа, который просыпается, дрыгая тараканьими ножками? В конце рассказа этот таракан видит всю свою семью, видит, как нежится на солнце его сестра, видит отца... Эта сцена пропитана незабываемой и отталкивающей ненавистью к жизни.

Росевинка смотрит на Васкеса Рохаса, будто удивленная не столько возвращением к этой теме, сколько горячностью обвинений в адрес Кафки.

— Нет, здесь нет отрицания жизни, как вы полагаете. По сути, это обличение господствующего над всем мнимого порядка... И семья — часть такого вот циничного мироустройства...

Васкес Рохас чувствует, что продолжать спор неуместно.

На коктейле в группе "высшего класса" — послы и высокопоставленные чиновники. Когда динамики наполняют парк звуками национального гимна, гости "высшего класса", как подсолнухи, поворачиваются туда, где реет аргентинский флаг.

Присутствующие здесь аргентинцы поют свой гимн. Им не грозят слава, мистические озарения, болезненные исторические перемены. Все они принадлежат к народу, который при любых обстоятельствах умеет выжить, удобно устроиться в жизни, — к хитрому и счастливому народу. Они пристроились как бы на обочине, поодаль от реального мира. Ими правит некий генерал, и он твердо обещает оберегать то хрупкое состояние нестабильности и несправедливости, в котором они живут. Кто тут голодает? Генерал гарантирует им, что не даст победить ни Че Геваре, ни Масетти, ни какой-либо политической системе, которая могла бы прервать десятилетия нормального пищеварения. (Уже известно, что генерал, который вскоре придет к власти, зовется Онгания[1]. Об этом пишут все газеты. И он обещает, что даже перонизму не будет доступа в томный скотский рай аргентинцев.)

Вот они, в шелковых галстуках, одетые с английской чопорностью, — представители Аргентины. Чисто выбритые, чересчур нормальные физиономии, хитрые, наблюдательные, недоверчивые глаза — все с энтузиазмом поют гимн. Право же, любопытная, цепкая расовая разновидность. Более четко выраженная, чем сами они полагают. Они поют:

> Да будут вечными добытые нами лавры.
> Или клянемся умереть со славой! Или клянемся
> умереть со славой!

Васкес Рохас — уругваец и испанец, но он тоже растроган.

Затем Васкес Рохас провожает Росевинку, которая должна исполнить то странное дело, ради которого она сюда, собственно, и пришла. И ради которого он подвергает себя опасности.

Стараясь не привлекать к себе внимания, они направляются в глубину парка, где стоит небольшой домик. Там Росевинка совершает ежегодный тайный ритуал — отдает дань памяти своей матери. Тут, на краю парка, они совсем одни — отсюда, с вершины каменного холма, который круто обрывается вниз, в заросший кустарником и цепкими соснами овраг, открывается великолепный вид на реку.

Росевинка заглядывает в окошко внутрь пустого домика и застывает с опущенной головой, повернувшись лицом к тому месту, где повесилась ее мать Дебора. Васкес Рохас молча ждет.

Все длится несколько минут. Это тайный "кадиш"[2], мгновение сердечного поминания покойницы.

— Какой была Дебора? — спрашивает Васкес Рохас, когда они возвращаются к остальным гостям.

— Я была еще очень мала... Бабушка и ее сестра говорили, что Дебore больше подошла бы совсем другая эпоха. И все же, несмотря на мрачную атмосферу сталинской оккупации, на разочарование еврейских семей, которые сперва надеялись на безопасную жизнь при "осво-

1. Х. К. Онгания был президентом Аргентины в 1966—1970 гг.
2. Еврейская поминальная молитва.

бодителях", Дебора всегда вносила светлую нотку в любой дом. Работа в израильском посольстве была для нее дверью в большой мир. Пока здешние агенты не взялись за нее, не унизили... Но Дебора была из тех женщин, которые приходят в дом с гостинцами, с подарками. Она приносила билеты на концерты, в кино. По две-три ночи не спала, готовясь к моему дню рождения. Во всех семьях всегда есть кто-то вроде Деборы. Кто-то, верящий в жизнь.

Дебора, подобно К., была раздавлена машиной мнимого порядка.

Васкес Рохас не хочет спорить. Сталин всех держал в страхе. Смерть легка, но только когда это чужая смерть... Гевара внезапно вспоминает архитектора Кинтану.

Что это мне сказал тогда Кинтана?

Кинтана пришел просить за друга по Союзу католической молодежи, приговоренного к смерти. Гевара, который разговаривал с ним, испытывая совершенно новое и непривычное ощущение собственной власти, тогда сказал:

— Часть революционного процесса — это несправедливость, которая служит будущей справедливости...

И Кинтана ответил:

— Команданте, тем, кто умирает, бессмысленно говорить о спасительной силе несправедливости...

Васкес Рохас не сказал ни слова. Грех. Цель и средства. Террор мобилизующий (военный) и террор парализующий. Можно ли убивать? Может ли человек присвоить себе право на божественное безумие?

Они покинули праздник, не попрощавшись с послом — любезным господином, который с большой помпой чествовал героев былых сражений — времен основания Аргентины, когда погибли Бустос, Кирога[1]. Когда был расстрелян Лавалье[2], правил Росас, чиня расправу с помощью масорки... Славный поход Сан-Мартина. Возникновение уважаемого народа, "христианского и западного". Фраза Ницше: "Всякий великий народ образовался благодаря великому преступлению". Но эта фраза не утешит Росевинку, не рассеет печаль в ее взгляде, не смягчит беспросветного сиротства. Не поможет побороть детское смятение перед банальностью Зла.

Пока они дожидались такси, Васкес Рохас сказал деланно спокойным тоном:

— Мне придется покинуть Прагу на довольно долгий срок. Надо будет поездить. Пробуду здесь еще несколько дней. Постараюсь вам позвонить, но встретиться уже не придется. Еду в Уругвай. Конечно, я еще сюда вернусь, возможно, в конце будущего года...

Они уселись в неуютную "шкоду". Росевинка ничего не ответила. Шофер вел машину резкими безжалостными рывками. Но это было даже кстати, потому что отчасти оправдывало молчание. Оба смотрели вперед. Росевинка сидела напряженно, сложив руки на коленях. Уголком глаза Васкес Рохас видел, как она два-три раза подняла правую руку. Он понял, что Росевинка тихо плакала, не стараясь сдержать слез.

1. Хуан Карлос Бустос (1779–1830) – губернатор провинции Кордова. Участник Войны за независимость. Хуан Факундо Кирога (1788–1835) – аргентинский политический и военный деятель. Участник Войны за независимость.
2. Хуан Лавалье (1797–1841) – участник Войны за независимость. Возглавлял восстание против Росаса, но потерпел поражение и был убит.

Васкес Рохас подумал, что надо бы сказать несколько сочувственных слов. Но, к счастью, не сделал этого. Он подвез девушку к книжному магазину рядом с университетом, где они обычно прощались после прогулок.

Мягко и решительно поцеловал ее в щеку и слишком громким голосом произнес:

— Я вам позвоню, Росевинка, перед отъездом. И вернусь раньше, чем вы думаете!

НЕ НАПРАСНО Я, САМУРАЙ, всесветный странник, по сути превратил сперва Ильду, а теперь Алейду исключительно в хранительниц очага, в матерей. Несмотря на войны и путешествия, я — "отец большого семейства", из числа тех, что в некоторых европейских странах пользуются скидкой в поездах. Жена, тетки, племянницы, ребятишки с криками карабкаются по мне, как по стволу дуба. Мне хотелось возродить шум многолюдной семьи, какой царил в домах моего детства. В домах семейств Эчагуэ, де ла Серна, Феррер, Рока.

Меня можно смело назвать "семейным человеком": большая семья, равиоли и сдобные булочки на обед по воскресеньям.

Вот она — моя тайная связь с буржуазией. Или, вернее, с самой стабильной и прочной стороной мироустройства.

Я — консерватор. Я хочу спасти человека от небытия. Хочу установить власть любви, семьи (для всех).

Хотя это ужаснет аргентинских интеллектуалов, являющихся на Кубу с глазами недоверчивых птиц, я — традиционалист.

Я понял социализм как расширение власти любви. Я ощущаю различие между войной как ненавистью разрушительной и войной как ненавистью созидательной. Лишь теперь, в Праге, для меня самого начинает проясняться эта сторона моей глубинной сути.

Мы в Гаване иногда говорили себе: "Да, в нашей революции есть элемент "инженерии сердца", когда приоритет отдается человечности. Несмотря на все допущенные ошибки и на все уступки силе Зла (оно же Небытие)".

Я плохой писатель. Однако то, что чувствую отчетливее всего — наверно, потому что готовлюсь снова выскочить за пределы всякой защищенности, — я попытался выразить в письме старине Кихано на тему "Социализм и Новый человек на Кубе":

"Да будет мне дозволено сказать, рискуя показаться смешным, что истинным революционером руководит могучее чувство любви... Надо обладать большим запасом чувства справедливости и истины, чтобы избежать крайностей, холодной схоластики, отчуждения от масс. Невозможно представить себе настоящего революционера без этого свойства".

ПРАЖСКИЕ ЗАМЕТКИ (ПОСЛЕДНИЕ). И еще несколько слов о действии в чистом виде — о войне. Есть люди, созидающие неспешно, и есть люди быстрого горения, рожденные для того, чтобы вспыхнуть ярким пламенем и исчезнуть. Они могут оставить после себя минутную славу или же погаснуть без следа, как те шутихи, которые мы в детстве запускали в воздух в незабвенные рождественские ночи.

Я снова вступаю во врата благородного и грозного дворца войны и смертельного риска. Это мне подходит, это мне по душе. Знать, что я иг-

раю в орел или решку и что на сей раз должен выиграть — а не то все для меня будет потеряно.

Я пожелал подступить к самому краю, а от края нет возврата. Ныне жребий брошен.

НЫНЕ ЖРЕБИЙ БРОШЕН, МАМА, дорогая Селия. Пишу это в кафе города, который ты, наверно, видела краем глаза (как драгоценность, упавшую в туман) во время каких-нибудь пересадок с самолета на самолет, когда летела на Кубу.

Ты не могла получить моего письма, когда я уезжал в Конго. Когда Османи принес мне в лагерь известие о твоей тяжелой болезни, был месяц май. А потом, в следующем месяце, пришло сообщение о том, что ты умерла, мама, и я почувствовал, что все рушится. Помнишь ли тот необъяснимый страх в зимние ночи в Альта-Грасии, когда я лежал в постели, а ты за мной ухаживала, и в полутьме мы слышали крик совы? То были единственные случаи, когда ты осеняла себя крестом. То же самое почувствовал я здесь, в конголезских джунглях, лежа под навесом, прихлебывая чай и глядя, как бегут тучи. Ноги мои ослабли так, словно в них уже нет ни сухожилий, ни костей. Я ощущал себя сломанной куклой. Как то чучело на гравюре Гойи в доме у дона Мануэля де Фальи, изгнанника франкизма, который тоже жил в Альта-Грасии.

Получилось так, что мы как бы попрощались. В том письме я писал тебе: "Я снова чувствую под моими пятками ребра Росинанта, снова возвращаюсь на дорогу со щитом в руке". Речь шла не о каком-то там Дон Кихоте. Я имел в виду "нашего" Дон Кихота. Того, про которого ты мне читала в Альта-Грасии, сидя в плетеном кресле рядом с моей кроватью. Потрясающего, неодолимо зовущего за собой Дон Кихота подарила ты мне в те бесконечные дни в Кордове!

Сегодня пишу тебе письмо, которое не мог бы послать из Конго. Но ты побываешь в Конго, и твой взгляд все озарит, как утренний луч, и свет его дойдет до моей тетради здесь, в "Славии".

Я хочу рассказать о том дождливом дне. Когда у тебя все не ладилось. В доме ты обнаружила следы сырости. Отец третий день был в Кордове, и от него не было ни слуху ни духу. Но самое неприятное было то, что Селентано, администратор отеля "Сьеррас", привел своего друга профессора, отдыхавшего в наших краях, чтобы тот осмотрел меня. Профессор заставлял меня нагибаться, дышать, кашлять, пыхтеть. Его холодное ухо скользило по моей груди, спине. Я увидел рентгеновские снимки, которые ты хранила в столовой, вместе с праздничными скатертями. Я все это вижу, понимаешь? Физиономию профессора, его черные усы, серьезную мину, как у собаки в лодке.

А потом он пожелал поговорить с тобой в гостиной, и я, разумеется, накинув на плечи одеяло, соскочил с кровати, чтобы подслушать.

Он сказал, что это у меня навсегда. Что я много раз в жизни буду зависеть от этой последней ниточки воздуха, этой тончайшей серебряной паутинки, на которой будет висеть моя жизнь. В любой момент, в любом месте, по причинам климата, или из-за волнения, или из-за какого-нибудь физического недомогания, я могу оказаться подвешенным на этой серебряной ниточке над черной беспощадной бездной смерти.

Я слышал, как ты плакала, мама. Твой сын тебя разочаровал — он останется навсегда все равно что паралитиком, неполноценным.

Ты простилась со знаменитым профессором и с Селентано, осушила в ванной слезы, и, когда ты вернулась, я притворился спящим.

И тут у меня появилась идея. Кто сказал, что смертельный приговор не может открыть новую жизнь? Достаточно соскочить с этой кровати, предназначенной для "ребенка-парализованного-навсегда", и настроиться на то, чтобы каждый час проживать без остатка. Это было вроде внезапного бунта. Я как бы посмотрел на жизнь с обратной стороны и сказал тебе: "Мама, перестань горевать. Кто решил, что мы должны идти от жизни к смерти, оберегая себя, потакая себе, старательно отдаляя встречу со смертью? Клянусь тебе, я пойду к жизни от смерти. От риска. Я поставлю риск выше культа самосохранения!"

И я тут же выпрыгнул из кровати. Несмотря на твои возражения, оделся. Сказал, что уже не задыхаюсь (и попытался тебя обмануть, напрягая грудные мышцы). И отправился в сад.

Ты сдержалась и не произнесла ни слова. Ты видела, как я побежал на луг, где мои друзья играли в футбол. Видела, как я включился в игру и стал бегать, хотя мне не хватало воздуха, но все-таки я бегал под вечерним моросящим дождиком.

И ничего не случилось. С тех пор мы напугали смерть. Нам это удалось — пусть знает свое место!

Добро пожаловать, смерть! Опять! Моя собственная смерть и смерть чужая! Смерть-созидательница...

Сегодня, мама, я чувствую смысл этих слов острее, чем когда-либо. Мы находимся в конце долгой исторической эпохи, эпохи лишений, унижений и оскорблений. Над миром нависла угроза порабощения вещами, окончательного торжества капиталистического эгоизма, абсолютного господства хозяев западной промышленной системы и западных технологий.

В течение этих лет мне довелось видеть "гигантов" коммунизма, ползущих в хвосте этой действительности. (Гротескное потребительство советских людей с их разболтанными дымящими автомашинами, с их ГУМом, "Маем", большими магазинами "потребкооперации", где продается вышедшая из моды одежда.)

Сегодня я как никогда твердо знаю: необходимо сделать решительный поворот. Либо мы создадим нового человека и новое справедливое общество, либо все погибнет. Без окончательной битвы капитализм пожрет остатки социализма — гниющего, предавшего себя, забывшего свои принципы.

Селия, мама, это я и хотел сказать тебе в своем последнем письме, которое ты читаешь сквозь неохватное око Пространства. Надо ли бояться смерти? Когда я боялся смерти? Чувствую, что делаю решающий шаг. Я очень ясно ощущаю, что собираюсь штурмовать стену, за которой таится невозможное!

Однако игрок знает, что за порогом невозможного История может завернуться петлей, сделать поворот.

Вот мое письмо, или прощальная записка из Праги. После нескольких месяцев, проведенных здесь, у меня созрело убеждение, что у моей жизни одна цель — я должен сделать свою жизнь ставкой в великой игре. (Вспоминаю Байрона, которого мы читали в Кордове, — в тридцать шесть лет, хромой, он решился создать смехотворный отряд, чтобы вы-

садиться в Миссолунги и освободить Грецию – Элладу для человека духовного – от жестокого турецкого владычества!)

ПРАЖСКИЕ ЗАМЕТКИ. Теперь все ускоряется, и я ступил в конечную стадию. Запоздалая весна в этом году пришла лишь в первую неделю мая, я чувствую дикую жажду земли, пережившей унылую и чрезмерно долгую зиму. В несколько дней все зазеленело. Из влажной, холодной почвы с тропическим энтузиазмом вылетают майские жуки. На обочинах дорог растут буйные сорняки. Деревья покрываются свежей сквозистой зеленью, которая развертывается нежными, блестящими листочками.

Я решил сделать тренировки более интенсивными. Я хочу как можно лучше подготовить себя. У тигра должны быть крепкие когти, когда предстоит сделать последний прыжок.

Я долго беседовал со своими людьми. Они меня полностью поддерживают. Эмиссары подтверждают, что в Боливии проведена отличная работа. Однако на этих днях нам предстоит решить один важный вопрос.

Посольство договорилось о двух местах для наших походов и тренировок. Нас представили как молодых кубинских марафонцев, которые будут тренироваться и ночевать в походных палатках. Первое место – территория воинской части, которой уже пользовался Масетти зимой 1962–1963 годов перед отправкой в Сальту, где его ждали провал и гибель.

(Любое мое воспоминание населено умершими. Как в триллере, когда покойники выпадают из шкафов и даже из холодильников, стоит открыть дверцу, чтобы достать какой-нибудь фрукт.)

КУБА, 1995. ИЗУЧАЮ, хожу следом за тенью Гевары. На площади Революции – его гигантский профиль с поднятой рукой и нахмуренные, упрямые брови воина.

Побывал в его доме в Нуэво-Ведадо[1]. Дом заперт в ожидании окончательного перехода в прошлое – превращения в музей. Там его жена Алейда Марч с резкими, пикассовскими чертами лица любезно показывает мне комнаты, в которых Гевара почти не жил. И несмотря на все этот пустой дом уже несколько десятилетий – семейный дом. Кажется, что слышишь голоса малышей, его детей, и даже астматические хрипы, над которыми дети смеялись. Они карабкались к нему на руки, чтобы послушать грудь, и смеялись, рассказывает Алейда.

Направляюсь в Старую Гавану. Сейчас Особый Период в истории страны. Все изменилось, только гордость осталась прежней.

С берега моря остров Куба напоминает мне огромные торговые корабли, застрявшие в каком-нибудь заливе, на рейде или на входе в порт из-за международных споров или юридических проблем. Огромное нагруженное судно, борта которого обросли мерзкой и дурно пахнущей зеленью. Зычный, оглушительный голос Революции пронесся по морю и растаял в слабых отзвуках эха, прокатившегося по американским лесам.

На углу улицы, выходящей на набережную, словно ученицы у ворот школы, щебечут совсем юные проститутки, "наездницы", в ожидании всемогущего доллара.

1. Нуэво-Ведадо – район Гаваны.

Куба, огромный корабль, застрявший в зловонных водах на годы либерального тоталитаризма. Застрявший напротив Латинской Америки, которая предала самое себя. Это огромная, дородная нимфа Ботеро[1], которая бежит поглядеться на себя в маленькое зеркальце в будуаре. Куба – застрявшая, неподвижная, задыхающаяся в астме, достойной Че. В астме Особого Периода – перед лицом злой сестры и злой матери – Латинской Америки.

Иду с набережной к отелю "Президент". Там, постаревшие, но с чудом сохранившейся молодой аурой, сидят друзья, соратники Гевары. Они пьют пиво на террасе отеля, где когда-то Бенни Море или Рита Монтанер переживали сладкую минуту тропической любви. Пыльные подвески на люстрах, несуразные лампы рококо, и Эль Чори, нашептывающий "Коварство" под звук далеких маракас.

Изумительная облупившаяся, поблекшая Куба, живущая вопреки истории. Изумительная оцепеневшая сирена, сирена, преисполненная гордости. Старый лев хотя и слег, но псы, окружившие его, не смеют на него напасть.

Я потерял след Гевары в последний месяц его пребывания в Праге. Версия Власека, глядевшего в замочную скважину, явно скудна деталями. А в эти последние недели июня и июля 1966 года пражские сотрудники Гевары – Помбо, Мартинес Тамайо, Коэльо – уже работали в Боливии или проходили тренировки.

В эти недели Гевара покончил с последними колебаниями стратегического порядка. Он снова двигался вперед твердыми шагами – к тому, что он называл Дворцом войны. К чистой, созидательной зоне бытия. Но свидетелей этого движения вперед не было.

Лишь недавно, в 1994–1995 годы, благодаря книге Пако Игнасио Таибо, Феликса Герры и Фроилана Эскобара, открылись подробности похода Гевары в Конго, до той поры хранившиеся в тайне.

Однако о последних неделях в Праге нет достоверных сведений. Известно, что он наметил себе режим беспощадных физических тренировок. Известно, что была назначена дата отъезда из Праги. Вероятно, на середину июня. Но неизвестно, что он решил по поводу поездки в Гавану – перед операцией в Боливии. В нем жил страх перед физическим временем, и этот страх толкал Гевару к решительным действиям, на него опиралась его концепция партизанской войны.

Известно, каких трудов им стоило получить доступ на территорию, контролируемую военными, где советские и чешские офицеры проходили особого рода подготовку – тренировались на выносливость в "неблагоприятных географических условиях". Этот полигон к тому времени, по сути, был заброшен, и казалось, что получить доступ туда будет нетрудно.

Упорства Геваре было не занимать, и через посольство он сумел добиться неофициального разрешения использовать для тренировок лес в Подебрадах.

Лес этот находился примерно в шестидесяти километрах на восток от Праги. И видимо, Гевара сказал чехам, что отправятся туда кубинские студенты-спортсмены.

1. Фернандо Ботеро (р. 1932) – колумбийский живописец, скульптор, график.

Остается загадкой, зачем Геваре понадобилось напоследок подвергать себя такому нелегкому испытанию. Я стараюсь что-либо узнать у его товарищей здесь, на террасе отеля "Президент". Говорят его друзья.

— Вы, конечно же, слышали об упрямстве Гевары. Он так настойчиво этого добивался, что ему было дано разрешение, хотя не вполне официальное.

— Думая о событиях почти тридцатилетней давности, я прихожу к выводу, что он собирался устроить не просто тренировочный поход, он хотел по-настоящему проверить лично себя, свои силы. Сперва он ходил в дальние походы с тремя-четырьмя помощниками (главные уже были в Боливии, они подбирали кадры, уточняли объекты атак). Затем он отправился один в этот проклятый, сырой лес — испытать собственную выносливость...

— Да, он хотел испытать свои физические силы. Он знал, что дикая природа Боливии, жизнь в горах могут оказаться ему не по силам. Но, с другой стороны, нельзя недооценивать и следующий момент. В мае он еще думал, что ему не понадобится заезжать в Гавану, чтобы там встретиться с людьми, подготовленными для отправки вместе с ним в Боливию. Играла свою роль и непомерная гордыня: он хотел послать своих людей в Боливию и возглавить отряд, отправившись туда прямо из Праги, ведь на Кубе его непременно начали бы отговаривать от задуманного.

— До того, как случилась эта неприятная история в Подебрадах, он проводил в более "цивилизованном" и более близком к Праге месте труднейшие походы — в полном снаряжении — с рюкзаками по тридцать кило.

Он непрестанно испытывал действие своих лекарств и записывал в тетрадке результаты и дозы. Видимо, оставался доволен. По вечерам мы собирались в трактире, и он много ел, чтобы и дальше прибавлять в весе.

— Была назначена окончательная дата отъезда — 14 июля. Это полностью изменило настроение в нашей небольшой группе. Мы надеялись, что он нас возьмет с собой. Каждый был готов для него на все. Каждый из нас был "человеком Че" и почитал это за честь. Это было чем-то вроде почетного воинского звания...

— Там, в трактире, в эти теплые вечера, прежде чем мы отправлялись спать в палатки, он постепенно приоткрывал свои тайные планы, которые вынашивал в долгие месяцы пражской жизни. Его вдохновляла перемена ситуации в Аргентине. Наконец-то совершился давно ожидаемый переворот и свергли президента Ильету[1], очередной генерал объявил о начале политики репрессий и смертной казни. Гевара нам объяснил, что это будет способствовать развитию благоприятных условий для восстания — в городах, на предприятиях... Он был уверен: стоит зажечь фитиль, и народные массы поднимутся, чтобы поддержать Перона. Это, конечно, было сомнительно. Но Боливия была нам нужна лишь в качестве базы, конечная наша цель — революционная война в Аргентине. "Перед нами стоит нечто гораздо большее, чем политическая задача. Мы должны выполнить миссию".

— Он это называл "континентальным очагом пожара". Решающим этапом и для Америки, и для всего мира... На этом обычно разговор за-

1. Артуро Умберто Ильета (1900–?) — президент Аргентины в 1963–1966 гг.

канчивался: в девять вечера чехи гасили свет или уносили недопитые кружки пива. Мы ругались, протестовали. Взывали к чувству социалистической интернациональной солидарности. Какое там! Мрачные чудовища, расисты. Иногда они даже пытались вытолкать Гевару. Они, конечно, не знали, кто он такой. Мы отправлялись в палатки и издали видели огни в советской казарме. Возле нее стояли часовые, курили, притаившись в темноте. У нас всегда было впечатление, будто они караулят концентрационный лагерь. Стоило подойти поближе, метров за пятьдесят, как подымали лай их страшные служебные псы... Вот послушайте, что случилось с команданте... Послушайте.

— Наконец мы узнали, что нам разрешено отправиться в лес в Подебрадах. Нам не рекомендовалось вступать в какие-либо контакты ни с советскими военными, ни с чешским подразделением, которое охраняло станцию связи, обслуживающую ту местность.

Лес в Подебрадах, пожалуй, самый дикий во всей Европе. Там водятся стада диких кабанов — каждый килограммов по двести весом. Русские использовали эти места как учебный полигон и стрельбище, а также для дрессировки своих собак. Сбежавшие от них псы — скорее волки, чем собаки — расплодились и сбились в свирепые стаи. Вблизи от поселка Подебрады со знаменитым королевским замком расположен большой спортивный лагерь, есть там и трактир. Все предназначено для удобства военных. Кажется, теперь там устроили площадку для игры в гольф. Нечего удивляться, что одичавшие собаки и кабаны забегали в деревню и наводили страх на немногочисленных тамошних жителей. Детей не выпускали одних играть на улицу... Прямо сказка про Красную Шапочку! Хотя эту жестокую сказку и рассказывают детям перед сном!

Пользуясь тем, что я попал в Гавану, я пробую затронуть и другую тему. Почему все они так преданно следовали за Геварой? Когда он обратился к ним, ни один из его ближайших соратников не пошел на попятный, хотя они пережили с ним поражение в Конго. Почему они шли за Геварой?

Рибальта, его капитан со времен Сьерра-Маэстры, смотрит на меня смущенно.

— Разве можно было его оставить? Тридцать лет прошло, а он все еще мне снится. Не проходит дня, чтобы я о нем не вспомнил, чтобы не возникла мысль, с ним связанная, с теми чистыми, ясными днями войны... И сегодня, когда мне под семьдесят, я бы опять записался к нему в отряд.

— Почему?

— Не знаю. Но это так.

Помбо, Бенигно, те, кто не погиб в его крестовых походах, не знали бы колебаний и сегодня, когда мир так сильно изменился.

— Он шел в первом ряду. Буквально в первом ряду... "Тебе страшно?" — спросил он меня однажды. "Нет", — ответил я, солгав. "А что до меня, я просто умираю от страха!" И мы чуть не расхохотались во всю глотку, хотя нам тогда и пикнуть нельзя было, потому как мы попали в засаду и были окружены во много раз превосходившими нас силами противника.

— Он был в курсе всего. Каждый смелый поступок награждался: то он одобрительно подмигнет, то жестом покажет, что доволен. Всегда в первом ряду, всегда вместе с нами.

— В этом был его секрет. Удивительным, необычным человеком был наш команданте — сам ходил в лохмотьях, не позволяя себе никаких привилегий, положенных любому командиру.

На террасе отеля "Президент" мы сидели и пили пиво. Две-три тощие собаки крутились вокруг богатых туристов, выпрашивая остатки хот-дога или корочку от сандвича с ветчиной. Это роскошь в нынешние времена — в Особый Период, который переживает Куба, окруженная атмосферой всемирной трусости.

Вышедшие в отставку командиры, воевавшие вместе с Че, оказали мне честь, сев со мной за один столик. За соседним сидят две хорошенькие мулаточки-"наездницы". Глаза у них — благодаря цветным линзам — ярко-синие; с ними два фирмача из Европы.

Вот так обстоит дело: эти девчонки за два часа заработают столько, сколько получает за месяц капитан Рибальта, славный отставник. Два бонго и меланхоличный рояль исполняют "Кабатчика" и "Качиту". Временами с моря налетают сильные порывы ветра, и пластиковый стаканчик капитана Рибальты летит через всю террасу куда-то вниз. Ветер качает зубчатые края тентов над окнами отеля.

— Мужество и чувство справедливости. Никогда не съест ни крошки, хоть бы умирал с голоду, не разделив еду на всех поровну. Однажды мы нашли на дороге плитку шоколада. Он ее развернул и подождал, пока подойдут остальные, — всего одиннадцать человек было в отряде. И тогда перочинным ножичком он с геометрической точностью наметил порции и аккуратно разрезал шоколад. Такой он был. Не имел ни денег, ни счетов в банке. Когда собрался повидать дочку, Ильдиту, обнаружил, что не на что купить куколку, которую девочка попросила. Тогда мы скинулись, собрали ему деньжат. Доходило до невероятного. Он себе ничего лишнего не позволял. Что годилось для последнего из нас, годилось для Че.

— Вот видите? Мы с вами говорим не о войне и не об идеях. Говорим о его невероятной жажде справедливости...

— Тут вам и ответ — именно это заставляло нас идти за ним. Невозможно было его подвести. И поэтому Куба его не забывает. Он, видите ли, был человеком очень необычным — до мозга костей аргентинец, а вспоминают о нем как о святом! Хотя, ясное дело, святым он не был — он не умел прощать...

— Вы спрашиваете, дружище, почему мы шли за ним? Действительно, вопрос правильный. Он никогда не говорил о победе, а только о революционной миссии. Говорил, что война за Америку продлится "лет десять или пятнадцать" — представляете? И все равно мы оставляли семьи, теплые места и почетные должности в правительстве, возможность быть "историческим революционером", которому аплодируют в школах, воздают почести! Очень грустно было, что мы не могли последовать за ним, хотя на Кубе мы были неплохо устроены. Да, пришлось бы забыть про здешние кафе и раз-другой отведать крысиного мясца. Пить мочу, исходить кровавым поносом! В Боливию он взял маленький отряд, и заметьте, чтобы лучше понять эту самую "тайну Гевары": в поход записались четыре члена Центрального комитета, два вице-министра и два высокопоставленных чиновника... Подумайте сами — не так-то легко расстаться с миром бюрократии.

Я СПРАШИВАЮ, ЧТО ЖЕ ТАМ СЛУЧИЛОСЬ В ПОДЕБРАДАХ? Власек говорит, что знает о происшествии лишь по неприятным официальным переговорам с необщительными советскими офицерами, когда дошло до развязки.

— Это был один из последних инцидентов, — говорит он, — прежде чем мы избавились от Гевары. Ничего нет несносней, чем гениальный человек. То, что вам рассказывали на Кубе соратники Человека, в основном, по-моему, верно. Другого объяснения нет. Гевара хотел быть первым, хотел быть в наилучшей физической форме. Вы же знаете, на войне он был не столько генералом, сколько отважным трудягой, а для этого надо всегда быть в первом ряду. Он был кондотьером.

Второе важное обстоятельство: он, конечно, нуждался в военной поддержке, деньгах, оружии и связях с Кубой, ему отчаянно не хотелось пройти через унизительное возвращение туда. Не хотелось подвергать такому испытанию свою несгибаемую гордость. Хотя намерение вести подготовку из Праги, минуя Гавану, было прямым самоубийством... Вернее, куда более быстрым способом самоубийства, чем это должно было случиться.

Он хотел отправиться прямо в сельву и устроить оттуда всемирный пожар.

Но вы только послушайте, как небольшая хитрость помогла выйти из такого затруднения. Помогли ему то ли сам Кастро, то ли Рамиро Вальдес, близкий друг Гевары со времен Сьерра-Маэстры. Наверно, Рамиро Вальдес ему сказал: "Ну ладно, ты не хочешь приезжать сюда как Гевара, потому что у тебя еще не зарубцевалась рана после отказа от всех постов, от гражданства и так далее. Но ведь можно сделать, чтобы приехал не ты, а этот Васкес Рохас или Рамон Бенитес — кто-нибудь из тех, под чьим именем ты живешь в Праге! Кроме как для своей жены, ты для всех остальных будешь Васкес Рохас или Адольфо Мена. Будешь жить уединенно, тренироваться в лагере в Пинар-дель-Рио[1] — и вопрос решен!

Это был выход из тупика, так что, к нашему облегчению, он должен был в июле уехать из Праги поездом на Вену с документами Рамона Бенитеса.

Не кажется ли вам, что во всем этом есть доля иронии? Маска торговца, мелкого буржуа даже на Кубе была ему удобнее, чем его собственное лицо.

Я думаю, он никогда не простил — хотя об этом они специально договорились, — что его письмо об отказе от постов и гражданства было прочитано публично, когда он сражался в Конго. Да, они обо всем договорились, но рана осталась. Почему Фидель Кастро решил, что должен зачитать отказ именно в этот момент? Почему Гевара почувствовал, что его брат по оружию и по славе не должен был так поступить вопреки уговору? Когда-нибудь нам, возможно, станут известны советские материалы по этому вопросу. Возможно, появится какая-то ясность.

Однако о событиях в Подебрадах данных очень мало. В "Пражских тетрадях" есть последние заметки Гевары. Любопытные размышления. Вам должно быть понятно, что в это время для нас, разведслужбы, зависимой от КГБ, имя Гевара окончательно звучало как проклятие. Революционер — волюнтарист, не признающий порядка! Моральный и тактический враг Тройки и, в особенности, господина Брежнева!

1. Пинар-дель-Рио — административный центр одноименной провинции на Кубе.

Но я позволю себе указать вам человека, который расскажет, что случилось в Подебрадах. Человека, который недавно вышел на пенсию, а тогда служил помощником садовника в кубинском посольстве. В то время он был двадцатилетним пареньком, спортсменом. Он сопровождал Гевару в район Подебрад. Я его предупредил, что вы ему позвоните, — вы ведь сами понимаете, что прежде он работал под моим началом, и в течение по крайней мере двадцати лет я знал, что происходит в посольском саду...

— МЕНЯ ЗОВУТ ВЛАДИМИР. ВЛАДИМИР ГОЛАН. Да, сеньор Власек мне сказал... Вы хотите узнать, что случилось тогда в Подебрадах...

— Именно так. Не осталось живых свидетелей. Прошло тридцать лет.

— Ну что ж, там был еще некий сеньор Пачо, которого он называл Пачунго или в этом роде, но только первые два дня.

— Этот сеньор погиб в Боливии, — сказал я Владимиру.

— Ах так... Я в то время только поступил на работу в кубинское посольство для разных поручений; мне было двадцать лет, и я мечтал стать спортсменом — гиревиком, десятиборцем. О том, что это была важная персона, я, разумеется, не имел понятия. И долго еще не знал, кем он был. До недавнего времени, пока к власти не пришел Гавел, я не знал, что то был Гевара. Знаменитый Че Гевара.

— Как вы с ним познакомились?

— Однажды утром меня позвал советник и сказал, что я должен сопровождать двух кубинских спортсменов на военную территорию в Подебрадах. Одного, мол, зовут сеньор Рамон, а другого — сеньор Пачо. И, как положено, я должен помалкивать.

— И там вы познакомились?

— Ну да. Он пожал мне руку и спросил, почему меня зовут Владимир. "В честь Владимира Ленина, — сказал я. — Я родился, когда Чехословацкая Республика избрала путь коммунизма". Мой ответ, кажется, ему понравился.

Но я коммунистом не был, хотя теперь меня занесли в списки предателей и испортили мне жизнь. Я не был коммунистом, был как все. Был очень простодушным, и это ему нравилось. Я сказал: "Сеньор Рамон, я завидую вам, что вы живете так близко от Соединенных Штатов". — "Кто тебе сказал, что я кубинец? Я уругваец. Меня зовут Рамон Бенитес. На Кубе я бывал пару раз и все". — "А в Соединенных Штатах?" — "Был в Майами, в Нью-Йорке. Всегда проездом". "Вот счастливец!" — сказал я. Он смотрел на меня с улыбкой, пока мы грузили в фургон палатки, лампы, лопаты, веревки, ремни. "Не называй меня "сеньор". Его вот зовут Пачо, а меня Рамон".

Мы отправлялись готовить место для лагеря. Он хотел провести опыт на выносливость, как тренируют пилотов. Между тем мы грузили всяческую провизию и еще сумку, полную книг. "Ты когда-нибудь жил в походном лагере?" — спросил он у меня. "Да, в Татрах. И в горы ходил. Ужасно понравилось". — "Это меня радует, Владимир".

Я обратил внимание на то, что он был в пиджаке и галстуке. Но когда мы приехали на место, надел высокие ботинки со шнуровкой и походную форму.

В Подебрады тогда ехали по Подебрадской дороге, теперь это автострада. Вы приезжали в поселок, где жили почти исключительно семьи

советских офицеров, дальше надо было ехать к Эльбе, откуда начинаются леса. Все это не дальше семидесяти километров от Праги.

Дорога налево вела в расположение советской пехотной части. Вокруг тянулась ограда — метров на восемьсот. Ограда из цементных плит высотой в пять метров, со сторожевыми вышками. А справа был въезд в лес, но не для всех. Стояли знаки с черепами, указывая на минные поля, собак, провода высокого напряжения и так далее.

Там мы прождали час в грузовике, пока советник, ехавший в посольской автомашине, что-то объяснял советскому офицеру, показывал пропуск. Целый час это продолжалось, пока наконец не разрешили кубинским спортсменам проехать в лес. Офицер с большим недоверием заглянул в окошечко нашего фургона и саркастически улыбнулся, обнажив передние металлические зубы, какие у них часто бывают.

Иначе говоря, мы с первых шагов столкнулись с затруднениями. Нас встретили недоверчиво и враждебно. Мы двинулись по узкой дороге (той самой, которая теперь ведет в построенный в зоне гольф-клуб) к полуразрушенному домику, куда помощники Рамона заранее привезли все, что нужно для сооружения большой палатки, а также ящики и сумки с продуктами. Но нас ожидал неприятный сюрприз: кто-то там похозяйничал — возможно, лесные звери или подвыпившие советские солдаты. Валялись помятые консервные банки. Мешок с картофелем был порван. Пять или шесть банок с томатами были пробиты, и весь сок вытек на землю.

В общем, мы поставили палатку, которую Рамон назвал "базой". Потом он и сеньор Пачо принялись ставить еще одну палатку, но уже совсем в другом месте, которое Рамон выбрал, чтобы проводить там свой опыт на выносливость.

Погода стояла жаркая. Конец июня. В эту пору дни бывают длинные. От болот поднимались зловонные испарения. Место было дикое, безлюдное.

ЗАМЕТКИ В ПОДЕБРАДАХ. Наконец, что-то конкретное. Сегодня начался новый этап. Добрались почти затемно. Противодействие русских в какой-то миг показалось непреодолимым, а поведение их — откровенно враждебным. Пачунго временами теряет терпение (к тому же он считает, что эта тренировка на заброшенном военном полигоне — одна из моих причуд).

Приставленный к нам в посольстве помощник — действительно молодой спортсмен, как я и просил. Зовут его Владимир в честь Ленина. Он разговорчив и силен. Хорошо говорит по-испански. Когда мы ехали на грузовике, он сказал, что отец назвал его Владимиром в честь Ленина. Но у него самого взгляды другие. Попросил меня рассказать ему о Нью-Йорке, Майами. Он собирается вступить в коммунистическую партию, но лишь ради того, чтобы сохранить работу в посольстве. Говорит это совершенно открыто. Когда я спросил, зачем ему такая работа, он ответил, что, служа в посольстве, можно иметь вещи, за которые платят доллары. В кубинском посольстве можно получать сигары и ром, на которые хороший спрос...

В том месте, куда мы свезли из посольства продукты и большую палатку, словно побывали дикие звери — все разорено. Похоже, будто медведи похозяйничали. У Владимира на этот счет свое мнение: это сделали советские солдаты. Я сказал, что самые свирепые русские не смогли

бы зубами продырявить консервные банки с тушенкой. По мнению Пачунго, тут побывал "крупный зверь".

Сегодня первый день. Район Подебрад – идеальное место. Дикость природы впечатляет. В последние десять лет здесь мало кто бывал. В этих местах дислоцировались войска стран Варшавского договора. Меня охватывает необычайная радость при виде деревьев высотой метров в двадцать – многие из них повалены бурей или сгорели от удара молнии. Как будто я, преодолев внешний барьер, покинул Европу. Осталась позади Прага, "камея, утонувшая в тумане". Я словно бы вернулся в священную дикость Америки. И естественно, все начинается с комаров. Их тучи, и они огромного размера. Кроме того, здесь есть крупные птицы, которые удивленно следят за нами из влажной, густой листвы.

Я как бы внутри картины Таможенника Руссо, которую мы с Таней видели в Оранжери[1]. Большой зверь со страшными, но невинными глазами замедляет шаг и глядит на нас из густой листвы, придуманной живописцем-таможенником.

Мы с Пачунго идем по берегу Эльбы, потом пытаемся углубиться в чащу. Кое-где пускаем в ход мачете, настолько густы заросли. От заболоченной земли поднимаются влажные испарения. Мне приходится пользоваться ингалятором с эпинефрином русского производства.

Это первая разведка. Пачунго обижается, когда я говорю, что не хочу, чтобы он оставался со мной. При мне будет Владимир. Говорю, что он мне нужен в Праге – отправлять сообщения нашим людям в Боливию. Пачо обижается. Протестует. Я знаю, что ему поручено опекать меня, не спуская глаз, – то есть быть моим ангелом-хранителем.

Но я заставляю его подчиниться приказу. Владимир проводит Пачунго до пропускного пункта завтра вечером, когда мы установим обе палатки – главную и мою.

Сейчас два часа ночи. Не могу спать, хотя следовало бы. Накрыл гамак антимоскитной сеткой – это самое ценное в моем снаряжении (только однажды в Конго я ее проклинал, когда на уровне моего лица, с внутренней стороны сетки, я увидел ядовитого паука. Я пережил драматические мгновения. Примерно полчаса я очень медленно приподнимал сетку, пока не рискнул одним прыжком выпрыгнуть из-под нее).

Мелкие отвратительные чудовища пугают больше, чем крупные.

После очень большого перерыва снова слушаю голоса ночного леса. Издали доносятся завывания диких собак. Время от времени слышится, как большой зверь пробирается через заросли или тяжело ступает по болоту. А то закричит какая-то птица.

Я зажигаю лампу. Дышу ингалятором с новым лекарством, довольно противным. В груди как будто начинается свист. Книга Ницше "Воля к власти" издания "Агилар", которую мне в Конго переплел Бенигно. От сырости книга развалилась. Он сделал ей переплет из гладкой обезьяньей кожи, а саму обезьяну приготовил "по-охотничьи", как он говорил. С перцем и диким луком.

– У МЕНЯ ВДРУГ МЕЛЬКНУЛА ДОГАДКА, – рассказывает Владимир. – Помню, я ему сказал: "Ты, Рамон, никакой не спортсмен. Я уве-

1. Оранжери – парижская картинная галерея.

рен, что ты военный, может, летчик. Тренировками такого типа занимаются летчики".

Мы рыли яму возле главной палатки, чтобы надежней спрятать продукты. Если не спрятать, это будет приманкой для зверей или пьяных солдат.

"Ну ладно, я военный — но и спортсмен. Военный спортсмен". — " Ты из отряда командос?" — " В какой-то мере. Но вернее — камикадзе..." — "Камикадзе? Что это такое? Но я тебя разгадал, Рамон. Ты, наверно, хочешь участвовать в военной олимпиаде в Осло..." — " Хотел бы, если меня возьмут..."

Рамон этот был как будто немного чокнутый. Вроде бы не сознавал своих лет. Вдобавок — одышка. Силенок мало: когда мы копали, моя лопата входила в землю по меньшей мере на десять сантиметров глубже, чем его.

Первую ночь я спал как сурок. Сперва немного боялся вывалиться из этой штуковины, которую они называли гамаком. Но потом сон одолел...

За завтраком сеньор Пачунго сказал мне, что место, выбранное нами, небезопасно. Он, мол, ночью дважды вставал с фонарем. Показалось, что видит вепря, пробиравшегося к лагерю. Это вам не шуточки. Дикие кабаны ходят стадом и, когда их много, чувствуют свою силу. Хотя так же ведут себя и люди — чем их больше, тем они храбрее. "К счастью, — сказал Пачунго, — у нас есть ружье крупного калибра". Я сказал об этом Рамону. Рамон рассмеялся.

После полудня они вышли в первый поход. Меня оставили укладывать в яму пакеты и прочее — на сухую пластиковую подстилку, особенно аккуратно надо было упаковать ящики с патронами, бумаги, зажигалку, газовый фонарь и, конечно, лекарства Рамона.

По всему видно, что командир тут Пачунго. Но Рамон спорит с ним, и последнее слово остается за Рамоном. Это мне нравится, он вроде меня. Потом мы трое двинулись вглубь, к тому месту, где поставили палатку для Рамона, который собирается ради тренировки пожить там в одиночестве. Это заняло у нас целый день. Когда закончили, пошли осмотреть лес до излучины реки: нам не давали покоя мысли об одичавших собаках.

Мы встретили несколько псов-разведчиков, они явно интересовались чужаками. Но на большую стаю мы наткнулись только к вечеру. Сеньор Пачунго и я залезли на высокий дуб и оттуда на них смотрели. Рамон устроился на развилке с сильным биноклем, а мы смотрели просто так. Видимо, сумерки были для них порой отдыха. У них уже выработались привычки диких зверей. Время от времени завязывались небольшие потасовки. От нас собак отделяло метров сто, у многих от жары языки были вывешены. Они расположились довольно широким фронтом, растянулись метров на сто и, по мнению сеньора Пачунго, были разных пород.

Рамон делал по поводу собак шутливые замечания. Но сеньор Пачунго считал, что они представляют опасность. "Возможно, они опасны, но это ведь собаки", — сказал Рамон.

До лагеря № 1 мы добирались час. Надо было обходить болотистые места, где в грязь проваливаешься чуть не по колено. Нас осаждали тучи комаров, лезли прямо в глаза.

Рамон с хохотом достал свой ингалятор и в шутку пустил в комаров струю вонючего лекарства, которым он пользуется несколько раз в день. Трудно поверить, но нам показалось, что комары разлетелись, а многие и попадали замертво. "По-сталински крутые меры", — сказал Рамон.

Пришли в лагерь затемно, и в эту ночь у нас была первая стычка с собаками.

Мы приготовили роскошный ужин. С пильзенским пивом "Уркель". Сеньор Пачунго нарезал кружками мясо из консервных банок и поджарил его на сковородке с картошкой и луком.

ЗАМЕТКИ В ПОДЕБРАДАХ. Собаки были для нас неожиданным зрелищем. Мы залезли на вершину какого-то дерева и оттуда наблюдали за ними больше часу. Они расположились на лужайке у болота.

Собаки были одичавшие, но хороших пород. Служебные собаки, превратившиеся в обычных разбойников, грабителей. Они сбежали из русской воинской части. Избрали свободу, как Солженицын. Теперь ведут дикий образ жизни в чащах Подебрадского леса.

Картина впечатляющая. С помощью бинокля я без труда разглядел, каких пород там больше. Я их перечислял Пачунго, а он соглашался или нет — он в собаках хорошо разбирается.

Располагались они как будто в беспорядке, однако, если присмотреться, по масти можно было заметить группы определенной породы. Поближе к нам и к краю болота были видны крупные псы, черные с коричневым отливом, иногда переходящим в охряной, головы широкие, носы приплюснутые.

Мы с Пачунго дружно решили, что это ротвейлеры. В глубине, на границе другого лесного участка, было много сибирских волкодавов (шерсть у них серебристая, как у черно-бурых лисиц). Попадались также собаки черно-коричневые, часто подпорченные примесью других кровей, но отличавшиеся изяществом и силой изначальной породы, — доберманы с длинными мордами и гибкими, длинными, как у борзых, лапами.

На обратном пути Пачунго рассказал мне историю ротвейлеров. Говорят, их вывели путем скрещивания различных борзых римляне времен Цезаря на юге Германии. Это были в основном служебные собаки. Ротвейлер — имперский пес. Лучший легионер. Их кормили мясом рабов и натаскивали на пленных. Так создавались превосходные стражи для караванов несчастных пленников.

Собака легионера. Вожака отмечали особым знаком — надрезали ухо или выжигали клеймо.

Это собаки, генетически подготовленные для охраны имперского порядка.

А вот сибирские собаки, по словам Пачунго, анархисты. В них есть доля храброй, героической натуры волка, однако они не способны организоваться в сообщества. Ведут вечные войны из-за территории и тратят на это много сил, так что человеческой хитрости не трудно их одолеть.

Что касается доберманов, то Пачо восхищается их нервной чуткостью — и способностью к любви. На войне их всегда считали собаками-героями, но двигали ими какие-то индивидуальные причины (у них нет чувства стаи). Русские широко использовали их во Второй мировой войне, ценя за быстроту и благородство. Им шили кожаные жилеты и прикрепляли к ним гранаты или взрывчатку с дистанционным или простым

взрывателем. А они, действуя, как их учили, бросались на танки, батареи, пулеметные ниши и гражданские объекты. Они выполняли задание, хотя самих их при этом разносило на куски.

Теперь они живут в первобытном лесу Подебрад, побеждают или гибнут — в зависимости от того, насколько природа наделила их умением приспосабливаться. Освободившиеся от хозяев, познавшие все опасности свободы.

Когда стемнело, стали слышны разговоры и песни из не очень близкого советского гарнизона. Ветер дул в нашу сторону и доносил смутный шум — выкрики, возгласы, русское казарменное веселье. Непрерывный фон — аккордеоны. Звонкие наигрыши балалайки заглушались голосами басов, как в ансамбле Александрова. Можно себе вообразить большущие бутыли пива и литры особой водки — ее гонят сами солдаты с одобрения командиров. Точно в полночь музыка смолкла — наверно, таково требование распорядка, однако голоса, беспорядочные возгласы и импровизированное хоровое пение слышались еще долго.

Мы находились в лагере № 1. Я читал:

"Аксиома: во всем, что определяет современного человека, есть элемент упадка; однако рядом с болезнью имеются элементы силы и неизрасходованной мощи. Те же самые причины, которые способствуют изменению людей, помогают сильным, исключительным личностям подняться к величию. Ныне погибают бессчетные индивидуумы высшего типа, но те, кому удается выжить, сильны, как дьявол. Это ситуация, схожая с той, что была в эпоху Ренессанса".

"Ныне час великого полдня, страшной ясности".

Пока я читал, мне послышался несколько более громкий шум на ближайшей к лагерю лужайке. Но я подумал, что это шумит ветер.

"Социализм — подобно тирании, доведенной до крайности людьми самыми низменными и тупыми, то есть поверхностными, завистливыми и лицемерными, — это, по существу, последнее завершение современных идей и их скрытого анархизма. В учении социализма плохо прикрыта воля к отрицанию жизни".

"Нигилизм есть радикальное отрицание значения, смысла и цели. Откуда явился этот самый тревожащий из всех гостей?"

Я был погружен в эту игру противоречий и провокаций Ницше, когда вдруг услышал, что Пачунго будит Владимира. В центре палатки у нас горел свет (кроме моей лампы). Мы чувствовали: что-то происходит. Пачунго проворно зарядил ружье и вышел с фонарем в руке. Мы за ним.

Нас ожидало невероятное зрелище — мы были осаждены полчищем собак. Они сидели или лежали, образуя что-то вроде кольца вокруг нашей палатки.

Пачо медленно поводил лучом фонаря по сторонам. Во мраке глаза собак блестели, отражая свет, в них играли желтоватые или красноватые блики.

Казалось, они не намерены нас атаковать. Скорее то была молчаливая демонстрация силы. Думаю, что, если бы они в этот момент напали, они бы нас сокрушили и, возможно, сожрали бы. Расстояние между нами было не более тридцати метров. Огромный ротвейлер возлежал в центре, окруженный более молодыми псами. Они по временам рычали, но в основном вылизывались и ловили блох. Было во всем этом нечто фантастическое. Но в их безразличии и пассивности таилась угроза.

Они застигли нас врасплох, однако не знали, как воспользоваться своим преимуществом.

Я подумал, что малейшее резкое движение может спровоцировать атаку. Пачунго считал, что они уйдут. Однако возвратиться в гамаки было бы все равно что попробовать заснуть под дамокловым мечом.

Неустойчивое равновесие было все же в их пользу, они занимали более выгодные позиции. Я попросил Владимира приготовить несколько банок или бутылок с горючим, припасенным для ламп.

Вопреки пассивному настрою Пачунго, который хотел стоять спокойно и дожидаться, пока сама собой разрешится навязанная нам собаками необычная ситуация, я понял, что лучше бы спугнуть их, взять инициативу в свои руки, лишить их преимущества, которое они получили, пока мы спали, вернее, пока я тешил себя (признаю свою вину) чтением Ницше.

Я взял ружье, попросил Пачо посветить в сторону старого ротвейлера, а Владимира — зажечь бутылки с горючим и швырнуть их по моему сигналу.

Я дал хороший залп крупной дробью, которой здесь пользуются для охоты на оленей. Я попал в морду ротвейлеру. Мне показалось, что я вышиб ему глаз. Грохот выстрела среди мрака и безмолвия прозвучал впечатляюще. Поднялся оглушительный лай и вой. Наверное, я ранил еще двух-трех псин. Собаки закружились, заметались, между ними начались бешеные стычки. Они набросились на раненых и растерзали их.

Но главное — они не приближались к нам, даже отступили к лесу. Я счел за лучшее сделать еще выстрел по собакам, которые смотрели в нашу сторону и нерешительно выли.

Владимир стоял наготове со своими нехитрыми оборонительными средствами, но они не понадобились.

Разъяренные собаки грызлись меж собой. Не сознавая, насколько мы слабее их, они сочли молниеносный луч фонаря и грохот двух выстрелов чем-то очень страшным и предпочли ретироваться в гущу леса.

Очевидно, отдельные группы внутри стаи затеяли теперь беспощадные схватки. В общем хоре выделялся отчаянный визг тех, кого разрывали на куски. Они пожирали друг друга. Упивались кровью. Запах крови постепенно доводил их до безумия, и число жертв быстро росло.

Последние — или предпоследние — из тех русских, что участвовали в далеком празднике, услышали поднятый собаками шум. Но луч прожектора со сторожевой вышки напрасно кружил по верхушкам деревьев, пугая тетеревов, дроздов и вяхирей. Потом раздалась пулеметная очередь, она прошила лес и рассыпалась тысячами отголосков.

Я принял решение установить дежурство. Первым начинаю я, за мной пойдет Пачо, а на рассвете — Владимир.

Сварили кофе. Я раскурил трубку. Мы испытывали некоторое удовлетворение от первой одержанной победы.

Поскольку заснуть мне не удалось, я сполна насладился летним рассветом. Душа ликовала от огромного, какого-то языческого восторга. Это было похоже на ту радость, которую испытали мы с Гранадо, когда, заскучав от пребывания на одном месте, снова пускались в путь на старом мотоцикле — в самую глубину Америки, которая теперь кажется мне такой далекой, будто все это происходило не со мной и в другой жизни.

Прохладный воздух первых километров. Ни с чем не сравнимый рассвет в дороге.

Известно, что в Чехословакии птицы сильно пострадали от угольного дыма, ведь уголь — главный источник энергии в этой стране. Но здесь, в отдаленном Подебрадском лесу, птицы нашли приют, словно в заповеднике. В болотах на побережье Эльбы водятся многие породы уток, цапли и много кто еще.

Я дышал чистым, очень прохладным воздухом. Даже ингалятор не понадобился. Пришел поздороваться со мной Владимир, протер глаза. Пачунго спал.

Мы обошли поле боя. Увидели останки собак, растерзанных сородичами. "Вы, Рамон, правильно поступили, не послушав сеньора Пачунго. Думаю, если бы вы не выстрелили и какая-нибудь собака первой рискнула подойти к палаткам, нам бы несдобровать... Я рад, что приехал с вами, Рамон. Вы, вроде меня, предпочитаете действовать решительно. Так и надо — жизнь слишком коротка, чтобы долго раздумывать", — сказал Владимир, глядя на меня с восхищением.

Как я и опасался, Пачунго ни за что не желал уезжать. Но ведь нам важно поддерживать постоянную связь с Гаваной и с нашими людьми в Боливии. Время подгоняет.

В девять часов, как было назначено, он ушел с Владимиром через лес к пропускному пункту. Мы знали, что, как во всем советском мире, выходить будет труднее, чем входить.

Владимир вернулся еще до полудня. Мы принялись испытывать военные рации, которые нам доставили. Аппараты были примитивные, на вид надежные, но почти все волны были забиты русскими. Говорили они без умолку, громко хохотали. Когда мы с Владимиром пробовали переговариваться, мы с трудом слышали друг друга.

Но, несмотря на подобные неудачи, я чувствовал себя счастливым и был уверен, что мой организм выдержит самые суровые испытания.

Я глубоко дышу. Гуляю среди деревьев.

Ницше сказал бы, что военный, пещерный социализм гарнизона — это "нигилистический социализм". Но есть другой социализм, социализм нового человека. Без нового человека социализм не построить. А без социализма, утвержденного на благой силе и любви, нельзя будет создать нового человека.

Жребий брошен. Либо рождение, либо смерть. Либо рождение, либо мы входим в цикл мрака, в небытие.

Я ПРОВОДИЛ РАМОНА и помог ему устроиться в его палатке, которую мы назвали лагерем № 2.

От лагеря № 1 туда почти полчаса хода. Рамон любит говядину на косточке, жаренную на углях. Сказал, что меня пригласит. Я попросил, чтобы он мне рассказал про Майами. Почему-то ему не очень хотелось об этом беседовать. "Я, знаешь, был в Майами, когда ожидал, пока отремонтируют поврежденный самолет. Без денег. Жил плохо. Бывали дни, когда не ел ни крошки. У тебя о Майами неправильное представление. Что ты думаешь о Майами? Каким его видишь?"

Я сказал Рамону, что мне видится синее, очень яркое небо. Большие светящиеся рекламы. Я еду по чистым, свободным улицам. У меня машина с открытым верхом. Ворот рубашки расстегнут, и мне приятно смот-

реть на рекламные щиты. Я воображаю, будто меня пригласили на какое-то спортивное соревнование.

"Но что ты чувствуешь?" Я сказал Рамону: чувствую, что мне будет очень хорошо. "Но я же тебе говорил, что жил там плохо, что жизнь там тяжелая. Однажды мне пришлось ввязаться в потасовку, потому что избивали негра".

Ну ладно, у Рамона могут быть свои соображения, но каждый человек сознает, как ему живется. Хорошо тебе или плохо, ты можешь пойти двумя путями. Есть и Элвис Пресли, и новый рок. Я не мог это объяснить Рамону, потому как мысли не всегда складываются у меня в слова, чаще я что-то просто чувствую, иногда какие-то порывы.

"Но в комсомоле ты не состоял?" Я объяснил Рамону, что через это всем надо пройти. Что много здесь и хорошего. Но мы с друзьями смотрим на вещи иначе...

Так мы беседовали, когда подошли к воронке от снаряда; когда-то, много лет назад, этот участок использовался также как стрельбище для артиллерийских учений. Картину мы увидели незабываемую.

Оказалось, что во время ночного собачьего боя семья оленей имела неосторожность выйти из своего укрытия и была растерзана.

В глубине воронки лежал большой олень с рогами о шестнадцати отростках, еще живой. Его облепила стая черных крыс. Казалось, будто это один огромный хищник. Олень время от времени мычал, его большие глаза были широко открыты, рядом лежали останки его самок и оленят. Кругом были разбросаны обглоданные кости и клочья шерсти. После бешеного пиршества собак справляли свою мерзкую трапезу сотни крыс.

Нам показалось, что это великолепное животное еще пыталось вытянуть шею по направлению к нам. Рамон попросил меня сбегать за ружьем, но на это потребовалось бы полчаса.

"Не надо! Попробуем избавить его от мук как можно скорей..." Я заметил, что у Рамона началась одышка, как в первый день. Он был очень взволнован. Вытащил охотничий нож. По указанию Рамона я накинул веревочную петлю на рога оленя и постарался крепко держать его. Рамон спустился по откосу и перерезал ему глотку решительным, глубоким ударом ножа. Через две минуты мучения оленя прекратились. "Вот видишь, Владимир? Мы избавили его от этого ужаса".

Мы с удовольствием сожгли бы эту отвратительную массу крыс, которые еще пуще зашевелились, возбужденные потоком крови, полившейся из оленьей шеи.

Рукав куртки Рамона пропитался густой кровью животного. Ткань стала ярко-красного цвета.

Мы подошли к берегу Эльбы, совершенно безлюдному в этом месте, по реке лишь изредка плавают баржи с углем.

Рамон решил потренироваться: залезть на дерево и с помощью веревок перебраться по воздуху через овраг. Веревки я принес с собой, установил блоки.

Дышал Рамон не очень-то хорошо, но не разрешил мне сделать его часть работы. Один из двух блоков он установил сам, забравшись на довольно высокую сосну.

Когда веревки туго натянулись, мы по воздуху переправились через овраг. Рамон помог перебраться мне, а потом я ему.

Я спросил, зачем ему такие нагрузки.

"Я должен быть в отличной форме. Предстоит исключительно трудное соревнование".

Мне показалось, что Рамону не следует оставаться на ночь одному. Надобности в том не было никакой. Я это сказал. И еще сказал, что не буду мешать ему проводить испытание – пусть сам стряпает, охотится или ловит рыбу.

"Речь не об этом, Владимир. Ты что, боишься за меня?"

Я рассмеялся, но сказал ему, что рядом с такими собаками надо все время держать ухо востро. Они ведь прекрасно знают, кто стрелял.

"Пусть приходят, Владимир. Вот и посмотрим, как я с этим справлюсь".

ПРАЖСКИЕ ЗАМЕТКИ (ПОДЕБРАДЫ). Очень удачный день. Пачунго Монтеса де Оку я все-таки отправил в Прагу – он будет на связи с Боливией и Гаваной. Владимир довел его до пропускного пункта, и на сей раз обошлось без проблем с русскими.

Удалось успеть многое. Я выполнил упражнение самое для меня трудное – воздушная переправа через ручей и овраг (с помощью веревки и блоков), когда надеяться надо на силу рук. Руки не подвели, и передышек я себе не позволял. Переправа у меня заняла почти то же время, что у спортсмена Владимира, которому, кстати, всего двадцать лет. Я должен установить предел собственных возможностей. Пульс и дыхание после этого труднейшего экзамена были в норме. По крайней мере, паренек, кажется, ни о чем не догадался. Я хорошо сделал, что выпроводил Пачунго – а вдруг что-нибудь у меня не получится... Не хочу являться в Боливию с репутацией слабака и неудачника, "салао", каким выглядел старый рыбак у Хемингуэя.

Цель моя ясна: если неделя серьезнейших испытаний пройдет хорошо – вопреки мнению Рамиро Вальдеса, – я позволю себе роскошь отправиться прямо в Боливию с проверенным паспортом, которым пользуюсь в Праге, и по намеченному маршруту.

Образ "вождя", замешенный на тайнах и мифах, от этого здорово выиграет. Никто не посмеет назвать это сумасбродной выходкой. Напротив, я лишь докажу, насколько сильна во мне воля к независимости и самоутверждению. Миф, харизма – вот наша "дава". Но надо уметь угадать момент, когда ее выпить.

"Что ты хочешь доказать? Это дурацкая причуда!" – возмущался Рамиро.

Нет... Не один ты хочешь как следует подготовиться, но ты будешь торчать на Кубе, а потом с отрядом хорошо натренированных отборных людей отправишься в путь!

Но во мне все же есть искорка юмора. И я тоже не желаю мириться с раз и навсегда установленными правилами. Это и есть daimon человека. Мой личный демон. Лишись мы его или не умей время от времени подчиняться его глупостям и капризам, были бы просто посредственностями. А мы такими не будем. (И я знаю, что Селия, моя мать, сейчас от души смеется. Она одобряет мой новый безумный шаг. Она знает почему... Она бы меня поняла.)

После отработки приемов воздушной переправы Владимиру вздумалось вернуться к воронке, где лежал мертвый олень (которого я из жалости прирезал). Два часа он работал ножом, отделяя от оленьей головы рос-

кошные рога и очищая их. Я спросил, зачем он это делает — чтобы взять на память?

— Ну да! Рога стоят бешеных денег, их можно продать туристам из Западной Германии, которые приезжают в охотничий заповедник. Они черт знает сколько платят за разрешение поохотиться, в год дают всего несколько лицензий. А за такой трофей еще больше заплатят, особенно если сами никого не подстрелят.

Для него это была настоящая удача. Такие красивые рога — это же доллары, джинсы, диски "Битлз"! А я-то твержу о каких-то "моральных стимулах"! Нет, то, что мы видим здесь, куда хуже, чем западная буржуазия, которая уже успела насытиться — и приобретательством, и потреблением. Здешняя буржуазия изголодалась по вещам. Да, они вышли бы на площади, как тысячные толпы вышли под пули царских войск в октябре 1917 года, но только теперь они бы рвались вперед, все сметая на своем пути, чтобы попасть в супермаркеты — "Город Мехико", "Харродз", "Гат энд Чейвз"!

Молящий взгляд оленя. Милосердный клинок. Раз полоснуть — и олень избавлен от ужаса, от крыс и возвращен в вечность. В пустынные и чистые поля вечности.

Владимир уходит, забрав огромные рога, в лагерь № 1.

Пытаемся говорить по рации, но это непросто. Возникают громкие голоса русских. Они переговариваются часами. Или возникают помехи. Наши голоса никак не могут пробиться сквозь этот хаос. Я слышу только хохот Владимира в ответ на мои проклятия.

Здесь, вдали от города, я начинаю ощущать огромную благодарность судьбе за время, проведенное в Праге. Пять месяцев я мог размышлять, был предоставлен самому себе. Свободен от своего публичного "я", от лицемерия, на которое обречен каждый, кто входит во власть, да и от самой власти. Я был возвращен в анонимность благодаря своей маске. Жил и видел улицу без отчуждающего стеклянного экрана власти.

Сколько времени мне не удавалось побыть одному? Без маски. Без этого обманщика Васкеса Рохаса, который в мире называется Че Гевара? Жить простой жизнью, без обманного флера славы?

Там, сидя то в одном, то в другом кафе или медленно прогуливаясь по Малой Стране, я был тем забытым "самим собой", которому мы изменяем ежечасно и ежеминутно.

Оттуда я видел публичного Гевару. Поднимающегося на трибуну ООН в ботинках с развязанными шнурками. Кортеж "чаек", въезжающий в Кремль через Спасские ворота. Тяньаньмэнь. Толпа, бегущая за мной, привлеченная запахом моей сигары, когда я иду по улицам Гаваны. Телестудии Нью-Йорка и так далее... То был другой человек.

Чжуан-цзы[1]. Я — Чжуан-цзы, которому снится, что он мотылек. Или он мотылек, которому снится, что он Чжуан-цзы?

Прелесть неясности. Прелесть банальности.

Там, в доме в Нуэво-Ведадо, живет Алейда с детьми. Они бегут по коридору к дверям. Камило ползает на четвереньках под картиной — моим приторно-мечтательным портретом, который написал излишне сенти-

1. Чжуан-цзы (ок. 369—286 до н. э.) — древнекитайский философ, один из основателей даосизма.

ментальный художник. Писк, крики, собака, дерево в садике у входа. С моря веет соленый ветер. Дом без отца.

Дом с отцом-героем-геррильеро.

Тихая ночь размышлений, пока на углях жарится мясо. Выпиваю не торопясь стакан вина "Руландер".

Утром я удивлю Васкеса Рохаса, когда он примется за свои обычные наглые упреки. Он говорит мне:

— Гевара, ты приближаешься к решающей точке, а сомнений у тебя не меньше, чем в самом начале. Ты плетешь заговор на другом конце земли, на твоей земле, чтобы повторить там то, чего здесь, в самом сердце "советской социалистической системы", уже никто не хочет и что даже тебе самому — хотя ты в этом не желаешь признаться — внушает отвращение. Эти буржуа в серых костюмах, эти ловкачи и мини-капиталисты черного рынка! Разве ты не видишь Росевинку, Владимира, молодежь в кафе "Редута"? Ты не видишь их или не хочешь видеть? Неужели правда, что ты намерен затеять бучу в Боливии?

— Правда. Сейчас — последняя возможность. Наступил момент равновесия военных сил, то есть сил, которые могут определить, в каком направлении пойдет мир. Ты, Васкес Рохас, мелкий буржуа, тебе этого не понять. Твоя позиция — скепсис и ирония. Ты не способен меня понять. Смешно сказать, но я замахнулся на невозможное: на то, чтобы новый — и последний — Вьетнам помешал социализму рухнуть в пропасть вместе со всем своим вооружением. Новый и последний Вьетнам помешает Большой Капиталистической Свинье сожрать разлагающийся труп социализма — и устроить оргию торгашей. Ты, Васкес Рохас, сам же тогда и сдохнешь! Ты ведь всего-навсего мелкий предприниматель. Тебя сметут с лица земли! Или ты не читал Маркса? Тебе он кажется скучным? Смотри же: два дня не буду подстригать тебе волосы, два дня не буду брить тебя и вставлять протез на зубы — и конец, ты будешь только самим собой, мелким обанкротившимся предпринимателем, просящим кредита в Сити-банке!

— Эх, Гевара, ты так ничего и не понял в механизме капиталистической экономики. И все же тебя удивляет, что в любой капиталистической стране, даже самой отсталой, плоды труда распределяются, ручки пишут. Тебя привел в ужас социализм в тропическом варианте и социализм серых, туманных стран Восточной Европы. Тебя привело в ужас то, что даже кофеварку там не могут заставить работать.

Васкес Рохас говорит правду. Я ненавижу капитализм и капиталистов. Я свято верю в торжество социальной справедливости. Да, я был плохим директором банка и плохим министром промышленности. Но дело тут не в недостаточной подготовке или в отсутствии у меня призвания к новой специальности. Первое — это война ради победы социализма, ради создания нового человека. Это, исключительно это, и есть мое призвание.

Васкес Рохас прав, но это не вся правда.

Для сомнений уже не осталось времени.

Ем с аргентинским аппетитом зажаренное мной мясо и вдруг слышу шум в зарослях. Когда шум повторился, я посветил туда фонарем и примерно в двадцати метрах от палатки обнаружил огромного раненого ротвейлера. На морде у него виднелось темно-красное пятно. Он лежал, загадочно неподвижный, одинокий, устремив единственный

глаз на меня, отслеживая каждое мое движение. Покончив с мясом, я швырнул несколько костей в его сторону. Он не шевельнулся. У него было чувство собственного достоинства, и он не признавал себя побежденным.

Старый имперский пес.

Имперский пес исчез так же незаметно, как появился. Ночь была тихая, ружье я отдал Владимиру. Я сильно устал и спал не просыпаясь до рассвета.

Когда проснулся в гамаке, Владимир уже готовил кофе на спиртовке. Он сделал две ходки в лагерь № 1, принес все необходимое для запланированных тренировок. Притащил две сумки по тридцать кило, которые по моим указаниям подготовил Пачунго.

Мы выпили кофе с черным хлебом и венгерской салями.

— Я рад, Рамон, что меня отправили сюда с тобой. В посольстве часто скука берет — все одно и то же, хотя, должен признаться, я всегда нахожу время для упражнений со штангой и гимнастики, — сказал Владимир. — Мне нравится, Рамон, нынешняя тренировка. Ты человек простой, открытый, вроде меня. И думаем мы похоже, это мне тоже нравится. Я ведь тоже решил, что оленя надо прикончить.

Я наметил новый маршрут, не такой, как накануне. Нам уже не надо было тащить лишнюю тяжесть — веревки. Поход километров на двенадцать, не меньше. Вначале по лесу, пока не выйдем на равнину к излучине Эльбы. Пачунго назвал это место "страна вепрей", потому что мы там заметили издали большое стадо кабанов. А недавно мы видели великолепного тетерева. С распущенным хвостом — просто диво.

Земля тут первобытная, возвращенная человеком животным и растениям. Два километра мы прошли медленно, изучая местность, а два — быстрым, походным шагом. В обоих вариантах я чувствовал себя великолепно.

(Делаю эти заметки во время привала, на лесной поляне.)

Вокруг бурная растительность, влажно. Это напоминает пейзажи Тигре или Мисьонес[1]. Но здесь лес настороженный, враждебный и менее живописный. Три-четыре месяца в году все покрыто снегом и льдом и дышит какой-то суровостью, которая разом исчезает с приходом весны.

Наблюдал в бинокль за дикими кабанами. Как я предполагаю, они ведут вечную войну с собаками. Собаки берут верх за счет храбрости и своей многочисленности. Больной или старый вепрь обычно прислоняется к стволу дерева и отбивается клыками от четырех-пяти собак, пытающихся повиснуть у него на загривке. Но ему не сладить с теми, что хватают его за передние или задние ноги, — он постепенно истекает кровью.

Стоит ему сдаться, как вся стая набрасывается на него, и тут начинается пиршество. Потом являются крысы и самыми последними — муравьи.

Но на сей раз последним был Владимир — он долго возился, вырывая у зверя клыки.

1. Тигре — внутренний остров в Аргентине на озере Науэль-Уапи. Мисьонес — провинция на северо-востоке Аргентины, изобилующая лесами.

— В Праге их продают как амулеты для рокеров. Вот смотри, Рамон. Я делаю дырку, продергиваю тонкий ремешок — и можно вешать на шею... Два доллара. Для русских — пять...

Мы вышли в одиннадцать часов. Солнце сильно припекало, оба вспотели. Подстрелили тетерева, он свалился с сосны с таким шумом, словно это был толстенный телефонный справочник, — только перья полетели.

Владимир его общипал, выпотрошил и зажарил на медленном огне. Нашли кстати и ручей с относительно чистой водой.

Мне приходилось пробовать на вкус самых разных обитателей леса. За что я и расплачивался страшными поносами, как, например, в Конго. В моем меню бывало всякое — от мяса слона до гусениц. Для таких кулинарных изысков всегда будет незаменим Бенигно — он подавал мне как утку в апельсиновом соусе мерзких игуан в соусе из горьких яблок, а чудовищных освежеванных саламандр — под видом креветок...

Полчаса отдыха. Читаю книгу. Владимир не может долго сидеть без движения и на зависть мне принимается делать отжимания — восемьдесят раз. Говорит, что это лучшее средство для пищеварения. Тогда я откладываю книгу, ложусь и тоже отжимаюсь восемьдесят раз.

Возвращение было трудным. Из-за жары рюкзак потяжелел. Возвращаемся через болото, спугивая уток и страдая от туч безжалостных комаров и мошек.

Почва здесь вязкая, мы проваливаемся почти по колено. Временами вспоминаю самые трудные моменты моих странствий. Если Альварес Нуньес Кабеса де Вака[1] — первый и самый отважный пеший путешественник по Америке, то я, безусловно, второй. А это уже немало, даже не будь у меня в жизни других заслуг.

Пришел в лагерь № 2 совсем разбитый. Улегся в гамак, ощущая, что усталость растекается по обессиленным ногам, как болотная вода, струившаяся с ботинок. Сделал несколько упражнений — стало легче, хотя пришлось, как всегда, себя заставлять.

С трудом держу глаза открытыми. Заснул, когда Владимир мне говорил:

— Я два раза готов был, Рамон, уйти от тебя или скинуть рюкзак. Сил не было!

Просыпаясь, я почувствовал, что Дева Зари здесь, в лагере, рядом с моим гамаком. Сумерки были не утренние, а уже вечерние, в такое время она тоже появляется.

Я знал, что она здесь, — по неодолимой слабости и свисту в глубине груди. Как обычно бывало, Дева появлялась на фоне голосов, наполнявших меня ностальгией. На сей раз то был голос матери, Селии. Она что-то говорит в саду дома в Альта-Грасии. Я лежу в моей спальне, сраженный приступом. Она сидит под фруктовыми деревьями в белом плетеном кресле. Говорит о Франко и о доне Мануэле де Фалье. О сражениях на Эбро, о нацистах. Ее быстрый ироничный голос — она издевается над ханжами из Кордовы, над алькальдом, над военными. Время от времени слышится смех отца и чей-то еще. Возможно, это Селентано, управляющий отелем "Сьеррас", пришел к нам в гости. Се-

1. Альварес Нуньес Кабеса де Вака (1500?—1560?) — испанский конкистадор. Автор автобиографической книги "Кораблекрушения и комментарии".

лия, ее шепот... Журналы, которые они ходили мне покупать в киоск на станции в "дни астмы". "Пиф-паф", "Ра-Та-План", "Тони" (по средам с приключениями моего кумира, "Отшельника в маске"). Разумный "Тит-Битс" с похождениями экзотических героев в Сахаре или Каире...

Владимир оставил мне в гамаке бумажку: "Рамон, не хочу тебя будить, иду в лагерь № 1. Надо разложить веревку, чтобы просохла, — будет не такая тяжелая. Ружье оставил рядом с гамаком. Желаю тебе хорошо выспаться, а то ты плохо дышал. Позови меня по рации, если понадоблюсь".

Читаю медленно, чуть приподнявшись в гамаке. Нет сил. Его записка помогает мне забыть о нехватке воздуха, я отвлекаюсь от сосредоточенного наблюдения за тем, как секунда за секундой нарастает чувство удушья. Временами кажется, что оно отступает. Временами — давящий страх.

Однако Дева действует решительно, она здесь, вроде светлого видения на фоне темных сосен.

Поднимаю голову. Сожалею, что не нахожусь на вершине дерева — так хочется ловить воображаемые струйки воздуха, быстрого, чистого, серебристого, скользящего по моим бронхам, которые все плотней и плотней сжимаются.

Я — Гевара, карабкающийся наверх. В Конго, в Сьерра-Маэстре. Устраиваюсь на удобных, толстых развилках с ловкостью старой, выносливой обезьяны. Раскрываю рот, ловлю эти струйки, приносящие мне свежесть, легкость дыхания.

Люди думают — чудачество. Я никогда никому ничего не объяснял. Но сейчас я способен только чуть-чуть приподнять голову. Воздух густой, заросли впитывают его и выдыхают, как большой зверь. Хотя иногда мне чудится, что ко мне опускается слой свежего воздуха. Я хочу украсть у зарослей мою порцию воздуха.

Я понял, что русское лекарство, производное от эпинефрина, кроме своего ужасного запаха — прямо хоть комаров мори, — вызывает у меня болезненную реакцию. Я воображаю себя жабой, которая раздувает зоб, чтобы спеть призывную любовную песнь. Как будто у меня распухли основание языка и гортань. Я решительно отбрасываю ингалятор.

Сейчас продолжаю писать, но был один адский миг — я попытался подняться, однако ноги не слушались и руки, когда я оперся на гамак, подогнулись. Могу лишь осторожно сидеть, приподняв голову и покачивая ею, как человек, наклоняющий стакан, чтобы выпить мнимый глоток жидкости.

Если бы кто-нибудь меня увидел, то заметил бы, что лицо у меня посинело. Одышка, но свист с каждым разом все слабее.

Дева явилась, чтобы убить. Делаю сверхчеловеческое усилие, пытаясь дотянуться до рации. Рука падает.

Да, сегодня Дева наконец побеждает...

Я УСЛЫШАЛ СИГНАЛ РАЦИИ. Как раз решил сделать несколько упражнений перед ужином. Настроил на нужную волну — как всегда, хаос звуков, а временами "казачок", любимый танец русских. Я крутил-вертел ручку, но голос Рамона не услышал. И поскольку он мне категорически запретил покидать лагерь № 1 без его особого позволения, я продолжал делать свои упражнения. Но аппарат зазвонил снова. Мне было скучно,

а теперь я как бы получил некий повод для нарушения приказа — и отправился в лагерь № 2.

Теперь представьте такую картину: метрах в пятидесяти от палатки Рамона я увидел стаю собак — они, как и в первую ночь, залегли кругом.

Чтобы попасть к палатке, мне надо было пройти через скопище псов, которые сейчас лежали почти неподвижно. И я двинулся, стараясь не выказывать страха, — ведь они чуют, когда уровень адреналина у нас в крови повышается, и это побуждает их к нападению. Я шел, почти не глядя на собак, замедля шаг. Некоторые псы ворчали и скалили зубы. Тогда морда у них морщилась и свирепела, глаза наливались кровью — в них проглядывал волк. Еще не совсем стемнело, поэтому они не нападали. Собака по сути своей труслива. Итак, вокруг лагеря расположилась молчаливая собачья стая — они лежали, обнюхивались, зевали, как и в прошлый раз. Ротвейлеры устроились на прежнем месте. Волкодавы же, словно грозная кавалерия, сгрудились у зарослей.

Признаюсь, я подумал, что Рамон умер. В воздухе сильно пахло лекарством. Ингалятор без пробки валялся возле гамака. Рамон весь посинел, вены на шее вздулись, под глазами темнели круги. Он проснулся, но вид у него был такой, будто он уже не жилец на нашем свете.

Голову поднять не мог. Она бессильно падала на грудь.

Между пуговицами рубашки торчала свернутая бумажка: “Владимир. Думаю, что ты застанешь меня мертвым. Скажи сеньору Пачунго, чтобы он немедленно сжег ту тетрадь, которая лежит у меня под ногой. Там личные записи, их никто не должен прочесть. Пусть все сожжет. Богом заклинаю, чтобы это не попало в руки моей семьи. Прощай, Владимир, желаю тебе счастья. Если застанешь меня живым, но в обмороке, положи меня на землю и нажимай на грудь, на ребра, на плечи, пока не пойдет воздух. Р.”.

Я подумал, что, если возьму ружье и поступлю так, как Рамон в первый день, нам конец. Животные обучаются быстрее, чем люди. Они никогда не пойдут второй раз по тропе, где в них стреляли. Я понимал, что в лучшем случае при каждом выстреле погибнут две-три собаки, однако их слишком много — они расправятся с нами в один миг.

Уверен, что Рамон думал так же.

Но если я сейчас же положу его на землю и, как он просит, начну давить ему на грудь, чтобы обеспечить проход воздуха, мы упустим последние лучи света, пробивающиеся сквозь листву. Стая набросится на нас — их насторожат мои резкие движения.

Тогда я выхватил несколько тлеющих ветвей из костра, который еще сам зажег, когда Рамон уснул. Выполняя его просьбу, сунул тетради в карман куртки и одним рывком вскинул Рамона на спину.

Раненный прошлой ночью старый ротвейлер поднялся, и по стае пробежало разноголосое рычанье. Я догадался, что они переговариваются. И медленно пошел в обход к лагерю № 1. Рамон совсем задыхался. Я словно нес висельника, вынутого из петли.

Одна его рука свисала, и это могло стать приманкой для собак. Они принялись лаять, я почувствовал, что сейчас нападут. Некоторые приближались, рыча и скаля зубы. К счастью, три горящие ветки не погасли. Я быстро махал ими перед собачьими мордами, и от этого тлеющие концы разгорались сильнее.

Я, комсомолец, поручил себя святому Непомуку[1]. Собаки лаяли уже воинственно. Однако ощущалась в них какая-то нерешительность. Это были сто метров ужаса. Сегодня, вспоминая тот переход, я не сомневаюсь, что во многом именно резкий химический запах, исходивший от жидкости из ингалятора, помешал им устроить вожделенное пиршество. Несомненно, то была ошибка имперского пса, как назвал Рамон старого ротвейлера.

И вот мы вышли из окружения. Я положил Рамона на землю — к счастью, он хоть и с трудом, но еще дышал. Я облил спиртом какие-то тряпки — на случай, если собаки вздумают подойти поближе — и уже спокойно, зная, что до проходной будки мы теперь добраться сумеем, начал делать ему, как он велел, искусственное дыхание.

Я повернул его голову вбок и принялся жать на грудь, потом отпускал, я старался всем своим весом давить на грудную клетку. Затем я занялся спиной. Сжимал его ребра, словно это был резиновый шар, заткнутый пробкой. Мне показалось, что ему стало чуть лучше. Он что-то проговорил или простонал.

Я снова стал давить, почти что плюхаясь своей грудью на его грудь.

Приподнимаясь, я говорил "Майааа...", а падая на него со всей силой — "Ми!".

Майааа...ми! Майааа...ми! Майааа...ми!

Итак, когда я уже думал, что ничего не получится, внезапно, словно по волшебству, грудь Рамона расправилась, и воздух пошел. Синюшность стала исчезать с его лица, оно побледнело.

Вы сами знаете, каким был Рамон: едва он приоткрыл глаза, как сразу же подмигнул мне.

Оттуда, из лагеря № 1, до проходной в Подебрадах мы добрались без осложнений. К счастью, пришла очередь дежурить чехам, они вызвали "скорую". Машина приехала немедленно.

Из госпиталя я позвонил сеньору Пачунго и рассказал, что случилось с Рамоном.

Вот и вся история. Я благодарен сеньору Власеку, что он связал меня с вами.

Как я уже говорил, я только через много лет узнал, кем на самом деле был Рамон. И, как видите, теперь мне уже поздновато ехать в Майами. Рамон, Че Гевара, погиб как герой. Теперь он — фигура мирового значения. Но тогда, в Праге, мы всё видели по-другому. Вы же меня понимаете... У меня лавка, я там торгую сосисками — в начале Индрижской улицы. Дела идут хорошо, и мне нравится, что у нас теперь разрешили частное предпринимательство. Туристов много. Думаю, в будущем году мы сможем купить путевки и съездить в Майами — мы с женой и двое детей. Особенно в Орландо... В Диснейленд...

ЭПИЛОГ

Несколько дней спустя, 19 июля 1966 года, на центральном вокзале Праги Рамон Бенитес с уругвайским паспортом №130 748, весьма похожий на Васкеса Рохаса, сел в вагон 181 поезда на Вену. Силач Владимир донес его чемодан до места 22. Место 24 занял Альберто Фернандес Монтес де Ока, "сеньор Пачун-

1. Святой Ян Непомук — покровитель Чехии. Родился, по легенде, ок. 1300 г., в 1383 г. был утоплен в Молдаве.

го". Гевара крепко обнял Владимира и вручил конверт, чтобы тот вскрыл его, когда поезд отправится.

Ехал Гевара все-таки в Гавану. Он оправился после приступа быстрее, чем ожидали, однако ему пришлось согласиться с разумным предложением своего друга Рамиро Вальдеса: официально в Гавану возвращался не Эрнесто Гевара, а уругвайский коммерсант Рамон. Во время краткого пребывания в Гаване перед броском в Боливию он даже для своих детей был "дядя Рамон" – он настолько хорошо загримировался, что они его не узнали.

Пачунго Монтес де Ока знал, что не расстанется со своим обожаемым командиром и будет рядом с ним до конца (он погиб в тот же день в Ла-Игере – умер от потери крови после полученного в бою ранения).

Иногда в кругу друзей он говорил, что по дороге в Вену, глядя на сидевшего через одно место от него сеньора Бенитеса в шляпе, надвинутой до бровей, он спрашивал себя о том, чего же на самом деле хочет его командир: умереть? жить? победить или быть побежденным? навязать свою волю реальности или покориться тупой реальности своего времени, чтобы получить высшую, несокрушимую власть, преобразившись в символ всех мятежей во имя справедливости?

Пачо Монтес де Ока думал, что, возможно, Гевара искал в смерти преображения. Этот человек в серой шляпе на месте 22 венского поезда был тем человеком, который стремился к самому краю – к штурму невозможного.

БЛАГОДАРНОСТЬ

После долгого путешествия к недосягаемому Эрнесто Гевара де ла Серна автор должен поблагодарить тех, кто помог ему получить особые, необычные и разнообразные сведения, которые ему понадобились для создания этого романа, и в первую очередь друзей из Союза писателей и художников Кубы, которые меня принимали и содействовали моим поездкам на Кубу; кубинских писателей, поделившихся со мной своими мнениями: Фрольяна Гонсалеса и Адис Капуль; а также истинных первопроходцев в изучении странствий Эрнесто Гевары по самым труднопроходимым и необычным местам на земле: Алейду Марч, Феликса Герру, капитана Рибальту, Вильяма Гальвеса, Джона Ли Андерсона, Режи Дебре, Кармен Кинтану, Ану Марию Эрра, Алисию Эгурен, Альберто Гранадо, Белена Пачеко и многих других. А также его друзей из Аргентины, особенно Оскара Лавапера, Мельчора Эчагуэ и Энрике Лерену де ла Серна.

Должен непременно сказать, сколь многим я обязан Элисабет Бургос, тонкой исследовательнице кубинской революции, выдающемуся знатоку проблем революционного движения в Боливии 1967 года и биографий ее главных деятелей.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ЭРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРЫ

1928. 14 июля Эрнесто Гевара де ла Серна родился в Росарио (Аргентина).

1932. Родители Эрнесто – Селия де ла Серна де ла Льоса и Эрнесто Гевара Линч – решают переехать в Альта-Грасию (Кордова) по причине слабого здоровья ребенка, у которого уже были первые приступы астмы.

1943. Семья Гевара переселяется в Кордову по соображениям, связанным с работой Эрнесто Гевары Линча.

1946. В марте, после почти пятнадцатилетнего перерыва, в надежде улучшить свое материальное положение семья вновь поселяется в Буэнос-Айресе в квартире престарелой Аны Исабель, матери Гевары Линча. Бабушка Эрнесто болеет, и он проводит полторы недели у постели больной, ухаживая за ней. Ее смерть подтолкнула Эрнесто к решению изучать медицину.

1950. 1 января он отправляется один в поездку на велосипеде, намереваясь навестить друга детства Альберто Гранадо, который работает в лепрозории в Сан-Франсиско-дель-Чаньяр (Кордова), а затем продолжает путешествие по двенадцати аргентинским провинциям, проделав более четырех тысяч километров.

Впервые влюбляется – в Марию дель Кармен (Чичину) Феррейра, которая принадлежит к одному из самых родовитых и состоятельных семейств Кордовы.

1952. 4 января отправляется в путешествие на мотоцикле с Альберто Гранадо. Сначала они заезжают в Мирамар на Атлантическом побережье, где отдыхает Чичина, чтобы попрощаться, но девушка разрывает отношения с Эрнесто. Эрнесто и Альберто за семь месяцев объезжают юг Аргентины, Чили, Перу, Колумбию, Венесуэлу. Из-за поломки самолета, на котором они собирались вернуться домой, они проводят месяц в Майами.

1953. 11 апреля Эрнесто Гевара получает диплом врача и в июле отправляется еще в одно путешествие по Латинской Америке со своим другом Карлосом (Каликой) Феррером: Боливия, Перу, Эквадор, Панама и Гватемала. В декабре знакомится в Гватемале с перуанкой Ильдой Гадеа, с которой впоследствии вступит в брак. Публикует научные статьи и поступает на государственную службу – работает врачом. Завязывает контакты с кубинскими эмигрантами.

1954. Живя в Гватемале, начинает размышлять "о социалистическом будущем". Климат Гватемалы вреден для его астмы. Завязывает контакты с коммунистической партией. В июле, после военного переворота, сокрушившего демократический режим Арбенса, Эрнесто решает уехать в Мексику.

1955. В Мехико он работает фотографом, редактором в агентстве новостей, занимается врачебной практикой. Знакомится с кубинцами – героями Монкады: Раулем и Фиделем Кастро, и последний убеждает его присоединиться к ним в качестве врача, когда они отправятся на Кубу. Эрнесто женится на Ильде Гадеа, они ждут ребенка.

1956. 25 февраля рождается Ильдита. Эрнесто, теперь более известный под прозвищем Че, обучается стрельбе на окраинах Мехико. В июне Че, Фидель Кастро и другие попадают в тюрьму. В июле Эрнесто и Кастро выходят на свободу. Тем временем Че сообщает родителям, что

оставил занятия медициной, чтобы присоединиться к кубинским революционерам.

1956. 25 ноября "Гранма" поднимает якорь (отряд в составе 82 человек, оружие, боеприпасы и провизия) — они намерены обогнуть остров Куба с юга и подойти к юго-западному берегу. 2 декабря судно садится на мель, повстанцы вынуждены сойти на берег и искать убежища в густых зарослях, так как их обнаружило сторожевое судно. Остатки отряда соединяются через две недели в горах Сьерра-Маэстра.

1957. 17 января Фидель Кастро с двадцатью двумя товарищами захватывает казарму в Ла-Плате, и это становится первой победой повстанцев. В июне Че и его Четвертая колонна сражаются в Сьерра-Маэстре. 10 сентября победа в Пино-дель-Агуа.

1958. В марте прибывает в Сьерра-Маэстру первый аргентинец — Хорхе Рикардо Масетти. "Радио Ребельде" ведет передачи, которые готовит Че. 24 мая правительственные отряды Фульхенсио Батисты начинают крупные военные операции в горах. В августе Че назначается командиром Восьмой колонны, у него под началом 148 человек. В ноябре двадцатидвухлетняя Алейда Марч прибывает в лагерь Че в Санта-Кларе с особым заданием. 30 декабря Че одерживает решающую победу в Санта-Кларе.

1959. 2 января Че и Камило Сьенфуэгос, командующий повстанческой армией, победоносно вступают в Гавану, а Фидель Кастро — в Сантьяго-де-Куба. 2 июня Че получает кубинское гражданство и женится на Алейде Марч. У них будет четверо детей: Алейдита, Селия, Камилито и Эрнесто.

1959. Че в качестве кубинского посла совершает поездки по разным странам с целью завязать торговые отношения. В октябре он назначен директором Отдела индустриализации сельского хозяйства, а вскоре после этого — главой Национального банка.

1960. В январе Фидель Кастро объявляет об экспроприации всех плантаций сахарного тростника и крупных животноводческих хозяйств, чтобы превратить их в государственные кооперативы.

1960. Гевара знакомится в Берлине с двадцатилетней аргентинкой немецкого происхождения Гайде Тамарой Бунке, официальной переводчицей и членом коммунистической партии, которая потом станет известна под именем Тани.

1961. 23 февраля Гевара назначен министром промышленности. 25 апреля высадка "кубинских изгнанников" в бухте Кочинос, организованная ЦРУ, однако без прямого участия войск США.

1964. Гевара едет в Соединенные Штаты и выступает в Организации Объединенных Наций.

1965. 14 марта, после посещения Конго, Гвинеи, Танзании, Египта и Алжира, Гевара возвращается на Кубу. Это были его последние зарубежные визиты в качестве официального лица. 1 апреля он снова, но теперь тайно, едет в Африку с паспортом Рамона Бенитеса — выбритый, в очках, приняв респектабельный облик военного советника. 3 октября Фидель Кастро публично зачитывает прощальное письмо Че.

1965. 25 ноября, после поражения в Конго и завершения конголезской революции, Че едет в Париж, в Москву и, наконец, в Прагу — с поддельным паспортом. Там он поселяется в конспиративном доме и проводит несколько месяцев, готовясь к завершению операции, которая призвана способствовать возникновению "очага возгорания континен-

тального пожара", то есть важнейшего этапа борьбы за освобождение Южной Америки.

1966. 3 ноября Гевара едет в Боливию с фальшивым паспортом на имя Адольфо Мены Гонсалеса, пожилого уругвайского предпринимателя. Перед этим он заезжает на Кубу, где тайно живет в сельской местности к востоку от Гаваны, и прощается со своей семьей и Фиделем Кастро.

1967. 23 марта происходит первое военное столкновение с боливийскими правительственными войсками, и 8 октября повстанцев арестовывают и заключают в тюрьму. Че перевозят в школу в Игерас, где подвергают допросу. 9 октября его убивают — стреляет в него сержант Теран, выполняя приказ боливийского военного командования.

1997. Найдены останки Че в Боливии и перевезены на Кубу, где они с почестями захоронены в Санта-Кларе.

Николай Мельников
"Чудовищная проза" Джона Барта

Дивно устроен свет наш. Не успел скиснуть (то бишь выйти из моды) отечественного разлива "постмодерьмизм", как на российских книгочеев низвергнулась лавина консервированных постмодернистских творений сорока- — тридцатилетней выдержки. При этом издательства, занимающиеся поставками залежалого литературного импорта и раскруткой мэтров отмирающего "изма", благоговейно подают свою продукцию под этикеткой "Классики зарубежной литературы XX века".

К таковым, в частности, скоропалительно причислен американский прозаик Джон Барт, в свое время проделавший довольно сложную эволюцию от приперченного черным юмором экзистенциализма к герметичному гипермодернистскому экспериментаторству, а уж затем к тому, что в начале девяностых у нас нещадно разрекламировали как последнее и единственно возможное слово в литературе. Эта эволюция отражена в очередном томе ненумерованного собрания сочинений Барта, затеянного издательством "Симпозиум"[1].

В аннотации к книге (куда вошел сборник "короткой прозы для Печати, Магнитной Ленты и Живого Голоса" под названием "Заблудившись в комнате смеха" (1968) и второй бартовский роман "Конец пути" (1958) — вещи идут именно в таком порядке) издатели клятвенно обещают представить почти всего доконвенционного Барта — "главные, знаковые произведения писателя, сделавшие его поистине знаменитым". По непонятным причинам из их числа выключен дебютный и, на мой взгляд, лучший бартовский роман "Плавучая опера" (1955), переведенный на русский язык лет десять назад. Этот, уверяю вас, не менее "знаковый" роман составил бы "Концу пути" куда более подходящую пару, нежели сборник "короткой прозы", относящийся к более позднему этапу созревания "крупнейшего американского писателя 60—80-х годов", как рекомендуют его в аннотации "симпозиумовского" тома. И дело тут не в моих личных пристрастиях и даже не в хронологии (о которой составители, видимо, имеют смутное представление, раз уж они решили открыть книгу сборником 1968 года и завершить ее произведением, опубликованным десятью годами ранее). Объединенные общностью философской проблематики и композиционных принципов, оба романа образуют своего рода "нигилистическую дилогию". Они построены в форме исповедального монолога циничного, во всем разуверившегося, подпольно-достоевской складки антигероя, наделенного, однако, особым отрицательным обаянием.

В "Опере" это был "лучший стряпчий на Восточном побережье" Тодд Эндрюс, в один прекрасный день решивший прервать свое бессмысленное существование, но после неудачной попытки взорвать себя и сотню-другую обывателей пришедший к выводу, что абсурд жизни и абсурд смерти равноценны. В "Конце пути" функцию повествователя выполняет близкий ему по духу

© Н. Мельников, 2003

1. Джон Барт. Заблудившись в комнате смеха: Рассказы, роман / Перев. с англ. В. Михайлина. СПб., Симпозиум, 2001.

"умеренно депрессивный" циник Джейкоб Хорнер, озабоченный проблемой собственной идентичности и болезненно осознающий, что все его разрозненные, сменяющие друг друга "я" связаны промеж собой лишь двумя ненадежными нитями — "телесностью и памятью".

Написанный в том же году, что и роман "Плавучая опера", "Конец пути" развивает заложенные в нем темы и идеи. "Пусть абсолютных ценностей не существует, но нельзя ли тогда ценности, которые не абсолютны, счесть столь же значительными и даже подчинить им жизнь?" — этот вопрос, вставший перед героем-повествователем в финале "Плавучей оперы", достался в наследство протагонисту "Конца пути", твердо уверенному только в одном: жизнь лишена смысла, "причин не осталось никаких и ни для чего". Зачарованный открывшейся ему истиной, Хорнер, подобно газдановскому герою из "Возвращения Будды" (интересная, между прочим, параллель — дарю ее профессиональным газдановедам), впадает в болезненное состояние (Барт называет его "космописом"): отрешается от окружающей действительности и безвольно растворяется в идиотическом созерцании "конечных пределов человеческого бытия". Из экзистенциального ступора героя выводит бездипломный чернокожий Доктор — "гибрид шарлатана и пророка", исповедующий сартровскую идею о том, что человеческое существование предшествует человеческой сущности и человек волен не только выбирать свою сущность, но и менять ее по своему усмотрению. Хорнеру предлагается воссоздать свою сущность с помощью мифотерапии — выбора какой-либо идеологической парадигмы (Доктор рекомендует ему ознакомиться с трудами Ж.-П. Сартра) и обретения устойчивой социальной роли. В соответствии с пожеланиями Доктора бартовский "человек без свойств" устраивается преподавателем "предписательной грамматики" в захудалый *провинциальный колледж. Там он знакомится с историком Джо Морганом*, целеустремленным и честолюбивым малым (американизированный вариант чеховского фон Корена), которому отводится роль хорнеровского антипода. Безрадостный релятивизм одного сталкивается с "жизнерадостным нигилизмом" и прагматизмом другого.

На противостоянии двух мировоззрений и строится сюжет "Конца пути" — типичного "романа идей", чье внешнее действие сводится к серии затяжных философских дискуссий и череде рискованных психологических экспериментов и провокаций. От превращения в сплошной драматизированный диспут роман спасает адюльтерная интрига. Счастливый муж и примерный семьянин, Джо Морган едва ли не намеренно толкает свою простодушную красавицу жену Ренни к супружеской измене, а затем с маниакальным упорством копается в чувствах двух "предателей". Кончаются эти игры в ménage à trois трагически. Во время нелегального аборта Ренни нелепо погибает: ее вырвало в кислородную маску и... (великодушно опустим омерзительные подробности).

Мрачный финал и гнетущая атмосфера безысходного отчаяния, пронизывающая роман, тем не менее не отменяют того, что "Конец пути", как и "Плавучая опера", — это крепкая, берущая за живое проза.

Чего не скажешь о большинстве из четырнадцати опусов, составивших сборник "Заблудившись в комнате смеха". Лишь некоторые бартовские short stories читабельны и приемлемы не только в качестве сырья литературоведческой промышленности и наглядного пособия по "позднему модернизму" — "раннему постмодернизму": исполненные ностальгии и мягкого, отнюдь не черного юмора, твеновские по духу рассказы о детстве, объединенные явно автобиографической фигурой главного героя ("Эмброуз: его отметина", "Письмо по воде"); философская притча с гностической подкладкой à la Борхес ("Ночное путешествие морем"); рассказ-аллегория "Петиция" — *своеобразное продолжение набоковских "Сцен из жизни сиамских уродцев"*. Вот, пожалуй, и все.

Остальные сочинения — это либо тексты-самоеды, гремучие постмодернистские змеи, кусающие собственный хвост ("Заглавие", "Автобиография: самозапись прозы", "История жизни"), либо худосочные паразиты, явившиеся на свет божий в результате лабораторных опытов по скрещиванию выхолощенных античных мифов с самодовлеющим композиционным трюкачеством, прежде всего — нудной и намеренно запутанной игрой повествовательными инстанциями, когда без ста грамм невозможно отличить субъекта речи от его адресата ("Эхо", "Менелаиада" — тексты, предвосхищающие образцово постмодернистский триптих "Химера" (1972), который был удостоен в США Национальной книжной премии).

В общем, перед нами типичные образчики "литературы истощения" (если воспользоваться ключевой метафорой из бартовской статьи 1967 года[1]) — мертворожденного дегуманизированного искусства, напрочь лишенного не только человеческого содержания и даже намека на живое чувство, но и энергии творческого вымысла и фантазии, то есть главных качеств, делающих литературное произведение мало-мальски жизнеспособным.

Более того, вышеперечисленные творения Джона Барта, на мой взгляд, принадлежат к числу "тех упрощенных художественных явлений, в которых смысл сводится к какой-то одной идее и которые оказываются выпотрошенными и ненужными, едва эта идея высказана" (О. Уайльд). Все они воплощают излюбленный бартовский тезис о "неуклонном обветшании гуманизма" и исчерпанности литературной традиции, в первую очередь реалистического искусства, "не сознающего собственной ущербности". Сам Барт, отдадим ему должное, не обольщается насчет художественных достоинств своей "короткой прозы" и прекрасно осознает ущербность выбранной роли — отрезавшего себя от "живой жизни" доктринера, "намертво привязанного к некоему более или менее безнадежному tour de force"[1] и замкнутого в "зазеркальном пространстве, которое закручивается само вокруг себя, как раковина".

Упреждая критические удары, "заблудившийся" автор расчетливо позволяет себе припадки "ограниченного саморазоблачения", то и дело перебивая повествование истерическими восклицаниями: "Меня тошнит от всей этой тошнотины!", "Господи, да разве это когда-нибудь..." — или же самоубийственными замечаниями и комментариями: "Нельзя же начинать рассказ такой отчаянной скучищей. <...> Стиль отмечен тяжеловесностью и этакой манерной старомодностью <...>, а так называемая "исходная" по меньшей мере спорна: выстроенная на одних сплошных экивоках и дурацкой игривости, от которой идет кругом голова, с привкусом модного нынче солипсизма, совершенно не оригинальная — одним словом, образчик стандартнейшей для двадцатого века прозы. Еще одна история о писателе, который пишет историю! Еще один regressus in infinitum! Кто не предпочтет подобной мутотени искусство, которое по крайней мере имитирует что-то, помимо собственных процессов жизнедеятельности! Которое не вопит на каждом шагу: 'Не забывай, что я — обманка!'" ("История жизни").

Увы, риторические вопросы остаются риторическими вопросами, и Барт продолжает потчевать читателя обманками, текстами-пустышками, напоминающими дешевые вокзальные рогалики "с повидлом", в которых никакого повидла нет и в помине. Сюжетному повидлу автор "короткой прозы" предпочитает тягучую литературную рефлексию, с помощью которой вытравляет из своих спиралевидных опусов малейшие признаки внелитературной реальности.

1. См.: Джон Барт. Литература истощения // Российский литературоведческий журнал. 1997, № 10. С.124—139.

1. Упражнение в технике (*франц.*).

С наибольшей наглядностью это демонстрируется в рассказе "Заблудившись в комнате смеха". Внешне он сохраняет все атрибуты добротного реалистического рассказа: фабулу (семейство Эмброуза отправляется в Оушн-сити отпраздновать День независимости), живо воссозданные бытовые реалии Америки сороковых годов, тонко выписанные характеры персонажей. Но уже с первых страниц языковая ткань рассказа начинает разъедаться язвой авторефлексии. Метатексты чем дальше, тем бесцеремоннее вторгаются в повествование, убивая фабулу и размывая очертания героев. И будь эти метатексты насыщены глубокими и оригинальными мыслями, как, скажем, у Филдинга или Набокова, мы бы легко простили Барту и его беспросветный солипсизм, и патологическое неумение придать рассказу хотя бы подобие внутреннего драматизма или внешней занимательности. Так нет же: нас с торжественным видом угощают банальностями, извлеченными из учебного пособия для первокурсников: "Описание физической внешности и манеры поведения есть один из нескольких стандартных приемов характеристики персонажа, используемых авторами художественного текста <...>. Функция *завязки* состоит в том, чтобы представить основные действующие лица, установить между ними исходную систему отношений, задать обстоятельства для развития основной линии сюжета, при необходимости прояснить предысторию возникшей ситуации, рассадить в должном порядке и количестве мотивы и намеки на грядущие события..." — и т. д., вплоть до издевательски обстоятельного объяснения, что такое курсив: "Печатный эквивалент выделения тех или иных слов голосом в устной речи, кроме того, им обыкновенно выделяют названия произведений, не говоря уже о. (Как вам этот манерный обрыв? *–Н. М.*) Курсив используется также — по преимуществу в художественных произведениях — для обозначения "внешних", привходящих, либо же искусственных голосов..."

Когда же профессор Барт начинает рефлектировать по поводу грамматической структуры отдельных предложений (уродливо извивающихся, словно перерубленные лопатой дождевые червяки), тогда его опусы становятся и вовсе несъедобными.

Повторяю, Барт прекрасно осознает, что многие его тексты абсолютно нечитабельны. Иначе он не долбил бы чуть ли не в каждом рассказе о том, что "оратор" (читай — писатель) "может оказаться своим же единственным слушателем".

Не случайно сквозная тема сборника — бессилие, творческая немощь писателя, загнавшего себя в тупик никчемного штукарства и тщетно старающегося заполнить раскрывшуюся перед ним бездну грудой бессмысленной словесной шелухи. "Попытайтесь заполнить пустые места. Единственная надежда — попробовать заполнить пустоту. Сотри с лица земли то, чего не можешь встретить лицом к лицу, или заполняй пустоты. Словами или, еще того, большим количеством слов, иначе я его заполню этим существительным в творительном падеже", — заклинает автор "Заглавия" (ключевого рассказа сборника), пришедший к "необходимости заполнять пустоту останками использованной и разложившейся на составные части пустоты".

В "Заглавии", как и в других самоедских опусах Барта, идея исчерпанности литературы и "парализующее знание себя и собственной природы" воплощается в нарочитом косноязычии, в замедленном темпе бессвязного, заплетающегося, прямо-таки геликоидального повествования, постоянно возвращающегося к исходной мысли, навязчиво повторяемой фразе. "Заполните пустоту", "я намерен заполнять пустые места", "написание этой истории, вроде как последней, само по себе есть форма художественного заполнения пустоты" — в сравнительно небольшом рассказе этот словесный мотив повторяется раз пятнадцать.

Распад сюжетной связности и цельности повествования сопровождается распадом словесной плоти

рассказов. Она разлагается, вырождается в абстрактные словесные узоры, в заумь (похлеще сорокинской китайщины): "Эд' пелут', кондо недоде, имба имба имба. Синге эру. Орумо имоо импе руте скелете. Импе рэ скеле лее дуто. Омбо тэ скеле те, бэре тэ кюре кюре..." ("Глоссолалия").

Безбожно злоупотребляя эллипсисами и обрывами предложений, прибегая к тяжеловесным и навязчивым повторам, Барт едва ли не намеренно делает свои тексты абсолютно непроходимыми. Невольно имитируя заикающуюся пластинку или человека, подверженного эхолалии, создатель "Комнаты смеха" обсасывает, вертит так и эдак одну и ту же фразу или словосочетание: "А почему бы ему не начать свою историю с самого начала, думал Х, например, словами а почему бы ему не начать свою историю с самого начала, и так далее?" ("История жизни"); "Преднамеренное нарушение 'нормальной' структуры может в большей степени усилить эффект сам этот эффект. Так можно продолжать и продолжать, так можно продолжать до бесконечности" ("Заблудившись в комнате смеха"). Он и продолжает резвиться подобным образом на протяжении всего сборника, попутно откровенно издеваясь над бедолагой-читателем: "Читатель! Ты, упрямый, ни на что не годный, шалеющий от печатного слова ублюдок, ты, ты, я к тебе обращаюсь, к кому же еще, — из самого нутра этой чудовищной прозы. Так, значит, ты дочитал меня досюда? Даже досюда? Ради какой такой неведомой мне радости? Какого черта, спрашивается, ты не пошел в кино, не врубил телевизор, не принялся глядеть в стену, не отправился перекинуться с приятелем в теннис <... >? Неужто ничто на свете не способно пресытить тебя, набить твое брюхо, вызвать в тебе отвращение? И как тебе не стыдно?" ("История жизни").

"Ни на что не годному ублюдку", и впрямь обалдевшему от обрушившейся на него словесной блевотины, остается одно: сжав зубы, упорно пробираться сквозь зыбучие пески (вот уж действительно!) "чудовищной прозы", закаляя силу воли и удовлетворяя — нет, не любопытство и тем более не эстетическое чувство (говоря о "короткой прозе" Джона Барта, об этих понятиях стоит забыть), а расчетливый исследовательский интерес. Читать Барта ради бескорыстного удовольствия могут разве что безнадежные мазохисты.

А посему мой вам совет: если вы не защищаете диссертацию по американской литературе шестидесятых годов, если вы не связаны обещанием отрецензировать свежепереведенное сочинение окаменевшего постмодернистского монстра, то вряд ли вам стоит задерживаться в бартовской комнате смеха. Уж больно она смахивает на обшарпанную пыточную камеру.

***

В программной статье "Литература восполнения" (1980), посвященной постмодернистской литературе, профессор Барт — к тому времени едва ли не единодушно признанный главным постмодернистом американской литературы — меланхолично вспоминал: "В 1950 году, когда я опубликовал свой первый литературный опыт в ежеквартальном университетском журнале, рецензент-аспирант откликнулся на него следующим образом: "Мистер Барт видоизменяет девиз модернистов 'Пусть рядовой читатель идет к черту!' — он устраняет из него прилагательное". Может быть, это и есть постмодернизм, подумал я".

Остроумная формула безымянного критика, так понравившаяся Барту, применима если не ко всем постмодернистским опусам, то уж во всяком случае к творениям самого Барта: и к "Комнате смеха", и к уже упоминавшемуся сборнику повестей "Химера" (в "симпозиумовском" издании он, вероятно для пущей коммерческой привлекательности, обозначен как "роман")[1].

По примеру "Эха" и "Менелаиады" в каждой из трех частей "Химеры" переосмысляются и травестийно

1. Д. Барт. Химера: Роман / Перев. с англ. В. Лапицкого. — СПб., 2000.

перелагаются сказочно-мифологические сюжеты, "извлеченные из седой повествовательной древности". "Дуньязадиада" – первая панель постмодернистского триптиха – подпитывается за счет "Тысячи и одной ночи"; "Персеида" – козье туловище, если уж продолжить аналогию, – перелицовывает древнегреческий миф о Персее (по воле Барта ему довелось встретиться с воскрешенной богами Медузой); "Беллерофониада" – змеиный хвост – варьирует историю другого легендарного героя, Беллерофона, причем здесь же, для удобства читателей, автор помещает исходный текст – соответствующую главу из "Мифов Древней Греции" Роберта Грейвса: "Беллерофон, сын Главка... вынужден был покинуть Коринф, убив перед этим некоего Беллера, за что и получил прозвище Беллерофонт, звучавшее потом как Беллерофон..." – и т. д. с небольшими сокращениями.

Есть в "Химере" вставные тексты другого рода. Возьмем хотя бы хаотичное послание Тодду Эндрюсу, главному герою первого бартовского романа "Плавучая опера", написанное неким Джеромом Бреем, персонажем тогда еще создававшегося романа "Письма" (1979), или же фрагменты, стилизованные под интервью: в них Джон Барт пространно рассуждает о проблемах писательского ремесла и собственного творчества, а также о парализовавшем литературу кризисе, в высшей степени "неблагоприятном для целеустремленности, необходимой, чтобы слагать великие произведения искусства". Подобного рода авторские ламентации плюс то и дело прорывающие повествовательную ткань многомудрые рассуждения о принципах написания данного текста, по сути, образуют внутренний смысловой стержень книги, скрепляя воедино все три части – внешне вполне автономные, никак не связанные друг с другом на сюжетном уровне.

Примечательно, что голос автора (мучительно изживающего творческий кризис и поэтому прибегающего к мифам как к "поэтической возгонке" своего истощенного воображения) практически ничем не отличается от голосов героев-повествователей. Скажу более определенно: и Персей, и Беллерофон, и даже Шахразада – это своеобразные двойники автора. Шахразада, чья жизнь напрямую зависит от ее мастерства рассказчицы, подается Бартом как аллегория современного писателя, существование которого немыслимо без внимания пресыщенной и изменчивой в своих пристрастиях публики; Персей и Беллерофон представлены не величественными героями гомеровско-вергилиевского пошиба, а потускневшими, потрепанными жизнью папиками, страдающими, как и их автор, от "интеллектуальной и духовной дезориентации" – болезни, "обычно отягчаемой дезориентацией онтологической, поскольку знание, где ты находишься, сплошь и рядом сопряжено со знанием, кто ты такой".

"Онтологическая дезориентация", духовное истощение, душевная и творческая немощь – эти столь актуальные для всех нас темы определяют смысловую и эмоциональную палитру "Химеры". К сожалению, палитра эта небогата оттенками, да и животрепещущую тему свою Барт немилосердно засушил, редуцировав до узкопрофессиональной проблемы: как написать роман, хорошо осознавая исчерпанность традиционных романных форм. Похоже, что, уютно устроившись в коконе "чистого искусства", создатель "Химеры" приспособился к состоянию онтологической и духовной дезориентации. В результате мы получили стерильную, лишенную внутреннего напряжения, до дыр отрефлексированную прозу благополучного американского профессора, чей талант, как он сам гордо признавался, "заключается в том, чтобы превратить простое в запутанное".

В этом занятии Джон Барт и впрямь преуспел. Чтение каждой из трех частей "Химеры" напоминает дешифровку головоломного кода, найдя ключ к которому, вы с ужасом понимаете, что все титанические усилия были потрачены впустую, так как разгаданные шифрограммы авто-

ра в действительности представляют собой претенциозные банальности: "ключ к разыскиваемому сокровищу и есть само сокровище", "отношение между рассказывающим и рассказываемым по своей природе эротично" и т. п. Отказываясь от осмысления куда более важных и общезначимых вопросов человеческого бытия, обесцвечивая и обезличивая персонажей, низводя их до аллегорий или сюжетных функций, Барт замуровывает себя в искусственном, герметически замкнутом мирке выпотрошенных "мифобиографических схем" и отработанных литературных приемов.

По прочтении "Химеры" и "короткой прозы" из "Комнаты смеха" невольно вспоминаются горькие слова, сказанные Владимиром Вейдле по поводу одного набоковского произведения: "Художник и хотел бы видеть мир, но видит только себя, склоненного над миром; он хотел бы прорваться к бытию и остается прикованным к сознанию". Впрочем, Барт не очень-то хочет "видеть мир" и не стремится куда-либо "прорываться". Нет, на словах, в своих программных декларациях — в том же эссе "Литература восполнения" — Барт ратовал, что называется, за "постмодернизм с человеческим лицом" и, ссылаясь на художественные достижения Борхеса, Набокова, Итало Кальвино, Гарсиа Маркеса, выражал надежду, что "в идеальном варианте постмодернистский роман тем или иным образом сумеет подняться над спором между реализмом и ирреализмом, формализмом и "содержательной" литературой, между чистой и "ангажированной" литературой, литературой для избранных и чтивом". Увы, самому Барту такого идеального романа создать не удалось. Поздние бартовские романы ("Письма", "Истории, рассказанные в плаванье" и др.) выдержаны всё в той же "химерической" манере. Разве что текстовыми донорами здесь служат не античные мифы, а ранние романы самого Барта.

Переизбыток холодной рассудочной игры, не оживленной огнем подлинного творческого вдохновения, — вот, пожалуй, роковой изъян "Химеры", да и подавляющего большинства бартовских творений — под какой бы "изм" их ни загонять. (Сам Барт обнаруживал в собственных произведениях признаки и модернизма, и постмодернизма: тексты из сборника "Заблудившись в комнате смеха" он относил к "позднему модернизму, хотя ряд критиков хвалил или поносил их как явно постмодернистские", а роман "Письма" "определял как постмодернистский, хотя и отдал в нем легкую дань модернистской и даже домодернистской моде".)

Дело, конечно, не в "измах" и не в тех "остраняющих" приемах, которые присущи поэтике "зрелого" Барта и которые с успехом использовались задолго до него еще в эпоху Просвещения — Стерном и Филдингом, а позже -романтиками (Людвиг Тик, Фридрих Шлегель, А. Ф. Вельтман и др.). Приемы, как известно, сами по себе не хороши и не плохи. Я вовсе не против метаописаний, сюжетной эквилибристики, жонглирования мифологическими архетипами и прочих постмодернистских прибамбасов. Не пугает меня и обилие головоломок: у нынешних книгочеев, как сказал бы незабвенный Владимир Ильич, "твердокаменные желудки", переваривали мы книги и посложнее. Но если головоломки — всего лишь камуфляж, призванный скрыть нищету мысли и чувства, если все авторские усилия сводятся к тому, чтобы "превратить простое в запутанное", и художественное произведение сознательно трансформируется в ребус, тогда... тогда мы с полным основанием можем говорить не об онтологической или интеллектуальной дезориентации, а о самой настоящей творческой импотенции, которую не излечить ни мифологическими инъекциями, ни припарками безукоризненно подогнанных теоретических выкладок.

Ажиотаж вокруг фройляйн Штарк

Thomas Hürlimann. *Fräulein Stark.* Zurich, Ammann Verlag, 2001

Томас Хюрлиман. *Фройляйн Штарк.* Цюрих, Амман ферлаг, 2001

Известный швейцарский драматург и прозаик Томас Хюрлиман (р. 1950) в 2001 году опубликовал новую повесть, которая стала заметным событием в культурной жизни Швейцарии и Германии. Достаточно сказать, что первый тираж — 25 000 экземпляров — был распродан в три дня. (Здесь сыграл свою роль и один скандально-нелепый эпизод: дядя Хюрлимана, Йоханнес Дуфт, прототип "дяди" в повести "Фройляйн Штарк", католический священник и в прошлом главный хранитель библиотеки Сент-Галленского монастыря, незадолго до выхода книги выпустил на свои средства брошюру "Замечания и опровержения к книге 'Фройляйн Штарк'".) Если же говорить о реакции специалистов, то вокруг книги развернулась бурная дискуссия в прессе, приобретшая особую остроту после того, как известный немецкий критик и ведущий телепередачи "Литературный квартет" Марсель Райх-Раницки усмотрел в этом тексте "оттенок антисемитизма". В Интернете был создан особый сайт, посвященный высказываниям рецензентов в адрес этого произведения, а издательство "Амман" даже выпустило "Специальный бюллетень по 'Фройляйн Штарк'". Наконец, в 2001 году Академия наук и литературы в Майнце именно за эту повесть удостоила Томаса Хюрлимана (наряду с двумя другими авторами — Инго Шульце и Дитером Веллерсхофом) престижной премии имени Йозефа Брайтбаха.

Столь большое внимание к повести отчасти объясняется ее очевидными художественными достоинствами. Корреспондент "Цайт", например, усматривал в ней "стилистическую пышность барокко в сочетании с чувственным пафосом романтизма, свойственные модернизму дерзкие смены перспективы и лаконизм 'новой вещественности'". Отчасти же само это художественное совершенство, игра с полутонами обуславливают неоднозначность трактовок: кому-то кажется, что Хюрлиман критикует Католическую церковь (по мнению историка Йозефа Ланга, в повести обрисован именно "католический антисемитизм"), кому-то, наоборот, — что он выступает с ее позиций.

Между тем повесть носит скорее камерно-интимный, нежели полемически-публицистический характер, и ее сюжет на поверхности очень прост. Двенадцатилетний мальчик, которого осенью должны отдать в монастырскую школу, проводит летние каникулы у своего дяди, католического священника и главного хранителя всемирно известной монастырской библиотеки; за ним присматривает дядина экономка, неграмотная, но властная женщина из горной деревни, фройляйн Штарк. За это в общем счастливое лето в жизни мальчика происходят три важных события: во-первых, благодаря дяде, страстному библиофилу, он открывает для себя мир книг; во-вторых, в нем впервые просыпается чувственность, смутная мечта о женщине: работая каждый день в библиотеке, выдавая тапочки многочисленным посетительницам, он все чаще заглядывает под их юбки, вдыхает опьяняющие запахи женской

плоти — что приводит его к внутренним метаниям и к конфликтам со строгой католичкой фройляйн Штарк; в-третьих, реакции окружающих внушают ему мысль, что его "порочные" импульсы — наследственная черта. Он пытается разобраться в прошлом своей семьи, которого его родственники как будто стыдятся, о котором, во всяком случае, умалчивают, — и постепенно впервые познает, пропускает через свое сознание это семейное прошлое.

За описанное в книге лето герой повести взрослеет, но процесс этот для него, так сказать, *избыточно* мучителен — потому что мальчик находится в окружении взрослых, которые с ним не откровенны и, тем не менее, хотят, чтобы он усвоил какие-то готовые нормы поведения, не вполне согласующиеся с его натурой. Да и жизнь взрослых, основанная на принципах аскетического христианства, не производит впечатления такого уж гармоничного существования, не вызывает желания ей подражать. Дядя мальчика искренне полагает, что библиотека есть "аптека для душ", полноценный и самодостаточный универсум, что "в начале было Слово, потом появилась Библиотека, и лишь на третьем и последнем месте стоим мы, люди и вещи". Такая позиция, в общем заслуживающая уважения, делает этого человека на бытовом уровне абсолютно беспомощным, зависимым от других (мальчик постепенно начинает понимать, что, если бы не экономка дяди фройляйн Штарк, взвалившая на себя все "низменные" хозяйственные заботы, "книжный ковчег" вообще давно потерпел бы крушение). В личной жизни дядя бесконечно одинок, уже не способен к общению даже с теми, кого он любит, например со своим маленьким племянником ("главный библиотекарь среди нагромождений книг и бумаг казался состоящим из одной только думающей головы и парил, как планета, над своей лупой"), и заботы о мальчике опять-таки берет на себя экономка.

Подозревая, что прошлое его семьи окружает какая-то тайна, мальчик начинает искать в архиве библиотеки документы о своих предках. Тайны — в смысле некоего сенсационного события, порока, преступления — он не находит. О прошлом в его семье не говорят просто потому, что предки мальчика были евреями, выходцами из России, и здесь, в Швейцарии, к ним всегда относились как к чужакам. Пройдя долгий и трудный (порой связанный с подлинным самопожертвованием) путь ассимиляции, семья разбогатела, но в период нацизма, которому многие швейцарцы втайне симпатизировали, потеряла принадлежавшую ей фабрику. Прочитанные документы наводят героя повести — рассказчика — на мысль, что, возможно, именно травма от этой непрочности (для еврея) уже приобретенного социального статуса, от вечного ощущения своей второсортности в свое время побудила дядю фактически отречься от родных и "очертя голову ринуться в католическую семинарию". Попутно выясняется, что излишнюю "чувственность", в которой все обвиняют мальчика (стараясь при этом не называть вещи своими именами), экономка дяди и его собутыльники считают типичной чертой еврейского характера, которую он, мальчик, должен "выдавить" из себя, чтобы стать "хорошим христианином".

Мальчик, похоже, действительно унаследовал свое влечение к "цветам запахов", к "сумеречной, нежной сизо-голубиной бездне под матерчатыми колоколами" (женских юбок) от прадеда, портного Александра Каца, который всю жизнь шил женское белье и даже умер с куском шелка в руках. Шелк напоминал этому вечному изгою о покинутой России и представлялся "куском утреннего неба, голубовато-серебряного и серебристо-багряного". Другой вопрос — стоит ли отказы-

ваться от такой "чувственности", явно связанной с творческим началом, с фантазией и одновременно с любовью к осязаемой материи жизни. В какой-то момент маленький Кац понимает: тяга к книгам и тяга к вещам, которые можно потрогать руками, к плоти, к запахам, то есть (в его случае) наследие дяди-католика и наследие прадеда, иудея, суть "два варианта *одной* личности, моей личности". Или, может быть, это понимает повзрослевший Кац, если правильно мое предположение о том, что именно он в повести выступает в качестве рассказчика от первого лица. А мальчик Кац уезжает в монастырскую школу, так и не разобравшись до конца со своими проблемами...

Хюрлиман не хочет искать "виноватых", книгу отличает благожелательное отношение ко всем персонажам в сочетании с умением замечать всякого рода несообразности, отравляющие человеческую жизнь. Автора, похоже, в описываемой им ситуации раздражают не столько какие-то конкретные недостатки и слабости, сколько общепринятые условности, заставляющие людей стыдливо умалчивать о правде. Создавая свою картину, он наносит настолько тонкие мазки, что отдельные критики, восхищаясь его техникой, вообще не склонны замечать что-либо кроме стилистического совершенства. Рецензент швейцарского журнала "Фэктс", например, пишет: "Эта проза элегантна и занимательна, но у нее нет цели, и она безобидна — как пирожное-суфле, о котором тут же забывают". Совсем по-другому воспринял "Фройляйн Штарк" рецензент с Западногерманского радио: "Повесть Хюрлимана — не только тонкое исследование о пробуждающейся сексуальности и конце детства, но и книга о вытесненном (в подсознание. — *Т. Б.*) антисемитизме швейцарцев... И еще это рассказ о Слове". Правильность последней трактовки косвенно подтвердил и сам Хюрлиман, который в беседе с критиком Романом Бюхели высказался о своем малолетнем герое так: "Он сидит на корточках перед порогом, за которым начинаются библиотека и жизнь, он смотрит на мир снизу... Да, он попал в антисемитскую среду..."

Как мне кажется, политические аллюзии в книге действительно важны; это подтверждается уже тем, что Томас Хюрлиман, будто бы написавший повесть на автобиографическом материале, "дополнил" его мотивом еврейского происхождения мальчика (разоблачению швейцарского "прикрытого" антисемитизма были посвящены его ранние пьесы "Дедушка и сводный брат", 1981, и "Посол", 1991). Да и метафора "книжного ковчега" напоминает об образе-клише, популярном во время Второй мировой войны, со всеми порождаемыми им ассоциациями: Швейцария как спасательная шлюпка или ковчег (где уже не осталось места для новых спасаемых). Однако для автора "Фройляйн Штарк", по-видимому, не менее значимы вневременные, философские проблемы. Такие, как вопрос о месте книжной культуры в современном обществе (тема библиотеки и ее служителей обыгрывается в самых разных аспектах: библиотека, между прочим, предстает отчасти и как кладбище потерявших свою актуальность объектов, и как музей, в котором собраны некие символические ценности). Или вопрос о двойственности человеческой натуры, сочетающей в себе интеллектуальное и чувственно-эмоциональное (связанное — в данной повести — не только с эротикой, но и с творческим потенциалом) начала. Или, наконец, вопрос об отношении человека к своему прошлому (прошлому своей семьи), без полного осмысления которого невозможно познание самого себя, то есть собственно "взросление".

Татьяна Баскакова

Лиди Сальвейр
Lydie Salvayre
Французская писательница.

Автор романов *Совместная жизнь [La vie commune*, 1991], *Власть мух* [*La puissance des mouches*, 1995], *В обществе призраков* [*La compagnie des spectres*, 1997] и др.
Перевод публикуемого романа выполнен по изданию: *Les belles âmes* [Paris, Éditions du Seuil, 2000].

Рут Фэйнлайт
Ruth Fainlight
Английская поэтесса, прозаик, переводчица с испанского и португальского языков.

Автор сборников стихотворений *Ясно видеть вещи* [*To See the Matter Clearly*, 1968], *Полнолуние* [*Another Full Moon*, 1976], *Сивилла и другие* [*Sybyls and Others*, 1980], *Узы* [*Knot*, 1990], *Время года* [*This Time of Year*, 1994] и др.; двух сборников рассказов *Дневная и ночная жизнь* [*Daylife and Nightlife*, 1971] и *Последний случай доктора Клока* [*Dr. Clock's Last Case*, 1994], а также либретто опер.
Публикуемая поэма взята из сборника *Sugar-Paper Blue* [Bloodaxe Books, 1997].

Нина Валериановна Королева
Поэт, литературовед.

Автор девяти книг стихов, в т. ч. *Хвойный дождь* [1960], *Озерные вокзалы* [1968], *Подарок* [1973], *Медленное чтение* [1993], *Окно в ночи* [2001], *Договорим когда-нибудь потом* [2001], *Золотое руно* [2002], *Одинокие звезды в пространстве* [2003]. Автор монографии *Декабристы и театр* и ряда статей по литературе Серебряного века, составитель шеститомного Собрания сочинений А. Ахматовой и двухтомного собрания ее переводов.

Миро Гавран
Miro Gavran
[р. 1961]. Хорватский прозаик и драматург, автор книг для юношества. Лауреат нескольких национальных и театральных премий. Лауреат международной премии *Central European Time*, ежегодно присуждаемой лучшему писателю Центральной Европы [1999].

Автор романов *Забытый сын* [*Zaboravljeni sin, 1989*], *Как мы ломали ноги* [*Kako smo lomili noge*, 1995], *Клара* [*Klara*, 1997], *Маргита, или Путешествие в прошлую жизнь* [*Margita ili putovanje u prošli život*, 1999], пьес *Ночь богов* [*Noć bogova*, 1986], *Возлюбленные Джорджа Вашингтона* [*Ljubavi Georgea Washingtona*, 1988], *Чехов сказал Толстому "прощайте"* [*Čehov je Tolstoju rekao zbogom*, 1988], *Забыть Голливуд* [*Zaboraviti Hollywood*, 1996] и др.
Публикуемый роман печатается по изданию: *Miro Gavran. Judita.* [Zagreb, Mozaik Knjiga, 2001].

Шарль Нодье
Charles Nodier
[1780—1844]. Французский писатель, лексикограф, библиофил, энтомолог, с 1833 г. — член Французской академии.

Автор многочисленных романов, повестей, статей и эссе. Его произведения неоднократно переводились на русский язык; в частности, были опубликованы *Избранные произведения* [1960], сборник *Читайте старые книги: новеллы, статьи, эссе о книгах, книжниках, чтении* [1989], фантастические повести *Фея хлебных крошек* [*Fée aux miettes*, 1996] и *Смарра* [*Smarra*] — в сборнике *Infernaliana: французская готическая проза 18–19 веков* [1999].
Рассказы печатаются по изданию: *Contes* [Moscou, Éditions Raduga, 1985].

Абель Поссе
Abel Posse
[р. 1936]. Аргентинский писатель.

Автор многих романов, переведенных на 17 языков, в т. ч. *Даймон* [*Daimon*, 1978], *Путешествие в Агарту* [*El viagero de Agartha*, 1989; премия *Диана*], *Тайные демоны* [*Los demonios ocultos*, 1987], *Долгие сумерки путника* [*El largo atardeur del caminante*, 1992; премия Комитета 500-летия открытия Америки] и др. В *ИЛ* был напечатан

его роман *Райские псы* [1992, № 8-9], удостоенный крупнейшей в Латинской Америки литературной премии им. Ромуло Гальегоса.
Публикуемый роман печатается по изданию: *Los Cuadernos de Praga* [Buenos Aires, Meico, Santiago de Chili, Editorial Atlantida, 1998].

Николай Георгиевич Мельников
[р. 1970]. Литературовед, критик, кандидат филологических наук.

Автор ряда статей по английской и американской литературе, составитель книг *Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Набокова* [2000], *Набоков о Набокове и прочем. Интервью, рецензии, эссе* [2002].

Переводчики

Ирина Яковлевна Волевич
Переводчица с французского, лауреат премии *Инолит* [1997].

В ее переводе изданы новеллы писателей эпохи Возрождения, произведения Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Ж. Верна, А. Камю, М. Турнье, Р. Кено, Веркора, А. Кристоф, Ф. Бегбедера и др. Переводы И. Волевич неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Марина Яковлевна Бородицкая
Поэт, переводчик с английского и французского языков.

Автор сборников стихов *Одиночное катание* [1999], *Год лошади* [2002], а также книг для детей. Переводила поэзию Дж. Чосера, Дж. Донна, Дж. Китса, Р. Киплинга, Г. Честертона, Г. Лонгфелло, Р. Бернса, П. Ронсара, П. Верлена, Э. Фарджен, А. Милна и др. В *ИЛ* в ее переводах печатались стихи Г. Честертона, Дж. Чосера, Д. Паркер, В. Набокова, К. Ковича и др.

Наталия Михайловна Вагапова
Литературный и театральный критик, переводчик с сербского, хорватского, словенского и македонского языков, кандидат искусствоведения.

Автор книг *Формирование реализма в сценическом искусстве Югославии в 20—30 годы XX века* [1983], *БИТЕФ: театр и фестиваль* [1983]. В ее переводе изданы произведения И. Андрича, М. Крлежи, Б. Зупанчича, М. Павича и др. В *ИЛ* печатались переводы статей М. Крлежи [1978, № 7], пьеса *Вечность и еще один день* [1995, № 7, совместно с Л. Савельевой], новеллы *Шляпа из рыбьей чешуи* [1997, № 1], рассказа *Корсет* [1998, № 4], новеллы *Дамаскин* и повести *Стеклянная улитка* [1999, № 10] М. Павича.

Вера Аркадьевна Мильчина
Переводчица с французского, историк русско-французских литературных и культурных связей первой половины XIX века. Лауреат премий им. А. Леруа-Больё [1995; в составе редакционного коллектива журнала *Новое литературное обозрение*, и 1997], им. М. Ваксмахера [2000]. Награждена медалью Французской академии и французским орденом Академической пальмовой ветви.

В ее переводе изданы книги О. де Бальзака, Ж. де Сталь, Ш. Нодье, М. Блока и др. Соавтор перевода книг *Замогильные записки* Ф. де Шатобриана и *Россия в 1839 году* А. де Кюстина. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны *Записки Жирафы* Ш. Нодье [1999, № 8], *Амелия и Жермена* Б. Констана [2002, № 4] и др.

Евгения Михайловна Лысенко
Переводчик с испанского, польского и французского языков. Лауреат премии *ИЛ* [1988].

В ее переводе издавались произведения испанских писателей золотого века: Л. Велеса де Гевары *Хромой бес* и *Карманный оракул и Критикон* Б. Грасиана, а также рассказы и эссе Х. Л. Борхеса; романы *62. Модель для сборки* Х. Кортасара, *Quo vadis* Г. Сенкевича, *Красные щиты* Я. Ивашкевича; статьи Ж.-Ж. Руссо, письма Г. Флобера. В *ИЛ* в ее переводе публиковались *Книга Мануэля* Х. Кортасара [1994, № 3], рассказ *У нас в Аушвице* Т. Боровского [1988, № 10], роман *Дневник войны со свиньями* А. Бьой Касареса [1996, № 4, 5], из *Книги вымышленных существ* Х. Л. Борхеса [1995, № 6] *Святая Эвита* Т. Элой Мартинеса [1998, № 10] и др.

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ☐ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ☐ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ☐ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ☐ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В формлении обложки
использован фрагмент картины
английского художника
Патрика Колфилда [р. 1936]
Испускающая дух Греция на развалинах Миссалунги по Делакруа [1963]

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Расимя Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный
дайджест журнала
находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал
можно приобрести в редакции,
а также в книжном магазине
"Библио-Глобус" —
ул. Мясницкая, д. 6.

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство
№ 066632 выдано 23.08.1999 г.
ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.3.2003
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 3660.
Тираж 9 300 экз.
Отпечатано с готовых
диапозитивов полиграфической
фирмой "Красный пролетарий",
103473, Москва,
Краснопролетарская ул., 16.

[5] 2003

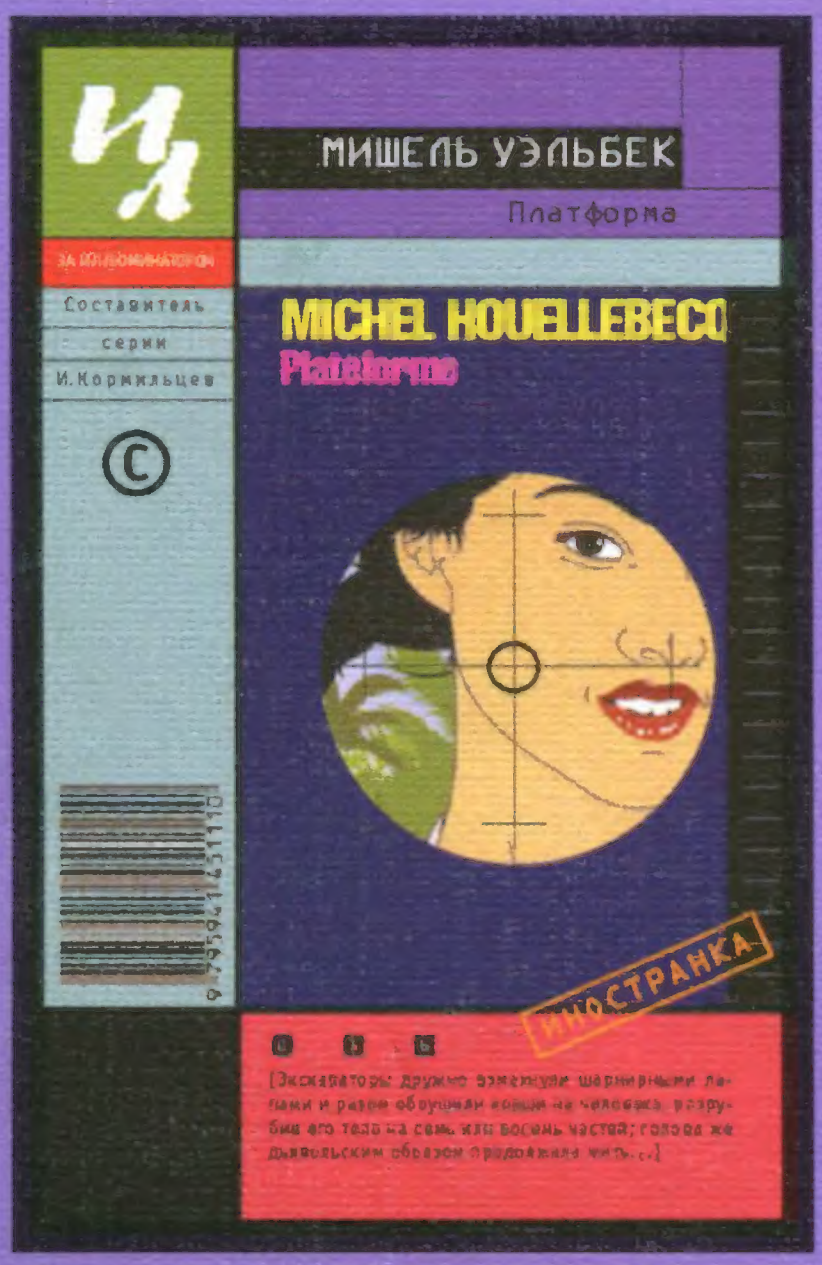
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД “НОБЕЛЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА”: СТОКГОЛЬМСКАЯ РЕЧЬ ИМРЕ КЕРТЕСА, СТИХИ ШЕЙМАСА ХИНИ И ВИСЕНТЕ АЛЕЙСАНДРЕ, РОМАН В. С. НАЙПОЛА “ПОЛУЖИЗНЬ”, РАССКАЗЫ ИСААКА БАШЕВИСА ЗИНГЕРА, ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ В РУБРИКЕ “ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ”, ГЛАВА ИЗ КНИГИ ОКТАВИО ПАСА “СЫНЫ ПРАХА” / “ПАМФЛЕТ НА САМОГО СЕБЯ” ТАДЕУША КОНВИЦКОГО / КОММЕНТАРИЙ АЛЕКСЕЯ ЗВЕРЕВА “ШУТОВСТВО С ПЕТЛЕЙ НА ШЕЕ”

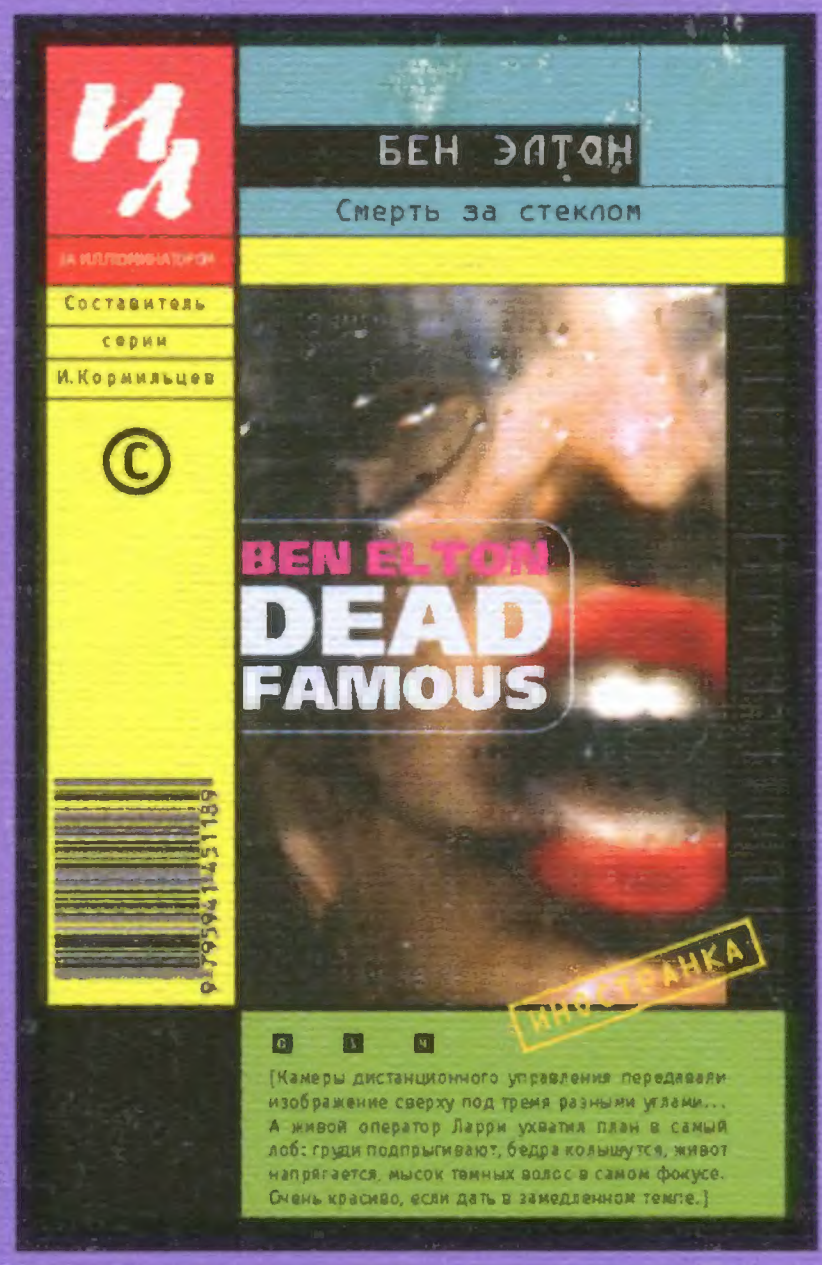
Новая серия издательства "Иностранка"

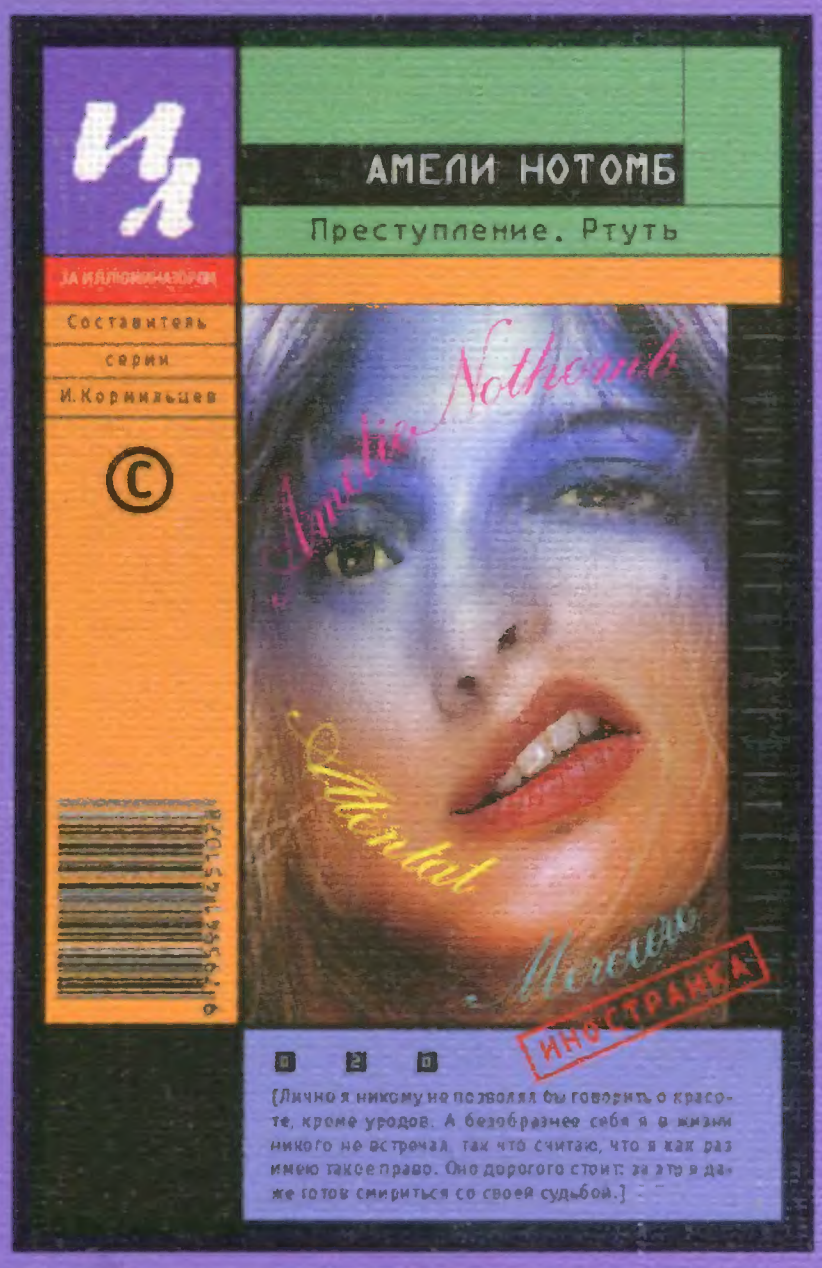
"За иллюминатором"

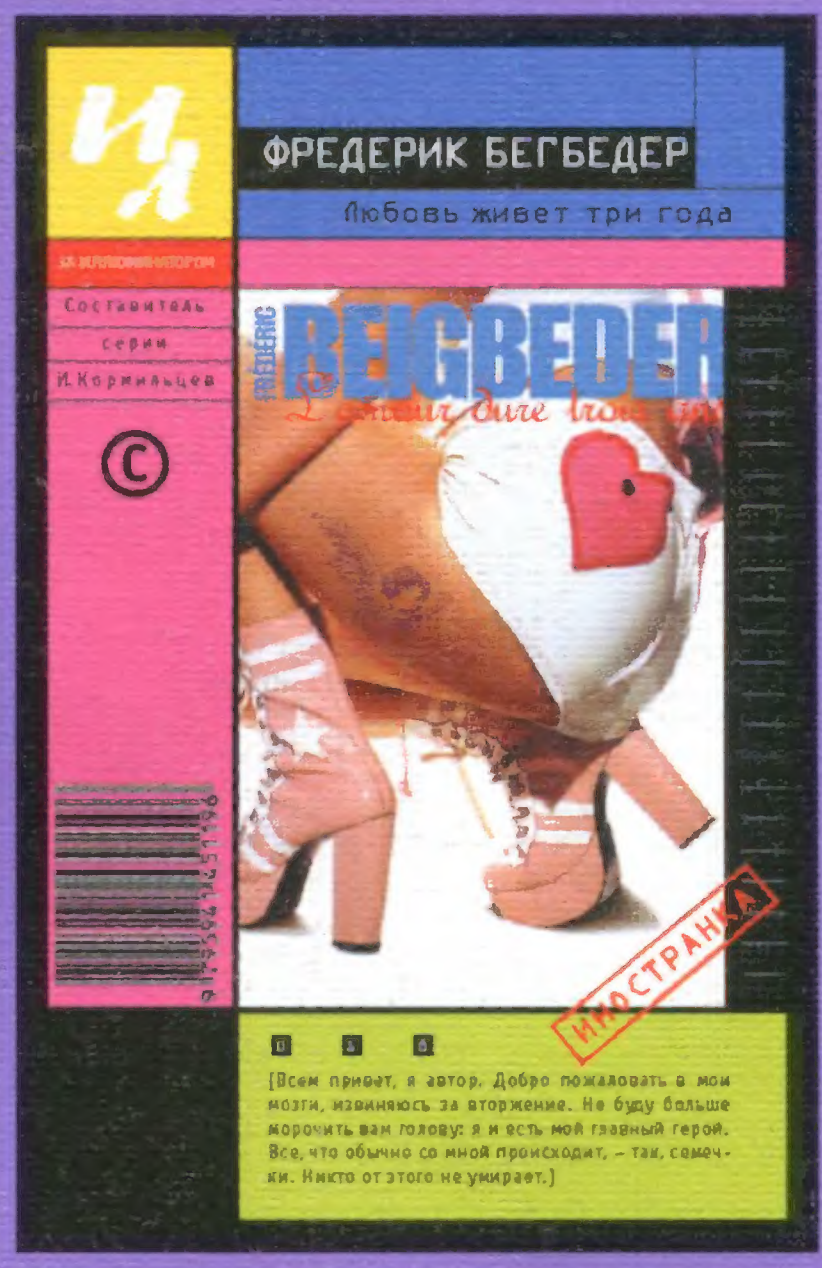
составитель Илья Кормильцев

"ИЛЛЮМИНАТОР" нового века









По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"

тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru

или по телефонам: в Москве (095) 289 0284; в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2003, №4, 1-288